

По благословению
архиепископа Нижегородского
и Арзамасского Георгия

Выражаем благодарность за помощь в издании книги
Андрею Александровичу Клишасу



А. Л. Катанский

Воспоминания старого профессора. С 1847 по 1913 год

Нижний Новгород
2010

УДК 271.2
ББК 86.372
К29

К29 **А. Л. Катанский. Воспоминания старого профессора.
С 1847 по 1913 год**
Нижний Новгород, 2010. 432 с.

ISBN 978-5-904720-03-2

От издателей

Книга, которую уважаемый читатель держит в своих руках, является уникальным в своем роде изданием, так как текст ее опубликован *в полноценном виде* впервые за минувшее столетие.

«Воспоминания старого профессора. С 1847 по 1913 год», написанные известным русским ученым-богословом дореволюционной России — профессором Александром Львовичем Катанским, — первоначально были напечатаны в периодическом издании С.-Петербургской духовной академии — журнале «Христианское чтение», в выпусках с января 1914 по декабрь 1917 года. Воспоминания, охватывающие период с 1847 по 1913 год, отдельным изданием так и не вышли в свет, хотя начало этому было положено: в 1914 году в Петрограде появилась, помимо журнальной публикации, первая книжка, посвященная периоду лишь 1847–1867 годов. Однако продолжения отдельного издания так и не последовало.

Тем не менее, «Воспоминания» заслуженного профессора Петербургской (Петроградской) духовной академии, нижегородца, воспитанника Нижегородской духовной семинарии, всегда были востребованы в среде историков, литераторов, богословов, публицистов и просто читателей, интересовавшихся прошлым знаменитых учебных духовных заведений России, — описанным правдиво, исторически точно и по-человечески искренно и эмоционально.

Инициатива полного издания «Воспоминаний», в наши дни, принадлежит профессору Московской духовной академии и Нижегородской духовной семинарии Владимиру Дмитриевичу Юдину. Написанная им, совместно с профессором МДА А. И. Сидоровым, биография А. Л. Катанского в сокращенном виде представлена в настоящем издании в качестве предисловия к основному тексту «Воспоминаний».

Профессор
Александр Львович Катанский
(1836–1919)

В известную всем пору сурового лихолетья, весной 1919 года, мучительно и скорбно отходил ко Господу, казалось бы совсем уже не нужный «новой России», старик, которому шел 83-й год. В голодном беспамятстве, словно младенец, причмокивая губами, он жалобно просил свою престарелую супругу: «Мама, есть хочу... мама, есть хочу...». А ведь этот беспомощный старик был одним из тех, кто на протяжении всей жизни неутомимо трудились над величием и славой науки православного богословия. То был заслуженный профессор Петербургской духовной академии, доктор богословия Александр Львович Катанский.

Судьба его складывалась подобно судьбе многих лучших представителей русской церковной науки XIX века. Родился он в бедной семье диакона храма Преподобного Сергия Радонежского в Нижнем Новгороде. Ютилась семья в маленьком и ветхом домишке из двух комнат, где, помимо членов этой семьи, проживали еще трое младших братьев отца, которые учились в семинарии и для которых отец диакон стал подлинным отцом и воспитателем (можно отметить, что все братья, по довольно распространенному тогда среди духовенства обычаю, носили разные фамилии: Лев Герасимович Катанский, Иван Герасимович Садов, Петр Герасимович Елеонский и Федор Герасимович Елеонский).

Лишь позднее, когда в возрасте сорока лет отца рукоположили в сан иерея и он получил место второго священника при Георгиевской церкви, материальное положение семьи улучшилось. Но и тогда он

воспитывал детей в строгости: в частности, удерживал сына подальше от товарищей не совсем благонравного поведения и не разрешал ему иметь карманные деньги. Своего родителя Александр Львович характеризует так: «Мой отец (Лев Герасимович Катанский) был далеко небогатый человек, принужденный по недостатку средств самолично много работать по дому, в особенности над его ремонтом, даже иногда капитальным, но он был богат другим, — крепкою, непоколебимою верою в Бога и глубокой религиозностью. Был он очень кроткого, незлобивого характера и строгой жизни, усиленно боролся со своими недостатками и греховными наклонностями, по временам и надолго предаваясь чисто аскетическим подвигам (посту, молитве и др.), которым мы все удивлялись. При этом был еще ревностным проповедником, не опускавшим ни одного праздничного дня без проповеди собственного сочинения, что в то время было далеко не обычным явлением, — даже в среде городских священников и протоиереев, не говоря уже о диаконах». Вообще, отец Лев был известен в Нижнем Новгороде своим искренним и глубоким благочестием, и впоследствии, стяжав всеобщее уважение, он стал духовником и всего городского клира.

В этой благодатной атмосфере родительского дома и возрос будущий профессор. По его собственным словам, «рос я один, без товарищей, проводя время в играх только с сестрами; не было у меня и детских игрушек, кроме самодельных ... меня не баловали, а может быть, не было и средств. Характер выработался у меня сосредоточенный, а может быть здесь сказалась и наследственность — от отца. Неудивительно поэтому, что, как только подрос и научился читать и достаточно понимать прочитанное, я скоро пристрастился к чтению, сначала житий святых св. Димитрия Ростовского — из церковной библиотеки, а потом и светских книг». Так начинали формироваться черты личности будущего ученого. Кстати сказать, большая семья Катанских дала русской церковной науке, помимо самого Александра Львовича, еще несколько известных деятелей: довольно крупный библеист Ф. Г. Елеонский (1836–1906) был его дядей (хотя и старше племянника всего на полгода), а прекрасный знаток западного христианства и латинист А. И. Садов (1850–1930) являлся двоюродным братом Ф. Г. Елеонского (также родственниками А. Л. Катанского были магистр Санкт-Петербургской духовной академии и преподаватель Нижегородской семинарии Ф. П. Елеонский и кандидат богословия, преподаватель Харьковской семинарии Ф. И. Садов).

Принадлежность к сословию духовенства определила внешние параметры жизни Александра Львовича. В 1847 году он поступает во второй класс местного духовного училища, которое закончил в 1852 году. Училище дало ему основательное знание древних языков. Впоследствии такое солидное знание древних языков, расширенное и углубленное дальнейшим обучением, оказалось великим подспорьем в научных штудиях А. Л. Катанского.

За духовным училищем следовала, естественно, Нижегородская семинария, где Катанский проучился в 1852–1858 годах. Эта семинария находилась тогда в периоде своего расцвета. «Она после вступительных экзаменов в Казанскую академию в 1858 году была признана лучшей в округе... Академия выразила даже особую благодарность семинарии за представление отличных студентов. Вообще, с конца 40-х годов семинария дала Казанской академии очень много выдающихся по своим способностям студентов» [1]. Сам Александр Львович говорит на сей счет: «Что касается семинарских преподавателей того времени, то среди них было немало очень даровитых людей. В то время еще не было почти поголовного бегства семинаристов в светские высшие учебные заведения, университеты и т. п.; для лучших учеников семинарии было заветною мечтою попасть именно в Духовную академию (как мечтали и мы, в сравнительно уже позднее время, в конце 50-х годов), и они шли в наши академии, и оттуда назначались учителями в семинарии. Вот почему большинство преподавателей семинарии моего времени были очень хорошими педагогами, добросовестно и умело исполняли свои нелегкие обязанности, несмотря на крайне скудное жалованье» [2].

Конечно, в этой преподавательской корпорации были и не совсем даровитые люди, а также те, которые иногда поддавались обычным человеческим слабостям (например, пристрастию к винопитию), но то было исключением, а не правилом... Величие и богатство русской православной культуры и создавалось преимущественно этими смиренными подвижниками, возделывающими ниву духовного просвещения. Имена большинства из них стерты в памяти человеческой, но они навсегда остались

---

[1] Тихов А. Краткая памятная историческая записка Нижегородской духовной семинарии. Нижний Новгород, 1905. С. 56–57.

[2] Катанский А. Л. Воспоминания старого профессора. Вып. I. Пг., 1914. С. 46.

запечатленными в памяти Божией... Естественно, что под стать учителям часто бывали и ученики, среди которых было достаточно много одаренных юношей. Конечно, далеко не все из них сумели не только сберечь талант Божий, но и приумножить его. Были и такие, которые этот талант «отдали в рост» лукавому, засеяв с помощью его Божию ниву терниями и волчцами. Среди них был и печально известный Н. А. Добролюбов, с которым А. Л. Катанский учился в Нижегородской семинарии. Как свидетельствует опять же Александр Львович, «в то время Добролюбов поражал нас своим видом очень благовоспитанного юноши, скромного, изящного, всегда хорошо одетого, с нежным, симпатичным лицом. Он был похож на красную девушку, и никоим образом не могло прийти мне в голову, что из него выйдет такой литературный деятель, да еще известного направления. В семинарии ходили тогда слухи о большой его даровитости и необыкновенном трудолюбии, рассказывали, что он писал огромные сочинения на задаваемые темы, просиживал за ними целые ночи, что его родители отбирали у него даже свечи для прекращения его ночных занятий»[3]. Однако, такие «падшие ангелы» не вносили пока серьезного диссонанса в тогдашний строй русской культуры и русского быта. Лишь позднее они стали все более и более набирать силу...

Годы, проведенные в семинарии, завершили формирование основных черт личности А. Л. Катанского. Немалую роль в этом формировании сыграла удивительная лепота и доброта русской природы (красоте любимого города и края посвящены необыкновенно трепетные, эмоциональные строки «Воспоминаний» старого профессора).

Как представитель русской богословской науки второй половины XIX — начала XX веков, А. Л. Катанский отражал в своем творчестве многие как сильные, так и слабые стороны ее. Что касается первых, то прежде всего бросается блестящее знание им, как и большинством других русских православных ученых той эпохи, источников, что немыслимо без солиднейшей филологической подготовки и культуры, какую давали тогдашние духовные училища и семинарии. Эта высочайшая филологическая культура позволила А. Л. Катанскому быть не только серьезным догматистом, но и глубоким патрологом. Подобное великолепнейшее знание святоотеческих творений и не менее солидное знание

---

[3] Катанский А. Л. Воспоминания старого профессора. Вып. I. Пг., 1914. С. 44.

Священного Писания и позволили Александру Львовичу проторить путь к историческому раскрытию догматов. По словам о. Георгия Флоровского, «Катанский открыто ставил вопрос об исторической стороне догмата. Историю имеет „форма“ или „внешняя схема“ догмата, и при неизменяемости догмата, как откровенной истины, есть рост по формальной стороне, — первоначально данная форма, или формула, бывала слишком тесна для явленной в ней истины и потому неизбежно расширялась. Это был рост или выработка более совершенного языка и словоупотребления, „работа догматико-филологическая“» [4]. Правда, как считает о. Георгий, собственно «исторического» в трудах А. Л. Катанского было мало, и ценность этих трудов «в том, что с большим вниманием пересматриваются и сопоставляются отдельные отеческие тексты, по авторам, — такой „догматико-филологический“ анализ, во всяком случае, облегчает последующий синтез, хотя бы сам аналитик и ограничивался „сводом“ своих данных» [5]. Однако данное суждение нам представляется не совсем корректным, ибо о. Георгий слишком расширительно понимает, на наш взгляд, «историческое» в отношении догматов, где подобный «догматико-филологический» метод и является, вероятно, единственно возможным. Работы А. Л. Катанского проторили путь для известных трудов владыки Сильвестра (Малеванского). А «Сильвестровский дух» отточил многие грани всей русской богословской науки дореволюционного периода. Что же касается слабых сторон этой науки, то, по нашему мнению, они являются обратной стороной медали сторон сильных. Предельная сосредоточенность православных ученых на сугубо научных вопросах, самозабвенное культивирование их и всецелая преданность им делали православную науку как бы не только *Ding an sich*, но и *für sich*, обретающей самодовлеющую ценность. Порой забывалось, что эта наука, как и вся земная жизнь человеческая, есть только путь ко спасению и *средство спасения*, причем средство далеко не единственное и не главное. А забвение этого нарушало (хотя и слабым диссонансом) тончайшее созвучие универсума Православия. Страшная, но очистительная гроза революции напомнила об этом...

В. Д. Юдин, А. И. Сидоров

---

4 Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 379.

5 Там же. С. 380.

Воспоминания старого профессора (с 1847 по 1913 год)

Предисловие

Старость любит вспоминать старое доброе время, живя, можно сказать, более прошлым, чем настоящим. А потому читатели, вероятно, не особенно удивятся появлению моих «Воспоминаний».

Должен, однако, сказать, что эти «Воспоминания» вызваны не столько внутренней моей потребностью поделиться впечатлениями из прошлого, может быть не безынтересными для читателей, сколько внешними возбуждениями, именно настойчивыми просьбами моих дорогих сослуживцев по Санкт-Петербургской духовной академии, чтобы я поделился своими воспоминаниями из многих лет моей академической службы, сначала в Московской духовной академии (4 года), а потом в Петербургской (29 лет) и, кроме того, тем, что мною пережито во времена моего студенчества (1859–1863).

Означенные настойчивые просьбы моих бывших коллег особенно усилились пред столетним юбилеем нашей С.-Петербургской академии в 1909 г. и во время празднования его. Но сначала я решительно отклонял эти просьбы, стесняясь, по свойству своего характера, выдвигать свою личность, если не на первый план, то во всяком случае на весьма видное место, что неизбежно, в большей или меньшей степени, во всяких мемуарах. Однако в день моего 50-летнего юбилея (18 ноября 1913 г.) [1] моя решимость значительно поколебалась. С одной стороны, в этот знаменательный для меня день с особенною силою нахлынул на меня поток воспоминаний и отчасти вылился в моих

[1] Очевидно, здесь имеется в виду юбилей служебной (*академической и общественной*) деятельности автора воспоминаний. Подробнее он пишет об этом в конце своего труда. (Прим. Ред.)

речах перед делегатами от С.-Петербургской академии (заслуженный профессор и директор С.-Петербургского археологического института Н. В. Покровский и профессор протоиерей П. И. Лепорский), почтившими меня посещением в гатчинском моем уединении и привезшими тронувший меня до глубины души адрес от моей дорогой матери — академии. С другой стороны, среди дружеской беседы по этому случаю опять начались речи на прежнюю тему о воспоминаниях с усиленным настаиваньем на их составлении. Все начало клонить меня в сторону, противную первоначальному моему решению.

Последний толчок в этом направлении дал многоуважаемый редактор «Христианского чтения», потребовавший от меня какой-либо статьи для этого журнала «по случаю моего юбилея». Справедливости его требования я не мог отрицать и решился его исполнить. Но все-таки сначала я думал представить в редакцию нечто из моих академических чтений по догматическому богословию. Однако, под конец, меня взяло раздумье: не лучше ли поделиться с читателями этого старейшего академического журнала моими воспоминаниями, преимущественно из академической жизни и через то удовлетворить и редакцию академического журнала, и желание моих дорогих коллег по академии. Нечто, думал я, из академических моих лекций, заслуживающее напечатания, может, если будет то угодно Богу, сохраниться в моих рукописях и не пропасть для читателей и после моей смерти, а мои воспоминания, если я буду медлить да раздумывать, могут сойти со мною в могилу, которая, во всяком случае при 77-летнем моем возрасте (1836–1913), от меня недалека. При этом приходили мне на мысль следующие соображения. Быть может, краткая летопись моей жизни для пожилых читателей нашего духовного журнала представит нечто небезынтересное в том отношении, что напомнит достолюбезную многим старину, а для молодого поколения даст еще и нечто, не лишенное поучительности. А затем летопись человека, прожившего всю сознательную жизнь в тесной, неразрывной связи с духовною школою, может оказаться небесполезною и вот еще в каком отношении. В настоящее время, когда поднят вопрос о коренном преобразовании духовной школы, не послужит ли она в качестве как бы своего рода исторической справки из прошлого нашей духовной школы. Все эти соображения окончательно склонили меня к составлению моих воспоминаний.

Вот, благосклонные мои читатели, история происхождения моих «воспоминаний».

Да простят они: 1) неточность некоторых хронологических данных, ибо я никогда не вел дневников и даже хотя бы кратких записей, о чем теперь очень сожалею; 2) что я невольно ставлю себя в центре совершающегося вокруг меня, чего всячески хотел бы избежать, но, как увидят они, далеко не всегда мог; 3) ошибки памяти и свойственные человеческой слабости пристрастия относительно лиц и событий, встречавшихся на моем жизненном пути, хотя старался в этом отношении быть объективным и беспристрастным, насколько мог, наконец 4) множество мелочей из обыденной жизни, которые попали в мои воспоминания и которых я не избегал, полагая, что они иногда служат лучшей иллюстрацией событий и лиц, чем голословные их характеристики.

Гатчина, 29 ноября 1913 года

I. Детство и Нижегородское духовное училище

Начинаю с первых дней моей жизни, стараясь, однако, быть кратким относительно первого ее периода, до поступления в академию, чтобы поболее посвятить места и времени второму периоду — учения в академии и третьему периоду — академической моей службы, что составляет главную цель моих «Воспоминаний».

Родился я в 1836 г., 19 ноября, в Нижнем Новгороде, в приходе преп. Сергия, где мой отец с 1834 г. был диаконом этой церкви (Сергиевской, как она и называлась официально). И замечательное совпадение: начал я жизнь под покровом преп. Сергия и вступил в действительную, как говорят, жизнь, то есть начал службу, также в обители преп. Сергия, в Московской духовной академии, находящейся, как известно, в ограде Троице-Сергиевой Лавры. Сюда же можно отнести следующий случай: у моего отца был знакомый диакон, имевший модель Троице-Сергиевой Лавры, разбиравшуюся и складывавшуюся, в виде отдельных кубиков. Маленьким мальчиком не раз я видал эту модель, которую этот диакон приносил к нам в дом и старался обратить на нее мое особенное внимание, вероятно как на игрушку, интересную для маленького мальчика. Думал ли я тогда, что это было как бы предзнаменованием моей дальнейшей судьбы. Через много лет потом, во время моей службы в Московской академии, совершенно неожиданно, встретил я упомянутого диакона среди братии Троице-Сергиевой Лавры, уже в сане иеромонаха. Подивились мы тогда совпадению настоящего с давно прошедшим.

Помню себя в маленьком, принадлежавшем моему отцу, собственном домике, недалеко от церкви, состоявшем всего из двух комнат, включая сюда и кухню, с довольно большим фруктовым садом, по преимуществу вишневым, круто спускавшимся в овраг, — местоположение, не лишенное красоты. И в этом-то крохотном домике, стоявшем на церковной земле[1], конечно деревянном, довольно уже ветхом, ухитрялись помещаться четверо хозяев, а под конец даже пять человек[2], да еще иногда прислуга (далеко не всегда она у нас была), и кроме того, насколько помню, всегда два или три человека из семинаристов, по большей части наших близких родственников (трех родных братьев моего отца[3], впрочем неодновременно; из чужих помню только одного).

Мой отец (Лев Герасимович Катанский)[4] был далеко небогатый человек, принужденный, по недостатку средств, самолично много работать

---

[1] Что еще более понижало и без того малую его ценность, так что при продаже его (по случаю переезда нашего семейства в церковный дом), в 1853–4 году, за него получено было всего 500 р. ассигнациями. Тогда был еще в малом ходу счет на серебро, по крайней мере в провинции, дешевизна на все была необычайная.

[2] С рождением, на моей уже памяти, моей младшей сестры, все наше семейство состояло из шести человек: отца, матери, меня и трех сестер, из которых старшая, старше меня на год, не жила с нами, а со дня рождения и до замужества воспитывалась у дедушки, сельского священника. Таким, по количеству, наше семейство осталось до конца жизни наших родителей.

[3] Всего было их четыре брата: отец мой, старший брат, по фамилии Катанский, второй — Иван Гер. Садов, третий — Петр Гер. Елеонский, четвертый — Федор Гер., тоже Елеонский. Откуда такая разница в фамилиях, читатель увидит далее. Все три брата вышли, можно сказать, из-под крыла моего отца, почти все время учения в училище и семинарии жили у него, воспитывались под его влиянием и под конец жизни он имел редкое утешение видеть плоды воспитания своих близких родных: оказалось целое гнездо небезызвестных его выводков, что видно будет из дальнейшего нашего рассказа.

[4] Из воспитанников Нижегородской духовной семинарии. Окончил он полный ее курс в 1834 г., но выпущен с аттестатом 2-го разряда, что считал несправедливостью и объяснял лишение его 1-го разряда интригой своего товарища — всесильного, по его словам, любимца тогдашнего ректора семинарии Иннокентия, оставившего, как видно из истории Нижегородской семинарии, недобрую о себе память. Зная необыкновенную правдивость моего родителя и его деятельность как проповедника (см. далее), не могу в этом ни на минуту усомниться.

по дому, в особенности над его ремонтом, даже иногда капитальным[5], но он был богат другим — крепкою, непоколебимою верою в Бога и глубокою религиозностью. Был он очень кроткого, незлобивого характера и строгой жизни, усиленно боролся со своими недостатками и греховными склонностями, по временам и надолго предаваясь чисто аскетическим подвигам (посту, молитве и др.), которым мы все удивлялись. При этом был еще необыкновенно ревностным проповедником, не упускавшим ни одного праздничного дня без проповеди собственного сочинения, что в то время было далеко не обычным явлением, — даже и в среде городских священников и протоиереев нижегородских, не говоря уже о диаконах, каковым в ту пору, как сказано выше, был мой отец, — и что сделало его известным всему городу и местному епархиальному начальству, в особенности Преосвященным Иакову и Иеремии. В виду того, что моему отцу не всегда было удобно и даже возможно представлять свои проповеди местному цензору (которому обыкновенно носил их я), когда, например, скоплялось несколько праздников подряд, он нередко произносил непроцензурованные проповеди. За это однажды даже подвергся (вероятно, по чьему-либо доносу) наказанию, довольно правда легкому (кажется, сколько помнится, денежному штрафу — рублей в три-пять). Это было при Преосв. Иеремии, благоволившем к отцу за ревностное проповедничество и потому смягчившем наказание, при какой-то характерной по этому делу резолюции (какой — не помню).

Посвященный в сан диакона (1834) Преосв. Амвросием (Моревым)[6] и прослужив 18 лет (1834–1853) в этом сане при епископах

[5] Живо помню, как отец задумал однажды поднять весь дом, вынуть старые, сгнившие бревна и заменить их новыми и осуществил это, наняв плотников, но сам более всех их работая; как затем, по доносу соседа, в самый разгар работы нагрянула к нам полиция, с полицмейстером во главе, и как смущен был отец, не испросивший разрешения на эти работы, вероятно потому, что не надеялся его получить, в виду ветхости дома (дело, однако, обошлось благополучно); далее, как он вырыл землянку и сам устроил в ней баню, которую полиция по летам иногда запрещала топить (вероятно, из опасения пожаров); как он занимался разными поделками для домашнего обихода, смастерил даже целый комод, правда, нужно признаться, не отличавшийся изяществом, но зато очень крепкий и удобный.

[6] 1807 — кандидат (?) богословия Александро-Невской семинарии, 1813 — префект Новгор. семинарии, 1816 — архимандрит Новгор. Антониева

Иоанне (Доброзракове), Иакове (Вечеркове) и Иеремии (Соловьеве), мой отец посвящен был этим последним во священника при следующих замечательных обстоятельствах. К 50-м годам у скромного диакона накопилась масса проповедей не только на воскресные и праздничные дни, но и поучений другого рода — катехизических и о христианских добродетелях и пороках. Своими проповедническими трудами мой родитель очень охотно делился с сельскими священниками, нередко приходившими к нему, как известному проповеднику, в трудные минуты жизни, когда нужно было представлять епархиальному начальству проповеди, а их не было. По вызову Преосвященных Иакова и Иеремии, обращенному к нижегородскому духовенству, представлять сборники проповедей на рассмотрение, он несколько раз подавал этим Преосвященным свои объемистые тетради проповедей и поучений. Преосвященные одобряли и оказывали видимые знаки внимания, а диакон-проповедник, известный всему городу и даже далеко за его пределами, всё оставался диаконом. Между тем домашние, мать и ее отец, мой дед, в виду немалого нашего семейства и скудости доходов, падавших на диаконскую долю от нашего небогатого прихода, — настаивали, чтобы он подал прошение об определении его

монастыря, 1822 — ректор Орловской сем., 1823 — епископ Оренбургский, 1828 — Волынский, 1832 — Нижегородский, 1835 — Пензенский, скончался в 1854 г. Хронологические данные в этом случае, как и в других, заимствую из труда Ю. В. Толстого, бывшего тов. обер-прокурора Св. Синода: «Списки архиереев, архиерейских кафедр иерархии всероссийской (1721–1871)». Почему автор назвал Преосв. Амвросия «канд.» Александро-Невской семинарии, неизвестно. Тогда таких степеней ученых не было.

От редактора. В текстах примечаний в дальнейшем приняты следующие сокращения: кандидат — канд., магистр — маг., доцент — доц., доктор — докт., бакалавр — бак., экстраординарный профессор — экстраорд. проф., ординарный профессор — орд. проф., заслуженный профессор — заслуж. проф., ректор — рект., инспектор — инспект., исполняющий должность («исправляющий должность» — в лексике того времени) — и. д., префект — преф., законоучитель — законоуч., преподаватель — препод., семинария — сем., академия — акад., кафедральный — кафедр., священник — свящ., протоиерей — прот., иеромонах — иером., архимандрит — архим., епископ — еп., викарий — вик., архиепископ — архиеп., митрополит — митр., Преосвященный — Преосв., «скончался» обозначается значком «†». Сокращения приняты также в названиях епархий и кафедр.

на место священника в Нижнем. Но мой отец ни за что не хотел этого сделать, считая такую просьбу несовместимой со своими взглядами на получение благодати священства, которая не выпрашивается, а сама избирает для себя достойный орган. «Уже не думаешь ли ты, что архиерей сам позовет тебя и спросит, не желаешь ли ты быть священником; вот тебе место», — иронически замечали ему домашние. «А отчего же и не быть так, если на то будет воля Божия. Я верую, что так и будет. Да, позовет и предложит. Вот увидите». «Дожидайся. Вот еще какой пророк нашелся», — говорили ему домашние. И вот, в один из дней апреля в 1853 г., случилось именно то, что предсказывал отец: Преосв. Иеремия посылает к нему своего келейника с приглашением к себе и, когда тот явился, предлагает ему место второго священника при Георгиевской церкви в Нижнем, в помощь заслуженному, но ослабевшему силами старцу протоиерею (И. А. Грацианову). В сане священника, а потом протоиерея и долгое время духовника городского духовенства Л.Г. прослужил еще 32 года, в 1884 г. отпраздновав 50-летний юбилей своей службы, в 1887 г. поступил в заштат по болезни и в 1889 г. скончался. В конце своей жизни, окруженный общим уважением, он имел еще особенное утешение — насчитать из своих ближайших родных, поистине его питомцев, выросших под его влиянием и руководством, пять человек с академическим образованием и учеными степенями и званиями: двух ординарных профессоров С.-Петербургской духовной академии и докторов богословия (сына А. Л. К-го, родного брата Ф. Г. Е-го), двух магистров (А. И. Садова[7] и Ф. П. Елеонского — преподавателя Нижегородской духовной семинарии — родных племянников) и одного кандидата богословия (Ф. И. Садова, преподавателя Харьковской семинарии — также родного племянника[8]). Дочери его все были устроены, выданы замуж за лучших из студентов местной семинарии, бывших в Нижнем Новгороде священниками. Мать моя, женщина очень

[7] В то время А. И. Садов был еще магистром и экстраорд. профессором СПб. академии, но через несколько времени и он получил степень доктора церковной истории и звание орд. профессора, а потом и заслуж. профессора.

[8] Оба брата Садовы также жили несколько времени в нашем семействе. Ф. П. Елеонский, хотя у нас не жил (он, как сирота, жил в бурсе), но и он не лишен был попечения и надзора со стороны нашего семейства.

доброго сердца и религиозно настроенная, но другого характера, чем отец, очень даровитая, но довольно бойкая и резкая в обращении, скончалась ранее его, за два года до его кончины.

Все детство, отрочество и юношеские годы провел я в городе — Нижнем. Городской житель, я мало знал деревню. О ней получил понятие только тогда, когда навещал, с самых впрочем малых лет, своего деда, отца матери, священника в одном большом и богатом селе Пурехе, в 70-ти верстах от Нижнего, вверх по Волге. В этом селе, бывшем когда-то вотчиной князя Пожарского, находится древняя церковь (с реликвиями от знаменитого князя), в два этажа, из которых нижний очень напоминает собой древние монастырские церкви (очевидно, она некогда была монастырской), с двумя высокими колокольнями и множеством колоколов (300, 200 и т. д. пудов)[9]. Этот мой дед, Е. А. Бардов, один из трех священников этого села, был воспитанником еще старой, дореформенной (1809) школы, не окончив полного курса семинарии, вышел из нее за год до окончания курса (1811–1812), по предложению тогдашнего Преосвященного[10] занять место священника. Мой дед очень любил рассказывать и о старой школе, с ее фарой, инфимой, поэзией и т. д., и о Преосвященных его времени, в особенности о Преосв. Моисее (Близнецове-Платонове)[11], этой превосходной, приближающейся к оригиналу копии со знаменитого Платона, митрополита Московского (так же, как и он, величественной, красивой наружности), прекрасном ораторе и красноречивом проповеднике. Этот мой дед очень любил пересыпать свою речь латинскими пословицами и изречениями и писать стихи (на русском языке). Стихотворцем он был положительно неутомимым, и даже все письма (например, ко мне, во время моего студенчества и службы в Московской и Петербургской академиях) писал не иначе, как

9 Тогда. Теперь есть уже в 1000 пуд.

10 Вероятно, Преосв. Моисея. Тогда это было в обычае, даже и в позднейшее время; в 1828 г. таких лиц было 8 чел., в 1830-м — 22 чел., в 1832-м — 18 чел., в 1833-м — 33 чел. (см.: Нижегородская духовная семинария в 1818–1840 гг., стр. 98).

11 1792 — из Троице-Лаврской сем., 1795 — префект ее, 1796 — преф. Славяно-греко-латинской акад., 1804 — ректор ее, 1808 — еп. Пензенский, 1811 — Нижегородский, † в 1825 и погребен в Нижегор. кафедр. соборе.

стихами. Передав мне (через мою мать) много черт своей наружности, он, однако, не передал своего поэтического дара; я решительно не имел способности писать стихи, что и обнаружилось в низшем классе семинарии (так наз. «словесности»). Скончался 86-ти лет.

Другой мой дед, со стороны отца, был в другом роде. Окончив полный семинарский курс, и даже, кажется хорошо, он (Герасим Яковлевич Владимирский) был, однако, только диаконом в довольно бедном и отдаленном от Нижнего (в 200-х верстах с лишком) селе Успенском, на Ветлуге, в этом сане прожил там всю свою жизнь и скончался также в глубокой старости, свыше 80-ти лет. Среди нечастых своих посещений нашего дома (у него, в селе, я никогда не бывал) он поражал меня очень кротким выражением лица и в высшей степени задумчивыми глазами, смотрящими куда-то вдаль, да еще своими разговорами с моим отцом на религиозные темы. Особенно живо помню их беседу о причинах воплощения Сына Божия. Дед не понимал, почему оно было нужно, почему наше спасение не могло совершиться как-либо иначе. Отец старался выяснить, почему нужно было именно воплощение Самого Сына Божия. Но дед все повторял: «Не понимаю, не могу понять». Я был тогда очень мал и, конечно, не мог войти в сущность спора и доводов той и другой стороны.

Под такими влияниями я рос и развивался. Но более всех имел на меня влияния мой отец.

Отец мой имел огромное на меня влияние, на мой характер, склонности и на склад всей моей жизни — и своей личностью, примерами его жизни, и принятою им системою воспитания. А его система, с которой согласна была вполне и моя мать, состояла вот в чем.

Прежде всего он систематически удалял меня от всякого рода товарищей, даже в этих видах не позволял мне прислуживать в церковном алтаре (чего желал местный священник), все из опасения нравственной для меня порчи от сверстников, прислуживавших при богослужениях и подпадавших, по его наблюдениям, разным искушениям от попадавших в их руки, разными путями, денег. А денег в моих руках он боялся больше всего, почему до моего отправления в академию у меня, безусловно, не было ни одной копейки в личном моем распоряжении, на что я в свое время, конечно, роптал, но за что теперь, оглядываясь на всю прошедшую жизнь, не могу не быть ему глубоко благодарным.

И рос я один, без товарищей, проводя время в играх только с сестрами; не было у меня и детских игрушек, кроме самодельных; в этом отношении, как и вообще, меня не баловали, а может быть, не было и средств. Характер выработался у меня сосредоточенный, а может быть здесь сказалась и наследственность — от отца. Неудивительно поэтому, что, как только подрос и научился читать и достаточно понимать прочитанное, я скоро пристрастился к чтению сначала житий святых св. Димитрия Ростовского — из церковной библиотеки, а потом и светских книг, исторических (например, огромной Римской истории — соч. Ролленя, в варварском — уже и тогда мне так казалось — переводе Третьяковского) и других — до романов тогдашнего времени включительно, — из довольно большой библиотеки одного купца, нашего прихожанина[12].

А что удаляли меня от алтаря, и это сказалось важными последствиями для всего склада моей жизни. Постоянно посещая — и по собственному желанию, и по настоянию родителей — богослужения, но не примыкая к клиру, всегда стоял я среди мирян, да так и остался мирянином на всю жизнь, хотя и родители и все родные очень желали, чтобы я, состоя на должности, принял священный сан, да и обстоятельства моей службы не раз складывались так, что казалось невозможным уклониться от священства, но всегда что-то меня от него удерживало, кроме сложившегося у меня необыкновенно высокого взгляда на священство. Если тут несколько виноват мой

---

[12] «Римская история» Ролленя представляла 9 огромных томов. Его же есть «Древняя история» — 13 томов. Не помню, читал ли последнюю, но первую читал долго и усердно, хотя и с пропусками полного текста речей разных полководцев, вроде Суллы, Помпея и др., которые мне надоедали. — Кстати, о наших прихожанах. Был у нас один очень замечательный человек, гроза нашего клира, в особенности низшего, Н.Ф. В-в, богатый человек и в чинах (кажется, над. сов.), имевший большой каменный дом как раз против алтаря нашей церкви. Это был бывший причетник, отданный в солдаты за кражу чего-то (как сам он рассказывал), попавший в войска путейского ведомства, дослужившийся здесь до чинов и даже орденов и составивший себе хорошее состояние. Он был очень богомолен, внимателен к нашему клиру и щедр в плате за требы и в других случаях (напр., в праздники делал подарки священнику, диакону), но строго следил за порядком богослужения и нередко делал выговоры, особенно причетникам. Его вообще очень побаивались, но уважали и ценили, как самого важного и главного нашего прихожанина.

родитель, то, думаю, только в очень малой степени. Мне кажется, это дело Промысла Божия, ведущего нас по назначенному каждому из нас пути. Меня Он предназначил, по-видимому, для безраздельного служения богословской науке. И вот что замечательно: благодать Божия, от принятия которой в таинстве священства я уклонялся, заставила меня все-таки поработать именно для нее в моих наиболее значительных сочинениях («О семи церковных таинствах» и «О благодати Божией», сюда же можно отнести и статьи «О церкви»).

В 1847 году поступил я в Нижегородское духовное училище, во II класс, имея от роду 10 лет (поздненько, почему и окончил семинарию 21 года). Тогда духовные училища состояли из четырех классов (I, II, III и IV). Первый был, так сказать, приготовительным, в нем учили только читать и писать и, может быть, самым первым правилам грамматики[13]. Первый и второй класс имели курс годичный, а третий и четвертый — двухгодичный. Первые два класса составляли приходское училище, третий же и четвертый — уездное.

Поступил я во II класс вместе со своим сверстником и одногодком Ф. Г. Елеонским (был он старше меня только на полгода), родным моим дядей, братом моего отца, бывшим последние годы заслуженным ординарным профессором и почетным членом С.-Петербургской духовной академии (сконч. в 1906 г.). Привезен он был его отцом, а моим дедом, из села Успенского, где его отец был также диаконом, как и мой. Живо помню, как мой отец и дед привели нас с Ф. Г. Ел-м к ректору Нижегородского духовного училища, протоиерею Лебединскому, бывшему в то же время кафедральным протоиереем, но кажется еще не старшим[14]. Привели нас в большой каменный дом соборного духовенства и поставили в одной из прекрасных, высоких и богато обставленных комнат протоиерейской квартиры. Мы оба сильно тру-

[13] Впрочем, хорошо этого не помню и не знаю, хотя и посылали меня иногда, как хорошего ученика, из 4-го класса в 1-й заменять там учителя, в его отсутствие.

[14] Тогда еще жив был его тесть, протоиерей Фиалковский, вместе с которым, в одной квартире, жил и наш училищный ректор о. прот. Лебединский (маг. Моск. дух. академии, IV курса 1820–1824 гг., по выпускному списку значащийся под № 16). Он назывался именно «ректором», а не «смотрителем», как уже и тогда назывались начальники училищ — Печерского и Арзамасского.

сили и от непривычной нам обстановки, а главное — от предстоящего нам при поступлении в училище экзамена, но, оказывается, — совершенно напрасно, так как экзамена совсем не было. Предложен был нашим родителям только вопрос, чему нас учили и что мы знаем, а затем зашла речь о том, под какими фамилиями нас записать в список. На это отец мой заявил, что желал бы дать мне фамилию «Невский» по имени моего ангела, св. Александра Невского. Но тут о. ректор с живостью заметил, повысив голос: «Ну уж нет, довольно менять фамилии; только что вышел указ Св. Синода, запрещающий давать детям произвольные фамилии. Пусть фамилия твоего сына будет Катанский, — то есть твоя фамилия». Но затем тут же сам о. ректор совершил нарушение синодского указа. Когда мой дед, сам по фамилии Владимирский, имея трех сыновей с различными фамилиями (Катанский, Садов и Елеонский), заявил в свою очередь, что желал бы своему четвертому сыну, Федору Герасимовичу, дать фамилию «Фаворский», о. ректор пришел в негодование, воскликнув: «Что же это такое? что за пестрота? Я знаю, что твой третий сын учится в семинарии (П. Г. Елеонский, отец Ф. П. Ел-го, нынешнего преподавателя Нижегородской духовной семинарии, магистра С.-Петербургской академии, — был он, кажется, тогда в словесности, или в философском классе, как тогда называли низший и средний классы семинарии), так пусть будет твой четвертый сын также Елеонский». Почему же не «Владимирский» по имени отца его, моего деда? — о. ректор этого не объяснил[15], а возразить ему, конечно, не посмели смиренные отцы диаконы. В заключение, а может быть и в самом начале аудиенции у о. ректора (не помню), вручены были ему почтительно: моим родителем — 1 р., а дедом, как более бедным сельским диаконом, — 50 к., что в то время было в общем обычае и никого не смущало[16].

Вступил я в училище, как сказано выше, в 1847 г. (конечно, осенью, в сентябре), в год перемены епархиального начальства.

---

15 Вероятно, во избежание упомянутой пестроты.

16 О. прот. Лебединский, пользовавшийся общим уважением, имевший вес даже у Преосв. Иеремии, не гнушался, как говорили, даже очень малыми приношениями, добродушно приговаривая при этом: «годится на горшки?»

В этом году весной оставил Нижегородскую кафедру, назначенный архиепископом Донским, наш земляк, нижегородец, епископ Иоанн (Доброзраков), 11-й магистр II курса С.-Петербургской духовной академии, на котором первенцем оказался также наш земляк, нижегородец Иван Михайлович Скворцов, впоследствии профессор Киевской духовной академии и университета, сначала магистр, а потом доктор богословия, автор многих капитальных сочинений и учебника по канонике, который мы изучали в семинарии. Преосв. Иоанн[17] был также доктором богословия за свою «Священную герменевтику» (напечатанную в 1828 г.), и мы, нижегородцы, гордились ими обоими. Преосв. Иоанна я никогда не видал[18], но много слышал о нем от отца, наших родных и знакомых[19]. Преосв. Иоанн, судя по портрету, очень красивый лицом (чисто русского типа), по рассказам,

[17] Окончил курс СПб. акад. в 1817 г., 11-м магистром по списку; 1824 — ректор СПб. сем., 1826 — ректор. СПб. акад., 1830 — еп. Пензенский, 1835 — Нижегородский, 1847 — архиеп. Донской, 1867 — уволен на покой в Кременецкий Вознесенский монастырь, с пенсией 1,500 р. — как почему-то о нем одном замечено в «Списках архиереев, архиерейских кафедр...» Ю. В. Толстого, — вероятно, потому что это была усиленная тогда пенсия.

[18] Помню только, как теперь, раздавшийся в один действительно прекрасный день, кажется ранней весной, звон во всех церквах, по случаю, как мне сказали, отъезда Преосв. Иоанна на Дон.

[19] Между прочим, немало нам рассказывал о нем его товарищ по семинарии, наш довольно близкий родственник (родной дядя моей матери и родной брат нашей бабушке), И. С. Беляев, диакон села Павлова — весьма замечательная личность. Первенец того семинарского курса, на котором состоял Михаил (Доброзраков) (Преосв. Иоанн), окончивший семинарию, кажется 5-м или 6-м студентом, И. С. Б-в почему-то не попал в академию, а посвящен в диакона богатого села Павлова и здесь прожил всю жизнь. У нас в родстве считали его чуть не гениальным, и действительно он производил на всех нас впечатление человека необыкновенно умного, с весьма выразительным лицом, несколько саркастического склада. Когда Преосв. Иоанн сделался нижегородским епископом, он вызвал к себе бывшего своего товарища и предложил ему место священника, но И. С. Б-в не принял этого предложения и на всю жизнь остался сельским диаконом. Не принял потому (как я понял из разговоров родных, — я был тогда очень мал), что не хотел одолжаться бывшему своему товарищу. Об этом сельском диаконе рассказывал мне, уже когда я служил в Петербургской академии, наш также родственник, Н. И. Розов (родной его племянник, докт. медицины, бывший директор медицинского департамента), вот какой случай: «Заезжаю я в с. Павлово навестить своего дядю и застаю его, уже старца, летом, в меховой шубе, за чтением французского романа в подлиннике, т. е. на французском

очень красноречивый и остроумный, добродушный, веселого характера и очень общительный, любивший посещать граждан, даже купцов[20], пользовался в Нижнем большой любовью и уважением. К сожалению, его одолевали родные, которых было немало на его родине и которым он покровительствовал поневоле, в силу известной пословицы, и только это одно падало некоторой тенью на его блестящий образ, сохранившийся доселе таким именно в воспоминаниях нижегородцев.

Его преемник, Преосв. Иаков (Вечерков) — кандидат С.-Петербургской духовной академии следующего за Преосв. Иоанном III курса[21], представлял совершенную противоположность своему предшественнику. Высокий ростом, брюнет, еще без особенно большой седины, очень худощавый, аскетического вида, он производил впечатление древнего отшельника греческого Востока, и был очень почитаем нижегородцами за свою строгую жизнь. При нем я поступил в духовное училище.

Он любил посещать семинарию и училище. Был однажды и в моем II классе и попал к нам на урок по арифметике. Вошел он в наш класс как раз в тот момент, когда я был вызван к доске. Помню, сам он задал мне решить нетрудную задачу на сложение и вместе вычитание, и я верно ее решил, за что после ухода архиерея похвалил меня учитель (В.В. В-ий), заметивший при этом, что он очень боялся, справлюсь ли я с заданной мне работой. Преосв. Иаков очень любил также, чтобы ему представляли работы учеников нашего низшего класса по каллиграфии, почему в числе прочих представляли и мои, хотя они и не выдавались особенным изяществом; некоторые мои товарищи писали красивее меня. Кроме борьбы с расколом Преосв.

языке, чем, конечно, я был крайне удивлен». Вот какие в старину были сельские диаконы!

[20] Рассказывали, что и в наш приход он приезжал к одному купцу в гости и привозил с собой своих архиерейских певчих, для пения концертов во время трапезы, даже иногда и вечерней.

[21] У Чистовича И.А. в его «Истории С.-Петербургской духовной академии. 1858–1888» (СПб., 1889) «с правом на магистра» поставлен, однако, под № 20, среди магистров; 1819 — ректор. Екатериносл. сем., 1832 — еп. Саратов., 1847 — еп. Нижегор., † в 1850 г. мая 20, в сане архиеп., в С.-Петербурге, во время присутствования в Св. Синоде.

Иаков обращал особенное внимание на усиление проповедничества в местном духовенстве и поощрял ревностных проповедников, в том числе моего отца, который ему, кажется, первому из Преосвященных, представлял собрание своих поучений. Проповедовал и сам Преосв. Иаков, и проповеди его напечатаны, но я их не слыхал в его произношении с кафедры.

В училище я сразу же начал учиться хорошо, к великому удивлению моего отца, который никак этого не ожидал, полагая, что его сын совершенный тупица. Такое заключение он вывел из редких, нужно признаться, случаев проверки моих знаний по русской грамматике, которую я постоянно таскал с собой и дома и в прогулках по саду, так что совершенно ее истрепал, но не изучал. Строго следя за моим поведением, мои родители мало обращали внимания на мои учебные занятия, почему-то — вероятно, по недостатку времени, так как у них было очень много хлопот по дому и хозяйству. Во II классе нас учили: русской грамматике, катехизису, арифметике, чистописанию на русском, латинском и греческом языках, вероятно и церковному пению. Не помню, под каким номером по списку перешел я из II класса в III, но, во всяком случае, стоял очень высоко, одним из первых.

В III классе преподавались: латинский и греческий языки, российская и славянская грамматика, катехизис, арифметика, церковный устав и нотное пение. В III классе у нас было два параллельных отделения, и тут мы разлучились с Ф. Г. Ел-м; он попал в одно, я в другое. Я был счастливее Ф.Г. У нас, в нашем отделении, был прекрасный, можно сказать идеальный, учитель катехизиса, латинского языка и арифметики — С. П. Модератов[22]. Он пробудил в нас особенную любовь к латинскому языку, который знал прекрасно, и заложил в нас прочный фундамент знания этого языка. Отношения его к ученикам во многом отличались от обычных тогда, довольно грубоватых приемов. Относился он к нам, можно сказать, по-отечески, редко прибегая к обычным тогда розгам, всячески поощряя лучших учеников, приглашая их к себе, например по случаю своих именин, и раздавая им заранее приготовленные небольшие связочки гостинцев (пряников

[22] Окончивший семинарию первым студентом, но почему-то не попавший в академию (вероятно, по слабости здоровья). Он был очень уважаем не только в училище его коллегами, но и корпорацией семинарских наставников.

и т. п.), и это — из крайне скудного тогда учительского жалования[23]: Мы его очень любили и уважали. В III классе я был, кажется, несомненно уже первым по списку. Был, впрочем, тогда обычай, так называемый certo de loco, то есть заявлений учеников на высшее место, с пересаживанием с одного места на другое, высшее. Не помню, были ли случаи свержения меня с занимаемого мной места; вероятно, дело без того не обошлось.

В IV классе преподавались латинский и греческий языки, катехизис, священная история, география и арифметика. В IV классе не было параллельных отделений, в него перешли ученики из обоих отделений, почему мы снова соединились с Ф. Г. Ел-м, который учился также прекрасно, занимая одно из первых мест по списку. В IV классе, помню, первым сидел я на первой правой парте, ближайшей к учителю, то есть первым учеником, но в этом же классе (кажется, под конец двухлетнего в нем курса) произошла и потеря мною первого места: у меня явился сильный конкурент в лице сидевшего первым на левой парте И. Ф. Спасского, перешедшего из другого отделения III класса.

В IV классе у нас было два или даже три учителя (хорошо не помню): греческого языка — священник И. П. Ф-в (он же и инспектор), уступавший в знании своего предмета нашему любимцу С. П. М-ву; еще учитель русского языка, арифметики и географии (г. Р-в) и перешедший вместе с нами, или немного позднее, вышеупомянутый С. П. М-в, учитель латинского языка, катехизиса и священной истории. За точность распределения между ними предметов, впрочем, не ручаюсь, и даже за количество учителей: может быть, их было только два; не заменил ли г. Р-ва С. П. М-в? Главными у нас предметами считались древние языки — греческий и особенно латинский.

С. П. Модератов по-прежнему ревностно занимался обучением нас латинскому языку, и мы по-прежнему глубоко его уважали и лю-

[23] Вот жалование учителей с 1836 г.: в приходских училищах (I и II кл.) — 250 р. ассигн., в уездном (III и IV кл.) — 525 р., тоже ассигн., т. е. в первых двух — 6 р., а в последних — 17 р. на серебро в месяц (См.: Нижегор. дух. сем. в 1818–1840 гг., стр. 156).

били[24]. Перед окончанием IV класса он давал лучшим ученикам даже сверхурочные занятия, на каникулы (помнится, рождественские), переводить с латинского языка на русский сочинения латинских писателей: мне, например, дал он переводить сочинение De natura deorum. В этих переводах и вообще во всех письменных работах я всегда был сильнее, чем в устных ответах, а мой конкурент — наоборот, что учитель раз и заметил в присутствии всего класса[25]. Как бы то ни было, мой конкурент, И. Ф. С-ский, к концу курса IV класса отбил у меня первое место, и я окончил училище вторым учеником.

В 1850–1852 годах, в бытность мою в IV классе училища, Нижегородским епископом был Преосв. Иеремия (Соловьев, 1850–1857), преемник Преосв. Иакова и его постриженик по монашеству. Преосв. Иеремия[26] — весьма замечательная личность. Не был он

[24] Степень нашего уважения к нему показывает следующий случай. Как-то мы с Ф. Г. Е-м шли из класса домой по довольно пустынному месту и дорогой шалили, толкали друг друга и т. п. и не заметили, что сзади нас шел С. П. Окликнув нас, он укоризненно покачал головой и сказал: «Как не стыдно, а еще хорошие ученики». Этого было довольно, чтобы через несколько часов мы добровольно явились к нему, расплакались и попросили у него прощения, не из боязни, впрочем, наказания, которого и не ожидали, а просто потому, что нам стыдно было перед уважаемым учителем за наше уличное поведение.

[25] «Если бы С-кий писал „задачки“ так же хорошо, как К-ий, а К-ий так же хорошо отвечал на устные вопросы, как С-кий, то это было бы совершенство», — сказал С. П. Кстати, замечу, что то же самое явление наблюдалось в течение всей моей жизни, зависящее от моей застенчивости, ненаходчивости, а может быть и не особенно сильной памяти.

[26] Из воспитанников Орлов. сем., товарищ и друг знаменитого Иннокентия Херсонского, окончил курс СПб. акад. (VII к.) в 1827 г., но не принял никакой ученой степени. Это факт общеизвестный и несомненный. В списке этого курса (см.: Чистович И.А. «История С.-Петебургской духовной академии...») иеродиакон Иеремия Соловьев поставлен последним (вслед за тремя студентами, которым присвоено право на получение степени канд. через один год с одобрением по должности и поведению), без всякой прибавки. В 1827 — законоуч. 2-го кадетского корпуса, в 1829 — бак. СПб. акад. по классу богословских наук, в 1830 — инспект. Киев. акад., в 1835 — рект. Киев. сем., в 1839 — рект. Киев. акад., в 1841 — викарный еп. Чигирин., в 1843 — еп. Кавказ., в 1849 — Полтав., в 1850 — Нижегор., с 1857 до 1884 г. — на покое, то есть в течение 27-ми лет, † в 1884 г., 6 дек., 83-х лет.

ни церковным оратором, хотя владел хорошим даром слова и высоко ценил и поощрял ревностных проповедников; не был он и замечательным ученым-богословом. Но он был человек высокой духовной жизни и непреклонного характера, проникнутый идеей величия епископской власти. Необыкновенно, неподражаемо величественный при совершении богослужения, любивший благолепную его торжественность и вообще пышность обстановки и в храме, и у себя дома, он был, однако, в душе аскет, что и обнаружилось с особенной ясностью при удалении его на покой (1857). Впрочем, о Преосв. Иеремии еще много придется мне говорить впоследствии, при обозрении семинарского периода (1852–1858) моей жизни, который почти вполне совпадает со временем его пребывания на Нижегородской епископской кафедре.

При нем нас, учеников училища, нередко посылали в кафедральный собор и крестовую церковь присутствовать при архиерейском служении. Эти богослужения производили необыкновенно сильное впечатление, чему всего более содействовала личность самого Преосвященного, его величественная осанка, высокий рост, очень благообразное лицо, проницательный взгляд и крайне симпатичный голос, высокий, довольно сильный, но нежный тенор. Всего более трогало меня и умиляло, когда, выйдя на амвон с дикирием и трикирием в руках, он произносил с неподражаемым выражением, каким-то проникновенным голосом известные слова: «Призри с небесе, Боже, и виждь...». Вообще, мне никогда не приходилось видеть такого архиерейского служения, несравненного по чувству и красоте.

Преосв. Иеремия зорко следил за поведением духовенства, не только при исполнении им своих обязанностей в храме, но и за домашней его жизнью. С этой целью он нередко посещал жилища духовных лиц, причем от проницательного его взора ничто не ускользало. И горе было тому, у кого он находил беспорядок в доме. Было раз и у нас, в нашей диаконской квартире, в церковном доме[27], и хотя все

---

[27] Куда наше семейство переселилось из нашего собственного маленького дома и где у нас было уже 4, даже 5 (с большой кухней) просторных комнат. В этой квартире также жило у нас несколько учеников училища, моих сверстников, помнится трое. Из них, кроме Ф. Г. Е-го, нашего близкого родственника, было еще двое чужих. Родители их упросили моих родителей принять их на наше попечение.

нашел в порядке, но все-таки сделал одно замечание по поводу вышитых моей сестрой, разноцветными шерстями, и висевших на стенах картин, в рамках, с изображением какого-то святого и птиц (петуха и попугая). Первая работа заслужила его одобрение, вторая — порицание. И такого рода посещения имели место не только во время его служений в приходских храмах, но нередко были и внезапными, хотя отцы благочинные и старались, по возможности, предупреждать тех, кому готовился визит Преосвященного.

В приходских церквах Преосв. Иеремия служил часто. Служил, помнится, раз и в нашей Сергиевской церкви, и даже произнес сам проповедь, что бывало нечасто. Не поэтому ли наш храм удостоился его проповеди, что имел известного ему диакона-проповедника?

Преосв. Иеремия часто навещал семинарию и училище. Бывал и в нашем IV классе и, кстати сказать, оказывал мне видимое благоволение, без сомнения потому, что знал моего отца. К окончанию нами этого класса он пожелал несколько лучших учеников (в том числе меня, Спасского, Ф. Г. Елеонского, В. Я. Рожанского, впоследствии бакалавра Казанской академии), посвятить в стихарь, что и совершилось в Вербное воскресенье, в Крестовой церкви архиерейского дома. Этого прежде не бывало, — обыкновенно посвящали в стихарь уже в семинарии, в «философском» или даже «богословском» классах (так называли тогда средний и высший классы семинарии).

Этот Преосвященный любил вообще пышную обстановку, выходя при этом, вероятно, из идеи величия епископского сана, — ибо в душе, как сказано, он был аскет. Он носил великолепные бархатные рясы. А в великие праздники Рождества Христова и Пасхи — среди торжественного собрания знатнейших лиц из местного духовенства, начальствующих и преподавателей всех духовно-учебных заведений города, в архиерейских его покоях, — любил, чтобы приветствовали его воспитанники не только семинарии, но и училища — на разных языках: русском, латинском, греческом и др. И мне не раз приходилось произносить эти речи даже в училище, а потом в семинарии. Помню, раз, когда я был в IV классе училища, назначена была мне речь на греческом языке к 1 мая, ко дню ангела владыки, но он заболел, и речь, составленная, конечно, учителем и мной уже выученная, произнесена не была.

Из замечательных случаев моего ученья в IV классе врезался у меня в памяти спор нашего о. ректора, магистра академии, протоиерея Лебединского со много раз упоминаемым мною учителем С. П. М-м, — кажется, на экзамене по катехизису, — спор о древе познания добра и зла и о древе жизни, об естественных или сверхъестественных их свойствах. Что утверждал один из диспутантов и что другой — изгладилось из памяти. Помню только, что о. ректор очень вспылил на учителя, ему противоречившего, и в доказательство справедливости своего взгляда на предмет спора ссылался на академические лекции, а С.П., оставаясь сравнительно спокойным, не уступал ему, продолжая развивать свою мысль. Этот спор произвел на нас сильное впечатление, и мы удивлялись, как семинарист решился спорить с академистом, да еще начальником. От этого спора наше уважение к любимому и почитаемому учителю, конечно, не убавилось.

Из лучших учеников IV класса, живших на квартирах, назначали в то время так называемых «старших», которые являлись как бы помощниками инспектора по наблюдению над такими же учениками того же класса, но худшими, а равно и над квартирными учениками других младших классов. Назначались они для надзора, для посещения квартир во время вечерних занятий учеников и для наблюдения за аккуратным посещением ими богослужений и чинного, группами, стояния их в храме. Таких «старших» было немало, человек пять-шесть; определены были районы их деятельности в зависимости от местности, где были их собственные квартиры; обыкновенно соединялось несколько приходов под одно старшинство; у меня, помнится, было четыре прихода, включая и мой (Сергиевский). Эти квартирные старшие в известное время подавали инспектору рапорты о том, все ли обстояло благополучно в их участках. Этого рода обязанности немало поднимали наш дух, льстили нашему маленькому самолюбию, и мы не без важности посещали ученические квартиры и ходили по церквам наших районов.

Но если быть квартирным «старшим» не лишено было приятности, то быть так называемым «нотатором» и, особенно, дежурным в классе положительно не доставляло никакого удовольствия. Несколько льстя самолюбию, то и другое сопряжено было с ответственностью и сопровождалось иногда неприятными последствиями.

«Нотаторы» были во всех классах училища. Они назначались также из лучших учеников и обязаны были перед приходом учителя спрашивать и выслушивать у порученных им учеников (обыкновенно пять-шесть), их же товарищей, ответы на заданный урок и затем отмечать степень их знания в особых листках условными знаками: sc., err., nt., ns. (то есть: знает, с ошибками, не всё, не знает). Нотатор, в свою очередь, подвергался тому же со стороны другого своего товарища. Понятно, как было трудно нотатору быть справедливым в оценке знания своих товарищей, не поддаться чувству дружбы, жалости, а иногда и искушениям в виде маленького подкупа сластями, булками и т. п. А между тем, неверная отметка в «нотате» грозила нотатору наказанием: самое малое — стояньем столбом или на коленях, а то и розгами, судя по строгости и темпераменту учителя.

Но самое неприятное было — дежурить по классу, то есть отвечать за порядок и тишину в классе. Наши училищные классы помещались в нижнем этаже здания семинарии, а в верхнем — были классы семинарии с квартирами ее ректора и инспектора. Когда шумели у нас в классах, слышно было по всему зданию, и по этому поводу к нам заглядывало нередко и семинарское начальство. Помню, раз, в каком-то из классов отворяется дверь и показывается гневное лицо о. ректора семинарии, знаменитого (по Нижегородской семинарии, 1842–1851) архимандрита Аполлония (Матвеевского)[28], которого я тут только в первый раз видел, да еще потом — при богослужениях в семинарской церкви. В другой раз, уже в IV классе, когда я был дежурным (а дежурить тогда приходилось мне, чуть ли не бессменно), спустился вниз из своей квартиры, помещавшейся как

[28] О. Аполлоний был весьма замечательной личностью; в истории Нижегородской семинарии он составил целую эпоху, так что справедливо посвящен ему целый почти том «Нижегор. дух. сем. 1840–1851 гг.». Уроженец Екатериносл. губ., канд. Киев. акад. (1829–1833), учитель и инспект. Псков. сем. (1833–1842), ректором Нижегор. сем. был в течение 9 лет — с 1842 по 1851 г. После отставки от ректорства был назначен настоятелем московс. Симонова монастыря, которым и пробыл почти 10 лет, до своей кончины в 1861 г. По твердости, непреклонности характера он мог поспорить с Преосв. Иеремией, а по необыкновенным административным способностям, по энергии и умению привести семинарию в блестящее, во всех отношениях, состояние, был личностью вполне редкою, необыкновенною.

раз над нашим классом, инспектор семинарии — о. иеромонах, или игумен, Паисий — и, выведенный из себя страшным шумом в классе, потребовал меня как дежурного, ответственного за тишину в классе, и расправился со мною за всех моих шалунов товарищей, собственноручно; тем дело и кончилось. О. Паисий, впрочем, был человек добрый, но только очень вспыльчивый, и впоследствии, когда был ректором семинарии, очень благоволил ко мне; при нем я окончил курс семинарии и потому мне придется еще говорить о нем.

Для перехода из училища в семинарию были ли особые экзамены, с участием делегатов от семинарии, не припоминаю; были, кажется, обычные экзамены, только несколько более строгие, чем в другие годы. Правда, смутно помню одного ревизора от Казанской академии, ревизовавшего семинарию и училище, архимандрита Антония (Радонежского)[29], и бывшего у нас на экзамене, но это было в 1850 г., следовательно, когда мы были в III классе. При окончании училищного курса лучшим ученикам выдали в награду книги, купленные, впрочем, на наш счет и по нашему выбору. По совету отца я купил для себя том творений св. Тихона Воронежского. Такой оригинальный способ награждения объясняется, конечно, тогдашней крайней скудостью денежных средств, находившихся в распоряжении училищного начальства. Этим же объясняется и то, что мы сами должны были выполнять работу училищной канцелярии, которой, вероятно, и не было совсем: при выпуске из училища нам приказано было собственноручно переписать наши документы для представления в семинарское правление. Когда это было сделано, нас отпустили с миром. Это было 15 июля 1852 г. Вакации в мое время всегда

[29] Антоний (Радонежский), родом нижегородец, 8-й маг. Моск. акад. (1834), сначала (1834) — инспект. Нижегор. сем.; потом, уволенный от инспекторства административным порядком, остался простым ее преподавателем. В 1842 г. перемещен в Яросл. сем., 1834 — бак. Казан. акад., 1846 — орд. профессор. В этот период времени (1850) он и был назначен от Казан. акад. ревизором в Нижний. Ректор Аполлоний его игнорировал, не дал ему даже квартиры в семинарии — словом, не признавал его ревизором и не исполнял его распоряжений, почему, несмотря на все свои заслуги, был уволен (1851) на покой. Архим. Антоний был потом ректором Перм. сем. (1851–1854), Яросл. (1854–1858); еп. Оренбург. (1858–1862), членом моск. Синод. конт. (1862–1866), в 1866 г. уволен совсем на покой.

начинались с этого времени и оканчивались 1 сентября. Трудненько было в мае, июне и до половины июля сидеть в душных классных комнатах, да еще как никак работать головой, когда тянуло на воздух, в сад, в поле, к играм.

В заключение несколько слов о помещении училища — здании семинарии, семинарском дворе, наших на нем детских играх и наконец об общем впечатлении, вынесенном из учения в училище.

Пока я учился в училище, ректором семинарии был вышеупомянутый архимандрит Аполлоний, превосходный хозяин, приведший здание семинарии (кстати сказать, и доныне вмещающее ее) в блестящее состояние: и в классах, и в коридорах была чистота и полный порядок. Только воздух во всем здании семинарии был очень плох, вследствие первобытного устройства известных мест уединения. Впрочем, в то время как будто и воздух был в ней лучше, чем тогда, как я в ней учился как ученик уже семинарии, то есть после ректора Аполлония.

Обширный семинарский двор содержался также в порядке. На нем мы резвились, забавлялись играми: в камешки, в «чижа»[30] и в лапту. Во дни рекреаций, — испрашиваемых учениками семинарии у их начальства (и непременно с пением слов: rogamus, rogamus, reverentissime pater Rector, recreationem) и простиравшихся и на нас, учеников училища, — иногда заставляли нас переносить дрова с семинарского двора в сараи. По большей же части мы или уходили отдыхать домой, или отправлялись в поле, близ Печерского монастыря, и туда же являлось и наше начальство и учителя, помнится, даже с некоторым угощением для нас (пряниками, орехами и т. п.).

---

[30] Игра в камешки — игра еще малышей, учеников I и II классов. Она состояла в подбрасывании и ловле рукой камешков, от одного до пяти, так, чтобы пойманные поочередно — оставались все в той руке, которой ловили и из нее не выпадали. Игроки обыкновенно сидели около стен здания, чтобы не видело их начальство. Игрой в «чижа» занимались и более взрослые. «Чиж» — небольшая, заостренная с обоих концов палочка, которую один бьет большой палкой по концу, палочка летит вверх, а другой партнер стоит против и, если удастся, ловит ее. Играя в эту игру с Ф. Г. Ел-м, на семинарском дворе, помнится, под прикрытием поленниц дров, тут стоявших, я подвергся раз большой опасности: чиж попал мне в глаз; вероятно, я его ловил. К счастью, я отделался только большим синяком. Дома объяснил этот синяк случайным ушибом об дверь в училище.

Нравы и поведение учеников, как казеннокоштных, так и своекоштных, живших на квартирах, хотя и были грубоваты, но далеко не были похожи на те, которые рисуются в известных очерках бурсы Помяловского, так что по приезде в С.-Петербургскую академию и по прочтении этих очерков я не хотел верить, чтобы могло быть нечто подобное, да еще в столичном духовном училище. К сожалению, из бесед с новыми товарищами-петербуржцами я должен был убедиться, что изображение бурсы у Помяловского близко к истине, и удивлению моему не было конца. Отношение учителей к ученикам в нашем училище было, по тому времени, очень гуманное. Хотя порядочно нас секли, но жестоких, повальных порок у нас совсем не было. И вот доказательство: я ни разу не был наказан розгами. Только один раз был к тому близок, именно во II классе. Учитель по поводу не совсем твердого знания мной урока из русской грамматики заметил: «Кажется, я ни разу тебя не высек, а следовало бы хоть раз», но так и не привел своего намерения в исполнение.

Вообще, считаю себя и своих товарищей счастливыми, что учились в Нижегородском духовном училище.

II. В Нижегородской духовной семинарии (1852–1858)

Шесть лет моего учения в Нижегородской семинарии заслонены и отодвинуты последующими впечатлениями и событиями моей жизни, в такую даль, что стоило большого труда воспроизвести в памяти и изложить в должном порядке и по возможности фактически верно все то, что касается учебной части этого периода моей жизни.

В особенности спутывались воспоминания относительно предметов преподавания и, отчасти, преподавателей. Отлично всегда помнил, какие предметы составляли тогда полный семинарский курс, а также и всех преподавателей тогдашнего времени, их наружность, фамилии, и (за исключением троих) даже имена и отчества. Но путалось в памяти: какие именно предметы (кроме главных и некоторых других) преподавались в каждом из трех тогдашних двухгодичных классов, — низшем, среднем и высшем, какие переходили из класса в класс и какие соединялись в одном лице преподавателя, что было неизбежно, в виду огромного количества предметов тогдашнего семинарского курса, доходившего до тридцати. И если, как увидит читатель, мне удалось все-таки многое припомнить и фактически и даже хронологически по возможности точно восстановить облик старой семинарии, с ее тогдашней программой преподавания, преподавателями, начальниками и попечителями, в лице епархиальных Преосвященных, то этим во многом обязан следующим счастливым обстоятельствам.

Во-первых, у меня оказались под рукой прекрасно составленные книжки по истории Нижегородской семинарии за 1818–1840

и 1842–1851 годы[31], за время, правда, предшествовавшее 1852–1858 годам, но весьма к ним близкое. Эти книжки чрезвычайно оживили мои воспоминания, весьма многое напомнили мне из далекого прошлого. А затем, очень ценное пособие получено мною от досточтимого о. ректора Нижегородской семинарии, протоиерея И. М. Померанцева, к которому я обратился с просьбою, не найдет ли он возможным попросить кого-либо из служащих в семинарии собрать в ее архиве сведения относительно предметов преподавания и преподавателей в каждом из трех классов семинарии моего времени. О. ректор сам взял на себя этот немалый труд, за что не могу не принести ему глубочайшей сердечной благодарности. Биографические сведения относительно преподавателей я почерпал из других источников[32], кроме сохранившегося у меня в памяти.

Переход из училища в семинарию внес в нашу жизнь много нового: новые предметы изучения, другие приемы преподавания, отсутствие авдиторов (нотат и нотаторов), розог и появление новых

---

[31] «Нижегородская духовная семинария в 1818–1840 гг.» (Н. Новгор., 1905) и «Нижегородская духовная семинария в 1842–1851 гг.» (Н. Новгор., 1903). Добавлением к ним служит «Краткая памятная историческая записка Нижегородской духовной семинарии» (Н. Новгор., 1905). Последняя подписана: «А. Тихов». Очевидно, ему же принадлежат и две первые. Это довольно большие книжки (186 стр., 268 стр. и третья — 81 стр.) содержат массу прекрасно и всесторонне разработанного материала, вдобавок очень хорошо изложенного, так что читаются с захватывающим интересом не только нижегородцем по рождению и по образованию в этой семинарии, но, смею думать, могут быть прочитаны с таким же почти интересом и всяким, серьезно интересующимся нашей духовною школою. Поистине жаль, что автор этих талантливых трудов, так умело занимавшийся архивными изысканиями и с любовью к ним относившийся, теперь, как слышно, потерян для духовного ведомства, которое не сумело удержать его у себя. Он перешел на службу по министерству народного просвещения. Не умеют у нас ценить хорошие силы, добрых, всецело преданных своему делу работников, в которых главным образом — наше спасение от всех наших зол, а не в проектах и новых уставах, как бы ни были хорошо они написаны на бумаге.

[32] Много помогли мне в этом случае вышеуказанные истории родной семинарии, а также истории наших четырех духовных академий, с приложенными к ним списками окончивших в них курс их питомцев, и некоторые другие пособия. Истории Киевской академии я не имел, но в руках у меня был отдельный оттиск статьи «Списки начальников и наставников Киевской духовной академии» — до XXV курса (1869) включительно.

товарищей из других нижегородских епархиальных духовных училищ: Печерского (в том же Нижнем, но за городом, в Печерском монастыре), Арзамасского и Лысковского. Эти новые товарищи внесли в нашу среду большое оживление и для лучших учеников явились конкурентами на высшие места в списках, что вскоре и обнаружилось. Переход в семинарию, наконец, почти совпал с большим переворотом в нашей семейной жизни. Только несколькими месяцами позже моего перехода в семинарию мой родитель посвящен во священника к другой церкви (апрель, 1853) — Георгиевской, и мы перешли по этому случаю на жительство из одной части города в другую, более центральную, видную и близкую к семинарии.

За исключением этих новостей, все остальное, что касается внешней обстановки учебной жизни, осталось прежнее. Остались мы в прежнем здании семинарии, даже, что касается лично меня, — в том же коридоре здания, где помещались училищные классы; перешел я только с одной стороны коридора на другую, с левой от входа, с окнами на улицу, где помещалось училище, на правую, с окнами во двор. Здесь находилась классная комната 2-го отделения низшего класса, или словесности, как тогда обыкновенно называли этот класс[33]. В это 2-е отделение попал я, вероятно, потому, что был вторым учеником по училищу, первого же ученика, И. Ф. С-го, назначили в 1-е отделение; туда же зачислен был и мой близкий родственник и товарищ детства Ф. Г. Ел-ий, бывший по списку в училище, вероятно, третьим или пятым (нечетные попадали в 1-е, четные номера — во 2-е). Это 1-е отделение помещалось хотя в том же здании и в том же нижнем этаже, как и наше 2-е, но уже на правой стороне от входа и выходило окнами не во двор, как наше, а на улицу. Эти два отделения существовали во всех трех классах семинарии (низшем, среднем и высшем),

[33] Второй — средний — назывался философским, третий — высший — богословским. Такие названия удерживались не только в разговорном языке, но даже в литературном, что видно из упомянутых «историй Нижегор. сем.», где встречаются эти наименования постоянно и редко официальные названия: низший, средний и высший. Я даже забыл эти официальные названия и вспомнил о них только тогда, когда перебирал уцелевшие семинарские мои сочинения, или «задачки», как их тогда называли, с надписями: ученик низшего, среднего класса А.К. В высшем, богословском, классе почему-то не встречается название класса, а стоят только имя и фамилия.

имели отдельные классные комнаты[34] и отдельных преподавателей. Только в редких случаях ученики обоих отделений соединялись в одно, в отсутствие преподавателя какого-либо отделения, по случаю или его отставки, до прибытия другого, или болезни.

Низший класс семинарии, или класс словесности: 1852/3–1853/4 учебные годы. В этом классе преподавались: словесность (или офиц. название — «риторика и поэзия»), всеобщая история, алгебра, геометрия и пасхалия, «катехизическое учение» (Православное Исповедание Петра Могилы), «о богослужебных книгах», Св. Писание, греческий и латинский языки[35].

Из преподавателей этого класса самым влиятельным и очень хорошим нашим наставником был А. А. Крылов[36], профессор[37] словесности, главного предмета его класса. Он был большим любителем

---

[34] Низшего и среднего классов комнаты помещались в нижнем этаже, высшего — в среднем, бельэтаже, где были: зал собрания, правление и квартиры ректора и инспектора. Помнится, мы, словесники, с завистью смотрели на старших учеников, спускавшихся по лестнице с верхнего этажа, и мечтали о том, когда и нам придется подняться наверх. Впрочем, кажется, одно из отделений философского класса имело классную комнату также в верхнем этаже.

[35] Названия: «риторика и поэзия», «катехизическое учение» и «о богослужебных книгах» приводим по таблице, приложенной к «Своду уставов и проектов уставов духовных семинарий 1808–1814, 1862, 1867, 1884 и 1896 гг.» (СПб., 1908).

[36] А. А. Крылов, курский уроженец, 19-й маг. XIX курса СПб. акад. (1851). [Как в этом, так и во всех нижеследующих местах цифра при слове «канд.» или «маг.» означает номер всего академического списка, начиная с 1-го магистра]. Впоследствии — свящ. нижегор. Рождественской ц., прот. и законоуч. нижегор. Мариинского института благород. девиц и, наконец, законоуч. нижегор. Аракчеевского кадетского корп., скончался в 1900-х годах, вскоре после своего 50-летнего юбилея, через год или два. Он имел в конце своей жизни редкие для провинциального духовенства награды: ордена св. Анны 1-й ст. и даже св. Владимира 2-й ст., благодаря, без сомнения, своей службе в военно-учебном заведении.

[37] Так назывались тогда семинар. преподаватели, имевшие степень магистра. Так они и подписывались в классных журналах. Кандидаты же подписывались или просто именами и фамилиями (чаще всего), или прибавляя к ним слово «учитель» (реже всего). Помню, что и А. А. К-в, до утверждения степени магистра и получения о том уведомления, с высылкой одновременно и диплома, подписывался словами «А. К-в». Но вот в один из дней какого-то года, вероятно 1852, его вызывают из нашего класса, затем через несколько минут он возвращается заметно веселый, с улыбающимся лицом, и после звонка подписывается

чистоты и изящества слога, врагом иностранных выражений («галлицизмов») и в этом отношении был достойным учеником профессора К. И. Лучицкого, по С.-Петербургской академии, у которого я также потом учился. А. А. К-в начал наше обучение с предложений и простых периодов, потом условных, уступительных и пр., хрий и т. д., затем перешел к разным родам словесных произведений, описаниям, повествованиям и т. д. и к характеристике разных слогов: простого, возвышенного... Образцы заимствовал преимущественно, почти исключительно, из Св. Писания и творений св. отцов, в чем вероятно сказалось влияние Преосв. Иеремии. Перейдя к поэзии, знакомил нас сначала с различными размерами стиха, а потом с различными родами поэтических произведений: басней, балладой, одой, с различными родами поэзии — лирической, драматической, романом и т. д. Образцы стихов заставлял заучивать, вроде Державинской оды «Бог». Пробовал он нас и в способности сочинять стихи. Помнится, задал он нам задачу — переложить какую-то басню, выразить ее своими словами, но в стихотворной форме. Несмотря на массу положенного труда, мой опыт оказался весьма плачевным, даже по моему собственному сознанию, а от преподавателя я получил следующую рецензию на своей «задачке»: «Автор не имеет способности писать стихи, лучше ему писать прозою». У некоторых же моих товарищей такая способность оказалась, в особенности у И. Тихомирова и П. Румянцева. А. А. К-в составлял собственные записки по своему предмету, выдавая листки их к каждому новому уроку. Добывать их для списывания составляло большую заботу для нас, в особенности для своекоштных учеников, живших в разных частях города, нередко далеко от семинарии. Хотя наш профессор словесности не отличался особенною глубиною мысли и в этом отношении уступал своему коллеге по 1-му отделению, также магистру Д. И. Страхову[38],

---

в журнале уже «Проф. А. К-в». Мы тогда сейчас же догадались, что он только что получил уведомление о высылке ему магистерского диплома.

[38] Д. Ив. Страхов, нижегор., 9-й маг. II курса Казан. акад. (1848), 1848–1852 — препод. Симбир. сем., с 1852 по 1858 — Нижегор. сем., 1856 — свящ. Георгиевской ц., 1858–1867 — законоуч. Мариинской жен. гимназии, 1867–1878 — смотрит. Нижегор. дух. учил., 30 лет был прот. настоят. Вознесенской ц. в Нижнем, † 1894.

но в общем, нужно признать, что он был более на своем месте, чем этот последний, которому следовало бы быть преподавателем логики и психологии, а не словесности. Указанный выше недостаток нашего наставника, вообще нами уважаемого и довольно любимого, несмотря на его насмешливый характер, почувствовался нами в особенности на последнем экзамене по словесности (в 1854 г.), происходившем в присутствии ревизора от Казанской академии, архимандрита Серафима (Протопопова)[39], как оказалось, профессора академии именно по кафедре словесности. Архимандрит Серафим, очень худощавый, весьма болезненный по виду, производил своим лицом и особенно глазами впечатление очень умного человека. Мне пришлось отвечать о драматической поэзии. Я передал то, что было у нас в записках, но о. ревизор не нашел удовлетворительным наше определение драмы, а дал свое, поразившее меня своей глубиной и резко выделившее ее из ряда других поэтических произведений. Вот подумал я тогда, какая громадная разница между академическим и семинарским преподаванием.

Большой симпатией и уважением пользовался у нас преподаватель всеобщей гражданской истории, профессор Николай Васильевич Охотин (Преосв. Гурий, скончавшийся потом в сане Новгородского архиепископа), магистр С.-Петербургской академии[40], благороднейшая по характеру личность и очень хороший преподаватель[41]. Трудно было преподавать такой предмет, который имел своим учебником жалкую историю Кайданова. Мы старались восполнять недостатки этого несчастного учебника чтением истории Лоренца. В памяти

---

39 Семен Иванович Протопопов (в мон. — Серафим), москвич, 6-й маг. XIV к. Моск. акад. (1844), 1844 — бак. Казан. акад. по общ. слов., 1847 — монах, 1854 — инспект. Моск. акад., 1855 — ректор. Симбир. сем., 1856 — Твер., 1866 — вик. Старор., 1869 — еп. Смоленский.

40 Н. В. Охотин, симбир., 15-й маг. XX к. СПб. акад. (1853), 1853 — препод. Нижегор. сем., 1855 — инспект. Симбир. сем., 1874 — прот. (без вступления в брак), ректор. Симбир. сем., 1889 — архим. и еп. Смоленский, 1896 — председ. Училищ. совета при Св. Синоде, с управлением моск. Донским мон., 1900 — архиеп. Новгород., 1904 — член Св. Синода. † 1910.

41 До него, короткое время (до конца 1852 г.), преподавал этот предмет П. И. Казанский, костр., 15-й маг. XVIII к. Моск. акад. (1853), в 1853 — свящ. в Москве.

остался у меня урок из истории французской революции. Н. В. Ох-н, сидя на учительском кресле, держал перед собой какую-то книжку и довольно медленно, но складно передавал ее содержание. Очевидно, он переводил с французского оригинала. В 1-м отделении читал этот предмет гораздо более слабый наставник, В. Ф. Никольский[42].

Но зато это отделение имело перед нашим 2-м большое преимущество в личности своего наставника по классу математики (алгебры, геометрии и пасхалии) и соединенных с ней предметов, Прав. Испов. и «о богослужебных книгах», — кандидата А. И. Остроумова[43]. Он был способным преподавателем, хорошо знал и любил свой предмет — математику и очень усердно занимался со своими учениками; выдавал даже собственные записки по этому предмету. Не то представлял наш преподаватель, также кандидат, И. С. Тихонравов[44], попавший, очевидно, не на свое место, человек уже очень пожилой, товарищ по семинарии (1834) моего отца, а главное — любитель не математики, а археологии и особенно этнографии, усердный собиратель этого рода сведений, побуждавший и нас к тому же, но не довольно усердно занимавшийся своим прямым делом, притом же очень вспыльчивый, неровного характера. Результатом было то, что мы совсем не знали математики. На классе ее мы занимались чем попало. Помню, что мой товарищ и конкурент на первенство, чувствовавший, однако, ко мне симпатию, Апол. Ив. Смирнов (впоследствии ординарный профессор Казанского университета по философии) вздумал обучать меня французскому языку, который он уже знал, казалось мне,

---

[42] В. Ф. Никольский, нижегор., 36-й канд. XIII к. Моск. акад. (1842), 1842–1853 — в Нижегор. семин., 1853 — выбыл, был настоятелем нижегор. Рождественской ц., † 1881.

[43] А. И. Остроумов, нижегор., 20-й канд. III к. Казан. акад. (1850), 1850–1860 — в Нижегор. сем., 1861–1878 — прот. гор. Василя, 1878–1885 — служил в нижегор. Варварской ц., 1885 — в Архангельском соб., член консистории, † 1892. Не помню, чтобы кому-либо из наших наставников давались у нас прозвища, но А. И. О-в имел его, правда безобидное, касавшееся одной его внешности. Всегда чем-нибудь испачканный, преимущественно мелом, он имел прозвище «мазилка». Он был экономом семинарии с 1852 г. до несчастного для нее 21 авг. 1858 г. (см. далее), после чего уволен от этой должности.

[44] И. С. Тихонравов, нижегор., 39-й канд. XI к. Моск. акад. (1838). Служил в сем. до 1864 г. Других сведений о нем не имеется.

порядочно, а я совсем не знал. Несколько классов прошло для нас благополучно, но наконец И.С. заметил наши занятия и прогнал нас навсегда с первых мест (я был первым, А. И. С-в вторым учеником) на одну из задних парт и, кажется, еще поставил на колени.

Кто был преподавателем Св. Писания в этом классе, не помню; из архивной же справки тоже не видно ясно. Думаю, что — Пор. Ас. Владимирский[45], кандидат, также человек пожилой и также товарищ моего отца по семинарии, но окончивший курс позднее его (1836), потому что оставался в одном из классов на второй год, человек гораздо более сохранившийся, чем И. С. Т-в, несравненно более спокойного, благодушного характера, знавший свой предмет и любивший его. В этом классе преподавались исторические книги Св. Писания Ветхого Завета и законоположительные.

Латинский язык соединен был со словесностью, а греческий обыкновенно соединялся со Св. Писанием, но у нас преподавал его особый наставник — магистр Ип. Ив. Световидов[46], человек невозмутимого характера, холодного темперамента и важной, гордой осанки, за что, вероятно, и не возлюбил его Преосв. Иеремия, вообще же хороший преподаватель. Помню, мы переводили по греческой хрестоматии отрывки из творений св. Иринея Лионского.

Новые языки и еврейский были не обязательны для всех, о них сказано будет в конце обозрения всего учебного курса.

Из сочинений, которые мы писали на задаваемые темы, сохранились у меня почти все. Меньше всего осталось, конечно, из риторического класса, так как не было интереса сохранять упражнения в составлении периодов, хрий и т. п. Первое, сколько помнится, мое словесное произведение, признанное А. А. Крыловым весьма удачным, лучшим из написанных моими товарищами, было «описание

---

[45] П. А. Владимирский, нижегор., 34 канд. XII к. Моск. акад. (1840), в Нижегор. сем. — до 1855, с 1856 по 1868 — свящ. Никольской ц., 1868–1881 — прот. ярмароч. Спасского соб., 1881–1906 — кафедр. прот., † 1906. В конце своей очень долголетней жизни он имел редкие для провинциального духовенства отличия: ордена св. Анны 1-й ст. и св. Владимира 2-й ст.

[46] И. И. Световидов, нижегор., 20-й маг. XII к. Моск. акад. (1840), в сем. — до 1853, 1854–1856 — прот. гор. Макарьева, 1856–1859 — прот. ярмароч. соб., 1880 — кафедр. прот., † 1880.

Благовещенского монастыря» — по образцу известного описания Печерского монастыря гр. Соллогуба. Далее — «Рассуждение из XI члена Символа веры: чаю воскресения мертвых» (с обозначением на полях: приступ, разделение, исследование, 1-е доказательство, 2-е, 3-е и заключение). «Разговор отца с сыном об Ангеле Хранителе». «Характер крестовых походов». Рецензии профессора А. А. Крылова. Последнее сочинение написано на тему Н. В. Охотина († архиеп. Гурия), профессора общей гражданской истории.

Из низшего класса в средний — философский — я перешел первым учеником, Ап. Ив. Смирнов — вторым, а В. Я. Рожанский, впоследствии бакалавр Казанской академии, — третьим по списку.

Средний класс — философский: 1854/5–1855/6 учебные годы. В этом классе преподавались: логика и психология (1-й год), патристика (2-й), библейская история, русская гражданская история, физика, естественная история и сельское хозяйство, Св. Писание (книги учительные и пророческие Ветхого Завета), греческий и латинские языки.

Главными предметами были логика и психологи с патристикою. В нашем 2-м отделении преподавал эти предметы, вместе с латинским языком, магистр А. Ф. Лазаренко[47]. Он выдавал собственные, хорошо составленные записки, а когда не спрашивал учеников по заданному уроку, говорил лекции, на манер академических, без тетрадки, ходя по классу. Владел он даром слова, говорил простым, ясным русским языком, без иностранных выражений, довольно глубоко входил в предмет и вообще был прекрасным преподавателем, да и характера был благородного, симпатичного. Из его преподавания многое помнится, в частности — о магнетизме, и месмеризме, из патристики — об александрийской школе. К концу курса в этом классе он дал нескольким лучшим ученикам, помнится троим, первым по списку, особые темы для «курсового», как он выразился, сочинения. Замечательно, что мне он дал разбор «Огласительных и тайноводственных поучений св. Кирилла Иерусалимского», как будто предугадывая мою склонность к богословским предметам, тогда как Ап. Ив. Смирнов — тему философского

[47] А. Ф. Лазаренко, черниг., 13-й маг. XVI к. Киев. акад. (1853), в Нижегор. сем. — 1853–1862, перешел потом на службу в Чернигов и был советником губ. правления.

характера (какую, не помню), что также соответствовало настроению этого моего очень даровитого товарища, бывшего впоследствии, как сказано выше, профессором по философии в Казанском университете. Моим сочинением, довольно больших размеров, тщательно и искусно (с выборкой самого существенного и характерного в этом творении св. отца) составленным и очень стройно и хорошо изложенным, А. Ф. Л-ко остался весьма доволен и положил на нем рецензию: «прекрасное сочинение». Наше отделение, в лице этого преподавателя, имело преимущество перед 1-м, в котором преподавал эти предметы магистр Казанской академии Павел Иванович Раев (впоследствии митрополит С.-Петербургский Палладий). П. И. Раев, хотя был также очень хорошим, способным, знающим свой предмет и весьма усердным преподавателем, но все-таки, по нашему мнению, уступал А. Ф. Л-ко. Живо помню, как в первый раз я увидел П. И. Раева[48] в семинарской церкви, за всенощной (очевидно, в 1853 г., осенью). Как теперь, вижу его, высокого, худощавого, с характерным лицом. Тут же узнал от товарищей, что это новый профессор по философии, только что приехавший из Казани, второй, как говорили тогда, а на самом деле третий магистр его курса, и что он специалист собственно по истории. Он также выдавал свои записки по философским предметам и патристике.

Библейскую историю, по учебнику митрополита Филарета, у нас преподавали: магистр Московской академии Гр.А. Политковский[49], а в 1-м отделении — магистр Киевской академии К. И. Миловидов[50], под конец же курса этого класса обоим отделениям — последний, то есть К. И. М-в. Оба они были очень способными преподавателями.

---

[48] П. И. Раев, нижегор., 3-й маг. IV к. Казан. акад. (1852), с 1852 до 1863 — препод. Нижегор. сем., свящ. Покровской ц., иером. (1861), инспект. сем., архим. (1862), 1863 — инспект. СПб. сем., 1864–1866 — ректᅟ. СПб. сем., 1866 — еп. Ладож., вик. С.-Петерб., 1869 — еп. Вологод., 1873 — еп. Тамбов., 1876 — еп. Рязан., 1881 — архиеп., 1882–1887 — архиеп. Казан., 1887 — Экзарх Грузии, 1892 — митр. С.-Петерб., † 1898 г. 5 дек.

[49] Гр.А. Политковский, костр., 17-й маг. XIII к. Моск. акад. (1842), с 1842 по 1855 — в Нижегор. сем., с 1851 — свящ. и потом прот. нижегор. Архангельского соб., очень деловитый, член консистории, † 1885.

[50] К. И. Миловидов, нижегор., 5-й маг. X к. Киев. акад. (1841), 1841 — Орлов. сем., 1842–1856 — Нижегор. сем., 1844 — свящ. и законоуч. нижегор. Дворянского института, в 1860-х — кафедр. прот., † 1880 г.

Первый — очень умный и основательный человек, не владевший, однако, даром слова, а второй — блестящий и красноречивый, очень видной и представительной наружности.

Кто и где преподавал общую церковную историю, не припоминаю[51]. Если в этом классе, а не в высшем, в котором она полагается по нормальному расписанию[52], то несомненно — вышеуказанные наставники, то есть Гр.А. П-кий и К. И. Миловидов. Учебником была «Церковная история» Преосв. Иннокентия (Пензенского), в двух частях, старинный учебник (от 1807 г.), многосодержательный, но сухой, полный отрывочных сведений; события разбиты по векам. Цельного и связного представления о событиях церковной жизни не давал и был похож более на подробный конспект по истории церкви, чем на историю в собственном смысле.

Русскую гражданскую историю преподавал, по учебнику Устрялова, тот же, что и в низшем классе, общую гражданскую, — Н. В. Охотин († архиеп. Гурий) — до 1856 г., а с 1856 г. — А. И. Стеклов, в то время кандидат, а впоследствии (1868) магистр Казанской академии, бывший потом ректором Нижегородской семинарии (1868)[53], способный преподаватель, но довольно грубоватый и резкий по характеру.

Физику — те же, что и математику в низшем: И. С. Тихонравов, в нашем 2-м отделении, и А. И. Остроумов в 1-м отделении, и с тем же успехом и характером преподавания.

Естественную историю (зоологию, ботанику, минералогию) и сельское хозяйство преподавал у нас Л. И. Сахаров[54], преданный своему

---

[51] В архивной справке также об этом не сказано ясно, а показано только, что в среднем классе преподавалась «церковно-библейская история», в высшем же, богословском, классе других историй, кроме русской церковной истории, не значится.

[52] В упомянутой уже таблице, приложенной к «Своду уставов дух. семинарий» (СПб., 1908).

[53] А. И. Стеклов, 16-й канд. V к. Казан. акад. (1854), с 1854 по 1868 — препод. Нижегор. сем., с 1868 — маг. и ректор. Нижегор. сем., с 1882 — ректор. Таврич. сем., † 1884.

[54] Л. И. Сахаров, нижегор., воспит. Горы-Горецкой землед. школы, служил в сем. с 1846 по 1858, выбыл на светскую службу. Его коллега по 1-му

делу и недурной преподаватель. Учились мы по запискам, передаваемым из курса в курс и покупаемым от предшественников, — со множеством ошибок, вроде, например, следующей: голуби отличаются «однообразием» — вместо «однобрачием». Так именно раз отвечал урок в классе один ученик, ссылаясь на записки, в которых написано: «однообразием». Много сообщалось нам сведений по ботанике и зоологии; кое-что удержалось в памяти доселе, но, конечно, немногое. Эти предметы считались у нас даже не второстепенными, а, можно сказать, третьестепенными, и мы обращали на них очень мало внимания.

Св. Писание (учительные и пророческие книги Ветхого Завета) — сначала Пор. А. Владимирский, как и в низшем классе, до июля 1855 г., а потом — наставник 1-го отделения, кандидат П. И. Невзоров — в обоих отделениях. П. А. Владимирский и здесь был хорошим, солидным преподавателем. Он заставлял нас заучивать наизусть замечательные места и изречения из книг Притчей Соломоновых, Премудрости Соломона и из книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова; за это одно можно вспомнить его добром. Не то представлял его преемник П. И. Невзоров, кандидат С.-Петербургской академии[55]. Видный и даже красивый собой, довольно богатый, благодаря жене, он считался аристократом между нашими учителями, но не выдавался по уму, занимался не своим предметом, а посторонними, коммерческими предприятиями, в которых запутался, и даже попал под суд.

Латинский язык соединен был с логикой, психологией и патристикой, греческий — сначала читался отдельно Ип. Ив. Световидовым, потом В. Ф. Никольским (вместе с 1-м отделением) и наконец А. И. Стекловым.

Из этого класса сохранилось у меня особенно много сочинений, кажется все. Кроме указанного выше разбора «Огласительных и тайноводственных поучений св. Кирилла Иерусалимского» даны

отд. И. П. Соколов, воспитанник той же школы, служил до 1860 г., был свящ. церквей Рождественской и Никольской.

[55] П. И. Невзоров, костром., 32 канд. XV к. СПб. акад. (1843), с 1843 по 1857 — на службе в Нижегор. сем., потом был судим, отбыл наказание, прощен, † 1902 в Нижнем Новгороде.

были следующие темы по логике, психологии, патристике: «Что значит мыслить?», «Рассуждение о значении исторического познания в области знания», «О влиянии темпераментов на духовную жизнь человека», «Отчего люди боятся ночью?», «Кто сам себя не обижает, того никто обидеть не может (Златоуст)», «Какая цель существования человека на земле?», «О направлении отеческих писаний IV века», «Об отношении между верой и знанием по учению александрийских катехетов», «О направлении отеческих писаний II и III веков», «Жизнь блаж. Августина как поучительнейший пример промышления Божия о спасении человека». По Св. Писанию: «Жертва Богу дух сокрушен (Псал. 50:19)», «Иже воздаст злая за благая, не подвигнутся злая из дому его (Прем. Сол. 17:13)», «Блажен человек, его же обличи Бог, наказания же Вседержителева не отвращайся (Иов. 5:17)». Наконец, есть одно «Поучение об исполнении христианского долга, то есть исповеди с ранних лет — с года, св. Церковью установленного». Все сочинения с отметками и оценкой читаны А. Ф. Лазаренко и (по Св. Писанию) П. А. Владимирским. Поучение — без рецензии, но с подписью: «Аминь» — вероятно, ректора Феофила.

Перешел я из среднего — философского — класса в высший, богословский, по списку вторым учеником, а Ап. Ив. Смирнов, как и подобало будущему профессору философии, — первым[56], В. Я. Рожанский — третьим.

---

[56] А. И. Смирнов происходил, как видно, из даровитого рода. Он имел в Нижнем дядю, бывшего прежде преподавателем Нижегор. сем., Ап.А. Княгининского, канд. Киев. акад. X к. (1841). А. А. Кн-ий, хотя окончил академию кандидатом и притом очень низко по списку (под № 50), был очень даровитый человек. В Нижегор. сем. ходило много рассказов о нем как о человеке выдающейся даровитости, но крайне неупорядоченном по поведению, страдавшем «болезнию» (нетрезвости), из-за которой, вероятно, он и окончил академию так низко по списку, несмотря на свои способности, и принужден был оставить и службу в Нижегор. сем. (1850), а потом, хотя получил место в Тамбов. сем. (1853), но, как слышно было, не удержался и там. К сожалению, его племянник, мой товарищ Ап.Ив. Смирнов, пошел было по стопам своего дяди. Началось с богословского класса, а по окончании семинарского курса он едва было не погиб совсем, если бы не спас его счастливый случай, или, лучше сказать, Провидение, которому угодно было сохранить эту большую силу для университетской науки. Об этом случае будет сказано в конце главы.

Высший — богословский — класс: 1856/7–1857/8 учебные годы. В этом классе преподавались следующие предметы: догматическое богословие, нравственное, о должностях пресвитеров, учение о вероисповеданиях (с расколом), гомилетика, Св. Писание (Нового Завета), основание церковных законов и канонического права, церковные древности и обряды, церковная история, история российской Церкви, чтение св. отцов греческой Церкви, медицина и сельское хозяйство.

Догматическое богословие преподавали в обоих отделениях, по учебнику архимандрита Антония, сначала (в сентябрьскую треть 1856 г.) — ректор архимандрит Феофил (Надеждин), а потом — его преемник, архимандрит Паисий (Понятовский). Первый, с довольно светлой и крепкой головой, производил впечатление дельного наставника. Осталось в памяти, что в учении о Боге он развивал мысль: «Бог есть свет». Преподавание архимандрита Паисия как-то вышло из памяти; вероятно, оно не представляло собой ничего особенного ни в ту, ни в другую сторону. В «Краткой памятной исторической записке Нижегородской духовной семинарии» А. Тихова сообщается, что Преосв. Иеремия ходатайствовал (11 января 1857 г.) пред Св. Синодом о назначении инспектора архимандрита Паисия преемником ректора Феофила (8 декабря 1856 г. назначенного епископом в Самару, а 13 января 1857 г. посвященного во епископа в С.-Петербурге, см. «Списки архиереев, архиерейских кафедр...» Ю. Толстого). Вместе с тем он просил об освобождении нового ректора, человека уже «в преклонных летах», от преподавания догматического богословия и миссионерских предметов (этот факт нам, тогдашним ученикам, был неизвестен). 7 февраля это представление Св. Синодом было утверждено, но от преподавания новый ректор освобожден не был. Вероятно, к этому периоду времени (январь и первая половина февраля 1857 г.) относится памятный мне случай из временного преподавания этого предмета А. А. Крыловым, тогда уже священником, вероятно по словесному распоряжению Преосвященного, почему, по архивной справке, следов такого распоряжения не оказалось. В один из уроков приходит к нам в класс о. А. А. Кр-в и приносит с собой какую-то книгу, указывая на которую говорит в свойственном ему шутливом тоне: «Вот, книжица, небольшая по объему, но заключающая в себе многое»; кажется,

так именно характеризовал ее, затем начал читать из нее какие-то страницы. К сожалению, он не разъяснил нам великого значения этого творения св. отца, составляющего свод всего святоотеческого богословствования и даже квинтэссенцию древнего философского и космологического мировоззрения, а может быть, и сам недостаточно ясно это сознавал. Мне показалось тогда неуместным и даже странным, что он читает нам из этой старой книги, вместо того чтобы прочесть что-либо из другой, более новой, или дать свои разъяснения, прочитать нам свою лекцию. Не думал я тогда, что во время моей профессорской службы в С.-Петербургской академии придется мне так много и так часто обращаться к этому творению св. отца, в шутливом тоне в первый раз рекомендованному мне семинарским моим наставником.

Другие богословские предметы — нравственное богословие, учение о должностях пресвитеров, учение о вероисповеданиях, раскол, гомилетику — у нас, во 2-м отделении, преподавал сначала, может быть, инспектор архимандрит Паисий, а вернее, обоим отделениям — помощник ректора, магистр П. П. Владимиров[57], в последний же год (1857/58), с июля 1857 г., — иеромонах Дионисий (Аретинский), кандидат Казанской академии[58]. Видный собою, представительный, даровитый, обладавший хорошей дикцией, был вообще очень хорошим, самым выдающимся в этом классе преподавателем, издавал собственные записки даже по учению о должностях пресвитеров. Мы удивлялись, почему он окончил академию кандидатом, а не ма-

[57] П. П. Владимиров, нижегор., 8-й маг. III к. Казан. акад. (1850), 1850–1856 — препод. Вятск. сем., 1856 — Нижегор. сем., 1860 — Самар. сем., в 1861 — в отставке, вскоре скончался. Помню, он преподавал и у нас, во 2-м отд., но, кроме памяти об его наружности, ничего не сохранилось, осталось только общее впечатление, что он был человек способный, недурной преподаватель.

[58] Дионисий (в мире — Дмитрий Николаевич Аретинский), орлов., 14-й канд. I к. Казан. акад. (1846), 1846 — препод. церк. истории в Вятск. сем., 1857 — препод. филос. и патрист., а потом, с принятием (1852) монашества — богосл. наук, с 1857 по 1860 — инспект. Нижегор. сем., 1860 — архим. и ректр. Вятск. сем., † 1863. Он был родным братом Серафима (Аретинского), 1-го маг. VIII к. Киев. акад. (1837) († архиеп. Воронеж.), бывшего в то время, 1842–1846, инспект. Казан. академии.

гистром[59]. Помнится, мне нравилось, как на классе практического богословия, или гомилетики, читал он нам, с хорошей интонацией и даже ораторскими приемами, превосходное произведение знаменитого киевского профессора Я. К. Амфитеатрова: «Беседы об отношении Церкви к православным христианам». К сожалению, он страдал одной слабостью (к спиртным напиткам), которая, как слышно было, и свела его преждевременно в могилу, когда он был ректором Вятской семинарии (1860–1863). Из других наших преподавателей этой слабости были подвержены очень немногие; можно указать только два-три человека.

Каноническое право и церковные древности и обряды преподавали: сначала П. П. Мышкин, магистр Казанской академии[60], а потом — кандидат Киевской академии И. В. Петропавловский[61]. О первом не сохранилось у меня воспоминаний, помню только его наружность. Второй, только что приехавший из Киевской академии, не без даровитости, горячего темперамента, весьма старательный и не лишенный дара красноречия, производил на нас впечатление новыми приемами преподавания — например, устраивал диспуты между лучшими учениками на темы по каноническому праву. По этому предмету был прекрасный учебник — известное сочинение киевского профессора И. М. Скворцова. По церковной археологии были какие-то старые записки.

Если общая церковная история преподавалась в этом классе (или вся, или во второй ее половине), то преподавателем ее были те же П. П. Мышкин и И. В. Петропавловский, по указанному выше учебнику Преосв. Иннокентия.

Историю русской Церкви преподавали у нас, во 2-м отделении, сначала П. П. Мышкин, потом А. И. Стеклов,

---

[59] У нас в семинарии ходили слухи, что он был даже первым в старшем курсе академии, но что ему не повезло на выпускном экзамене. Справедливость этого слуха теперь вполне подтверждается в «Истории Казанской духовной академии» П. В. Знаменского (Казань, 1892. Т. II, стр. 194).

[60] П. П. Мышкин, вятск., 15 маг. VI к. Казан. акад. (1856), 1857–1860 — препод. физики и матем. в Вятск. сем., † 1862.

[61] И. В. Петропавловский, нижегор., 39-й канд. XVIII к. Киев. акад. (1857), в Нижегор. сем. — с 1857 по 1882. † 1887.

а в 1857/58 г. — И. В. Петропавловский. Учебником была «История российской Церкви» А. Н. Муравьева, крайне плохой учебник. По своей бессодержательности и обилию фраз и общих мест она с успехом могла конкурировать с учебником по всеобщей гражданской истории — Кайданова. Чем мы восполняли недостаток сведений по этому предмету, не знаю, кажется — ничем. Вообще, у нас было очень мало знаний по русской церковной истории, что почувствовалось особенно на приемном экзамене в академию.

Св. Писание (Нового Завета), греческий и латинский языки (чтение греческих и латинских святых отцов) в 1856/57 г., в обоих отделениях — П. И. Невзоров, а в 1858 г. — магистр Казанской академии И. Т. Златообрезов[62], дельный преподаватель, но холодного, апатического характера, старался вводить в свои чтения подробный комментарий мест Св. Писания. Помню его комментарий на слова: «Павел апостол».

Медицину преподавали сначала, и очень неважно, семинарские врачи — Цветков (к тому же, всегда бывший более или менее навеселе) и Безсонов, а потом, недолго, уже к концу учебного года (с февраля 1858 г.), — военный доктор, доктор медицины Н. Е. Флорентийский. Последний был прекрасным преподавателем, читал нам, ходя по классной комнате, настоящие лекции (конечно, без тетрадки), говорил красноречиво и с жаром. Помню, как он рисовал нам картины и передавал историю разных болезней: чахотки, тифа, водянки и др. и указывал способы их лечения. Мы слушали его с большим вниманием и воображали себя больными разными болезнями, смотря по тому, о какой болезни шла речь, хотя доктор и предупреждал нас, чтобы мы не впадали в эту ошибку, от которой не были свободны, по его словам, даже и студенты медицинской академии, когда начинали слушать курс патологии. Медицину, так же, как и естественную историю с сельским хозяйством, изучали по запискам, передаваемым и перекупаемым от предшествующих курсов и также полным ошибок. Например, помню: «кончиковая» кость вместо «копчиковая». Эту ошибку заметил врач Цветков — чуть ли не в моем ответе.

---

[62] И. Тр. Златообрезов, астрахан., 9-й маг. I к. Казан. акад. (1846), 1846–1857 — Астрахан. сем., 1857–1864 — Нижегор. сем., 1864 — на службе по мин. нар. просв. в Запад. крае, учитель гимназии, † в 1870-х.

Новые языки были необязательны, равно как и еврейский. Я избрал немецкий. В самом начале учения в семинарии, в словесности, я ходил на класс этого языка к П. М. Сладкопевцеву[63] — вероятно, с осени 1852 г., когда он был еще на службе в нашей семинарии, преподавая в среднем классе 1-го отделения логику, психологию и патристику. Здесь мы учились у него немецкому языку вместе с весьма известным впоследствии литератором либерального лагеря Н. А. Добролюбовым[64]. Н. А. Добролюбов был тогда в богословском классе семинарии, стоял первым по списку (2-го отделения) и славился необыкновенною даровитостью, таким же трудолюбием и примерным поведением. По выходе П. М. С-ва из нашей семинарии учились мы немецкому языку у Д. И. Страхова.

Еврейский язык я изучал у Ап. П. Понятовского, магистра Киевской академии[65], сына ректора Паисия (Понятовского). А. П. П-ий был человек очень симпатичный; еврейский язык знал, но мы занимались им плохо.

Из сочинений, писанных в этом классе, сохранилось много — кажется, даже все. Темы были: «Какое назначение образа Божия

---

63 П. М. Сладкопевцев, симбир., 10-й маг. XIX к. СПб. акад. (1851), потом перешел в Симбир. сем., где был впоследствии, как я слышал, ректором.

64 Как известно, Добролюбов в своих воспоминаниях восторженно отзывался о Сладкопевцеве, как наиболее дельном и симпатичном своем наставнике. Кстати, о Н. А. Добролюбове. Несколько лет подряд, когда я был еще в училище, мы постоянно встречали его, вместе с его другом и товарищем по классу В. В. Лаврским (4-й маг. Казан. акад. VII к. 1858 г., после службы в семинариях — Самар. и Нижегор. — и священнической в Варшаве — ркт. Саратов. сем. В 1875–1885, а с 1885 — кафедр. прот. в Самаре), вторым учеником по семинарскому списку. После классов шли они обыкновенно по тому же пути, по которому и мы с Ф. Г. Е-м, отправляясь домой, на свои квартиры. В это время Доб-в поражал нас своим видом очень благовоспитанного юноши, скромного, изящного, всегда хорошо одетого, с нежным, симпатичным лицом. Он был похож на красную девушку, и никаким образом не могло прийти мне в голову, что из него выйдет такой литературный деятель, да еще известного направления. В семинарии ходили тогда слухи о большой его даровитости и необыкновенном трудолюбии, рассказывали, что он писал огромные сочинения на задаваемые темы, просиживал за ними целые ночи, что его родители отбирали у него даже свечи для прекращения его ночных занятий.

65 Ап. П. Понятовский, нижегор., 5-й маг. XVII к. Киев. акад. (1855).

в человеке?», «Одеяние мужа и смех зубов и стопы человека возвестят, яже о нем (Еккл. 19,27)». «О важности тройственной обязанности пастыря Церкви: учить, священнодействовать и управлять». «О необходимости духовенства в церкви Христовой, как отдельного сословия». «Какие Промыслом Божиим употреблены были, во времена гонений, средства для сохранения, утверждения и распространения христианской Церкви?» и шесть проповедей на разные праздники. Читали сочинения: ректор Паисий, инспектор иеромонах Дионисий, профессоры К. И. Миловидов и П. П. Владимиров и учитель И. В. Петропавловский. Особенно удачными у меня оказались: рассуждение «О необходимости духовенства...» (рецензировал И. В. П-ий) и две проповеди — на день сошествия Св. Духа и на день рождения Государя Императора (рецензировал иеромонах Дионисий), с очень лестными для молодого автора похвальными отзывами.

Во время учения в высшем богословском классе я занимал первое место по списку и удержал это место и при выпуске из семинарии.

Учебные занятия в классах были два раза в день: от 8 часов утра до 12 часов дня и от 2-х до 4-х часов, по два часа урок. Учителя спрашивали у учеников заданные уроки, и достоинство ответов отмечали в своих записных книжках. То же, конечно, делали и с отметками на наших сочинениях, на которых ставили баллы по системе: 1, 2[66].

Преподаватели поэтому хорошо знали успехи каждого ученика, вследствие чего экзамены производились больше для формы. Они были два раза в год, перед Рождеством Христовым и перед летними каникулами (от 15 июля до 1 сентября), продолжались недолго, спрашивали не каждого ученика по каждому предмету, так что для каждого класса назначалось времени не более двух-трех дней. Во время экзаменов давались темы для экспромтов-сочинений на русском и латинском языках; эти экспромты писались в классах.

---

[66] Система неудобная. Высший балл был 1, но единица могла обозначать и «хорошо», и «очень» или «весьма хорошо», и «превосходно». Неудобство этой системы побудило одного из наставников (только одного, А. А. Крылова) в низшем классе словесности, прибегнуть к системе плюсов, даже двойных, с правой и левой стороны единицы, и еще с покрышкой, что обозначало «превосходно» (у меня было сочинение с таким баллом — «описание Благовещенского монастыря»), один плюс означал «очень хорошо», два — «весьма хорошо».

Как видит читатель, преподавалась нам масса предметов. Тяжесть изучения их облегчалась разделением их на главные и второстепенные, да еще тем, что ценились больше всего сочинения, почему на них и обращено было преимущественное наше внимание и тратилось больше всего нашего времени. От достоинства их зависели главным образом место в списке и разряд; конечно, при этом не опускались из внимания и устные ответы. Как составлялись разрядные списки, нам, ученикам, было неизвестно.

Что касается семинарских преподавателей того времени, то среди них было немало очень даровитых людей. В то время еще не было почти поголовного бегства семинаристов в светские высшие учебные заведения, университеты и т. п.; для лучших учеников семинарии было заветной мечтой попасть именно в духовную академию (как мечтали и мы, в сравнительно уже позднее время, в конце 50-х годов), и они шли в наши академии, и оттуда назначались учителями в семинарии. Вот почему большинство преподавателей семинарии моего времени были очень хорошими педагогами, добросовестно и умело исполняли свои нелегкие обязанности, несмотря на крайне скудное жалование. Годовой оклад жалования был: магистру — 257 р. и магистерского оклада 100 р., кандидату — 257 р. и кандидатских 71 р., за преподавание необязательных новых языков и еврейского — 85 р. (прибавка к жалованию), за инспекторство — 128 р., эконому (из наставников семинарии — тоже прибавка) — 128 р., секретарю правления — 85 р., библиотекарю — 71 р.[67]. Скудость таких окладов заставляла огромное большинство учителей, за очень малыми исключениями, занимать или священнические места в приходских церквах, или законоучительские в различных учебных заведениях, при продолжении в то же время преподавания в семинарии. Такое совместительство не отражалось заметно на его успешности.

Чтобы закончить с выдающимися личностями из преподавателей того времени, которых я знал, хотя и не учился у них, следует упомянуть об иеромонахе Макарии (Миролюбове, скончался архиепис-

[67] «Нижегородская духовная семинария 1840–1851 гг.», стр. 179–180.

копом Донским, в 1894 г.)[68] и Вениамине Ивановиче Николаевском (Антонии, епископе Пензенском, † 1889 г.)[69]. Первого видал много раз в сане иеромонаха, когда я был еще в училище, а затем, несколько раз, когда уже служил в академии, а Преосв. Макарий был в Нижнем епископом (сначала викарным — Балахнинским, а потом, через несколько лет, — Нижегородским). Он был одним из самых выдающихся преподавателей семинарии, долго служил в ней (9 лет) и исполнял разные поручения Преосвященных — рассматривал, например, собрание проповедей (в том числе — и моего отца), и пр. Известный археолог, описатель древностей нижегородских и новгородских, был он человек чрезвычайно живой, подвижный, простых, довольно вульгарных манер. Когда из Архангельска приехал он в Нижний, уже епархиальным епископом, один из членов нижегородского духовенства выразился о нем так: «Налетела на нас вьюга, ураган с Севера». В. И. Николаевского (Преосв. Антония Пензенского) помню еще светским. В качестве помощника инспектора он бывал даже у нас, в нашем маленьком доме, посещая квартиры учеников семинарии; в то время жили у нас старшие братья моего отца. Целых 14 лет прослужил он в Нижегородской семинарии преподавателем разных предметов, вначале физики и математики (10 лет), был очень хорошим наставником и весьма добрым, даже добродетельным человеком. Помню его и иеромонахом, при служении в семинарском храме, и особенно при архиерейских богослужениях при Преосв. Иеремии. Костромич родом, он говорил с костромским акцентом, был оригинален в обращении, голос имел очень высокого, резкого тембра.

---

[68] Н. К. Миролюбов (Преосв. Макарий), рязан., 13-й маг. XIII к. Моск. акад. (1842), 1842–1851 — препод. в Нижегор. сем. филос., патр., евр. яз., а по принятии монашества (1846) — богосл. предметы, 1851 — инспект. Перм. сем., 1858 — ректор. Рязан. сем., 1860 — ректор. Новгор. сем., 1866 — вик. Балахнин., 1867 — еп. Орлов., затем еп. Архангел., Нижегор., архиеп. Донской. На покое в нижегор. Благовещенском монастыре, † 1894.

[69] В. И. Николаевский (Преосв. Антоний), костр., 19-й канд. XIV к. СПб. акад. (1841), с 1841 до 1855 — в Нижегор. сем. — препод. физики и матем. и др. предметов, 1855 — инспект. Тамбов. сем., 1858 — ректор. Екатериносл. сем., 1866 — вик. Старицкий, 1873 — еп. Енисейский, 1881 — еп. Пензенский, † 1889.

Наиболее влиятельными в семинарии лицами были, конечно, ее ректоры. Во время моего в ней обучения ректорами были: архимандрит Феофил (Надеждин), магистр С.-Петербургской академии[70] (в продолжение почти всего моего семинарского курса: 1851–1857), и магистр Киевской академии — архимандрит Паисий (Понятовский)[71] (в течение только полутора лет: 1857–1858).

Ректор Феофил, человек сильного, властного характера, обращал должное внимание на учебную часть, но мало заботился о хозяйственной, что после оставления им ректорства (1857) заметил Преосв. Иеремия. В семинарии, по его словам, «во многом уже далеко не то теперь» сравнительно с тем, что было при ректоре Аполлонии и что он, Преосвященный, нашел в 1851 г., по прибытии на нижегородскую паству, «и в классах, и больнице, и в жизни учеников, и в церкви»[72]. Заметно это было и нам, ученикам. Когда я поступил в семинарию, всюду — и в классных комнатах, и в помещениях казеннокоштных воспитанников — поражали необыкновенная чистота и порядок. Полы были устланы половиками, или толстым холстом, даже под партами. Под конец же учения в семинарии все как-то опустилось, постарело, пообносилось, а серьезного ремонта не производилось. И если через год (1858), в ректорство архимандрита Паисия, случилось с нашей семинарией нечто весьма неприятное (о чем будет сказано далее), именно вследствие запущенности хозяйственной ее части, то в этом почти всецело виноват ректор Феофил, который получил семинарию в блестящем виде от своего предшественника (Аполлония) и не умел или не озаботился поддержать ее в прежнем состоянии, не говоря уже

[70] Иером. Феофил (Надеждин), рязан., 9-й маг. X к. СПб. акад. (1833), 1833–1840 — инспект. Волын. сем., 1841 — ректор. Полтав. сем., 1850 — Курск. сем., 1851 — Нижегор. сем., 1857 — еп. Самарский, † 1865. Почему-то в «Краткой памятной исторической записке Нижегор. дух. семинарии» А. Тихова сказано, что «с сент. 1863 г.» он был еще «еписк. саратовским». У Ю. В. Толстого в «Списках архиереев...» (1872) этого не показано. Не помнится и мне.

[71] Петр Лукич Понятовский, воронеж., 6-й маг. III к. Киев. акад. (1827), с самого окончания академ. курса, т. е. с 1827 г., служил в Нижегор. семинарии, не оставляя ее.

[72] «Краткая памятная историческая записка Нижегор. дух. сем.» А. Тихова, стр. 53–54.

об улучшениях[73]. В других отношениях он был хорошим ректором, авторитетным, следил за учебной частью, требовал, например, к себе для просмотра ученические письменные работы и ежедневно, в учебное время, — дежурных по классу с классными журналами. По поводу этих дежурств был со мною такой случай. В богословском, да кажется и в философском, классе я был бессменным дежурным, и долго все шло благополучно. Ректор Феофил относился ко мне очень хорошо; кажется, он именно и настоял на том, чтобы я бессменно являлся к нему с классным журналом. Но вот однажды прихожу к нему, показываю журнал, посмотрел ректор в журнал и вдруг говорит мне: «Просись в другую семинарию, здесь тебе не место». Оказалось, что я не записал одного казеннокоштного своего товарища, выходившего из класса и в это время натворившего что-то в занятных комнатах, а ректор, на мою беду, это тотчас же и узнал. Конечно, ни в какую другую семинарию я не просился, ректор ни разу не напомнил мне о том и вообще все пошло по-прежнему, то есть я продолжал ходить к нему с журналом; никакого наказания мне не последовало. Кстати, о наказаниях в семинарии. В низшем классе еще ставили на колени, за запаздывание на уроки; в среднем, кажется, и того не было. Наказание розгами допускалось в семинарии в самых экстренных случаях, при совершении учениками каких-либо особо важных проступков, и производилось не в классах, а в правлении семинарии, через сторожей, по особому его определению. Таких случаев припоминается не более двух за весь семинарский курс.

Преемник архимандрита Феофила, ректор архимандрит Паисий (Понятовский), прослужил в нашей семинарии до своего ректорства целых 30 лет, во многих должностях, начиная с преподавателя словесности (1827). По принятии (1847) монашества и священства (смутно помню его еще светским) перешел он на богословские предметы, долго (20 лет, 1831–1852) был библиотекарем, а потом почти столько же времени (15 лет, с 1842 по 1857 г.) — инспектором, сначала (до 1846 г.) исполняющим должность инспектора, а потом (с 1846 г.) — действительным инспектором, был поэтому человек уже очень пожилой, притом имел характер нерешительный и без

[73] У нас, учеников, было подозрение, что по временам он прибегает к «велию утешению братии», особенно в праздничные дни.

практического склада ума, по сердцу же был очень добрый и вообще весьма почтенный старец. Он, конечно, прекрасно знал семинарию и пережил разные периоды ее истории, и период ее упадка, и блестящий — аполлониевский, и феофиловский, когда она снова начала клониться к упадку — в одной, правда, хозяйственной только части, но не принял мер к ее подъему в этом отношении[74]. Хотя Преосв. Иеремия, как сказано выше, обращал его внимание на эту сторону, но он все-таки оставил все по-прежнему, за что и поплатился, как увидим далее.

При этом ректоре мы, с Ф. Г. Елеонским, окончили полный семинарский курс в 1858 году.

Кроме наших преподавателей и начальников, особенно сильное впечатление производил на нас, семинаристов, тогдашний Преосвященный нижегородский, Иеремия, своей необыкновенною личностью и характером его управления Нижегородскою епархиею. Он был нашим епархиальным архиереем почти все время нашего учения в семинарии — до 17 июня 1857 года. Много приходилось нам слышать рассказов об его властных действиях в отношении к местному духовенству и о борьбе его со светскими властями, по поводу их попыток к вмешательству в церковные дела. Но прежде всего скажем об его отношении к семинарии и к нам, семинаристам, к нашим занятиям.

Так как архиерейский дом помещался (как и доселе находится) сзади семинарии, непосредственно к ней примыкал и сообщался с нею

---

[74] Может быть, за краткостью времени своего начальствования в ней, а может быть — успокаивал себя мыслью, что по крайней мере учебная часть находится в прекрасном порядке. В самый год катастрофы, случившейся с нашей семинарией в 1858 г., т. е. в год окончания нами курса, «Нижегородская семинария (читаем в «Кратк. памят. истор. записке Нижегор. дух. сем.» А. Тихова, стр. 56–57) после вступительных экзаменов в Казан. акад. была признана лучшей в округе — при известном ректоре академии — архим. Иоанне (Соколове), и это именно в такое время, когда новое академ. начальство было особенно недовольно постановкой обучения в семинариях своего округа». Академия выразила даже особую благодарность семинарии за представление отличных студентов: В. Я. Рожанского (моего товарища по 2 отд.) и А. М. Хитровского (тов. Ф. Г. Ел-го по 1 отд.), впоследствии первых магистров IX курса Казан. акад. Вообще, с конца 1840-х годов Нижегор. сем. дала Казан. акад. очень много выдающихся по своим способностям студентов.

калиткою в разделявшем их заборе, то этот Преосвященный, как и другие наши владыки, мог во всякое время неожиданно являться в семинарию, что он нередко и делал, к неособенному удовольствию семинарского начальства, в частности ректора Феофила.

Преосв. Иеремия требовал, чтобы перед богослужениями все ученики, не исключая и квартирных, собирались в зале семинарии и в порядке шли в семинарскую церковь, нередко приказывал нам присутствовать и при своих архиерейских богослужениях, в кафедральном соборе, сверх того заставлял нас учить все вечерние и утренние молитвы (это было, кажется, в словесности) и распорядился, чтобы в семинарской церкви за всенощною мы читали, поочередно, шестопсалмие и кафизмы. Приходилось и мне делать это последнее, что страшно волновало меня, застенчивого и слабоголосого. А когда в 1855 г. праздновал был Харьковским университетом (основан в 1805 г.) 50-летний юбилей и по этому случаю произнесено было немало речей на латинском языке, то мы были обязаны, по его приказанию, выучить все их наизусть. Помнится, было их не меньше трех-четырех.

Присутствуя на экзаменах в семинарии, он почему-то не задавал ученикам никаких вопросов и не дел возражений. Смиряя в себе и других гордость ума, может быть, он не хотел питать ее совопросничеством. Или, быть может, думал какую-нибудь думу. Смотря на нас пристально-проницательными и в то же время задумчивыми глазами, он был точно в созерцательном состоянии, думал, что выйдет из нас, птенцов его паствы, какие плоды принесем мы для Церкви Христовой. Ко мне он относился с неменьшим благоволением, чем в училище.

На публичных экзаменах лучшими учениками читались их сочинения. У меня сохранилось два экземпляра такого сочинения, из философского класса, на тему, данную, помнится, самим Преосвященным: «О трудах Преосв. Питирима, архиепископа Нижегородского, как основателя Нижегородской семинарии». На первом экземпляре — надпись Преосв. Иеремии: «внести в книгу»; на втором — «списать для меня копию сего. 14 июня 1855 г.». Не помню, читал ли я это сочинение на публичном экзамене, но судя по обращению к владыке в конце его («Преосвященнейший владыко», «милостивый Архипастырь» и т. д.), нужно думать, что произносил его с кафедры. Следует прибавить, что

окончательная редакция этого моего маленького труда не обошлась без участия преподавателя — А. Ф. Лазаренко.

По-прежнему, как и в училище, в великие праздники Рождества Христова и Пасхи, приветствовали Преосв. Иеремию речами ученики семинарии разных классов. Приходилось произносить приветственные речи, не раз, и мне. Помню, однажды говорил речь на русском языке; немало говорилось речей и на иностранных языках. Кто составлял эти речи, не помню. Если не ошибаюсь, в числе произносивших речи учеников других высших классов был и П. В. Знаменский, впоследствии заслуженный профессор Казанской академии и знаменитый ее историк, автор многих капитальных трудов по русской церковной истории, — справедливая гордость нашей Нижегородской семинарии. Он был старше меня одним только курсом по семинарии.

В отношениях к подчиненному духовенству Преосв. Иеремия был строг, но строго он относился не ко всем его проступкам без различия. К обычным его слабостям, например нетрезвости, он был даже довольно снисходителен, особенно когда видел раскаяние виновного. Но чего он никогда не прощал и беспощадно карал, — это неповиновение и гордость. В таком суровом отношении к этим грехам сказалось, без сомнения, аскетическое его настроение, которому он оставался верен всю свою жизнь, от студенчества (отказ его от всякой ученой степени) и до принятия схимы, в течение 27-ми лет его жизни в монастырском уединении, на покое. Случаев тяжелого наказания провинившихся в этом отношении лиц было несколько, но в особенности тяжело он покарал одного нашего почтенного наставника, И. И. Световидова, который был замечен Преосвященным в этом грехе и за то был переводим несколько раз с места на места. Вообще, Преосв. Иеремия любил переводить священников и диаконов с одного места на другое, за что духовенство очень роптало на него, и не без основания. Вероятно, он делал это, выходя опять из аскетических своих воззрений: «не имамы зде пребывающаго града», но духовенству приходилось иногда очень тяжко, да едва ли не страдали от того и истинные интересы приходских пастырей и маленьких их паств.

Вообще, Преосв. Иеремия был характера непреклонного и решительного. Ревнитель веры Христовой и благочестия, он однажды удивил весь город, запечатав на Страстной неделе и на всю Пасху

Благовещенский собор. Проезжая, в Страстную пятницу, мимо этой церкви в кафедральный собор на вынос Плащаницы, он увидел, что находящиеся под этой церковью лавки (бакалейные) открыты и торгуют. Этого было достаточно, чтобы он не остановился перед упомянутою решительною мерою. Начался ропот немногочисленных, правда, прихожан этого храма (рядом стоит другая церковь), а настоятель его, старейший в то время и всеми уважаемый протоиерей П. И. Лебедев, всячески умолял Преосвященного снять печати хотя бы на первый день Пасхи, но безуспешно; печати оставались до Фоминой недели.

Для лиц, определяющихся на места псаломщиков, диаконов и даже священников, Преосв. Иеремия учредил должность экзаменатора, которую поручил моему родителю, очень им уважаемому за строгую жизнь и за проповедничество, редкому, как однажды он выразился, его «ставленнику»[75]. Экзамен состоял в испытании умения экзаменуемого читать хорошо и раздельно при богослужении, петь, в знании церковного устава и катехизиса. С 1854 до 1857 г. перебывало у нас много лиц, и с низшим, и со средним образованием, подвергавшихся испытанию при определении на различные места. Случалось видеть даже довольно почтенного возраста студентов семинарии, бывших народных учителей, ищущих священства. В этих случаях мой родитель, по своему смирению и в сознании невысокого своего образования и недавнего посвящения во священника, очень стеснялся и смущался, но должен был исполнять волю владыки, которому было угодно поручить исполнение этой немаловажной обязанности именно ему, а не какому-либо заслуженному протоиерею или лицу монашествующему, хотя бы и незаслуженному. У этого Преосвященного, очевидно, была своя, особенная расценка людей — не по годам службы и не по цвету духовенства.

Со светскими властями Преосв. Иеремия, вообще говоря, не ладил, да и трудно было ему, с его характером и принципами, ладить в таких случаях, когда они, как например тогдашний нижегородский губернатор, князь Урусов, вмешивались в церковные дела.

---

[75] При посвящении моего отца во священника Преосвященный выразился, как нам передавали, так: «Много лет я архиерействую, но такого ставленника имею только в первый раз».

Рассказывали, например, такой случай. Приезжает Преосв. Иеремия служить литургию в нижегородский ярмарочный собор. Ему подают облачение не то, какое он назначил, а другое, и на вопрос, почему не предназначенное им, отвечают, что таково распоряжение г. начальника губернии. Говорили, что из-за этого случая возникла неприятная переписка между архиереем и губернатором, и дело чуть ли не доходило до Петербурга. А все это произошло от того, что нижегородские губернаторы всегда (еще до появления положения об усиленной охране) считали себя полновластными хозяевами на нижегородской ярмарке, в том числе и в тамошнем соборе. Да и в городе, точно нарочно для искушения их, губернаторский дом находился, как и теперь находится, в крепости как раз против кафедрального собора (тоже в крепости), наводя губернаторов на различные размышления, причем естественно являлось поползновение дать архиерею почувствовать силу губернаторской власти и попытаться хоть немного похозяйничать в архиерейской области, символ которой (кафедральный собор) ежеминутно мозолил им глаза, как символ власти чужой, совершенно от них не зависимой. Положение действительно не совсем естественное, тем более, что архиерейский дом помещался как раз против театра, на одной из ближайших, правда, к крепости и собору улиц. Не находили это натуральным и жители города. В то время острили, спрашивая: Где живет губернатор? Против собора. А где архиерей? Против театра. Так было при Преосв. Иеремии, когда прямо против архиерейского его дома стоял старый деревянный театр, потом сгоревший. Сгорел он дотла на глазах Преосв. Иеремии, который, говорят, благословлял бушующее пламя. Теперь театр уже каменный и находится совсем в другом месте.

Этот Преосвященный оберегал духовенство от нападок помещиков и светских властей. И с моим отцом был один такой случай. Судебные власти старались всячески выведать у моего отца о причинах смерти одной купеческой жены, духовной его дочери, напутствованной им перед кончиной. Возникло подозрение относительно неестественной ее смерти, самоотравления. Отца подвергли допросу в качестве свидетеля, старались от него узнать, что покойная говорила ему перед смертью. Отец, конечно, отказался отвечать на это вопрос; заявил, что может сказать только о том, что видел, а не то, что сообщено ему на исповеди, в силу ее тайны. Преосвященный, узнав

об этом деле, призвал отца, утвердил его в его решении и вдобавок вошел со своей стороны в сношение с судебными властями, причем доказывал, что они не имеют права подвергать допросу священника-духовника.

До какой степени он оберегал достоинство епископского сана, высоко и крепко держал его знамя и чужд был угодливости перед сильными мира сего, показывает следующий замечательный случай. К концу его управления Нижегородской епархией умирает князь — царевич грузинский, один из потомков грузинских царей, имевший огромное поместье в селе Лыскове, чуть ли не владелец всего этого села[76]. Он был человек весьма доброго сердца и крайне щедрый, но необузданного нрава и крайне страстного темперамента. Рассказывали, что кроме многих и тяжких грехов плоти на душе у него было немало и душегубств. В необузданном гневе он способен был убить человека, но проходила вспышка и он не знал, чем ее загладить, готов был дать какую угодно награду избитому им человеку, чем нередко и пользовались, нарочно его раздражая, потом убегая от него и наконец, когда проходил его гнев, являясь к нему за наградой. Итак, этот именитый князь-царевич, по обыкновенному человеческому суду — великий грешник, хотя и не без добрых дел, умирает. Приглашают Преосв. Иеремию приехать в село Лысково для отпевания. А нужно заметить, что как раз в это время (20 сентября 1856 г.) был назначен обер-прокурором Св. Синода зять этого князя грузинского — гр. Толстой Александр Петрович, однофамилец последующего, столь памятного духовному ведомству обер-прокурора,

---

[76] И кроме того, он имел дом, с огромным местом, в Нижнем — вероятно, на случай своего туда приезда. В Нижний князь, действительно, по временам и приезжал и очень часто посещал богослужения Преосв. Иеремии; вероятно, они ему нравились, да и кому они могли не нравиться? Видел я его однажды в нашей Сергиевской церкви, когда в ней служил Преосв. Иеремия, и был поражен видом князя, стоявшего на левом клиросе, очень дряхлого старца, со следами сильных страстей и весьма бурно проведенной жизни. Городской дом князя был совсем в другом приходе, далеко от нашего, и если князь пожаловал к нам в церковь, то очевидно только потому, что служил в ней архиерей. Этот князь был очень богат и в этом отношении так же известен в Нижнем, как гр. Шереметев в Петербурге. — «На счет князя Грузинского» — выражались у нас в Нижнем, так же, как «на счет графа Шереметева» в Петербурге.

Дм. Андр. Толстого, человек очень религиозный и набожный, к тому же хорошо, без сомнения, знакомый Преосвященному, так как перед тем (в 1855 г.) был начальником нижегородского ополчения. Таким образом, все, по-видимому, располагало к тому, чтобы приглашение было принято, но Преосв. Иеремия ответил на него решительным отказом, мотивируя свой отказ со всею откровенностью приблизительно так: покойный князь по своей жизни, полный тяжких грехов, не заслуживает почести архиерейского отпевания, по-настоящему следовало бы лишить его и простого христианского погребения, а потому пусть похоронят князя без него. Этот отказ от поездки в село Лысково молва, и, вероятно, не без основания, связывала с прошением Преосв. Иеремии об увольнении от управления епархией. Не многие Преосвященные, будь на его месте, поступили бы так, как он. И недаром митрополит Московский Филарет, узнав об удалении Преосв. Иеремии на покой, выразил сожаление и прибавил при этом: нужно бы нам таких людей побольше[77]. Невольно приходит на мысль, что живи наш покойный владыка в стародавние времена, из него вышел бы замечательный патриарх, подобный нашему земляку, патриарху Никону, хотя и с судьбой, вероятно, не во многом отличной от судьбы последнего.

Перед самым удалением на покой Преосв. Иеремия лишился многолетнего друга, начиная с ранней молодости, архиепископа Херсонского Иннокентия (Борисова), скончавшегося 27 мая 1857 г. — следовательно, за три недели до отставки нашего владыки (17 июня того же года). В один из последних дней мая вдруг, в необычное время, раздаются удары большого соборного колокола, нас, семинаристов, собирают в кафедральный собор на панихиду, и мы видим скорбное лицо нашего владыки, творящего поминовение о своем знаменитом друге. Мы уже и тогда знали об их многолетней дружбе, но, конечно, не знали того, что стало известным впоследствии из обнародованных воспоминаний Преосв. Иеремии о Преосв. Иннокентии[78]. В этих

[77] Пишу по памяти; не ручаюсь за буквальную точность, но мысль передаю верно. Где-то читал, кажется у Преосв. Саввы, архиеп. Тверского, в его обширной автобиографии (в «Богосл. вестнике»).

[78] Очень много в высшей степени интересных подробностей относительно обстоятельств их жизни и дружбы встречается в этих воспоминаниях. Они

воспоминаниях встречается весьма характерное сравнение, обрисовывающее их взаимные отношения, — одного друга к другому. Преосв. Иеремия сравнивает себя с крепким, но бесплодным суком, подпирающим прекрасную, обремененную плодами яблоню (Преосв. Иннокентия).

17 июня 1857 г. Преосв. Иеремия ушел на покой, в нижегородский Печерский монастырь, поступив в число братии без управления монастырем. Неизвестно, сам ли он просил так именно его устроить или так решило высшее начальство; вероятнее всего первое[79]. Здесь он провел много лет в малой келии, с очень маленькой церковью, с послушником иеродиаконом Никоном (впоследствии архимандритом и экономом с.-петербургского митрополичьего дома, при митрополите Палладии), совершал в этой церкви богослужения как простой священник, никогда не выходил из монастыря, в течение многих лет, и долгое время не принимал у себя никого из посетителей. Но потом начал принимать, принял и меня, впрочем уже не ранее, как через десять лет после удаления на покой, когда я был уже профессором С.-Петербургской академии, сейчас же узнал, был очень приветлив и даже просил меня прислать к нему моего отца для беседы о духовной жизни. Через несколько лет Преосв. Иеремия переселился из Печерского монастыря в другой, нижегородский же, Федоровский (Городецкий), а потом — в Благовещенский, находящийся в самом Нижнем. Здесь он и скончался 6 декабря 1884 г., 83-х лет, в схиме с именем Иоанна, пробыв на покое целых 27 лет.

напечатаны в брошюре прот. И. З. Виноградова: «Пр. Иеремия, епископ нижегородский, и воспоминания его о пр. Иннокентии, архиепископе Херсонском». Н. Новгор., 1886. Из этой брошюры сделано мной подробное извлечение в статье «Церковн. вестника» (1887, № 44). К сожалению, у меня нет теперь под руками ни той, ни другой. Замечательно, что друзья и товарищи по семинарии сошлись в СПб. академии, один как инспектор ее — Иннокентий (с 1823 по 1830), а Иеремия — как студент (оконч. в 1827 г.).

[79] Через несколько времени после его отставки выслана была ему пенсия в размере 1000 р. В городе возбудила много толков одновременная высылка, с одною почтою, этой пенсии бывшему нижегородскому епископу и такой же точно, в том же размере, т. е. в 1000 р., какому-то артисту Императорских театров.

По удалении его с епископской кафедры нам, нижегородцам, недоставало великолепного его архиерейского служения[80], да и вообще от многих слышал я выражение сожаления, что мы лишились такого замечательного епископа.

Преемник Преосв. Иеремии, Преосв. Антоний (Павлинский), магистр С.-Петербургской академии[81], имел мало сходства со своим предшественником — и наружностью, и, особенно, отличительными чертами характера и духовного склада. Правда, он был представительной, внушительной наружности, высокого роста, довольно полный собою, крепкого сложения, но его наружность не имела того изящества, которым отличалась вся фигура Преосв. Иеремии, а по характеру он был спокойный, ровный человек, доброжелательный, не без твердости в потребных случаях, с практическим складом ума, без увлечения идеальными задачами и стремлениями, — словом, представлял в значительной степени противоположность своему предшественнику. Нижегородскому духовенству жилось при нем, конечно, гораздо легче и спокойнее, чем при Преосв. Иеремии. К семинарии он относился не то чтобы совершенно безучастно, но не проявлял и особенной о ней заботливости, по крайней мере в моих воспоминаниях не сохранилось никаких сюда относящихся фактов.

При нем-то и совершилось, в 1858 году, 21 августа, то есть в каникулы того года, когда мы окончили семинарский курс, весьма памятное по своим последствиям посещение семинарии Государем Императором Александром II. Рассказывали тогда, что Государь,

---

80 Как-то раз, после удаления его в Печерский монастырь, захожу в кафедральный собор, в нижнюю его церковь, в склепе, где помещается прах Минина, и вижу архиерейское служение. Служивший епископ показался мне похожим на Преосв. Иеремию, я очень обрадовался, что опять его вижу, но оказалось, что это был апостол Сибири, Камчатский архиеп. Иннокентий (Вениаминов, † митр. Московский), проездом бывший в Нижнем и служивший здесь литургию. Он действительно очень напоминал бывшего нашего епископа и ростом, и осанкою и всею фигурою.

81 Иером. Антоний (Павлинский), новг., 14-й маг. IX к. СПб. акад. (1831), 1831 — инспект. Калуж. сем., 1840 — рект. Новгор. сем., 1852 — викар. еп. Острогож., 1853 — вик. Старорус., 1854 — еп. Архангел., 1857 — еп. Нижегор., 1860 — Волынский, 1862 — архиеп., 1866 — архиеп. Владимирский.

несколько раз проезжая мимо семинарии — видного, даже красивого здания, находящегося на пути его выездов из губернаторского дома (временного его местопребывания), заинтересовался зданием семинарии и на обеде, данном нижегородским властям и представителям города, спросил Преосв. Антония: семинария ваша хороша снаружи, а как она внутри? Преосвященный будто бы отвечал, что внутренним ее благоустройством похвалиться не может, но, судя по отпускаемым на нее небольшим средствам, она содержится в должном порядке. Государь при этом заметил, что намерен ее посетить. Посещение это состоялось 21 августа, в 4 часа дня, и было очень неблагополучно для семинарии. Это было во время каникул, а в каникулярное время, при совершенном отсутствии воспитанников, как своекоштных, так и казеннокоштных, в семинарии царствовало обыкновенно полное запустение; порядка и чистоты было меньше, чем даже в учебное время. Классы и жилые комнаты запирались, больница, за отсутствием больных, превращалась в кладовую мебели и другого домашнего скарба. Так приблизительно было и на этот раз, при Высочайшем посещении. Впрочем, вероятно, классные комнаты были открыты и некоторые из жилых, которые хотели показать Государю, но — несомненно, не все, потому что, как рассказывали, ему угодно было обратить внимание на некоторые помещения, которые оказались запертыми и едва ли приготовлены были даже ключи на случай их осмотра; больница же, несомненно, была заперта и имела не свойственный ей вид. Государь, привыкший в светских учебных заведениях видеть образцовый порядок и чистоту, был крайне недоволен всем, что видел здесь[82], вид же больницы-кладовой окончательно его возмутил. Передавали, что Государь даже топнул при этом ногой и сказал нижеприведенные слова, очень нелестные для семинарии. На беду, Преосв. Антоний почему-то не присутствовал при Высочайшем посещении семинарии, хотя архиерейский дом находится, как замечено выше, сзади ее и сообщается с нею калиткою, так что

---

[82] А отчасти и то, что слышал. Государя рассердил еще один из моих товарищей, окончивший в этом году (1858), в июле месяце, вместе с нами, семинарский курс (А-ий). Почему-то он был в это время где-то в семинарском здании, попался на глаза Государю и на вопрос его: «Ты семинарист?» дал глупый ответ: «Никак нет, Ваше Величество, я окончивший курс семинарии», за что и получил нелестное для него название, которое осталось за ним на всю жизнь, с прибавкою «царский».

достаточно было каких-нибудь пяти-десяти минут, чтобы явиться в семинарию; но, вероятно, ректор Паисий растерялся и забыл известить Преосвященного о прибытии Государя, или Преосв. Антония не было в это время дома. В заключение своего осмотра (кажется, именно после осмотра больницы) Государь, обращаясь к ректору, приказал передать Преосвященному, что он остался очень недоволен семинарией, «так и скажите», заключил Государь. Передаю историю этого Высочайшего посещения нашей семинарии на основании ходивших в то время рассказов, не ручаясь, конечно, за безусловную их верность, что касается всех частностей. День 21 августа имел роковые последствия прежде всего, конечно, для начальства семинарии, ее ректора, архимандрита Паисия, который сначала временно был устранен от должности, а потом вскоре и совсем уволен от духовно-учебной службы[83]. Невольно приходит на мысль вопрос, что чувствовал бывший ректор нашей семинарии архимандрит Аполлоний, тогда еще здравствовавший, в звании настоятеля московского Симонова монастыря († 9 октября 1861 г.), когда узнал, чем окончилось Высочайшее посещение любимого его детища, нашей семинарии, на благоустройство которой и приведение в блестящий вид, в особенности хозяйственной ее части, он положил столько сил и хлопот и которую он передал в другие руки только семь лет тому назад (1851).

---

[83] Устранен 8 окт., а совсем уволен (после ревизии архим. Иакова (Кроткова), настоятеля моск. Данилова монастыря) 30 ноября того же 1858 г., с оставлением за ним настоятельства только в нижегор. Благовещенском монастыре. «Вскоре» (по словам «Кр. пам. истор. записки Нижегор. дух. сем.», стр. 57–58) «по собственному избранию» он удалился настоятелем в бедный Густынский монастырь Полтавской губернии, где провел целых 20 лет, скончавшись преклонным старцем. Вероятно, «вскоре» предложили ему очистить место для нового ректора, архим. Ювеналия (Карюкова). А жаль, что не дали о. Паисию окончить дни в Нижнем, в котором он прожил более 30 лет. Впрочем, он оставил Благовещенский монастырь во всяком случае не ранее осени 1860 г. — в этом году летом я был у него, когда на каникулы приехал на родину студентом СПб. академии. Памятен мне наш разговор с ним. О. Паисий спрашивает меня, как поживает проф. В. Н. Карпов, его земляк, воронежец и почти товарищ по Киев. академии (II к. 1825, а Паисий Понятовский –III к. 1827), и продолжает с полным благодушием: «Что, еще служит? Пора бы ему на покой. Вот и я все служил, да дослужился до того, что мне наконец сказали: пора уходить. Служи, да не заслуживайся. Так-то».

Через пять лет после описанного выше события Нижегородской семинарии удалось, наконец, восстановить свою репутацию. В 1863 г., в год окончания нашего академического курса, опять в августе месяце (2 августа, в 3 часа дня), Государь Император Александр II снова удостоил своим посещением нашу семинарию, подробно ее осмотрел, вспомнил о прежнем своем посещении ее и остался на этот раз ею доволен. Я был тогда в Нижнем, помню, что Государь приезжал, вместе с Государыней Императрицей Марией Александровной, в нашу Георгиевскую церковь, находящуюся очень близко, почти рядом с семинарией, но подробностей нового Высочайшего осмотра семинарии не помню, даже по рассказам, вероятно потому, что в них не было ничего выходящего из ряда вон, как в первом случае. Об этих подробностях можно прочитать в «Краткой памятной исторической записке Нижегородской духовной семинарии», стр. 60–61[84]. В ней (см. стр. 60) приведены и характерные для нашей семинарии слова тогдашнего Государя Наследника Цесаревича Николая Александровича, при посещении и подробном осмотре им Нижегородской семинарии, в 1861 г. 14 августа: «Здание семинарии, кажется, самое обширное во всем городе», причем Государь Наследник изволил прибавить, что он всем виденным в семинарии доволен и сожалеет только о том, что не видит самих ее воспитанников.

Здание Нижегородской семинарии — действительно, очень выдающееся, видное и довольно обширное. По фасаду украшено массивными колоннами (правда, из оштукатуренного кирпича), стоит на прекрасном месте, на широкой площади, прямо против ворот

---

[84] «Встреченный при входе Преосв. Нектарием (Надеждиным) и начальством семинарии, Его Величество, направляясь в зал, изволил спрашивать о благосостоянии семинарии. В зале Его Величеству были представлены наставники семинарии, смотрители и учащие Нижегородского и Печерского училищ. Из залы Государь прошел в библиотеку, потом осматривал классы, помещавшиеся тогда (часть) в нижнем этаже, затем в верхнем этаже изволил осматривать спальные и занятные комнаты, в среднем этаже — комнаты правления и канцелярию, в нижнем — столовую комнату и наконец изволил пройти в больничный корпус. Государь вспоминал при этом и о своем первом посещении семинарии... Покидая семинарию, Государь изволил обратиться к сопровождавшим его лицам со следующими милостивыми словами: „Что касается до внешности семинарии, то я нашел ее в гораздо лучшем виде, чем прежде. Доволен. Благодарю“».

нижегородского Кремля, ведущих к кафедральному собору и губернаторскому дому (носящему у нас, в Нижнем, название дворца, вероятно потому, что в нем останавливались всегда Высочайшие Особы, во время Их приезда в Нижний). Наконец, дом семинарии находится почти на краю высокой горы, с которой открывается обширный вид на низменный берег Волги. Такая внушительная наружность семинарии, вызвав ожидание соответственного внутреннего благоустройства, усугубила невыгодное впечатление, полученное Императором Александром II от первого его посещения в 1858 г.

Но если наша семинария находится на очень видном месте, то храм св. Георгия, при котором мой родитель состоял священником и жил вместе с нами вблизи его, имеет еще более красивое местоположение. Он стоит, почти рядом с семинарией, на самой вершине очень высокой горы, с которой открывается обширнейший вид на все Заволжье, на низменные берега Волги, на несколько десятков верст, так что в ясный солнечный день можно различать, даже без бинокля, церкви города Балахны, находящегося в 30 верстах от Нижнего. Да и весь Нижний Новгород — один из красивейших наших русских городов. По красоте местоположения он не уступает Киеву, а в некоторых отношениях даже превосходит его, имея с ним большое сходство[85]. В этой-то красивейшей местности суждено мне было прожить и детские, и юношеские годы. Сначала, когда был в училище, бегал по крутым живописным горам, спускающимся к Оке, против нижегородской

---

[85] Уступая Киеву в отсутствии южной растительности и благодатного климата Малороссии, а также и памятников глубокой исторической древности, Нижний превосходит его более высоким местоположением и более обширным видом из всех пунктов нагорной стороны на низменные берега двух великих рек — Оки и Волги, сливающихся у подножия нижегородских гор. Сходство Нижнего с Киевом выразилось в характерных наименованиях и некоторых нижегородских местностей: Почайны и Печор (Печерский монастырь с лежащим близ него селением). Неудивительно поэтому, что некоторые лица, как например Преосв. Иеремия, прожив немало лет в Киеве (1830–1843 — 12 лет) и вообще на юге (на Кавказе и Полтаве, 1843–1851 — 7 лет) предпочли остаться в Нижнем, вместо того, чтобы уехать в Киев или куда-нибудь на юг. Другой пример: архиеп. Донской Макарий, пробыв немало лет на берегах Дона, приезжает кончать свои дни на берега Оки и Волги, в нижегородский Благовещенский монастырь († 1894), имеющий очень красивое местоположение, при самом слиянии Оки и Волги, против знаменитой нижегородской ярмарки.

ярмарки, которую тоже очень нередко посещал, когда она была открыта, а потом, когда вместе с моим поступлением в семинарию наше семейство перешло в другую часть города, наслаждался несравненными видами, открывающимися из Кремля и вдоль по набережной, от нашей Георгиевской церкви до Печерского монастыря. Бесчисленное множество раз гулял я по этой набережной и никогда не мог насытиться красотою открывающихся с нее видов. По высокой горе разбит так называемый английский сад, спускающийся вниз к самой Волге. А внизу широкая река со множеством взад и вперед снующих по ней пароходов. Особенно красив был вид с набережной на Волгу вечером в сумерки, когда на пароходах зажигались огни, а из пароходных труб поднимались столбы искр; река, в тихую погоду, — как зеркало, вдали на огромное пространство — луга, леса, деревни и озера, а к западу, вверх по Волге, — багровый закат солнца, точно опускающегося в реку, вверху же, над головою, — глубокое небо, усеянное звездами. Сильно чувствовалась красота родной природы, и имей я хоть немного способностей к стихотворству, непременно сделался бы стихоплетом, подобно упомянутому в 1-й главе одному из моих дедов.

Мои родители жили очень замкнуто, избегая всяких знакомств, так что мои прогулки по набережной составляли почти единственное мое развлечение, кроме посещения немногих моих товарищей, одобренных моими родителями. Эти товарищи ходили и к нам, но больше я к ним, в особенности к В. Я. Рожанскому, с которым сблизился, особенно в последние два-три года, да еще к Ф. Г. Ел-му, который, тоже последние два-три года, жил вместе с одним из своих товарищей, отдельно от нас, на квартире.

Кстати, о прогулках по нашей дивной набережной и по другим живописным местам нашего города. Были ли эти прогулки и вообще наслаждение прекрасной природой родного города только развлечением? Не имели ли они еще другого, более серьезного для нас значения — воспитательного. Широкие, открывающиеся перед нами картины не возбуждали ли в нас идеальных стремлений и дум, порывов к чему-то высшему мелочей обыденной жизни? Недаром «книга природы» ставится в некоторую параллель с книгами Откровения. Недаром и монастыри, как бы инстинктивно чувствуя влияние прекрасной природы на духовную жизнь человека, избирали для себя красивейшие местности.

Приход моего отца — Георгиевский — тянулся как раз вдоль великолепной набережной. Он был большой по протяжению, простирался до конца города, до самого Печерского монастыря, но количество прихожан было невелико, и он вообще был небогат. В нем было много казенных зданий: духовная семинария, консистория, архиерейский дом, городская больница. Были и пустые, незастроенные места (где теперь Мариинский женский институт). Да и прихожане были небогатые люди, а потому доходы причта были очень небольшие, и не будь в нашем храме чудотворной иконы Смоленской Божией Матери, приход наш был бы совсем бедным. На долю моего родителя выпадало очень много трудов по хождению с чудотворною иконою по всему городу и служению многочисленных молебнов, с водосвятием и акафистами, особенно в холерное время. В такое время труды его усугублялись еще совершением треб по напутствованию больных на волжских пароходах. Да и в другое, более благополучное время приходилось нередко отправляться на них с той же целью[86].

Среди прихожан, в первые годы службы отца при Георгиевской церкви, не было выдающихся личностей. Были, впрочем, довольно необычные прихожане. Это — актеры старого городского театра, — как сказано выше, потом сгоревшего. Они помещались в довольно большом, деревянном, казенном доме,[87] и были в большинстве духовными детьми моего отца, который, кстати заметить, выражал удивление по поводу доброго, религиозного их настроения, которого никак

---

[86] Дело в том, что в этой части города наша Георгиевская церковь была единственная (другой — Троицкой — еще не было), которая видна была с пароходов, стоявших против нашей набережной. Мы очень боялись за отца, когда его требовали, часто глухой ночью, для совершения таких треб. Нужно было спуститься с очень высокой горы вниз, пройти порядочное пространство среди рабочего населения по берегу Волги, затем плыть в лодке до парохода, стоявшего часто довольно далеко от берега, подняться на пароход по трапу, напутствовать больного, нередко холерного, и потом возвратиться тем же путем домой, нередко пешком и без провожатого. Но Бог хранил отца, и с ним ни разу не случилось ничего худого.

[87] Когда сгорел старый и выстроен новый театр, актеры поселились в других местах и вышли из нашего прихода; а старый их дом продан и на место его выстроено уже каменное здание, имеющее другое назначение.

не ожидал. Несколько позднее поселился в приходе богатый купец Рукавишников, родной брат которого, большой любитель церковного пения, завел великолепный хор церковных певчих. По всей России собирались в него лучшие голоса, что стоило, конечно, больших денег. Этот хор пел и в нашей церкви, и в других церквах города. Мой родитель недолюбливал этого хора из-за его вычурного, партесного пения, а главное — из-за той толпы народа, которая, благодаря ему, собиралась в храме, отнюдь не для молитвы, а просто для развлечения, как в концертный зал.

По переходе в этот приход (из прежнего Сергиевского) наше семейство первое время жило на тесных, часто неудобных квартирах, потом перешло в деревянный церковный дом, находившийся в конце города и нашего прихода, далеко от церкви. А когда решено было построить новый церковный каменный дом в другом месте, на нашей великолепной набережной, вблизи английского сада, пришлось жить опять на наемных квартирах. Из одной такой квартиры родители проводили меня в Петербургскую академию.

Когда мы оканчивали семинарию, наша дальнейшая судьба складывалась так. Троим из окончивших семинарский курс 1858 г. предстояло отправиться на казенный счет в Казанскую академию, вызывавшую тогда именно 3-х студентов из нашей семинарии. Наше семинарское начальство предназначило, из 1-го отделения, двух первых по списку: Н. С. Потоцкого и А. М. Хитровского, а из 2-го — меня, А. Л. Катанского, как первого по списку (за моим же отказом — следующего за мной), второго — В. Я. Рожанского. Ф. Г. Елеонский, как третий по списку 1-го отделения[88], не получил назначения в академию, а равно и А. И. Смирнов, окончивший курс в числе последних студентов, 13-м[89]. Из всех же студентов

---

[88] В течение всего семинарского курса он, по большей части, занимал это место, впрочем иногда и второе среди годичных курсов, переходя, однако, из класса в класс всегда под № 3. И. Ф. Спасский, перешедший из училища в семинарию первым учеником, окончил ее под № 5, и ни в какое высшее учебное заведение не поступил; дальнейшая его судьба мне неизвестна.

[89] Так низко он окончил отчасти потому, что мало занимался своим делом, отчасти за поведение. Весьма замечательна дальнейшая судьба этого даровитого моего товарища. Замеченный еще в семинарии в нетрезвом поведении,

нашей семинарии (курса 1858 г.) получили потом высшее образование в разных учебных заведениях по нашему 2-му отделению шесть человек: кроме меня, А. Л. Катанского, и В. Я. Рожанского, — А. И. Смирнов (в Казанском университете), М. М. Добротворский[90], П. А. Румянцев[91] и П. Ф. Лебедев[92]. Из 1-го же отделения — только

он продолжал вести такую же жизнь и по окончании семинарского курса и, наконец, дошел до того, что попал в писари к становому приставу, в каком-то селе. Но здесь, на его счастье, обратила на него внимание гувернантка одного помещика, жившего в своем имении в том же селе. Рассказывали, что, встретившись как-то раз с А. И. С-м, она неожиданно вступила с ним в разговор и начала говорить на тему о том, как не стыдно ему, как она слышала, такому даровитому человеку, так вести себя. Ее слова так подействовали на него, что он перестал пить, познакомился с ней, женился, поступил в Казанский университет, блестяще окончил в нем курс, оставлен при университете и потом занял кафедру философии. С Ап.И. С-м мы ни разу не видались по окончании семинарии, но в последние годы своей службы, будучи уже ординарным профессором, он вспомнил обо мне, прислал мне письмо и фотографическую свою карточку, я ответил ему тем же, а затем он вскоре скончался.

90 М. М. Добротворский поступил в медицинскую академию, был военным доктором где-то в Сибири. Жив ли, неизвестно. Он из даровитого семейства Добротворских, родной брат знаменитого И. М. Добротворского, бывшего профессора Казанской академии и Казанского университета. Мой товарищ М. М. Добротворский всегда занимал в наших семинарских списках третье место, под этим же номером окончил и семинарский курс.

91 П. А. Румянцев, 7-й студент по списку, поступил сначала, через два или три года по окончании семинарского курса в Киевскую академию, перешел потом в Киевский университет на медицинский факультет, был военным доктором, скончался.

92 П. Ф. Лебедев, 14-й наш студент, человек замечательной энергии, удивлявший нас тем, как он готовился к поступлению в С.-Петербургский педагогический, старый, институт, в который и поступил. Потом, когда институт был закрыт (1859), он перешел в С.-Петербургский университет на историко-филологический факультет, где и окончил курс очень успешно, был потом учителем и инспектором Петрозаводской гимназии, вышел в отставку и доселе здравствует, живя в Петрозаводске вместе с сыном. Готовясь к экзамену для поступления в СПб. педагогич. институт, он не ходил даже обедать в перерыв между уроками (с 12 до 2-х часов дня), все это время употреблял на изучение математики, новых языков и др. предметов. Ту же энергию он обнаруживал и в Петербурге, добывая средства для жизни уроками, которых было у него много.

три: Н. С. Потоцкий[93], А. М. Хитровский[94], посланные в Казанскую академию, и Ф. Г. Елеонский, — следовательно, вдвое меньше против нашего, если не считать двоих вышедших из 1-го отделения ранее окончания полного семинарского курса, для поступления в университет: Н. Касаткина[95] и П. Ив. Покровского[96]. Зато 1-е отделение дало впоследствии двух епископов, не получивших академического образования: Федора Доримедонтовича Счастнева[97] и Александра Петровича Соболева[98].

Отказ мой от посылки в Казанскую академию произошел при следующих обстоятельствах. Года за два-три перед окончанием семинарского курса я был очень напуган постигшей меня серьезной болезнью дыхательных ветвей — сильнейшим бронхитом или даже плевритом, задыхался, мог дышать не иначе, как с большим трудом, обращался к хорошему доктору, который очень меня напугал[99], но потом помог, а затем целый год я лечился сам: пил парное молоко,

---

[93] Н. С. Потоцкий, 11-й маг., 1862–1873 — препод. Тобольской сем., 1873–1877 — ее ректор, † 1877.

[94] А. М. Хитровский, 2-й маг., препод. Саратовской сем. до 1867, а потом — Самарской, † 1869.

[95] Судьба его мне неизвестна.

[96] П. И. Покровский, шурин П. И. Раева († митр. Палладия), окончил курс в Моск. универ. по мед. факультету, был доктором в Москве, в одной из больниц. Когда я служил в Моск. акад., не раз бывал у него. Скончался.

[97] Ф. Д. Счастнев, 10-й по списку студ. Нижегор. сем., в монашестве Евфимий, ныне еп. Енисейский и Красноярский (1860 — свящ., 1892 — прот., 1893 — постриж. в монаш., 1894 — архим. и настоят. Спасо-Преображ. мон. в гор. Арзамасе, 1897 — вик. еп. Новгородсеверский, 1898 — еп. Енисейский). Здравствует.

[98] А. П. Соболев (по сем. списку 39-й), в монашестве Алексий, был еп. Вологодским. До пострижения в монашество был свящ. при нижегор. Покровской ц., при которой был некогда свящ. и П. И. Раев († митр. Палладий). А. П. Соболев, очень видный собою и представительный, держал себя, будучи священником, с большим тактом. Вероятно, благодаря этому, да еще митр. Палладию, который был его (вместе с Ф. Д. Счастневым) наставником в семинарии, он и выдвинулся на такой видный пост. Скончался.

[99] Фон-Путрен, главный доктор Мартыновской городской больницы. Осмотрев меня, он заметил: «Сделаю, что могу». Из этих слов я заключил, что мое дело плохо. Доктор приписал мне рвотный пластырь, который велел положить на грудь. Пластырь значительно мне помог.

морковный сок и пр. Когда полегчало, задумали мы с В. Я. Рожанским, за год до окончания полного семинарского курса, отправиться на свой счет в Киевскую академию, где был профессором его родственник (кажется, двоюродный дядя) — знаменитый И. М. Скворцов. Это предприятие особенно сблизило нас, хотя мы всегда были дружны; В. Я. Рожанский, очень остроумный, веселый, отчасти заменял мне тогда давнего моего друга Ф. Г. Елеонского, который учился в другом отделении, да и жил тогда не у нас, а на отдельной квартире. Мой новый друг написал в Киев письмо, и мы с нетерпением ждали на него ответа. Ответ, наконец, был получен, но такой охлаждающий наш пыл, что пропала у нас всякая охота попытать счастья, несмотря на мечты, в особенности мои, о теплой, поэтической Малороссии. И мы решили терпеливо ждать полного окончания курса, причем мысль об академии меня не покидала, но куда ехать, в какую академию? Казань страшила меня своим, как мне говорили, болотным климатом, а главное, мне сообщили, что здание Казанской академии имеет амосовское отопление, весьма вредное по своей сухости для таких слабогрудых, как я. А потому, предвидя предложение ректора о назначении меня, в числе других товарищей, в эту академию на казенный счет, решился отказаться от этого назначения и сообщил об этом своему другу, причем прибавил, что намерен ехать через год в Петербургскую академию и что буду очень рад, если и он поедет со мною. Петербург же, хотя и был известен мне по своему, тоже болотному климату, но привлекал меня как столица; по крайней мере, думал я, повидаю его, если суждено мне недолго жить. В. Я. Р-кий ответил на мое предложение как-то уклончиво, или даже совсем не ответил. Во всяком случае, с тех пор он начал вести себя в отношении ко мне довольно двусмысленно[100]. Так и окончилась

[100] В душе, очевидно, он решился ехать в Казань, если ему, как следующему за мною по списку, сделают это предложение после моего отказа, но прямо этого мне не заявил, а я из деликатности не хотел приставать к нему, вызывать на откровенность. В сущности, я не имел ничего против его намерений, которые в последнее время начал подозревать, хорошо понимая, что было бы слишком большой с его стороны жертвой, в пользу нашей дружбы и давней мечты о совместном обучении в академии, отказаться от поездки на казенный счет в Казань. Неприятно было одно — недостаток откровенности с его стороны, — откровенности, которой я ждал, но так и не дождался. Окончили мы курс, не проронив ни слова о занимавшем нас обоих предмете.

наша дружба; хотя мы остались в добрых отношениях, но прежней дружбы уже не было.

Перед окончанием семинарского курса ректор архимандрит Паисий три раза призывал меня к себе, настойчиво предлагая отправиться на казенный счет в Казань, но всякий раз я решительно отказывался от этого лестного предложения, в виду слабости здоровья. Тогда он призвал следующего за мною по списку В. Я. Р-го, который принял предложение и блестяще, первым магистром, окончил курс в Казанской академии в 1862 г.

Мне, однако, очень не хотелось ехать в академию одному. Настроенный на совместной с товарищем поездке туда и разочарованный в новой дружбе, я вспомнил старую, — самого старого друга и близкого родственника, Ф. Г. Елеонского, и увлек его за собою. Когда явилась у нас мысль о совместной поездке в Петербург, не помню; вероятно, тогда, когда я окончательно решил отказаться от поездки в Казань. В конце концов все вышло лучше, чем можно было ожидать. И случись как-либо иначе, С.-Петербургская академия едва ли получила бы Ф. Г. Ел-кого, впоследствии прекрасного профессора, очень солидного и трудолюбивого ученого-библеиста. По собственной инициативе он едва ли решился бы ехать в академию, да и материальные средства тут играли большую роль, а вдвоем все казалось как-то легче и удобнее; наконец, и моим родителям было приятнее отпустить меня в дальнюю сторону не одного.

Когда ректор архимандрит Паисий в последний раз призвал меня к себе по делу об отправке в Казань и, выслушав от меня решительный отказ, спросил, что же я намерен делать по окончании курса, я заявил ему, что через год намерен ехать в С.-Петербургскую академию, даже на свой счет, если не удастся на казенный. В таком случае семинарское правление с удовольствием будет рекомендовать вас в качестве кандидата на казенную вакансию; нужно только подать просьбу о том в канцелярию обер-прокурора Св. Синода, — сказал мне ректор. То же обещание дано было и Ф. Г. Е-му, когда он через несколько времени заявил о том же.

Конец 1858 года провел я в приготовлениях к поездке в Петербург, в повторении пройденного семинарского курса. Между прочим, прочитал всю Библию, но почти без пользы, больше механически, чтобы прочитать только все и несколько книг из библиотеки

хозяина того дома, в котором мы тогда жили, А. И. Грацианова, бывшего учителя семинарии: какой-то словарь церковных писателей, кажется митрополита Евгения, «О ересях и расколах в русской Церкви» Руднева, часть истории Карамзина и др. Этот год принес мне мало пользы — даже для укрепления моего некрепкого здоровья, истомив меня ожиданием будущей поездки и экзамена, что, при моей нервности, нетерпеливости и заботливом характере, было для меня во многих отношениях далеко не полезно. Где провел этот год Ф. Г. Елеонский, у нас ли в Нижнем или на родине, в селе, как-то вышло из памяти. По всей вероятности, в том и другом месте, начало — в селе, вторую же половину года — в нашем семействе, в Нижнем.

В свое время мы обратились к преемнику бывшего нашего ректора, архимандриту Ювеналию (Карюкову)[101] с просьбой рекомендовать нас в качестве кандидатов для поступления в С.-Петербургскую академию на казенный счет, ссылаясь на обещание его предшественника Паисия. Просьба наша исполнена, но из канцелярии обер-прокурора Св. Синода получен был отказ, несмотря на отличную рекомендацию, данную нам со стороны семинарского начальства. Другого исхода нельзя было и ожидать после Высочайшего посещения нашей семинарии 21 августа 1858 г. Тогда мы решились ехать на свой счет, «волонтерами».

По получении из врачебной управы свидетельства о состоянии нашего здоровья, перед отправлением в Петербург, мы явились к Преосв. Антонию принять благословение. Меня он принял благосклонно, но не так отнесся к моему товарищу, Ф. Г. Ел., дав ему понять в резких неделикатных выражениях, покоробивших меня, что считает его претензию на получение академического образования неосновательной[102]. А между тем, при поступлении в академию, как

---

[101] Иером. Ювеналий (Карюков), екатериносл., последний, 30-й маг. XII к. Киев. акад. (1845), 1851 — инспект. Кишинев. сем., 1858 — ректор. Нижегор. сем., 1868 — вик. еп. Михайловский, 1871 — еп. Архангел., 1877 — Орлов., † 1882.

[102] Помнится, обращаясь к Ф.Г., он спросил: «И ты туда же?..» В этих словах хорошо обрисовался характер личности этого Преосвященного.

увидим впоследствии, вышло как раз наоборот. Прославленный[103] в семинарии ученик чуть не провалился на приемном экзамене в Петербургской академии, а менее славившийся по семинарии, но даровитый и трудолюбивый ее питомец принят в академию довольно высоко по экзаменскому списку.

Эту главу моих воспоминаний не могу закончить иначе, чем и первую. Считаю счастьем для себя и моих товарищей, что мы учились в Нижегородской духовной семинарии в старые добрые времена. Учились мы при старой, далеко не совершенной программе и при старых методах преподавания, дававших нам много простора для самодеятельности, при хороших, в общем, преподавателях и при сильном на нас влиянии лиц, стоявших во главе местной администрации (Преосв. Иаков, Преосв. Иеремия, ректор архимандрит Аполлоний, — первый и последний оставили по себе жившие и в наше время традиции), наконец при воздействии на нас прекрасной природы родного города, помогавшему нашему саморазвитию. Учебная программа 1840 года не помешала тому, чтобы из Нижегородской семинарии этого периода времени (1840–1867, до введения нового устава духовных семинарий) вышло очень много видных, даже выдающихся деятелей на разных поприщах служения Церкви, отечеству и науке[104]. Стало быть, дело не столько в про-

---

[103] Таково было обо мне мнение семинарского начальства, преподавателей и моих товарищей, которые охотно признавали мое первенство, но только у них закрадывалось сомнение (замечательная черта времени!), действительно ли я человек очень дельный, — на том основании, что не пью вина. «Всем бы хорош наш первак, — говорили они, — да только отчего он не пьет?» Очевидно, я не совсем подходил к тогдашнему семинарскому идеалу.

[104] Полный перечень их можно читать в «Кратк. памят. истор. записке Нижегор. дух. сем.» А. Тихова (стр. 70–76). Здесь мы упоминаем только некоторых из них, не касаясь ни тех, которые учились в семинарии до 1840 г., ни тех, которые окончили в ней курс после 1867 г. Перечисляем их по порядку семинарских курсов. 1842 года: прот. А. П. Владимирский (1-й маг. I курса Казан. акад.), проф. Казан. унив. и ректор Казан. акад. в течение 25-ти лет (1871–1896); 1848 — первые студенты семинарии: Н. И. Глориантов (2-й маг. СПб. акад. и прекрасный ее проф. физики), прот. П. А. Матвеевский, известный многочисленными и ценными богословско-литературными трудами, П. И. Раев († митр. СПб.), И. Я. Охотин († Преосв. Иустин, архиеп. Херсонский); 1850 — М. И. Лузин († Преосв. Михаил, еп. Курский), выдающийся проф. Моск. акад.

грамме, сколько в личностях, ее выполняющих. Удачный выбор лиц, в особенности начальствующих, и бережное к достойнейшим из них отношение часто спасают всё учебно-педагогическое дело, в противном же случае его губят.

и рект. Киевской, автор многих замечательных ученых трудов (Против Ренана, Толковое Евангелие и др.), Л. П. Полетаев (Преосв. Григорий, Омский), 1-й маг. Казан. акад., а потом долгое время, 13 лет, — ее проф. по Св. Писанию; 1852 — И. М. Добротворский (1-й маг.), знаменитый проф. Казан. акад. по расколу, проф. и декан Казан. унив., А. И. Лилов (2-й маг.), бак. Казан. акад., выдающийся препод. психологии и палеонтологии, 20 лет потом служивший по мин. нар. просв. на Кавказе; Н. А. Виноградов, конкурент И. М. Д-го по успехам, из богосл. класса вышедший (1851) в Казанский унив., его проф. и знаменитый по всей Волге доктор (казанский Боткин); 1856 — П. В. Знаменский, знаменитый проф. Казан. акад., ее историк и автор многих капитальных трудов; 1858 — А. Л. Катанский, Ф. Г. Елеонский — заслуж. проф. СПб. акад., В. Я. Рожанский — бак. Казан. акад., Ап. Ив. Смирнов — проф. Казан. унив.; 1864 — В. А. Снегирев, известный проф. Казан. акад. по психол., читавший лекции и в Казан. унив., Я. А. Богородский — заслуж. проф. Казан. акад. по библейской истории. Сюда же можно причислить и воспитанника Нижегор. сем. 1846 г. — прот. В. И. Вербицкого, известного алтайского миссионера, просветившего до 2100 инородцев св. крещением († 1890), родственника и продолжателя еще более известного миссионера С. В. Ландышева, также из питомцев Нижегор. сем. (1836 г., он вышел из философского класса; в 1843 выдержал экзамен на студента сем., † 1882).

III. В Санкт-Петербургской духовной академии: XXV курс (1859–1863)

Отъезд из Нижнего Новгорода в Петербург имел для меня большее значение, чем для других, в том числе и для моего спутника, Ф. Г. Елеонского. Это был решительный перелом, крутой поворот в моей личной жизни. Живший доселе, со времен младенчества, в семействе, да еще очень замкнутом, не испытавший жизни среди чужих, я чувствовал себя беззащитным птенцом, выпавшим из родного гнезда. Другие мои товарищи, оставлявшие родительские дома на целые учебные годы, для учения в училище и семинарии, не могли и наполовину чувствовать того, что переживал я. Неудивительна поэтому моя растерянность и нервность, сопутствовавшие мне во всё время нашего путешествия и еще более усилившиеся по приезде в холодный во всех смыслах Петербург, всего менее способный успокоительно и живительно подействовать на взбудораженные нервы и захолодевшее сердце.

Трогательно простившись с родителями, родными и прекрасным Нижним Новгородом, поехали мы, в начале августа 1859 г., на Самолётском пароходе, вверх по Волге на Ярославль, так как нижегородской дороги тогда еще не было; она только что начинала строиться. На этом пароходе, совершенно неожиданно, оказался у нас еще спутник, студент Пермской семинарии, ехавший также в Петербургскую академию, и так же, как и мы, волонтером, — А. Е. Адриановский. Приехали мы в Ярославль рано утром, на очень

короткое время остановились в общей зале одной весьма видной, едва ли не самой лучшей гостиницы этого города, — родины и рассадника русских трактирщиков и трактиров. Здесь, в этой гостинице (Пастухова) мы поражены были множеством сборщиков и сборщиц, в особенности монахов и монахинь, пристававших в общей зале к посетителям с просьбами о пожертвовании. Хотя мы и привыкли в своем Нижнем, в особенности во время ярмарки, к этому зрелищу, но слишком большое количество сборщиков, да еще монашествующих, и притом ранним утром, показалось нам все-таки необычайным. Напившись чаю, отправились отыскивать контору экипажей частного общества «Общественная польза», на которую указали нам на пароходе. В одном из дилижансов этого общества и пришлось нам ехать в Москву, так как и ярославской железной дороги тогда еще не было, не было железного пути и на участке от Троице-Сергиева Посада до Москвы. На этом участке железная дорога открыта была года через два (вероятно, в 1861–1862), гораздо ранее устройства полной линии московско-ярославской железной дороги. Ехали мы в дилижансе от Ярославля до Москвы около двух суток (240 верст), через Ростов, Переяславль, Троице-Сергиев Посад. Когда мы приехали в Посад, несмотря на короткое время остановки, успели, однако, посетить собор, где покоятся мощи преп. Сергия, и посмотреть на Московскую духовную академию, заглянули даже в студенческие комнаты.

Приехали мы в Москву накануне праздника Преображения Господня, в прекрасный ясный день, остановились на краю города на каком-то плохоньком постоялом дворе и, конечно, сейчас же отправились в московский Кремль, приведший нас в восторг. Там готовился крестный ход; время было уже к вечеру, началась всенощная. Дивный вид на Замоскворечье и затем выложенная гладкими плитами, точно в храме, площадь Кремля, окруженная величественными древними соборами, украшенная хоругвями крестного хода и оживленная собравшимся народом, представляла картину, полную поразительного великолепия и умилительной красоты. Да и вся Москва крайне нам понравилась, и неудивительно, так как в обширных размерах она напоминала нам наш родной город, и если не отличалась таким выдающимся местоположением, как Нижний, зато говорила сердцу очень много своим не сравненным ни с чем Кремлем, своими многочисленными древними памятниками и церквами и чисто русским

характером. Мягкий ее климат, гораздо лучший нижегородского, также подкупал в ее пользу. Не такое впечатление произвел на нас Петербург.

Туда мы отправились уже по железной дороге. И хотя пассажирские поезда ходили тогда от Москвы до Петербурга ровно 30 часов, но эта, по нынешнему времени крайне медленная, езда показалась нам тогда, после езды в дилижансе, необычайно быстрой. Такое впечатление несколько ослаблялось только слишком продолжительным стоянием поезда на каждой из многочисленных станций, обыкновенно не менее 10 минут на самой незначительной станции и не менее получаса, а то и целый час — на большой[105]. Кондукторами были тогда солдаты в киверах, да и все управление железной дороги было военное; с пассажирами не церемонились, а приучали их к военной субординации; особенно, помнится, грозно держали себя кассиры, вселяя трепет в пассажиров, подходящих за билетами к их решетке. Для проезда по железной дороге выдали нам билеты, не нынешние маленькие, а большие длинные листики, с обозначением всех многочисленных до Петербурга станций и с выставленною против каждой ценою проезда до нее, от Москвы.

Приехали в Петербург под вечер. Здесь нас встретило серое, свинцовое небо и слегка моросящий дождь. Самое первое впечатление получилось неприятное, как раз противоположное тому, какое произвела на нас Москва. Повеяло холодом, пахнуло каким-то нерусским духом, и народ оказался каким-то особенным, далеко не таким благодушным, как москвичи, сумрачным, чем-то озабоченным, быстро куда-то бегущим. Словом, невольно сжалось сердце, и захотелось поскорее бежать из этого несимпатичного города. Не предчувствовал я тогда, что придется прожить в нем более двух третей жизни и навсегда в нем поселиться.

При переезде с вокзала Николаевской железной дороги в город случилось с нами курьезное приключение. Не имея ни малейшего понятия о том, в какой части города находится академия,

---

105 Когда приехали на станцию Тверь, мы поражены были возгласом кондуктора: «Станция Тверь, берегите карманы». Такое предупреждение пассажиров относительно этой станции приходилось слышать долго (до 70-х годов) и в последующие годы езды по Николаевской железной дороге.

и по-нижегородски предполагая, что она всем здесь известна[106], мы велели извозчику везти нас в духовную академию. Помнится, извозчик сначала как-то замялся (на что мы тогда не обратили никакого внимания), а потом, быстро сообразив, что мы приезжие, попали в Петербург в первый раз, ответил, что он знает, где находится духовная академия, и повез нас как раз в противоположную сторону — к Казанскому собору. Затем, когда привез нас к гостинице, на Екатерининском канале, против Казанского собора, на наш вопрос, где же находится академия, решительно махнул рукой по направлению собора и ответил только: «Там». Вдобавок, в наказание за нашу неопытность и за то, что мы не условились насчет платы за провоз (воображали почему-то, что в Петербурге есть такса для извозчиков), содрал 1 р. с нас (а другой извозчик — еще 1 р. с нашего спутника) — за это небольшое пространство. От коридорного гостиницы мы потом узнали, что в Петербурге есть две духовные академии, одна — на Васильевском острове (римско-католическая), а другая — за Александро-Невской Лаврой (православная). Заняв номер в гостинице, мы остановились здесь втроем, вместе с неразлучным нашим, начиная с парохода, спутником А. Е. Ад-м и провели первые сутки в Петербурге. Наш компаньон был чрезвычайно рад, что попал в столицу[107], с границы Сибири, из Екатеринбурга. Меня же, как сказано, она совсем не привела в восторг. Если что в ней понравилось и приятно поразило, то это обилие памятников, статуй и других произведений искусства, вроде групп на Аничковском мосту.

---

[106] Потом мы имели много случаев убедиться, что в Петербурге в тогдашнее время очень мало знали нашу Академию не только извозчики, но даже и светские образованные люди, и смешивали ее по большей части с духовной консисторией, а иные — с духовной семинарией. Большая ее известность началась с 1869 г., когда начали печатать о ней в светских газетах, по поводу диспутов, годичных актов и т. п.

[107] Как только мы вошли в номер гостиницы, он развеселил нас одним очень наивным замечанием. Увидев в занятом нами номере кошку, он воскликнул: «А знаете что, братцы: ведь эта кошка столичная!» Вероятно, думал он, при этом: вот, сколько сот верст пришлось мне проехать, чтобы попасть из Екатеринбурга в Петербург, а это животное со дня своего рождения пользуется благами столичной жизни и есть воистину коренной столичный житель.

Впрочем, все это мы успели рассмотреть только в следующие дни, а на другой день по приезде первым делом, конечно, поспешили в академию, предъявили в ней свои билеты, а затем отправились отыскивать для себя на время экзаменов более дешевое помещение[108]. В качестве волонтеров мы не имели права пользоваться помещением в здании академии; это была привилегия студентов, присланных из духовных семинарий на казенный счет.

Прежде всего мы отправились в слободку, помещающуюся за Обводным каналом, как раз против академии. Туда направили нас окончившие в том году академический курс (XXIII) и жившие в академии, в ожидании назначений на места. Эта слободка была обычным местопребыванием волонтеров, приезжающих держать экзамен для поступления в академию. Но мы почему-то не нашли в ней подходящего для нас помещения[109] и решились искать его в самом

[108] Хотя гостиница, в которой мы принуждены были остановиться, далеко не принадлежала к числу перворазрядных, но все-таки она была нам не по карману, в особенности мне с Ф. Г. Ел-м. Наш спутник был гораздо богаче нас. Мой небогатый родитель снабдил меня деньгами в очень небольшом количестве. И без того пришлось много издержать на наше путешествие, да предстоял еще взнос на первоначальное обмундирование (34 р. 28 к.) с каждого волонтера, принятого на казенное содержание. Полная плата принятого в академию, но на своем содержании, т. е. пансионера, была тогда 143 р. 16 к. в год. Как устроились денежные дела Ф. Г. Ел-го, совсем не помню. Вероятно, мой дед собрал последние крохи для своего последнего сына; да и мой родитель, без сомнения, не отказался помочь, насколько мог, своему младшему брату.

[109] На одной из осмотренных нами квартир квартирная хозяйка, узнав, что мы нижегородцы, сообщила нам, что несколько лет тому назад у нее жил также нижегородец, который так же, как и мы, приехал в академию, но что-то ему здесь не повезло, и он перешел на Васильевский остров. Мы сейчас же догадались, что это был наш земляк Н. А. Добролюбов, поступивший в Педагогический институт. Когда мы назвали ей фамилию, она подтвердила нашу догадку. Это было несомненно в 1853 г., так как в этом именно году Н. А. Доб-в поступил в Педагогический институт, который и окончил в 1857 г. Следовательно, он приехал в Петербург, не окончив полного семинарского курса, хотя его биографы и утверждают, будто он его окончил. Полный семинарский курс он мог окончить только в следующем 1854 г., в котором окончили семинарию семинарские его товарищи (В. В. Лаврский и В. И. Соколов), посланные на казенный счет, в том же 1854 г., в Казанскую академию и окончившие ее в 1858 г. Дело в том, что годы окончания курсов в Нижегор. сем., как и в других семинариях Казанского

городе, где и нашли в одной третьеразрядной гостинице («Ярославль»), помещавшейся по Гончарной улице, совершенно рядом с вокзалом Николаевской железной дороги. Питались здесь очень плохо, прибегая больше к сухоядению, да чаю с булками. Поразила нас вода, которую подавали нам для чая. В чайнике с кипятком оказывался всегда очень толстый слой грязи (не песку или извести, а именно грязи). На вопрос наш, от чего это зависит, нам отвечали, что они берут воду из Лиговского канала, который протекал мимо вокзала и шел через всю Лиговскую улицу, по направлению к Таврическому саду. Тогда вода не была еще проведена в дома и ее возили бочками[110]. Поэтому-то в нашей скромной гостинице считали роскошью давать для чая невскую воду, да еще жильцам такого невысокого полета, как бедные приезжие студенты. Другим жильцам и почетным посетителям, может быть, ее и давали.

и Московского академических округов, были тогда только четные (ведь не нужно забывать, что каждый курс продолжался два года), тогда как в семинариях Петербургского и Киевского округов — годы эти были нечетные. Один только семинарский товарищ Доб-ва И. Г. Журавлев поступил в СПб. академию в 1853 г., где и окончил в составе XXII к. в 1857 г. (последним кандидатом, 33-м, за очень плохое, как мы слышали, поведение). Он приехал также за год до окончания сем. курса, был послан в СПб. академию на казенный счет. По наведенным нами справкам у нижегородских его родственников, дело было так. Н.А. стремился собственно в университет, но этого не желал его отец, а потому он избрал СПб. академию. Приехав в С.-Петербург, остановился на частной квартире, очевидно в осмотренной нами слободке, а Жур-в, как казеннокоштный, — в акад. здании. На квартире он узнал «от студентов», что одновременно (с 17 августа) производятся приемные экзамены в Педагогич. институт, что поступить туда, пожалуй, даже легче, чем в академию, что институт есть высшее учебное заведение, не хуже университета, с полным казенным содержанием. Он и решился попробовать держать там экзамены. К ним он допущен был без документов, а на экзамены в академию пока не ходил, сказавшись больным. По выдержании экзаменов в институт, начал он хлопотать о получении документов из академии. В Педагогич. институт поступил он на полное казенное содержание, 17-ти только лет от роду.

110 К работам по устройству в С.-Петербурге водопровода, как оказывается по наведенным справкам, приступили только в 1859 г., т. е. в год нашего приезда в Петербург. Но первоначальные работы оказались неудачными, и водопровод был перестроен в 1860-х годах. В заречных же частях города водопровод устроен только в 1874–75 г.

До наступления экзаменов знакомились с Петербургом, с замечательными его зданиями, дворцами, соборами, памятниками, наконец улицами и Невою. Запуганные, еще в Нижнем, рассказами о холодной петербургской погоде, мы ходили по Петербургу в шубах, даже и в выпадавшие тогда ясные, теплые августовские дни, так что возле Казанского собора обратили на себя внимание одного тамошнего священника. Сразу признав в нас приезжих семинаристов, он добродушно посмеялся над нами, а в заключение просил бывать у него, чего мы, впрочем, почему-то ни разу не сделали. 30 августа, в день св. Александра Невского, любовались необыкновенно пышною процессиею въезда всей Царской Фамилии в Александро-Невскую Лавру. Из Зимнего Дворца, по Невскому проспекту, следовал ряд золотых карет в сопровождении конвоя не только из казаков, но и из осетин, абхазцев, гурийцев и других кавказских народностей, — в своеобразных одеждах, в металлических шлемах и каких-то кольчугах. В золотых каретах сидели Дамы Императорской Фамилии и их свита, Государь же Император с Великими Князьями и свитою следовали на конях. Помнится, такие процессии в этот день повторялись и в следующие два, три года, потом с наступлением смутного времени (польского восстания 1862–1863 гг.) прекратились.

Начались, наконец, экзамены. На экзамен явилось 67 человек: 30 присланных на казенный счет и 37 волонтеров. Такое большое количество волонтеров, как тогда говорили, было явлением до тех пор в Петербургской академии небывалым. Особенно много было их из Петербургской семинарии: кроме пяти казеннокоштных (слишком большой процент на 30 казеннокоштных вакансий для воспитанников всех других семинарий[111]), еще семь человек волонтеров, так что

---

[111] Вероятно, это объясняется тем обстоятельством, что тогдашним ректором СПб. академии оказался архим. Нектарий (Надеждин), только что переведенный (15 мая 1859 г.) из ректоров СПб. семинарии и потому содействовавший назначению из бывших своих воспитанников большого количества вызываемых на казенный счет. А может быть, это зависело от того, что духовно-учебное управление хотело дать место большему количеству воспитанников, уроженцев наших западных губерний, нарочно вызванных, как мы слышали, в СПб. семинарию для окончания в ней курса, в надежде, что они будут потом, по окончании академии, полезными деятелями в нашем Западном крае. Во всяком случае, нельзя, кажется, отрицать у ректора. Нектария некоторого радения

почти весь первый разряд окончивших С.-Петербургскую семинарию изъявили желание поступить в академию.

Из петербуржцев обращал на себя внимание своею бойкостью и говорливостью Н. И. Барсов. Из иногородних: иеромонах Владимир (Никольский, † епископ Нижегородский)[112] своею солидностью, замечательным спокойствием, тактом и сравнительно с нами немолодым уже возрастом, и М. И. Владиславлев († ректор С.-Петербургского университета) своею массивною фигурою, умным лицом и циркулировавшими между нами слухами об его выдающихся дарованиях, хотя он окончил Новгородскую семинарию вторым студентом. Мысленно я тогда же наметил его в первенцы нашего курса, в чем и не ошибся[113], хотя он принят был не в числе первых. Он не окончил академию вместе с нами, а должен был по обстоятельствам (см. ниже) оставить ее и перейти в университет.

Экзаменовали нас по всем предметам, которые мы изучали в семинарии, исключая, конечно, сельское хозяйство, естественные науки и медицину. Экзамены происходили в зале публичных собраний, одновременно по нескольким предметам, трем-четырем в день, и продолжались не менее четырех дней. В разных местах зала поставлены были столы, перед которыми сидели профессоры и бакалавры академии, преподаватели разных наук. За главным столом посередине зала, сидел ректор академии, тогда еще архимандрит Нектарий (Надеждин), экзаменовавший по догматическому богословию и некоторым другим богословским предметам.

в отношении к бывшим его воспитанникам, что выразилось, как увидим далее, в занятии исключительно ими первых шести мест в приемном списке.

[112] Василий Степанович Никольский (в мон. Владимир), курский уроженец, род. в 1829 г., окончил Курск. сем. в 1851 г., был свящ. в Херсон. еп., в 1857 г. принял монашество, следовательно он был старше каждого из нас лет на семь-восемь и более. (П. В. Знаменский «История Казанской академии», т. I, стр. 247).

[113] Принят он был под № 8, но через два года, при переходе на старший курс, судя по баллам, он должен был занять первое место. Составлялись ли тогда списки до окончания полного академического курса, неизвестно. В архиве мы не нашли их. Видели только алфавитный список с отметками баллов по наукам и сочинениям и общий итог их по тем и другим за 1859–1861 годы. Список этот писан рукой тогдашнего секретаря правления — проф. Е. И. Ловягина.

Приемные экзамены как-то совершенно вышли из памяти. Помню экзамены только по двум предметам — по математике и по русской церковной истории. По математике экзаменовал Е. И. Ловягин, в то время уже ординарный профессор. Отвечал ему плохо; не умел решить какой-то нетрудной задачи по алгебре. По русской церковной истории экзаменатором был бакалавр М. О. Коялович. Он спросил меня о Лихудах. Ответил, в общем, удовлетворительно, ошибся только в хронологии, в определении века их жизни. Тут-то я вспомнил тот словарь церковных писателей, который прочел в год своего отдыха, после окончания семинарского курса, и подумал — что мог бы ответить на этот вопрос, если бы ограничился учебником русской церковной истории Муравьева, в котором о Лихудах не было и помина.

Кроме устных экзаменов были еще письменные. Задано было нам написать четыре сочинения, три — на русском языке (в том числе, помнится, одна проповедь) и одно — на латинском. Тем не помню. Помню только одну: Иоан. I, 16–17: и от исполнения Его мы вси прияхом и благодать возблагодать... Тема эта была дана ректором.

Устные экзамены сошли для меня благополучно. Судя по отметкам баллов в табели и по общему из них выводу, мои ответы по всем предметам оказались более, чем удовлетворительными, но зато, чего никогда не бывало со мной ни раньше, ни позже, мои сочинения, в которых я всегда был сильнее, чем в устных ответах, оказались на сей раз очень плохими, и по моему собственному сознанию. Зависело это от того, что во время экзаменов случилось со мною что-то вроде нервного расстройства[114], которое мешало мне сосредоточивать свое внимание на темах и спокойно развивать и излагать приходящие

[114] Причин нервного расстройства было много: кроме природной нервности, слишком долгое, в течение целого года, ожидание экзамена совершенная новость обстановки, в соединении с непривычным житьем в гостинице и плохим питанием, холодная официальность Петербурга, а главное — опасение не удовлетворить ожиданиям родной семинарии, которая привыкла к блестящему приему своих воспитанников во всех академиях, и в особенности Казанской, в которой воспитанники Нижегор. семинарии принимаемы были по экзаменским спискам по большей части под первыми номерами, как было и с моими товарищами (Хитровским и Рожанским), за которых получена была семинарией даже благодарность от академии, в прошлом 1858 г., что было тогда мне уже известно.

в голову мысли, вместо чего я нервничал и думал не о предмете сочинения, а о своем душевном состоянии, и чем более думал, тем хуже себя чувствовал[115]. Словом, мне следовало полечиться, а не держать экзамены. Между тем, как оказалось потом, при приеме в академию, принимались во внимание главным образом сочинения. Результатом было то, что меня приняли в академию на казенное содержание в числе последних по списку. Судьбу мою, впрочем, разделил и Т. В. Барсов, присланный на казенный счет из Смоленской семинарии, окончивший в нашем XXV курсе первым магистром и, как увидим далее, счастливый мой конкурент на бакалаврство при С.-Петербургской академии, по окончании в ней курса. Он также принят был очень низко по списку, недалеко от меня. Ф. Г. Елеонский принят был, сравнительно с нами, очень высоко. Как человек совсем другого темперамента, спокойного, ровного характера, да и более крепкого, чем мое, здоровья, он написал сочинение гораздо лучше, чем я, почему и принят гораздо выше[116].

Первые шесть мест в приемном списке, к нашему удивлению, заняли исключительно воспитанники С.-Петербургской семинарии[117].

---

115 В особенности почувствовал себя плохо и был близок даже к обмороку во время составления одного из сочинений, которые мы писали в зале академии. Этот случай сделал для меня памятным и место, где мы писали сочинения, под наблюдением тогдашнего помощника инспектора, бакалавра И. Ф. Нильского. Кстати, мы приняли его тогда за профессора, довольно уже долго прослужившего в академии, благодаря его солидной, немоложавой наружности и важной осанке. Между тем он был тогда младшим из бакалавров, только два года тому назад окончившим курс академии (1857).

116 Ф. Г. Ел-ий принят был под № 16, Т. В. Барсов — под № 33, я — под № 39. Что принимали во внимание главным образом баллы, полученные по сочинениям, вот несомненное тому доказательство. Общий балл, по устным ответам и сочинениям, был у А. Катанского 177½, у Ф. Г. Елеонского — 176½, у Т. В. Барсова — 169½. По сочинениям же Ф. Г. Ел. имел, против меня, больше на 5 баллов, против Т.В.Б. — на 3½ . Отсюда и вышла такая громадная разница в местах, которые мы заняли в списке. Система тогда была десятибалльная: 10 был высший балл.

117 Вот эти первые шесть студентов: казеннокоштные — Николай Барсов, Константин Немшевич, Диомид Петухович, Василий Попов, Михаил Родевич, Флор Абрамович (волонтер). Из них академический курс окончили только двое: Н. И. Барсов (3-й маг.) и В. Е. Попов (28-й канд. нашего XXV курса,

Четверо из присланных различными семинариями на казенный счет не были приняты на казенное содержание.

Наш курс вначале был очень большой. Кроме принятых на казенное содержание, у нас, едва ли не в первый раз в истории академии, явились в большом количестве своекоштные студенты. К концу первого учебного курса, 1859/60, их было 13 человек[118], да еще 7 вольнослушателей из бурят, воспитанников Иркутской семинарии, присланных в Петербург для изучения монгольского языка, с тем, чтобы они, в свободное от занятий монгольским языком время, слушали академические лекции в качестве вольнослушателей[119]. Так что

сын известного прот. Е. И. Попова, настоятеля нашей посольской церкви в Лондоне). Из остальных 4-х — К. Немшевич, наиболее даровитый из всех петербуржцев, и М. Родевич перешли в университет, Д. Петухович, поражавший нас необыкновенным трудолюбием при писании сочинений (около него обыкновенно лежали груды исписанной бумаги), вдруг, в конце учебного года, совершенно неожиданно куда-то исчез и очутился, как мы слышали в какой-то загадочной обстановке, не имевшей, впрочем, ничего общего с увлечениями политикой. Ф. Абрамович должен был оставить академию, вследствие истории 4 окт. 1861 г., случившейся по переходе в старший курс (об этой очень тяжелой истории сказано будет далее).

[118] Из них огромное большинство (за исключением 3–4 человек) заняли потом казеннокоштные вакансии, по мере их освобождения. Выдающимся из таких своекоштных был И. Я. Образцов, окончивший курс 6-м магистром († член Учеб. комитета при Св. Синоде, проф. СПб. Истор.-филол. института и настоят. Вознесенской ц. в Петерб.). Был в числе их и А. А. Опоцкий (ныне архиеп. Алексий, член Св. Синода, бывший Экзарх Грузии, еще здравствующий), посланный из Псковской семинарии на казенный счет, но не попавший в число казеннокоштных. Своекоштные в большинстве были петербуржцы (6 человек).

[119] Вот эти воспитанники: Григ. Попов, Евгр. Писарев, Василий Карелин, Мих. Митропольский, окончившие курс Иркутской сем. и за год до нашего поступления в академию помещенные (в 1858 г.) в ней, затем — Антон Карелин, Вас. Миротворцев и Иннок. Корнаков, доканчивавшие семинарский курс с 1858 г. в СПб. семинарии и по окончании его вместе с нами поступившие, в 1859 г., в нашу академию, в качестве вольнослушателей. Мы считали принадлежавшими к нашему курсу только этих последних троих. Почему к списку нашего курса присоединены и первые четверо? Вероятно, для удобства, чтобы не разбивать этой группы на две половины. Из последних троих иркутцев двое — В. Миротворцев и Ант. Карелин — по выдержании в семинарии экзамена

всего, с вольнослушателями, было в нашем XXV курсе 61 человек — к концу по крайней мере 1859/60-го, первого учебного года.

По окончании приемных экзаменов и после объявления их результата мое унылое, угнетенное состояние еще продолжалось. В таком настроении прихожу в комнату окончивших в этом году академический XXIII курс (1855–1859), к своему земляку Изм. Фед. Спасскому († протоиерей Охтенской кладб. церкви в С.-Петербурге), и встречаю тут С. П. Автократова, самого даровитого, по общему признанию, студента этого курса, занимавшего первое место в списке, но окончившего кандидатом. Видя мое унылое лицо и узнав о причине такого моего настроения, он, обращаясь ко мне, говорит: «Ну, значит, несомненно вы кончите магистром». Вероятно, такие случаи бывали, а может быть, он вспомнил свою собственную судьбу, в связи с изречением Писания: «И будут последние первыми и первые последними»[120].

на звание студента в 1860 г. помещены в число действительных студентов академии, прочие же пятеро, из числа всех семи иркутских воспитанников, уволены в 1861 г. в Иркутскую епархию. Полный академический курс окончил с нами только один В. В. Миротворцев, бывший потом бакалавром Казанской академии, экстраорд. проф. и даже инспектором. Для преподавания монгольского языка ходили к нам в академию профессоры СПб. университета с восточного факультета (см. подробнее у И. А. Чистовича — «История СПб. дух. академии 1858–1888», стр. 71–72). Эти сибиряки сильно защищали свою Сибирь от наших нападков, утверждая, что настоящая Сибирь, в смысле каторжной жизни, не у них, а у нас в Петербурге, что у них в Иркутске при 40 град. мороза чувствуется гораздо лучше, чем в Петербурге при 2–3 град., да и жизнь несравненно привольнее и дешевле. И действительно, вид их, сначала цветущих здоровьем, а потом все более и более бледнеющих, худеющих и хиреющих, вполне подтверждал их слова.

120 С. П. Автократов, пензен., 17-й канд., с правом на степ. магистра по представл. нового соч. и по выслуге одного года на дух. учил. службе. Вероятно, он был замешан в студенческих беспорядках, бывших при инспекторе Викторине (Любимове, 1857–1858) и повлекших за собою исключение «6-ти главных их виновников» (см.: Чистович И.А. «История СПб. дух. академии...», стр. 74). С. П. Ав-в был потом препод. Новгор. сем., командирован мин. нар. просв. (вероятно, в 1862 г.) за границу для приготовления к профессуре по философии в университете, два года пробыл за границей, но, как слышно было, занимался там не особенно усердно, на кафедру в университет не попал. В непродолжительном после того времени скончался.

Из своей плохонькой гостиницы переселились мы, наконец, в академическое здание, и распределили нас по комнатам, подчинив надзору «старшего» в каждой комнате, из студентов старшего курса. Меня поместили под начальство студента Ивана Дмитриевича Касаткина († архиепископ Николай Японский)[121], человека в то время очень замкнутого, необщительного и потому не пользовавшегося нашими симпатиями[122], и я очутился в самой крайней к Обводному каналу комнате среднего этажа. Из своих сожителей по этой комнате помню М. И. Владиславлева, поражавшего нас тем, что он читал в подлиннике «Илиаду» Гомера, и Д. Петуховича, истреблявшего неимоверное количество бумаги на писанье сочинений; вокруг него лежали груды исписанных листов (см. примечание выше). На другой год моего ученья в младшем курсе меня перевели в одну из средних комнат под старшинство И. И. Демкина (4-й магистр XXIV курса, до сих пор состоящий на службе, протоиерей с.-петербургской Благовещенской церкви, отец известного тов. с.-петербургского городского головы Демкина).

---

[121] Ив. Дм. Касаткин, смолен. урож.; в 1860 г., 8 июня, за год до окончания полного акад. курса, пострижен ректором, Преосв. Нектарием, в монахи и тотчас же отправился в Японию. Единственный раз в жизни я видел пострижение в монахи, и именно моего «старшего». Подал ли он потом сочинение на ученую степень и получил ли ее, неизвестно. В «Истории СПб. дух. академии» И. А. Чистовича он значится под рубрикой: «с званием студента акад., с правом на степ. кандидата», среди других 10-ти чл. Из них о 5-ти замечено, что они удостоены в разное время степени кандидата. Об иером. же Николае (Касаткине) ничего не сказано, хотя все его труды до 1880 г., когда он посвящен во епископа, перечислены. По всей вероятности, увлеченный своими великими миссионерскими трудами, он не удосужился составить сочинение на ученую степень, да это едва ли и возможно было сделать в Японии, при отсутствии нужных для того книг и библиотек.

[122] Впоследствии, когда я уже был бакалавром СПб. академии, мы виделись, он был у меня даже на квартире, и меня поразила громадная в нем перемена. Он оказался в высшей степени живым, общительным, разговорчивым, словом — совсем другим человеком. Вероятно, в тот год, когда мы жили вместе, его нелюдимость объяснялась тем, что в его душе зрела мысль о коренном перевороте в его жизни.

Все (за исключением двух) жилые комнаты студентов обоих курсов, старшего и младшего, были проходные[123] и помещались в среднем этаже, на левой стороне от парадного входа; в верхнем же этаже, на той же стороне, находились спальни, также для обоих курсов и были также все проходные — от одного конца до другого.

На другой стороне, — правой от парадного входа, — помещались: в нижнем этаже — квартира инспектора (там же, где и теперь), эконома и одна профессорская (в нашей время — В. И. Долоцкого), библиотека рукописей из Софийской библ. (где теперь зало совета и канцелярия); в среднем этаже — квартира ректора, одна из бакалаврских квартир и физический кабинет (против конца ректорской квартиры, с окнами на двор); в верхнем этаже — три бакалаврских квартиры и помещение правления (над физическим кабинетом).

В каждой жилой студенческой комнате (исключая одной маленькой) стояло два стола, для шести студентов каждый, затем, кроме стульев, — диван, а в некоторых комнатах два, и два шкафа, для книг и для платья. Всё это из ясеневого дерева. Стены были окрашены клеевой краской голубовато-зеленоватого цвета. На второй год, впрочем, стены были оклеены коричневого цвета обоями. Для занятий вечером давали свечи (сначала сальные, а потом появились и так называемые «пальмовые» — низший сорт стеариновых), по две на стол. В спальнях кровати были с надписями фамилий студентов над каждой кроватью и с приличными приборами. В каждой спальне был ночник, в виде большого железного подсвечника, стоявшего на полу, с водою внутри, в который опускалась сальная свеча.

[123] Две только жилые комнаты не были проходными, были, так сказать, особняками, вне связи со всеми другими студенческими жилыми комнатами, — одна в среднем этаже, другая в верхнем; обе налево по коридору среднему (против остальных занятых комнат) и верхнему (против спален). В одной из этих комнат поселился Ф. Г. Ел-ский, под «старшинством» сначала Ив. Ал. Горского (8-й маг. XXIV к., псковск., † прот. Колом.-Покров. ц. в СПб.), а потом В. Г. Певцова (1-й маг. XXIV к., тверск., † проф. Учил. правовед. в СПб.).

Младший курс: 1859/60–1860/61 учебные годы

Начались в сентябре 1859 г. лекции.

Тогда в академиях было не четыре курса, как теперь, а только два, старший и младший, по два года в каждом. А потому и классных комнат, или аудиторий, как мы их называли, было только две, находившихся по бокам церкви: с правой стороны от нее — для старшего курса, с левой — для младшего.

Лекции начинались с 9 часов утра и продолжались до 1¾ часа дня и затем от 3 до 4 часов. Читалась каждая лекция 1¼ час.

На младшем курсе преподавались: логика, психология, история философии, словесность, гражданская история общая, гражданская история русская, математика, физика и из богословских предметов — Св. Писание и патристика[124]. Из языков — греческий, латинский, немецкий, французский — обязательные для всех студентов и английский — необязательный.

Логику, психологию и историю новейшей философии, начиная с Канта, читал В. Н. Карпов[125], старейший из всех тогдашних профессоров Петербургской академии, приобретший уже большой авторитет в ученом мире, не только в духовном, но и светском, преимущественно своим переводом творений Платона. В выходивших тогда сочинениях Белинского мы прочитали восторженный его отзыв

---

[124] Очень сожалею, что не сохранилась у меня масса литографированных лекций, нам выдаваемых к репетициям и экзаменам, как в этом курсе, так и в следующем, старшем. Некоторыми из биографических, в особенности хронологических, данных относительно наших бывших наставников мы обязаны весьма почтенному, достойно увенчанному уваровской премией труду А. С. Родосского «Биографический словарь студентов первых XXVIII курсов С.-Петербургской духовной академии (1814–1869) — к столетию С.-Петербургской духовной академии» (СПб., 1907). Истории академий, в особенности нашей, С.-Петербургской (два тома, 1857 и 1889 гг.), были для меня также весьма важными пособиями.

[125] Василий Николаевич Карпов, воронеж., 5-й магистр II к. Киев. акад. (1825), с 1825 до 1829 г. был, вероятно, препод. семинарии, 1829 — бак. франц. языка в Киев. акад., 1831 — бак. философии в той же акад., 1833 — бак. филос. СПб. акад., 1835 — орд. проф., преемник также знаменитого Ф. Ф. Сидонского (2-й маг. VIII к. СПб. акад. 1829 г., † 1873), который, оставив каф. философии, с 1833 до 1835 преподавал только франц. язык.

об этом замечательном труде нашего профессора. Помнится, знаменитый критик писал, что этот труд сделал бы честь даже Академии наук в ее целом; тем выше пред наукою заслуга ученого, который один совершил колоссальную работу. Логику В.Н. читал по печатной своей книге, посвящая этому предмету сравнительно немного времени, делая только добавления к напечатанному. Психологии он посвящал больше внимания и времени. Всю душевную жизнь и деятельность он делил на три отдела: чувственную, рассудочную, или формальную, и созерцательную, или идеальную. В особенности останавливался он на второй — рассудочной, характеризуя ее как крайне неустойчивую, лишенную всякой самостоятельности, управляемую стремлениями или низшей или высшей природы человека, способной доказывать и оправдывать всё, что угодно. К этой стороне душевной жизни он не питал никакой симпатии; всё его сочувствие было направлено к третьей — созерцательной, идеальной. В сущности (как становится ясным теперь, тогда это не сознавалось), В.Н. в своих философских воззрениях примыкал к богословскому взгляду на состав человека, трехчастный: телесный, душевный и духовный. Много глубоких мыслей высказывал он в своих чтениях, поясняя свои положения наблюдениями из обыденной, даже своей семейной жизни, что он особенно любил. К сожалению, он не обладал даром слова, к тому же был преклонного возраста и утомлен многочисленными работами своей трудовой жизни[126] и потому в наше время не пользовался таким вниманием своих слушателей, какого он заслуживал. Впрочем, и у нас были его особые почитатели[127]. Практическую мудрость этого истинно русского, христиански-православно настроенного философа мы тогда не в состоянии

---

[126] Он посвящал в наше время, как слышно было, много трудов, между прочим, журналу «Странник», издаваемому тогда прот. В. В. Гречулевичем. Говорили, что В.Н. не только писал для этого журнала много статей, но участвовал и в его редактировании, и что вообще издатель «Странника» немало эксплуатировал нашего почтенного профессора. В.Н., как семейный человек, нуждался в добавочных к профессорскому жалованию (858 р. — орд. проф.) средствах.

[127] Усердно записывали его лекции и спорили с теми из своих товарищей, которые недостаточно высоко ценили В. Н. Особенно горячим его поклонником был М. В. Родевич, перешедший потом в СПб. университет и служащий ныне в департаменте министерства народного просвещения.

были оценить по достоинству. Мы любили и уважали его не столько как профессора, сколько как почтенного летами и заслугами ученого, как человека симпатичного, благородного характера, относившегося к молодежи с добродушием мудрого старца, снисходительно к ее увлечениям и слабым сторонам[128]. Лекции по новейшей истории философии В.Н. читал по своим запискам, которые в сокращенном виде сдавал к экзаменам. Но и эти лекции, написанные не совсем легким и ясным языком, не особенно нам нравились. Их трудно было усвоять, так как они состояли из одного критического разбора положений Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, без предварительного изложения полной системы воззрений этих философов. Вследствие чего студенты очень боялись экзаменов по этому предмету, и когда летом 1861 г., в присутствии митрополита, наступил этот экзамен, то между студентами началась чистая паника (см. ниже).

Историю древней философии до Канта читал нам профессор (экстраординарный или ординарный?) И. А. Чистович[129]. Прекрасный, вообще говоря, даровитый профессор, он не был прирожденным философом, а потому, хотя лекции его отличались точностью и всесторонностью изложения воззрений древних философов, но были как-то холодны. Мы слушали его внимательно и ценили его даровитость, но особенной любви к философским вопросам возбудить в нас он не мог. И неудивительно, так как по складу своего ума он должен бы быть историком гражданской или церковной истории. В этой области он и заявил себя очень многими замечательными трудами (например, «Феофан Прокопович» и многие др.). На кафедру русской гражданской и церковной истории он назначен был вначале, по окончании академического курса в 1851 г., и уже потом, после отставки А. А. Фишера[130], в 1853 г., переведен на кафедру философии. Слышно было, что вначале И.А. читал вместе с историей философии

---

[128] У В. Н. Карпова была одна особенность: он плохо запоминал фамилии. По этому поводу между студентами ходило много анекдотов, забавных рассказов.

[129] Илларион Алексеевич Чистович, калуж., 2-й маг. XIX к. СПб. акад. (1851).

[130] А. А. Фишер, иностранец, с 1832 г. — орд. проф. СПб. универ., с 1843 г. — орд. проф. СПб. акад. См.: Чистович И.А. «История СПб. дух. академии...», стр. 53.

и психологию, придерживаясь воззрений известного немецкого философа Бенеке, но во время ректорства архимандрита Феофана (Говорова, 1857–1859; известного потом Вышенского затворника), которому не нравилась эта система воззрений (теория «следов», которой объяснялось происхождение душевных сил), психология была передана В. Н. Карпову, а И. А. Чистович оставлен был при одной истории философии до Канта, как это было в наш курс[131]. По своему характеру И. А. представлял во многих отношениях противоположность В. Н. Карпову. Главной его чертой была официальность, при полной корректности его отношений к студентам. Мы застали его еще живущим в академическом здании (почему-то на студенческой половине, в нижнем этаже; вероятно, потому что незадолго перед тем он был помощником инспектора). Но вскоре, уже осенью того же 1859 г., он переселился в город, так как вступил в брак (с дочерью протопресвитера В. Б. Бажанова, члена Св. Синода).

Словесность читал ординарный профессор К. Ив. Лучицкий[132]. Очень живой, красноречивый, искусно соединявший чтение написанных лекций с живым словом и импровизацией, увлекал нас своими чтениями по аналитике языка (философской грамматике) и особенно по эстетике. В лекциях по этой последней он сначала много занимался разбором различных мнений о том, что такое изящное, эстетически прекрасное, а потом дал собственное свое определение. Точной его формулы не могу припомнить. Помнится только основная его мысль, что прекрасное не находится в зависимости от форм, что не формы дают ему бытие, что прекрасное тесно связано с проявлениями жизни, с ее напряженностью, что где нет жизни, там не может быть и прекрасного. Историей литературы он занимался мало, чтений по этому отделу словесности не припоминается. Помнится только,

---

131 В его «Истории СПб. дух. академии...» (стр. 52–54), как-то очень неясно и даже, нам кажется, фактически не совсем точно передана история перехода психологии из одних рук в другие, если только тут нет корректурной ошибки в цифре года 1859 (стр. 53). То же можно сказать отчасти и об истории новой философии — с Канта.

132 Кирилл Иванович Лучицкий, из Волын. сем., род. в 1815 г., 1-й маг. XIII к. СПб. акад. (1839), в 1851 — экстраорд. проф., а в 1852 г. — уже орд. проф.

что при истории литературы он сдавал литографированные лекции к репетициям и экзаменам. К.И. был превосходный, неподражаемый критик наших словесных произведений. Ему подавали мы назначаемые нам проповеди, и он подвергал их своей остроумной, беспощадной критике. Для этого он избирал одну из наших проповедей и подвергал ее следующей безжалостной операции: давал подробный анализ всей проповеди, а потом — каждой ее части и наконец — отдельных фраз и выражений. В высшей степени было интересно и поучительно слушать критический его разбор, и мы положительно любовались в это время своим профессором. Даже сам автор разбираемой проповеди, с горечью в душе, принужден был отдать должное остроумию и справедливости замечаний критика и готов был почти наслаждаться художественностью работы профессора. К. И. Лучицкий читал лекции по словесности еще в Смольном институте и в Царскосельском женском духовном училище. Он очень часто являлся к нам с орденом св. Анны 2-й степени на шее (чего никто из его коллег не делал). Вероятно, причиной такой официальности его костюма был Смольный институт, из которого он приезжал к нам на лекцию, или в который он должен был отправиться после чтения у нас. Характера он был хотя строгого, но благородного, держал себя довольно далеко от студентов, но доброжелательно к ним, пользовался их уважением и даже любовью, хотя его побаивались более, чем других профессоров на этом курсе.

Общую гражданскую историю преподавал молодой тогда бакалавр А. И. Предтеченский[133], очень живой, красноречивый, хотя читал по составленным им лекциям, прекрасный знаток новейших языков, в особенности английского. Пользуясь преимущественно английской литературой по истории древнего мира, Ассирии, Египта, он в особенности долго останавливался на истории древней Греции и, в частности, на веке Перикла. Его лекции были обильны картинными описаниями и хорошо знакомили нас с античным миром. Вообще, он был очарован этим миром, что сказывалось даже в домашней его жизни, в квартире, обставленной статуями и картинами. Недаром впоследствии, когда он был редактором «Церковного вестника» (1875–1880), он энергически

[133] Андрей Иванович Предтеченский, новгород., 2-й магистр XXI к. СПб. акад. (1855), с 1862 г. — экстраорд. проф.

отстаивал классицизм графа Д. А. Толстого против ожесточенных на него нападок со стороны печати и общества. По истории средних веков и по истории нового времени чтений было мало, по крайней мере не припоминается. А. И. Предтеченский был довольно замечательный публицист. Уже и тогда, в раннее время своей службы, он сотрудничал в журналах, не только духовных, но и светских. Между прочим, он был деятельным сотрудником «Биржевых ведомостей», издаваемых Трубниковым. Относились мы к этому даровитому бакалавру не без симпатии и не без уважения, хотя подчас и подсмеивались над некоторыми его слабостями. А. И. Пр. был человек богато одаренный, широкой русской, увлекающейся, страстной натуры. Он держал себя очень близко к студентам; многие из товарищей, в особенности его земляки-новгородцы, ходили к нему в его бакалаврскую квартиру, находившуюся в академическом здании. Тем удивительнее и непонятнее для нас было, когда, по переходе нашем в старший курс (1861), он позволит себе сделать тот шаг, который, как увидим далее, имел роковые последствия для всего нашего XXV курса...

Русскую гражданскую историю преподавал также молодой бакалавр, товарищ по студенчеству А. И. Пр-го, М. О. Коялович[134], превосходный профессор, обладавший замечательным даром слова и историко-философским складом ума. В своих чтениях он задавался не изложением фактического материала, а освещением его, изображением народных и общественных движений и исторических деятелей, вынуждаемых проявлять свою деятельность так или иначе, под влиянием исторических обстоятельств времени и общественных потребностей и течений. Обладая превосходной дикцией и при этом еще изящными манерами, он производил на своих слушателей очень сильное впечатление. Было, впрочем, несколько моих товарищей (таких, однако, было немного), которые желали бы, чтобы в его лекциях было поболее фактического материала. Во всяком случае, едва ли какого другого профессора на младшем курсе мы слушали с большим

[134] Михаил Осипович Коялович, гроднен. урож., Виленской сем., 6-й маг. XXI к. СПб. акад. (1855), с 1855 по май 1856 — препод. в рижск. и с.-петерб. семинариях, с 1856 — в СПб. акад. — бак. по сравн. богосл. и расколу, с 1857 — по рус. гражд. и церк. истории. См.: Родосский А.С. «Биографический словарь...», стр. 214–215.

вниманием и интересом, чем М. О. Кояловича. Он уже и тогда был известен не только как талантливый профессор, но и как ученый по западно-русской истории («Литовская церковная уния». СПб., 1858, и др. соч.). Характера он был очень благородного, симпатичного, весьма твердого и устойчивого в своих принципах.

Математику преподавал ординарный профессор Е. И. Ловягин[135], специалист собственно по греческому языку, который он преподавал в академии первые 6 лет своей службы (1847–1853), на кафедре математики — с 1853 до 1869 г., а потом, по упразднении этого предмета с уставом 1869 г., — снова профессор греческого языка до конца своей службы, в 1894 г. (около 25-ти лет). Математика не была призванием[136] этого достопочтенного профессора, а потому, хотя он добросовестно исполнял обязанности преподавателя этого предмета, как вообще все свои и другие служебные обязанности, отличаясь необыкновенной аккуратностью и замечательной исполнительностью, не мог, однако, возбудить в нас любви к математике. Знающих этот предмет почти не было между нами, за единственным, кажется, исключением земляка Е.И., Н. Г. Благовещенского, который, имея от природы математические способности, знал и любил этот предмет и не оставлял занятий им даже в отставке, до конца своей жизни.

Если математикой мы занимались и интересовались мало, то физику, напротив, любили и интересовались ею, чему очень способствовал преподаватель ее, сначала бакалавр, а с 1860 г. — экстраординарный

---

[135] Евграф Иванович Ловягин, тверск., 1-й маг. XVII к. СПб. акад. (1847).

[136] Тогда был обычай переводить бакалавров с одного предмета на другой, в видах, между прочим, повышения людей даровитых по службе. К одним кафедрам были приурочены ординатуры, к другим нет, или же вакансия орд. профессора была занята. По языкам ординатуры не полагалось. Между тем, по физико-математическим предметам она была; ее до 1852 г. занимал известный профессор-публицист Д. И. Ростиславов (3-й маг. X к. 1833 г. СПб. акад.). В 1852 г. он оставил службу при академии, и вот мы видим, что в 1853 г. переводят Е. И. Ловягина на математику. Нет никакого сомнения, что его перевод состоялся в целях предоставить ему вакансию орд. профессора, которым он и был сделан через 4 года, в 1857 г.

профессор — Н. И. Глориантов[137]. Он был страстный любитель своего предмета, обладал хорошим даром слова, всегда говорил, а не читал свои лекции, оживлял их многочисленными опытами и остроумными замечаниями, часто приглашал своих слушателей в свой физический кабинет, об увеличении которого физическими приборами усиленно хлопотал, и радовался, когда это ему удавалось. Так, например, мы были свидетелями его восторга, когда после долгих хлопот он мог приобрести для электрических эффектных опытов довольно дорогостоящий инструмент, спираль Румкорфа. Любил он приглашать в свой физический кабинет и посторонних лиц, своих гостей или гостей своих сослуживцев. Занимался он и фотографией, что тогда не было в такой моде, как теперь; имел свою собственную фотографическую камеру со всеми к ней приборами. Пользовался большим расположением студентов, к которым относился со свойственной ему простотою и добродушием. Мы с Ф. Г. Ел., как его земляки, пользовались его гостеприимством, а нередко и угощением чаем и разными лакомствами, которые были у него всегда в запасе, так как он и сам был очень к ним неравнодушен.

Св. Писание Ветхого и Нового Завета преподавал ординарный профессор М. А. Голубев[138], с самого начала своей службы (1847) занимавший эту кафедру, большой знаток своего предмета, обладавший и даром слова, и большим остроумием. Сначала сообщал полные и подробные сведения о каноне священных книг и об истории священного текста, а потом — о священных книгах Ветхого Завета, избирая для подробного разбора одну или несколько священных книг. То же делал и относительно новозаветных книг. Читал он обоим курсам вместе,

[137] Никандр Иванович Глориантов, нижегор., 2-й маг. XX к. СПб. акад. (1853).

[138] Моисей Александрович Голубев, Петерб. сем., 2-й маг. XVII к. СПб. акад. (1847), в 1853 г. — экстраорд., в 1857 г. — орд. проф. Весьма интересные сведения о нем сообщаются у А. С. Родосского (в его «Биографическом словаре...»), прежде нам, студентам, неизвестные. Да и теперь встречаешься с ними как с новостью. Оказывается, что М.А., сын диакона Петерб. стороны, родился в С.-Петербурге в сильное ноябрьское наводнение 1824 г., в продолжение нескольких дней по рождении хранился на воде в деревянной люльке, почему и назван Моисеем. Он был племянником знаменитого Юрьевского архим. Фотия, который помогал ему при воспитании.

и старшему и младшему, — в зале, почему слушателей собиралось у него много. Мы часто ленились ходить на его лекции, в надежде, что при многолюдстве слушателей не будет заметно отсутствие нескольких лиц. Он был человек очень оригинальный; по типу он больше всего походил на англичанина: при полном, в сущности, добродушии, он отличался какой-то холодной важностью, невозмутимым хладнокровием и спокойствием и очень любил сострить. Осталось в памяти, что он очень зло и остроумно подсмеивался над неудачными и натянутыми комментариями некоторых мест Св. Писания. К сожалению, он иногда не соблюдал при этом меры, именно тогда, когда ему приходилось приводить аллегорические толкования мест Писания из творений отцов и учителей Церкви александрийской школы. Не знаю, как на моих товарищей, но на меня остроты М.А. по адресу этих древних комментаторов производили не совсем приятное впечатление, хотя я был тогда очень мало знаком с отеческими творениями. В настоящее же время, если бы теперь пришлось слушать М.А., такое впечатление, вероятно, было бы во много раз сильнее[139]. Кажется, он увлекался своим даром остроумия, а может быть, хотел привлечь внимание своих слушателей, у которых в голове сидели темы для сочинений, обыкновенно мешавшие внимательному слушанию лекций. Во всяком случае, М. А. Голубев пользовался у нас большим уважением — как глубокий знаток Св. Писания, как прекрасный профессор и как человек очень благородного, симпатичного характера.

Патристику преподавал бакалавр П. И. Шалфеев[140], прекрасная во всех отношениях личность — и по уму, и по сердцу, и по характеру.

---

139 Теперь для меня довольно понятен и психологически объясним древний аллегоризм, как результат (кроме многих других причин, — философской школы и пр.) деятельности крайне возбужденной религиозной мысли и весьма повышенного религиозного чувства. При таком состоянии естественно искать сближений настоящего с давно минувшим, намеков, предуказаний в последнем на первое, как это бывает нередко и в обыкновенной нашей жизни, когда мы бываем чем-либо сильно поражены, потрясены. Тогда нам припоминается многое такое (часто мелочи, приметы), на что при другом, обычном своем состоянии мы не обращали никакого внимания, но что теперь представляется очень знаменательным.

140 Петр Иванович Шалфеев, псковск., 3-й маг. XXI к. СПб. акад. (1855).

Он был человек с философским складом пытливого ума. Еще студентом, по воспоминаниям его товарища А. И. Предтеченского, он был «центром людей, любивших порассуждать об отвлеченных вопросах философии и богословия», и «живее, может быть, всех своих товарищей интересовался научными вопросами». Это заметно было и в его чтениях по патристике. Его лекции обнимали творения св. отцов, начиная с мужей апостольских и кончая четвертым веком. В особенности увлекали его творения св. Григория Богослова. Одна из памятных мне его лекций об этом св. отце напечатана в обработанном виде в «Христианском чтении» 1861 г.[141] Эта статья прекрасно обрисовывает личность св. Григория Богослова со всеми ее особенностями. П.И. не удовлетворялся, однако, методом чтения патристики по отдельным отцам и учителям Церкви, намекая нам в своих чтениях, что он мечтает о другой постановке патристики как науки. В воспоминаниях его товарища по студенчеству (А. И. Пр.) читаем, что он «хотел из своей науки создать историю апостольского предания с указанием исторических обстоятельств, изменявших поворот этой реки Божественного учения и с сохранением личных, индивидуальных черт характера каждого отца». Превосходная формула, хотя и весьма трудная для осуществления ее на практике; лучше ее трудно придумать другую. Вероятно, она заимствована из уст самого П. И. Шалфеева. Сколько помнится, так точно он не формулировал нам своего плана, но в общем эта формула совершенно верно выражает предносившийся его уму идеал, судя по припоминаемым теперь его намекам, среди чтений. В конце нашего младшего курса, в 1861 г., он дал нам даже тему для сочинения о «желательной постановке преподавания патристики как науки», причем в моем сочинении, которое, кажется, больше всех других ему понравилось, проводилась приблизительно подобная же мысль, с тем немаловажным различием, что мне предносилась мысль не о «предании», а о христианской «философии» св. отцов. До идеала приснопамятного моего наставника я тогда еще не дорос. Вполне верно и метко и общее суждение А. И. Пр-го о П. И. Шалфееве: «с даром слова не очень бойким, с памятью, не приученной к буквальному заучиванию, он не был самым блистательным,

---

[141] У А. С. Родосского (Биографический словарь...) указывается еще несколько патристических статей, напечатанных в «Христианском чтении», 1861 и 1862, представляющих, по всей вероятности, обработанные его лекции.

но, нет спора, был одним из самых основательных и точных студентов» и, кроме того, был «глубоко религиозен» еще в студенчестве[142]. Таким же оказался он и на кафедре. Глубоко входил он в предмет, не был красноречивым оратором, не говорил, а читал свои лекции и по временам только прерывал свои чтения, поднимал одного из студентов[143] и рассуждал с ним по поводу какого-нибудь вопроса, пришедшего ему в голову во время лекции, и эти рассуждения, скорее беседы, лишенные всякой официальности, были особенно интересны[144]. П. И. Шалфеев пользовался большим нашим расположением и вниманием. И это тем более замечательно, что его предмет, чисто богословский, стоял вместе со Св. Писанием — уединенно — в этом курсе, среди предметов философских, гражданско-исторических, словесных, физико-математических, отвлекавших от него наше внимание и сочувствие в свою сторону. К сожалению и великому нашему удивлению, этот достойнейший наш наставник, с глубоким умом и такой же религиозной настроенностью, не пользовался благоволением начальства, тогдашнего ректора Преосв. Иоанникия (Руднева, † митрополит Киевский), который, как слышно было, заподозрил его в либерализме на основании (как тогда говорили) его статьи «Христианство и прогресс», напечатанной в «Православном обозрении» (1861, т. IV), и еще сотрудничества в журнале «Дух христианина», считавшемся тогда либеральным. Слухи эти оправдываются фактами: обойденный в движении по службе и огорченный невниманием начальства к его материальным, семейным нуждам[145], он решился

---

142 «Христианское чтение», 1862, II, стр. 548–550.

143 Между прочим, в особенности часто меня. Замеченную его симпатию ко мне товарищи объясняли каким-то находимым ими сходством между нами. Наружностью, однако, мы были непохожи; может быть, характером, некоторыми чертами духовного склада?

144 Помнится, на одной из лекций он поднял вопрос о вкушении Тела и Крови Христовой в таинстве Евхаристии и задал вопрос: нельзя ли объяснить потребность именно «вкушения» Тела Христова как-либо психологически, естественным образом. И ответил, что чувство сильной, пламенной любви ко Христу требует именно вкушения Тела Его, а не причастия к Нему только духовного, мысленного. Причем привел аналогию из области чисто человеческой любви, пламенной, страстной.

145 Он не был возведен в звание экстраорд. проф. и до конца своей жизни оставался бакалавром, т. е. до 26 июня 1862 г., тогда как его товарищи

выйти из академии на службу по министерству народного просвещения, принял предложение об отправлении за границу, для приготовления к профессуре по философии в университете, но не далее, как через месяц после состоявшегося нового назначения (в мае 1862 г.), он скончался 26 июня того же 1862 года, от тяжкой болезни — воспаления брюшины (перитонита, а не «от скоротечной чахотки», как сказано у А. С. Родосского в его «Биографическом словаре»). Перед смертью, среди тяжких страданий, он выразился об них так: «То, что я теперь терплю, немногим хуже бакалаврского жалования!»[146]

Латинский язык преподавал профессор словесности К. И. Лучицкий. Чтений по литературе он не давал, а занимал нас исключительно переводами одного из произведений древних классических писателей (какого, не помню), требуя, вместе с точностью перевода, непременно изящества, литературной его отделки, так что мы готовились, в особенности к репетициям, по каким-то записям — вероятно, сохранившимся от прежнего времени.

Греческий язык преподавал природный грек — архимандрит Григорий Веглерис, магистр Киевской академии, в звании бакалавра[147], мы почему-то считали его экстраординарным профессором. О. Веглерис начал с того, что заставил нас писать по-гречески, скорописным,

по академическому выпуску — А. И. Предтеченский и М. О. Коялович — с 28 февраля того же 1862 г. были уже экстраорд. профессорами, жалование которым в то время было, впрочем, такое же, как и бакалаврам, т. е. 429 р. в год. Слышно было также, что к Пасхе этого же года его обошли небольшой денежной наградой, тогда как он особенно в ней нуждался, будучи семейным человеком и живя на одно скудное бакалаврское жалование. Материальная его нужда бросалась в глаза даже нам. Он, напр., не имел при себе никогда карманных часов, а когда было нужно узнать, сколько времени и много ли остается до конца лекции, обращался к нам.

146 То, что сохранилось у меня в памяти относительно обстоятельств последних дней жизни и болезни П. И. Шалфеева, вероятно, мы слышали от его шурина, Н. П. Грацианского, нашего товарища по XXV курсу, окончившего курс со званием студента академии.

147 Архидиакон Григорий Веглерис, последний — 21-й — маг. XVI к. Киев. акад. (1853). Он был родственником знаменитого Константинопольского Патриарха Григория, мученически скончавшегося в 1821 г. Подробную биографию Гр. Веглериса см.: Чистович И.А. «История СПб. дух. академии...», стр. 60–61.

употребительным между греками почерком и потребовал, чтобы мы завели для того особые тетради, в которых потом должны были записывать диктуемые им коротенькие фразы на древнегреческом языке. Эти фразы он заставлял нас заучивать. Тетради наши нередко брал к себе и просматривал. Приходя в класс, он первым делом делал нам перекличку, чтобы убедиться, все ли студенты находятся в классе, что нам очень не нравилось и чего не делал ни один из профессоров. Так прошло несколько классов, но, наконец, последовали с нашей стороны протесты против такого педагогического приема, и наш бакалавр счел за лучшее торжественно, в присутствии всего класса разорвать свой список, в котором он отмечал отсутствующих, после чего, конечно, прекратились и переклички. Мало пользы принес нам этот преподаватель, который, впрочем, был у нас недолго, около года, с осени 1859 г. до 10 мая 1860 г.[148]. После него преподавание греческого языка было временно поручено бакалавру А. И. Предтеченскому (с 15 мая 1860 г. до 10 ноября 1861 г.). Если что осталось от о. Веглериса в памяти, то это несколько греческих фраз, да ожесточенные его нападки на Еразма за введенное этим ученым произношение некоторых греческих слов. О. Веглерис не находил слов для выражения своего негодования, когда говорил об этом произношении, усвоенном нашими светскими учебными заведениями. Он положительно выходил из себя, когда говорил об Еразме; самый обычный эпитет, к нему прилагаемый, был «диаволос». Наконец, никогда не забудется великолепная наружность этого грека-бакалавра. Он был в полном смысле слова красавец собой, брюнет, с очень правильными чертами лица, красивыми глазами, великолепными волосами, умеренно полный, среднего роста, с прекрасными манерами, величавой осанкой. Вероятно, он имел немало поклонниц среди дам[149]. Русским языком он владел плоховато[150].

---

[148] Переведен он был 10 мая 1860 г. в Киев. акад. бакалавром греч. языка, но не захотел туда отправиться, а просил об определении его на место настоятеля греческой церкви в Одессе, которое и получил, 26 окт. того же 1860 г. Скончался в Кон-ле в 1866 г.

[149] Слышно было, что из-за них он даже получил в Одессе некую аварию. За верность слуха, конечно, ручаться трудно.

[150] Вот образец одной фразы, которую он просил перевести на греческий язык: «Мы имеем нынце хоросаго, прекраснаго зима».

Еврейский язык преподавал также природный еврей, экстраординарный профессор с.-петербургского университета Д. А. Хвольсон[151], у нас в академии состоявший (до 1869 г.) в звании приватного преподавателя, большой знаток своего предмета, уже и тогда известный ученый-гебраист. К сожалению, он не приспособился к преподаванию еврейского языка в высшей духовной школе. Вместо того, чтобы поболее занимать нас переводами с этого языка и через то приохотить нас к его изучению, как делал это когда-то (по сохранившемуся преданию) приснопамятный протоиерей Г. П. Павский, он посвящал переводам слишком мало времени, а больше занимал нас филологическо-грамматическими тонкостями. Эти тонкости — может быть, очень важные для записных филологов восточного факультета — надоедали нам, в особенности через постоянное повторение одного и того же, охлаждали наше рвение к изучению этого важного для богослова языка, и в результате мы мало им занимались, а знатоков его между нами, кажется, совсем не было.

Новые языки преподавали: французский — бакалавр М. О. Коялович, немецкий — бакалавр И. Т. Осинин, английский — преподаватель Г. Д. Бишоп. Английский язык не был обязателен для всех студентов.

М. О. Коялович, хорошо зная книжный французский язык, не владел разговорным, но, как пользовавшийся любовью и уважением преподаватель гражданской истории, располагал нас к занятиям и по изучению французского языка.

И. Т. Осинин [152], как родившийся за границей, в Дании, в Копенгагене (он был сын псаломщика тамошней посольской церкви), знал немецкий язык не только книжный, но и разговорный, свободно говорил на нем. Между прочим, он и нас приучал к тому же, и хотя наши успехи в этом отношении были очень невелики, но все-таки мы умели, хоть с грехом пополам, составлять небольшие немецкие фразы.

---

151 Даниил Абрамович Хвольсон, докт. еврейск. словесности, экстраорд. проф. СПб. универ. по восточному факультету, в СПб. дух. акад. — с 3 марта 1858 г.

152 Иван Терентьевич Осинин, СПб. сем., 1-й маг. XXII к. СПб. акад. (1857), бак. обличит. богосл. с 1857 г.

Г. Д. Бишоп[153], природный англичанин, был прекрасным преподавателем английского языка. Он очень хорошо, совершенно правильно и свободно говорил по-русски и, что особенно замечательно, когда переводил с английского языка на русский, то русский перевод оказывался вполне литературным, даже изящным, так что трудно было перевести лучше и природному русскому, обладающему литературным вкусом. Некоторые из моих товарищей хорошо и скоро изучили английский язык под его руководством. Были у Г. Д. Бишопа некоторые странности, без которых не обходится, кажется, ни один англичанин. У него была страсть приврать и присочинить[154].

Тон академической жизни задавали лица начальствующие.

Во главе высшего начальства стоял в первый учебный год (1859/60) митрополит Новгородский и С.-Петербургский Григорий (Постников)[155]. Митрополита Григория, всеми глубоко чтимого за его строгую аскетическую жизнь, твердость характера и ученые труды, в особенности по изучению и обличению русского раскола, мы видели в академии, вероятно, на рождественском экзамене. Довольно высокого роста старец, со строгими чертами бледного лица, — таким он остался в нашем представлении. Но, кроме впечатления от его наружности, ничего другого в нашей памяти не сохранилось.

Следующие годы нашего студенчества, равно как долго после, в годы нашей академической службы, митрополитом Новгородским, С.-Петербургским, Эстляндским и Финляндским был преемник мит-

---

153 Генрих Джон Бишоп, с 1835 г. русский подданный, в СПб. акад. — с 1856 г. (после проф. М. А. Голубева, который преподавал англ. язык в 1852–1856), † 1867.

154 Живо помню, как однажды приходит он в класс и, самодовольно поглаживая свой подбородок (обычный его жест), говорит, что он вчера рано утром отправился на охоту, в Вятку, с какой-то знатной компанией, чуть ли не с посланниками, в том числе английским, и поздно ночью, часов в 12, был дома.

155 Егор Постников, в монаш. Григорий, 3-й маг. I к. СПб. акад. (1814), 1816 — инспект. СПб. акад., 1817 — докт. богосл., 1819 — рект. СПб. акад., 1822 — еп. викар. Ревельский, 1826 — еп. Калуж., 1829 — архиеп. Рязан., 1831 — Тверской, 1848 — Казанский, 1856 — митр. Казанский (26 авг.), митр. Новгород. и С.-Петерб. (1 окт.), † 1860 г., 17 июня.

рополита Григория — митрополит Исидор (Никольский)[156]. О нем придется еще много говорить впоследствии.

Ближайшими к нему начальствующими лицами были ректор и инспектор.

В первый учебный год (1859/60) ректором С.-Петербургской академии был архимандрит, а потом (с 13 сентября 1859 г.) епископ Выборгский, викарий С.-Петербургский, Нектарий (Надеждин)[157], человек мягкого, приветливого, доверчивого характера[158], более или менее сочувствовавший тогдашним либеральным влияниям, в лучших, конечно, их сторонах, значительно ослабил суровость прежнего макарьевского († митрополита Макария (Булгакова)) режима. При проводах его студенты поднесли ему панагию. Это было делом по преимуществу студентов старшего курса.

В остальные учебные годы (1860–1863) был ректором преемник Нектария, сначала также архимандрит, а потом (с 12 июня 1861 г.) епископ Выборгский Иоанникий (Руднев)[159], несравненно более даровитый, чем его предшественник, но совсем другого характера, сурового, недоверчивого, подозрительного, не находивший ничего достойного сочувствия в тогдашних стремлениях молодежи, задался

---

[156] Яков Сергеевич Никольский, в монаш. Исидор, тульск., 2-й маг. VI к. СПб. акад. (1826), 1826 — бак. СПб. акад., 1829 — ректор. Орлов. сем., 1833 — ректор. Моск. сем., 1834 — викар. еп. Дмитров., 1837 — еп. Полоцкий, 1840 — Могилевск., 1841 — архиеп., 1844 — Экзарх Грузии, 1856 — митр., 1858 — митр. Киевский, 1860 — митр. Новгор. и С.-Петерб. (1 июля).

[157] Николай Надеждин, в монаш. Нектарий, тамбов., 26-й маг. XI к. Киев. акад. (1843), 1849 — инспект. Киев. сем., 1851 — ректор. Киев. сем., 1856 — ректор. Новгор. сем., 1857 — ректор. СПб. сем., 1859 — ректор. СПб. акад. и еп. Выборгский, 1860 — еп. Нижегород., 1867 — архиеп., 1860 — архиеп. Харьков., † 1874.

[158] В своих «Заметках и воспоминаниях» («Богословский вестник», янв. 1914 г.) митр. Леонтий хотя и говорит о нем, что он «искал популярности у студентов», но в конце концов называет его «человеком прекрасным по душе».

[159] Иван Руднев, в монаш. Иоанникий, тульск., 1-й маг. XIV к. Киев. акад. (1849), 1849 — бак. Киев. акад. по Св. Писанию, 1856 — инспект. Киев. акад., 1858 — ректор. Киев. сем., 1859 — ректор. Киев. акад., 1860 — ректор. СПб. акад., 1861 — еп. Выборг., 1864 — еп. Саратов., потом еп. Нижегород., архиеп. и Экзарх Грузии, митр. Московский, † митр. Киевский.

целью поднять упавшую дисциплину в академии. Что из этого вышло, увидим впоследствии.

Первые полтора месяца после нашего поступления в академию у нас, в сущности, не было инспектора. Мы застали состоявшего в то время инспектором архимандрита Епифания (Избитского)[160], из польских дворян, из католицизма перешедшего в православие. Он был, так сказать, на отлете, ждал назначения на другую должность, которое последовало 2 сентября того же 1859 г. Затем несколько дней (десять), не вступая в должность инспектора, числился в ней архимандрит Асинкрит (Верещагин)[161], назначенный (5 сентября), но по его прошению уволенный (15 сентября) от духовно-учебной службы. Прошел еще месяц, и 15 октября мы получили, наконец, инспектора в лице архимандрита Павла (Лебедева; † архиепископ Казанский)[162], который пробыл у нас около двух лет (с 15 октября 1859 г. по 23 августа 1861 г.), то есть в течение всего младшего курса, и оставил по себе хорошую, благодарную память. Мы недостаточно

---

[160] Епифаний (в мире — Евстафий Избитский), из польских дворян Волын. губ., сначала католик, обучался в Вилен. акад.; потом, в 1841, — в Киев. универ. по философ. факультету, где получил степень магистра, в 1846 — учитель Чернигов. гимн., 1851 — учит. Житомир. раввинского учил., 1854 — принял православие, 1856 — 12-й маг. XI к. Моск. акад., 1856 — инспект. Вифан. сем., 1858 — инспект. СПб. акад., 1859 — рект. Кавказ. сем., 1861 — оставил дух. учебн. службу, жил в моск. Симоновом мон., 1866 — член Забайкальской миссии, † 1869 — там же, в Забайкалье.

[161] Иером. Асинкрит (Верещагин), 3-й маг. XX к. СПб. акад (1853), 1853 — бак. по патристике в СПб. акад., 1855 — инспект. Петрозав. сем., 1859 — назначен инспект. СПб. акад. и, после отказа его от этого назначения, — настоятель новгород. Сковородского мон., а потом — инспект. Новгород. сем. и ректор. Калужской, вскоре скончался. По слухам и печатным отзывам, «это был человек даровитый, но крайне мнительный и вдобавок болезненный» (Чистович И.А. «История СПб. дух. академии...», стр. 14). Он был назначен инспектором прямо «с присвоением ему звания ординарного профессора».

[162] Иером. Павел (Лебедев), тверск., 8-й маг. XX к. СПб. акад (1853), 1853 — препод. СПб. сем., 1857 — инспект. СПб. сем., 1859 — инспект. СПб. акад., 1861 — рект. Смолен. сем., 1866 — рект. СПб. сем., 1868 — еп. Выборг., вик. СПб., 1869 — еп. Ладож., вик. СПб., 1871 — еп. Кишинев., потом архиеп., Экзарх Грузии, архиеп. Казан., † в Казани. Инспектором СПб. акад. он был со званием экстраорд. профессора.

его ценили в бытность его инспектором и вспомнили о нем, когда перешли на старший курс, когда разыгралась октябрьская (4 октября 1861 г.) история со всеми ее последствиями и влиянием на склад нашей жизни в последние два года пребывания в академии.

Но о дисциплине и порядках нашей студенческой жизни на младшем курсе скажем потом, теперь же перейдем к нашим учебным занятиям на этом курсе.

Скоро мы поняли, что система академического образования очень напоминает систему тогдашнего семинарского. Как там все было направлено к нашему формальному развитию, преимущественно к упражнению в письменных работах, так — и здесь, в академии. Различие было только в характере чтений, да еще в том, что в семинарии задавали нам уроки и каждый класс спрашивали у нас отчет в усвоении заданного, а здесь, в академии, несколько месяцев подряд читали нам лекции и не контролировали нас в их усвоении, задавая в то же время много сочинений, не менее пяти (с проповедью) в год.

Что касается лекций, то мы слушали внимательно только любимых и интересных для нас преподавателей. У других или сидели в классе (во избежание инспектора Павла, часто посещавшего занятные комнаты во время лекций), занимаясь в это время чем попало, или скрывались в так называемых «катакомбах» — хлебопекарне, куда отправлялись, кстати сказать, и в другое время любители табаку, чтобы покурить. Зная такое отношение студентов к лекциям, те профессоры, которые желали иметь у себя полную и внимательную аудиторию, старались всячески заинтересовать своих слушателей. Отсюда вел начало характер некоторых чтений, отсюда — приправа к ним (остроты, соль их).

Отчет в усвоении лекций мы давали на экзаменах, два раза в год, — рождественских и перед летними каникулами, — и на репетициях перед экзаменами. Но этот отчет не имел серьезного характера.

Репетиции производили не все профессоры, некоторые не делали их вовсе, сберегая время для лекций. Помню репетиции только некоторых: В. Н. Карпова и, в особенности, К. И. Лучицкого, аккуратно и строго их выполнявшего. Для репетиций выдавались в большинстве случаев особые литографированные лекции, содержавшие нередко

не то, что читалось, а то, что представлялось к экзаменам. Такой обычай выдавания особых записок для экзаменов явился, вероятно, из опасения цензуры со стороны властей — ректоров, митрополитов и академических ревизоров. Некоторые из профессоров выдавали для репетиций и экзаменов более или менее подробные программы прочитанного, например, В. Н. Карпов — по психологии.

Экзамены велись так же, как в семинариях, то есть спрашивали не каждого студента по каждому предмету, а одного — по одному, другого — по другому. Студенческие экзамены совершенно вышли из памяти. Хорошо помню один только экзамен, летний, последний в младшем курсе. Был митрополит Исидор. Оказывается, в 1861 г. он был ревизором в академии, — обстоятельство, которое я совершенно забыл, но которое напомнили мне дела академического архива. На этот раз он производил ревизию лично, а не поручил ее, как делал он это в последующие годы, своим викариям. Итак, шел экзамен: конечно, в зале. Экзаменовали по разным предметам, в том числе по логике, психологии и истории философии. Меня пока не вызывали. Вдруг митрополит, обращаясь к ректору, Преосв. Иоанникию, просит спросить кого-нибудь по истории новой философии, именно о Гегеле. Едва товарищи услыхали, что экзамен переходит на новую философию, как масса их обращается в бегство из залы. Беглецы надеялись, что их спросят по другому предмету, а не по новой философии; записки В.Н., изложенные, как выше замечено, трудным для усвоения способом, их пугали. Преосв. Иоанникий вызывает меня. В своем ответе я совершенно отрешился от того, что изложено было в сданных нам В.Н. записках, боясь запутаться, припоминая прочитанное, бойко начал излагать систему воззрений Гегеля так, как усвоил ее отчасти из чтений профессора, отчасти из сочинений известного гегельянца Белинского, которые мы тогда очень много читали. В.Н. дал мне высказать все, что я знал, ни разу не остановил и не сделал ни одного возражения. Остался, по-видимому, доволен и митрополит. В заключение он заметил, что нечто, подобное воззрениям Гегеля, встречается и в философии индийцев и китайцев. Некоторые из товарищей сказали мне потом «спасибо» за то, что я вынес на своих плечах тяжесть, которая могла обрушиться на каждого из них. Не помню, спрашивали ли еще кого, кроме меня, по этому предмету, — кажется, моим ответом экзамен по нему и закончился.

Вообще, экзамены тогда не имели для студентов важного значения. Они имели характер только проверки как знания студентов, так и успешности преподавания и направления чтений профессоров. Преподаватели старались на экзамене показать и себя с лучшей стороны; отсюда особенные для экзаменов литографированные лекции, отсюда и вызов лучших студентов для ответов[163]. Наши экзаменские ответы не особенно ценились. Вот взгляд на них одного из наших особенно даровитых товарищей (М. И. Владиславлева), высказанный мне как-то в разговоре: «Плохо, если на экзамене совсем срежешься, очень плохой ответ запомнят, а затем, если ответишь прекрасно или только удовлетворительно, это решительно все равно; главное — сочинения, их всего более ценят». На сочинения поэтому и обращено было особенное наше внимание, на них уходило главным образом наше время, остающееся от чтения любимой тем или другим студентом литературы[164].

Сочинений тогда давалось не менее четырех, а с проповедью — пять в каждый год, так что за два года в младшем курсе написано было нами десять сочинений. Все они у меня сохранились (кроме одной проповеди). Темы для них были следующие. Первые — по патристике и русской гражданской истории: «Кому писал свое послание св. апостол Варнава»; «Достоинства и недостатки трудов Устрялова по русской истории» (в рецензии М. О. Кояловича мое сочинение

---

163 Этим объясняется, почему при митр. Исидоре вызвали для ответа по новой философии именно меня. Вероятно, у В.Н. по списку (если только был такой список) я стоял в числе первых, или имел (в алфавитном списке) высший балл — 10.

164 Кроме научных сочинений и книг (вроде «Илиады» Гомера и «Одиссеи», творений Платона, Пропилей Каткова и Леонтьева, «Введения в философию» Ф. Ф. Сидонского, «Энциклопедии законоведения» Неволина, Историй Шлоссера, Маколея и др.), мы читали новости тогдашней беллетристики, произведения Писемского, Островского, Достоевского, Некрасова, Добролюбова и Чернышевского. Роман Чернышевского «Что делать» печатался на наших глазах в книжках «Современника», и, конечно, каждая книжка этого журнала ожидалась с нетерпением. Кстати сказать, это пресловутое произведение совсем не понравилось мне, да, сколько помнится, и некоторым из моих товарищей, — своей крайней утопичностью, недостатком художественности, длинными рассуждениями педантического характера, а предисловие даже изумило своей крайней дерзостью и совершенно неприличным обращением к читателям.

названо «очень замечательным трудом»). Далее — по общей гражданской истории: «Справедливо ли деление всеобщей истории на древнюю, среднюю и новую?». По философии: «Чем отличается представление философское от обыкновенного?» (читал И. А. Чистович). Это в первый год. Во второй: «О влиянии логики на практическую жизнь» (читал В. Н. Карпов, оригинальна его подпись: «Очень благодарен!»). По патристике: «О желательной постановке патристики как науки». По общей истории: «Общий основной характер гражданской жизни языческого мира и главные частные проявления оного в разных странах» (читал А. И. Пр-ий, в подписи выражено «желание рецензента получить от автора копию этого сочинения»), наконец по истории философии: «Происхождение и различные выражения идеи судьбы в древней греческой философии» (читал И. А. Чистович).

Последние два мои сочинения предназначались для прочтения на публичном экзамене 1861 г., сначала оба, а потом, по соглашению между профессорами, — одно, по общей гражданской истории, так как каждый студент мог выступить перед публикой только с одним сочинением[165].

Если не ошибаюсь, все мои сочинения, в общем, были самыми лучшими из числа писанных студентами нашего младшего курса. Из всех восьми сочинений пять имели высший балл (10) и три — балл 9 или 10[166]. Таким образом, в первые же два года моего студенче-

---

165 Сначала призвал меня А. И. Предтеченский и предложил читать на экзамене писанное на его тему сочинение («Общий основной характер» и пр.), а потом, через два-три дня, призывает меня И. А. Чистович и делает такое же предложение относительно моего сочинения на его тему «Происхождение и различные выражения идеи судьбы в древней греческой философии». Дав обещание переговорить со своим коллегой (Пр-м), И.А.Ч. заметил, помнится, что в случае его несогласия уступить меня он изберет сочинение моего приятеля, Н. Г. Благовещенского. Чьи еще сочинения намечались тогда для прочтения на публичном экзамене, не могу припомнить.

166 Проповедь одна («в неделю по Воздвижении») также имела высший балл 10, и только первая проповедь (на день Покрова Пресвятой Богородицы) имела довольно низкий балл — кажется, 8 (она у меня не сохранилась). Тут погубила меня публицистическая тенденция: выходя из идеала Богоматери, я отчасти в защиту тогдашних поборников женской эмансипации, отчасти в опровержение крайних, утопических их идей, хотелось выяснить идеал женщины, истинной христианки. Но К. И. Лучицкий, который читал наши сочинения этого

ства мне удалось загладить позор неудачного моего дебютирования в академии своими сочинениями на приемном экзамене. Что касается вообще моих успехов в младшем курсе, то, судя по итогу баллов, по сочинениям и по устным ответам за первые два года, я должен был занять в списке третье место. Ф. Г. Елеонский, судя по баллам, также должен был стоять высоко, несомненно в первом десятке[167].

Перед наступлением летних каникул, кроме обычных экзаменов, были еще публичные. Публичного экзамена в первый учебный год (1859/60) совершенно не помню, да едва ли он и был, так как митрополит Григорий (Постников) скончался 17 июня 1860 г. Кончина его, вероятно, помешала устроению этого экзамена. Помешала она и нашему обычному отпуску на каникулы (около 15 июня). В этом году отпустили нас после 30 июня, после нашего храмового академического праздника (12-ти Апостолов), который, чего, кажется, никогда потом не бывало, академия провела при полном составе своих тогдашних студентов. За поздний наш отъезд мы вознаграждены были редким зрелищем очень торжественных похорон почившего, приснопамятного митрополита Григория. Мы присутствовали в Лаврском соборе, поставлены были как раз сзади всей Царской Фамилии, а по выносе тела из собора, после отпевания, расставлены были по аллее, ведущей от Лаврского собора к академии. Здесь мимо нас прошел Государь Император Александр II, под руку с великою княгинею Александрою Иосифовною, супругою великого князя Константина Николаевича, поразившею нас своею красотою.

Публичный экзамен во второй учебный, 1860/61, год мне очень памятен, на нем должны были читаться наши сочинения, в том числе, как замечено выше, и мое — по общей гражданской истории. Перед

рода, не любил проповедей с претензией на современность, да и я, конечно, далеко не был опытным оратором.

[167] Разбирая дела академического архива за учебные годы 1859–1860 и 1860–1861, я не нашел разрядного списка по успехам (вероятно, он или где-нибудь застрял между бумагами или не составлялся), а встретил только алфавитный список, писанный рукою тогдашнего секретаря академического правления и конференций, проф. Е. И. Ловягина, со сводкою баллов по устным ответам и сочинениям. Общий итог баллов выставлен против М. И. Владиславлева — 120¾, Т. В. Барсова — 120¼, А. Катанского — 118¾, Ф. Г. Елеонского — 115. Против же Ник. Ив. Барсова, который принят был в академию под № 1, — 109½.

наступлением экзамена бакалавр А. И. Предтеченский счел нужным сделать со мною маленькую репетицию чтения: поставил меня в пустой зале на кафедре и заставил читать мое произведение, что было далеко не излишне, так как читать публично я вовсе не умел. Однако ни мне и никому из студентов младшего курса читать не пришлось. Читались сочинения только студентов старшего, окончившего тогда академию курса (XXIV, 1857–1861), да и из них едва ли не одно только сочинение студента П. А. Лебедева (впоследствии 2-й магистр, протоиерей Пажеского корпуса и член Учебного комитета при Св. Синоде), о блаж. Августине и борьбе его с Пелагием. Присутствовали на экзамене: митрополит Исидор, члены Св. Синода, немало духовенства и других почетных лиц. Был и тогдашний обер-прокурор Св. Синода (1856–1865) — граф Алекс. Петр. Толстой, известный своею религиозностью и благочестием. Удивил он нас знанием учения блаж. Августина и его творений. Во время чтения вышеупомянутого сочинения граф А.П. совершенно неожиданно выступил со своими возражениями лектору. Между присутствовавшими лицами из духовенства наше внимание обратила в особенности одна очень интересная личность: случайно бывший в Петербурге, приехавший из Парижа настоятель парижской посольской церкви — протоиерей И. В. Васильев. Он уже тогда пользовался громкой известностью и славой и за границей, и в России, благодаря своей в высшей степени энергической деятельности во время восточной войны, по уходу и попечению о больных, раненых и пленных русских (1854) во Франции, в особенности же — постройкой русской православной церкви в Париже[168], основанием и изданием в Париже, на французском языке, православного журнала L'Union Chrétienne (первый номер появился 8 ноября 1859 г.) и знаменитыми, прогремевшими на всю Россию «Письмами к нантскому епископу», только что напечатанными в апреле и мае 1861 г., в том же французском

168 В этом 1861 г. он приезжал в Россию, чтобы хлопотать о торжественном освящении созданного им великолепного храма в Париже, с участием непременно православного епископа, что после многих хлопот ему и удалось. Послан был в Париж еп. Ревельский, викарий С.-Петербургский Леонтий (Лебединский; † митр. Московский), который и совершил в том же году освящение нашего православного храма в столице Франции.

журнале. О. протоиерей И. В. Васильев был тогда еще в цвете сил, сравнительно молод; ему было около сорока лет; производил впечатление своим весьма умным, выразительным, энергическим лицом. Никаким образом не могло мне тогда прийти в голову, что это мой будущий тесть.

В заключение воспоминаний из первых двух лет студенчества следует сказать об академических порядках жизни казеннокоштных студентов, о дисциплине.

Инспектор, архимандрит Павел (Лебедев, † архиепископ Казанский), проживший с нами первые два учебных года, питомец макарьевских (Макария Булгакова, митрополита Московского) времен, то есть периода очень строгой дисциплины, был человек спокойный, ровный, рассудительный, хотя не слабого характера, но умевший различать «времена и лета», понимавший тогдашнее настроение студентов, делавший несущественные уступки времени, чтобы сохранить существенное, главное в дисциплине[169], поэтому студенческая жизнь при нем шла ровно, дисциплина поддерживалась в академии и стояла если далеко не на уровне макарьевских времен, то приблизительно к этому уровню. Она была значительно поколеблена еще ранее, при инспекторах архимандрите Викторине (Любимове) и архимандрите Епифании (Избитском), в предшествующие два года (1857 и 1858), в особенности при Викторине[170].

---

169 Напрасно митр. Леонтий в своей публикации «Мои заметки и воспоминания» («Богосл. вестник», 1914, январь, стр. 137, 140) укоряет его за стремление «популярничать» и «приспособляться» ко взгляду тогдашнего ректора — Преосв. Нектария.

170 Викторин (Любимов), калуж., 6-й маг. XX к. СПб. акад. (1853), 1853 — инспект. Смолен. сем., 1857 — инспект. СПб. акад., 1858 — рект. Костром. сем., 1860 — рект. Тифлис. сем., 1868 — еп. Чебоксарский, 1874 — Полоцкий, 1882 — Подольский, † 1882. Он напечатал книгу «Друг духовного юноши», полную самых мелочных правил поведения студентов, и требовал их исполнения. Результатом было возмущение студентов против инспектора и исключение шести человек, главных виновников беспорядков. А инспектор Епифаний (Избитский), воспитанник польских католических школ, держался иезуитской системы надзора над студентами, которая также не приносила хороших плодов и только напрасно раздражала студентов. Все это дошло до нас по преданию от предшествующих курсов.

Вот порядок нашей жизни в младшем курсе. Каждый день, кроме канунов и утра праздников, полагались вечерние и утренние молитвы, которые совершались в академическом храме, с обязательным на них присутствием всех студентов и инспектора или его помощника. Посещение богослужений в воскресные и праздничные дни также было обязательно для всех студентов, причем они должны были стоять рядами, студенты старшего курса — на правой стороне, младшего — на левой. Даже в столовую они[171] должны были идти попарно, не ранее звонка и прибытия помощника инспектора, который ходил по столовой в течение всего обеда и ужина (ужин состоял из одного блюда)[172]. Утром, после молитвы, в 8 часов, и вечером в 4 часа полагался чай с булкою; чай и сахар (⅛ фунта первого и 2 фунта второго в месяц) выдавались от казны.

Инспекция наблюдала за аккуратным посещением студентами как вечерних и утренних молитв, так и лекций, для чего обходила часто в это время жилые комнаты и спальни, чтобы убедиться, нет ли уклоняющихся от исполнения студенческого долга. Наблюдала также и за занятиями студентов во внеклассное время в жилых комнатах, требовала, чтобы все сидели за столами, а не бродили по комнатам и не лежали на диванах. В комнатах, конечно, запрещалось курить, да и вообще курение табаку не жаловалось; замечались даже и те, которые для этой цели ходили в «катакомбы» (хлебопекарню).

В город мы имели право отлучаться только два раза в неделю, воскресенье и четверг, причем должны были записываться в особую книгу с обозначением того, куда намерены отправиться,

---

[171] Памятен мне первый обед в академической столовой. Будучи тогда в угнетенном состоянии духа и незнакомый с порядками общежития, я до того растерялся, что сел не против назначенного для каждого студента прибора, а посередине двух приборов, и очутился рядом с Н. Г. Благовещенским. Видя мое смущение, он поделился со мною своею порцией, и с тех пор начались между нами приятельские отношения, не прекратившиеся до самой его кончины. Скончался этот очень даровитый мой товарищ, после службы в Витебской семинарии и инспекторства по народным училищам министерства народного просвещения, в Петербурге, в отставке.

[172] Взамен второго блюда, за счет отпускаемой на него суммы, литографировались лекции. Делалось это и ранее нас, с согласия и по просьбе самих студентов, как говорили студенты старшего курса.

и получали на выходе маленький печатный билетик. Мы с Ф. Г. Ел. отлучались из академии очень редко, так как не имели знакомых в городе, кроме одного семейства — протодиакона Зимнего Дворца В. Д. Николаевского[173], а потом, на второй год, — моего родственника, вице-директора медицинского департамента, доктора медицины Н. И. Розова[174], да еще товарищей по семинарии, студентов университета (П. Ф. Лебедева) и медицинской академии (М. М. Добротворского), которые также, со своей стороны, иногда навещали нас в академии.

По возвращении в академию из города студенты со своими отпускными билетами должны были являться к инспектору, к 9 часам вечера. В это же время являлись к нему и комнатные старшие с докладом, все ли у них благополучно, а также дежурный старший по всей академии. В 11 часов запирались занятные комнаты.

Такие порядки соблюдались довольно аккуратно в первый наш учебный год. На следующий — начались постепенно некоторые, впрочем небольшие, отступления, в особенности относительно выхода в город. Мы уже довольно свободно уходили из академии и в другие дни, кроме двух для того назначенных, неаккуратно записывались в книгу для выхода в город, а потом (впрочем, кажется, уже на третий год, после инспектора архимандрита Павла) исчезла и самая книга. В то время, 1860–1861 годы, начались воскресные

---

[173] Протодиак. В. Д. Николаевский был нижегородец, товарищ моего отца по семинарии. Перед окончанием нашего семинарского курса он приезжал в Нижний и был у нас со своими сыновьями, учившимися в СПб. семинарии, нашими сверстниками, Н. В. Николаевским (ныне митрофорн. прот. Конногвардейской ц. в С.-Петербурге) и А. В. Николаевским (также митрофорн. прот., бывший 27 лет настоятелем Венской посольской ц., в 1913 г. скончавшийся). Мы тогда познакомились с этим почтенным семейством, и это знакомство очень нам пригодилось, когда приехали в Петербург. Приветливость и радушие, которые мы тут встретили, были очень для нас дороги. Посещения этого семейства, которое нас пригрело, скрасили нашу жизнь в неприветливой казенной обстановке.

[174] Ник. Игн. Розов, двоюродный брат моей матери, из философского класса Нижегор. сем. поступил в Казанский университет, был в нем, по окончании курса на медицинском факультете, прозектором, потом — инспектором врачебной управы в Вятке и Воронеже, вице-директором медицинского департамента, затем директором и председателем ветеринарного комитета. Скончался в 1886 г. в чине тайного советника. Был очень религиозен.

школы, в которых участвовали и мы, студенты духовной академии. В студенческих комнатах начали появляться тогдашние деятели по устроению этих школ: военный генерал-аудитор Философов и священник А. В. Гумилевский[175]. Из студентов особенно живое участие в воскресных школах принимал студент старшего курса В. Г. Певцов (впоследствии 1-й магистр XXIV курса, 1861 г., † профессор богословия и протоиерей Училища правоведения). Мы с Ф. Г. Ел. также занимались в одной из воскресных школ, именно владимирской, которую однажды, когда мы были в ней, посетил даже тогдашний министр народного просвещения (1858–1861) Е. П. Ковалевский.

Вообще же, и во второй учебный год поддерживалась в академии умеренно строгая дисциплина, благодаря, главным образом, инспектору архимандриту Павлу. Не то было в следующие два года, когда мы перешли на старший курс, когда ушел прежний инспектор, а новый долго, до мая месяца, не приезжал, бразды же правления взял в свои руки преемник Преосв. Нектария — Преосв. Иоанникий. Что вышло из таких перемен в академической администрации, увидим далее.

Старший курс: 1861/62–1862/63 учебные годы

Благополучно перешли мы осенью 1861 г. из младшего курса в старший, но очень неблагополучно его начали.

Лучших по успехам студентов назначили комнатными старшими, первых по списку — над своими же товарищами, а других — над студентами младшего, только что сформировавшегося XXVI курса. Меня назначили в комнату, одну из самых лучших, крайнюю в зале,

---

[175] А. В. Гумилевский, петерб., 7-й маг. XXI к. СПб. акад. (1855), свящ. петербург. Христорождественской, что на Песках, церкви. За горячую проповедь по случаю освобождения крестьян перемещен, как тогда говорили, в г. Нарву. † 1869. Он был один из соредакторов передового тогда петербургского духовного журнала «Дух христианина» и был в близких, по-видимому, отношениях с П. И. Шалфеевым, его товарищем по студенчеству.

примыкающую к нему, №9, населенную моими же товарищами, а следующая за нашей комнатой, угловая, самая лучшая, наиболее светлая комната, также с нашими товарищами (кажется, №10), поручена была старшинству М. И. Владиславлева. В какой комнате назначен был старшим Ф. Г. Ел-ий, не помню.

Начались лекции и благополучно шли до 4 октября 1861 г., когда произошло нечто, совершенно для нас неожиданное, выведшее нас из обычной колеи и имевшее огромные для всего нашего XXV курса последствия, именно — «случай в греческом классе», как нижеописываемое событие названо московским митрополитом Филаретом в его «Мнениях и отзывах»[176].

С тех пор, как начал писать свои воспоминания, с большим смущением и даже страхом думал я о том, как мне удастся описать этот поистине несчастный «случай». Боялся, сумею ли беспристрастно отнестись, с одной стороны к своим товарищам и отчасти к себе самому, игравшему тут некоторую, хотя и маленькую, роль, с другой — что, конечно, самое главное, — к такой известной и во многих отношениях замечательной и достопочтенной личности, как тогдашний наш ректор, Преосв. Иоанникий († митрополит Киевский), почтительная память о котором еще жива у многих доселе и, конечно, никогда не умрет в истории нашей Церкви. Всего более боялся оскорбить именно его память. К великому для меня счастью и облегчению трудного моего положения, на днях, как нельзя более кстати, появились воспоминания митрополита Московского Леонтия (Лебединского)[177], совершенно подтверждающие тот взгляд на нижеописываемые события, который давно у меня составился и утвердился. Свидетельство почившего митрополита Леонтия тем важнее, что в качестве тогдашнего

[176] «Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского». М., 1887. Т. V, ч. I, стр. 151–155.

[177] Иван Алексеевич Лебединский (в мон. Леонтий), воронеж., 5-й маг. XVII к. СПб. акад. (1847), 1847 — препод. СПб. сем. и в том же году — инспект. Киев. акад., 1856–1860 — ректор семинарий — Владимир., Новгород., С.-Петерб., 1860 — еп. Ревельский, 1863 — еп. Подольский, 1873 — архиеп., 1874 — архиеп. Херсонский, 1875 — Варшавский, 1891 — митр. Московский, † 1893. Вдобавок, он был товарищем по студенчеству проф. Е. И. Ловягина, тогдашнего секретаря правления и конференции, и от него мог многое узнать о положении академических дел.

С.-Петербургского викария, епископа Ревельского, он не только был очевидным свидетелем, но и привлечен митрополитом Исидором к официальному расследованию нашего дела.

Вот что пишет в своих воспоминаниях[178] этот приснопамятный святитель, отличавшийся всегда большим добродушием и прямотой характера. Начинается рассказ с самого первого момента, с назначения архимандрита Иоанникия ректором нашей академии.

«Назначение (архим. Иоанникия) состоялось. И вот мы, старые знакомые (по Киеву), опять свиделись. Архим. Иоанникий взялся за дело с ревностью, но с инспектором (архим. Павлом), на первых же порах, несогласно во взглядах, хотя по своей сдержанности не высказывал этого ясно. Дух академии, как я сказал прежде, был свободный и нужно было с умением, без поблажки, исправить запущенное. Инспектор, державшийся Нектариевской методы — популярничать, лавировал и фальшивил перед ректором. Вот причина, почему архим. Павел заменен другим лицом, получив ректуру в смоленской семинарии. К сожалению, ректор не пользовался любовию и доверием студентов, да и профессоров. Его замкнутость, сухость и недоверчивость не привлекали к нему подчиненных; а лекции по догматике он читал хотя и дельно, но далеко не увлекательно, и к тому же как-то неразборчиво в произношении. Держа себя далеко от студентов, и не имея искренности от инспектора, он естественно мог действовать невпопад[179]. Когда поступил новый инспектор Владимир (ныне епископ), человек прекрасный, добрый, он должен был еще знакомиться с академиею[180], которой, как воспитанник Киевской Академии, не знал по духу

---

[178] «Богосл. вестник», 1914, январь. «Мои заметки и воспоминания. Леонтия, митр. Московского» (стр. 137–144).

[179] Если это «невпопад», благодаря «неискренности инспектора», относится к нашей истории 4 октября 1861 г., то тут «неискренность» архим. Павла ни при чем, ибо он ушел из академии раньше 4 октября, более чем за месяц, именно 23 августа того же года.

[180] То же нужно сказать и относительно нового инспектора Владимира (Петрова), который характеризуется Преосв. Леонтием совершенно верно, но который прибыл к нам спустя целых 7 месяцев после 4 октября, именно 10 мая следующего 1862 года. Следовательно, его личность, с незнанием нашей академии, также ни при чем. Верна одна только общая мысль, что Преосв. Иоанникий действовал совершенно один, без чьего-либо содействия, на свой страх, и, как увидим, действительно совершенно «невпопад».

и направлению. Иоанникий, уже хиротонисованный во епископа (1861 г. в июне), своего такта не изменил. И вышла история в академии, очень неприятная, помнится в 1863 году (1861?)[181]. Расскажу о ней. За отсутствием преподавателя греческого языка, поручено было преподавание его бакалавру по истории Предтеченскому. Он (кстати сказать, держал себя со студентами, особенно с некоторыми, по-товарищески, курил и играл с ними в карты), пришедши в класс, сказал: «господа, я сам плохо знаю греческий язык, будем заниматься кой-чем». Студенты вскоре перестали посещать класс in corpore, а затем почти все. Вот начало события, которое наделало шума в Петербурге. Предтеченский нажаловался ректору в преувеличенных выражениях. И вот явился в глазах начальства бунт студентов. Ректор доносит митрополиту формально о бунте, — и что же вышло? Экстренным протоколом Св. Синода исключены из академии до 30 человек (25?). Какой пожар от ничтожной искры! Ректор, между прочим, в своем донесении уверял, что он сам в классе убеждал студентов ходить на греческий язык — и его не послушались. Через несколько времени, когда по Петербургу разнеслась история студенческая, и высшее начальство пожалело о поспешности своей, мне поручено было сделать дознание (это после синодского решения?), — и я открыл, что дело зашло из-за пустяков, что ректор не обращался к студентам с увещанием в классе, и вообще вся история наполовину сочинена под диктовку Предтеченского. Я выяснил все это митрополиту, и состоялось определение Синода — принимать исключенных, если подадут прошения. Почти все, за исключением первых, лучших, трех-четырех человек, подали и приняты обратно. Однако же академия лишилась даровитых людей, напр. Владиславлева, Соколова и др. Владиславлев, напр., теперь ректор Петербургского Университета. Имей другой такт Иоанникий, не было бы учиненного скандала. Скажи он мне прежде формального оглашения дела, — оно получило бы другой характер».

К этому рассказу высокого свидетеля, верно и в общем (за малыми исключениями) точно передающего событие 4 октября 1861 г.,

---

[181] Естественная ошибка памяти. Это было в 1861 г., но так как Преосв. Леонтий играл большую роль и при окончании нами курса в 1863 г. в качестве ревизора академии и принимал деятельное участие в решении нашей судьбы, тесно связанной с 4 октября 1861 г., то у него естественно 1861 год слился в памяти с 1863-м.

присоединим то, как оно отразилось в нашем тогдашнем студенческом сознании, какими подробностями сопровождалось и в каком виде вся эта история представляется теперь, через 50 с лишком лет, человеку, много пережившему и много о ней думавшему. Хотелось бы все разъяснить, не оставить в ней ничего темного, понять душевное состояние действующих в драме лиц, а поняв, покаяться, с одной стороны, и простить с другой...

Мы были крайне удивлены, когда бакалавр А. И. Предтеченский записал в классном журнале, что на лекции 4 октября было у него всего несколько человек, помнится — около десяти-двенадцати, которые и поименованы. Сначала мы даже не обратили на это особенного внимания, только энергически выбранили Пр-го. Помнится, что идя в столовую к обеду, говорили между собой: «Что это штуку выкинул Андрей (так мы называли его часто, а тут в сердцах, даже ругательным полуименем)? Неужели ему не довольно, что было у него столько студентов. Василий Николаевич Карпов, не ему чета, постарше его и попочтеннее, да не записывает же в журнал не бывших у него на лекциях, а ведь даже у Карпова бывает нередко не больше слушателей, чем у Пр-го, к тому же временного преподавателя греческого языка. Да что, братцы, в следующий раз не пойдем к нему совсем. Вот он и увидит, как записывать нас в журнал». Перед наступлением следующего класса по греческому языку это и приведено было в исполнение, без всяких дебатов и нарочитых обсуждений этого шага; состоялось это как-то просто, само собою. Наступил следующий класс греческого языка. Не пошел никто, кроме трех студентов, не пошли даже лица, имеющие духовный сан, таких было у нас четыре лица[182]. Были в классе только три студента: Г. П. Пеньковский

[182] Кроме упомянутого уже 1) иеромон. Владимира (Никольского), † еп. Нижегор., 2) свящ. И. Р. Рахинский, новгор., был учителем М. И. Владиславлева по училищу, след. был старше нас, по меньшей мере лет на 7, 23-й наш канд., был потом при миссии в Китае и прот. в Новгор. епархии, 3) иером. Анфим (Озеров), моск., 30-й наш канд., был по семинарии товарищем тогдашнего ректора СПб. сем. Платона (Троепольского, маг. Моск. акад. XIV к., 1844), след. окончил семинарский курс около 1840 г., приблизительно 25-ти лет от роду, и был при поступлении в академию не менее 40 лет, стало быть, старше нас лет на 20; это был самый старый по летам наш академический товарищ, был он потом смотр. училища в г. Рославле и наконец поступил в число братии Троице-Сергиевой

(8-й маг.), Н. В. Вещезеров (21-й канд.) и Ник. П. Виноградов (27-й канд. нашего курса). Бакалавр Пр-ий снова написал в журнале, что у него в классе были только три студента, такие-то.

Сначала мы считали это дело не более, как личным делом бакалавра А. И. Пр-го, очень чувствительного к популярности между студентами и потому обиженного нашим недостаточно внимательным, по его мнению, к нему отношением. Мы считали его человеком довольно легкомысленным и по свойству его характера способным к различным выходкам. Нам и в голову не приходило, на первых порах, что завязывается серьезное дело, в котором главную действующую роль играет не молодой бакалавр, а лицо гораздо его повыше. Но в дальнейшем движении событий мы невольно должны были изменить наше первоначальное мнение.

Перед наступлением третьего — по счету, с начала описываемой истории — класса греческого языка Преосв. Иоанникий призывает дежурного по всей академии студента. На беду, дежурным в эту неделю оказался пишущий эти строки. «Объявите студентам, что если они не пойдут на лекцию по греческому языку, то все, которые не пойдут, будут исключены, хотя бы это был весь курс. Такова воля и распоряжение владыки митрополита», — сказал мне ректор. Вместо того, чтобы молча уйти и передать товарищам распоряжение начальства, которое должно было быть исполнено, конечно, беспрекословно, я позволил себе весьма бестактный, чтобы не сказать больше, поступок, осмелился выразить свое мнение по поводу переданного мне распоряжения ректора. «По моему мнению, Ваше Преосвященство, — сказал я, — едва ли эта мера окажет надлежащее действие на студентов; боюсь, что они все-таки не пойдут в класс». «Вас не спрашивают о вашем мнении, и не ваше дело рассуждать, идите и объявите о том, что я сказал», — ответил мне ректор, с выразившимся не его лице сильным неудовольствием. Очень сожалею, что у меня вырвались приведенные слова. В моей глупой голове вертелась тогда наивная мысль, нельзя ли отклонить грозившую всем нам беду,

Лавры; наконец 4) свящ. А. Соколов, окончивший со званием студента и вскоре скончавшийся. Соколов вошел в состав студентов только на старшем курсе. Когда вошли к нам свящ. И. Рахинский и иером. Анфим, не помню. Помню только, что приемных экзаменов они не держали.

убедить ректора не приводить его распоряжения в исполнение или, по крайней мере, повременить с такой крутой мерой[183].

Пришел я к товарищам и объявил им волю начальства. Это было за полчаса, много за час до наступления лекции. Времени для обсуждения и решения, как поступить в данном случае, было очень мало в нашем распоряжении. И мы были предоставлены совершенно самим себе. Ректор, как совершенно верно замечает Преосв. Леонтий, к нам не приходил ни в комнаты, не собирал нас и в классе или в зале, был в своей квартире и ждал, как мы поступим. Началось между нами, конечно, большое волнение и горячее обсуждение вопроса, идти или не идти в класс. Был один момент некоторого колебания в сторону положительного решения, но он прошел, когда один студент (С-с), человек вообще мирный, далеко не из крайних, вскочил на стол и сказал: гг. товарищи, полно вам колебаться и шататься туда-сюда. Если вы действительно убеждены в нанесении оскорбления всему курсу, то не ходите в класс, если же — нет, то идите. После того большинство, в количестве двадцати пяти человек, решило не идти, а меньшинство,

---

[183] С этим именно добрым намерением, а отнюдь не с целью нагрубить начальству (что было совсем не в моем характере), я позволил себе эту нелепую и, в сущности, дерзкую выходку. Быть может, думал я, ректор обратит внимание на мои слова и подумает: уж если такой студент, как А. К-кий, человек отнюдь не воинственный, тихого нрава, законопослушный (я имел основание предполагать, что такое именно мнение имеет обо мне начальство), так относится к моему распоряжению, то чего же ждать от других, его товарищей, и не лучше ли отменить мое распоряжение или помедлить с его исполнением? Сознаюсь теперь, что был тогда непроходимо глуп и несообразителен. Но мое выступление доказывает вместе с тем и то, что мы тогда еще не были в курсе дела и не предполагали активного участия ректора в самом начале этого дела. В противном случае, конечно, я сообразил бы совершенную бесполезность и нелепость выступления со своим мнением. К такому выступлению располагало меня и заметное в то время расположение ко мне ректора. Преосв. Иоанникий во время своих первых, в течение сентября, лекций по догматике не раз поднимал меня для обсуждения возникавших богословских вопросов, что считалось признаком благоволения. И оно действительно чувствовалось. Но потом, после моей крайне неудачной консультации 4 октября, оно сменилось у Преосв. Иоанникия, вообще устойчивого в своих симпатиях и антипатиях, неблаговолением ко мне, которое продолжалось до окончания мною курса и отразилось, как увидим далее, на моей дальнейшей судьбе. Во всяком случае, однако, не могу не признать: mea culpa, mea maxima culpa!

шестнадцать человек, — идти. В числе первых были М. И. Владиславлев и Ф. Г. Елеонский, в числе последних — оба Барсовы, Т. и Н., и я, решившийся на такой шаг не столько из свойственной мне законопослушности, сколько (каюсь в этом) из чувства самосохранения. Как лицо некоторым образом официальное, дежурный старший, да еще осмелившийся возражать начальству, думал я, буду вдвойне виноват, если не пойду в класс, и не избегну исключения, даже если помилуют всех других моих товарищей, не бывших в классе.

Затем всё было так, как рассказывает Преосв. Леонтий. После исключения двадцати пяти студентов нашего курса начался «шум по Петербургу» — в духовных, конечно, кругах; слышались сожаления о нас и среди наших профессоров, и духовенства, и даже некоторых лиц светских[184], близких к академии. Слышно было, что и в Св. Синоде не все одобряли крайне крутые меры нашего ректора. Тогда, вероятно, под влиянием всех этих толков, объявлено было, что исключенные могут подавать прошения о принятии их в академию, с обязательством подчиняться академической дисциплине. Каждого из таких исключенных отдельно призывали в правление академии, производили допрос и отбирали подписку. Срок для подачи прошения был назначен очень короткий — один день. Один из исключенных опоздал, подал прошение на другой день и не был принят (И. Я. Спрогис). Принято было обратно в академию из двадцати пяти — девятнадцать человек. Остальные же шесть человек отчасти сами не подали прошения, отчасти их просьба не была уважена. Эти шесть человек

---

[184] Таков был, напр., И. Д. Делянов, впоследствии министр народного просвещения, а тогда, в 1861 г., — директ. департамента министерства нар. просв., директ. СПб. публичной библ. и потом, в том же году, попечитель СПб. учебного округа. Кажется, именно добрейшему Ивану Давыдовичу наши изгнанники больше всего были обязаны устройством своей дальнейшей судьбы: Владиславлев, Ник. Ив. Соколов, И. Я. Спрогис и Ф. И. Абрамович. Все они, благодаря ему, пристроились или к мин. нар. просв., или публ. библиотеке. Слышно было, что посватал их И. Д. Делянову наш бак. М. О. Коялович, имевший уже и тогда связи в светском ученом и учебном мире. И. Я. Спрогиса порекомендовал И. Д. Делянову Вл.Вас. Стасов, который вызвал его из деревни и на первое время дал ему даже помещение в своей квартире.

были: М. И. Владиславлев[185], не подавший прошения, Е. Н. Жданов[186], из исключенных самый даровитый после Владиславлева (кажется, также не подавший прошения), Н. И. Соколов[187], Ф. И. Абрамович[188],

[185] Михаил Иванович Владиславлев, предназначенный для отправления за границу, с целью приготовления к профессуре в университете, первое время, после возвращения из ссылки в родительском доме, занимался сотрудничеством в жур. «Эпоха», издаваемом братом Ф. М. Достоевского, М. М. Достоевским, на дочери которого по возвращении из-за границы женился. На квартире, где жил тогда М. И. Вл-в, я бывал и раз встретил там обоих братьев Достоевских, т. е. и знаменитого Федора Михайловича, и брата его, издателя «Эпохи» Михаила Михайловича, будущего тестя М. И. Вл. Личность Федора Михайловича, конечно, крайне интересовала меня; я уже прочитал дивный по психологическому анализу его роман «Преступление и наказание», — читал с перерывами, несколько раз бросал, не мог читать, как человек впечатлительный, слишком живо переживая психологическое состояние действующих лиц, передаваемое автором, глубоким знатоком человеческой души. Ф. М. Д-ий при нашем свидании был очень молчалив. С М. И. Вл-м мы видались и потом, когда он был уже профессором и ректором университета. Он до конца своей жизни сохранял истинно товарищеские отношения ко мне и ко всем другим своим товарищам (И. Я. Образцову и др.) по СПб. духовной академии. Скончался он еще нестарым, 50-ти лет (род. в 1840, декан в 1885, ректор в 1887, † 1890, 24 апр.), от рака в мозгу и во всем теле. Был он крепкого, можно сказать, богатырского сложения, и потому неудивительно, что Государыня Императрица Мария Феодоровна улыбнулась, когда он, представляясь ей в качестве вновь назначенного ректора университета, сказал, что он надеется потрудиться в этой должности, насколько хватит у него сил и здоровья, на что Государыня с улыбкой заметила, что, кажется, на здоровье он не может пожаловаться. Покойный М.И. сам передавал нам об этом.

[186] Евг. Ник. Жданов, из Арханг. сем., поступил в Моск. университет, окончил его и был потом мировым посредником в г. Мозыре. Очень даровитый, поражал нас тем, что почти не занимался, только ходил по комнатам, помахивая чем-нибудь, что держал в руках, а между тем был одним из лучших по успехам студентов.

[187] Никол. Ив. Соколов, из рижских, хороший, способный студент, но не был из особенно выдающихся, отличался только бойкостью и красотою лица. Почему Преосв. Леонтий поставил его рядом с Владиславлевым, неизвестно. Был он, кажется, в университете и, вероятно, его окончил, судя по тому, что служил в Вильне по мин. нар. просв., потом он жил в Петербурге, был частным, кажется, поверенным и вообще практическим деятелем.

[188] Флор Ив. Абрамович, из СПб. сем., своекоштный, принят в акад. под № 6, был в университете и служил учителем в Новгородской гимназии.

И. Я. Спрогис[189] и Константин Соколов[190]. Почему исключены эти именно лица, для нас было неясно. Они ничем особенным, в смысле бунтарства, из нашей среды не выделялись; по нашему делу особенно не агитировали и вообще вели себя, казалось, как все мы в то время. Разве начальство имело об них какие-либо особые сведения, нам неизвестные. Всех исключенных отправили на место родины под надзор родителей, отправили (как говорили тогда) при наблюдении со стороны полиции за их отправлением. Из мест их ссылки потом мы получали от них раздиравшие наше сердце письма.

Еще до окончательного решения участи двадцати пяти наших товарищей мы, шестнадцать человек, отделившиеся от них и бывшие 4 октября в классе у Пр-го, чувствовали себя очень плохо. Было и жаль товарищей, и крайне перед ними совестно и неловко, чувствовалось, что у нас порвалась с ними связь. А потому мы и решились восстановить ее через подачу коллективного заявления в правление академии, в котором писали, что хотя мы исполнили волю начальства, но разделяем убеждение наших исключенных товарищей относительно невозможности заниматься с бакалавром Пр-м, вследствие порванной с ним нравственной связи, и просим считать нас столь же виновными, как и двадцать пять исключенных наших товарищей. Каюсь, я принимал очень деятельное участие в составлении и редактировании этого заявления. Заявление подано[191], и за него последовал нам строгий выговор, который объявлен был торжественно в зале, куда нас для того пригласили.

---

[189] Иван Яковлевич Спрогис, из Рижской сем., латыш по происхождению, из крестьян, сначала служил в СПб. публичной библиотеке, ныне архивариус Виленского центрального архива древних актовых книг, очень почтенный деятель. Приходилось немало читать в «Новом времени» о его деятельности; раз даже посвящен был ему целый фельетон в этой газете. Здравствует. 1 января сего 1914 г. награжден чином действ. стат. советника, а на днях избран в почетные члены СПб. Археологического института.

[190] Конст. Соколов, из СПб. сем., своекоштный студ. Почему он попал в число исключенных, до сих пор остается для нас загадкой.

[191] Из деликатности мы оставили в покое вышеуказанных 4-х товарищей, имеющих священный сан, не предлагали им подписать наше заявление, очень хорошо понимая, что в их положении это для них крайне неудобно. Помню, вопрос об их подписи поднимался у нас, но сейчас же был решен в отрицательном порядке.

С движением и развитием событий наш первоначальный взгляд на 4 октября совершенно изменился. Прежде мы во всем винили Пр-го, теперь начали смотреть на все это дело как на дело ректора. Начали припоминать прошлое. Преосв. Иоанникий давно уже, почти с самого приезда из Киева, предупреждал нас, что мы должны или беспрекословно подчиниться академическим порядкам, или, кто не хочет, пусть те уходят из академии. Это говорил он нам несколько раз. Помнится, однажды пришел с такими речами в столовую — вероятно, для того, чтобы воспользоваться случаем — заявить свою волю в присутствии всех студентов, не собирая их нарочно для того в зале. Такие речи настраивали нас на ожидание чего-то недоброго, что непременно должно с нами случиться. К тому же, еще перед приездом Преосв. Иоанникия из Киева, с осени прошлого 1860 г., получались из Киевской академии тревожные письма от тамошних студентов, что, дескать, едет к нам их бывший инспектор, а в данное время (с 7 декабря 1859 г.) ректор, который будет непременно выгонять у нас студентов, как он выгнал несколько человек (говорили тогда, десять-двенадцать) из киевской. Такие слухи, в соединении с речами ректора, не предвещали нам ничего хорошего и невольно настраивали нас против него.

Между тем, в этих слухах было большое преувеличение, и была только часть правды. Несомненно, тут разумеется студенческое движение XX курса Киевской академии (1857–1861), студенты которого, когда они были в «младшем курсе», следовательно в 1857/8 и 1858/9 годах, чуть было не довели академию до «полной анархии», результатом чего, однако, было не увольнение, а добровольный выход из академии четверых студентов[192]. Преосв. Иоанникий, несомненно,

[192] Это киевское студенческое движение, весьма важное для надлежащего понимания нашей истории, описано в воспоминаниях проф. В. Ф. Певницкого («Мои воспоминания», см.: Труды Киев. дух. акад., 1911, т. III, стр. 338–348 и 1912, т. II, стр. 305–326). Ректором Киев. акад. был тогда архим. Израиль (Як. Лукин, 2-й маг. II к. Киев. акад., 1825), человек старый, товарищ по студенчеству нашего проф. В. Н. Карпова, умный, добрый, но очень слабохарактерный, а инспектором (после архим. Иоанникия, пробывшего до описываемого события, при ректоре Израиле, только 5 месяцев) — архим. Валериан (Орлов, 1-й маг. СПб. акад. XXI к., 1855), даровитый, но страдавший алкоголизмом, принужденный потом, через год («пробыл инспектором около года»), не только оставить службу, но и снять с себя священный сан и монашество, превратиться

был несколько, в небольшой впрочем степени, причастен к истории

в полтавского мещанина; скончался он босяком в Полтаве (в полицейском участке). При таких начальниках случилось следующее; будем говорить словами проф. Певницкого. Кроме недовольства начальством и его распоряжениями, «желания и требования студентов простирались и на учебную часть. Они заявляли неудовольствие относительно неудовлетворительного, по их мнению, преподавания того или другого предмета и просили новых лекций, сверх положенных по уставу и по расписанию... Из своей среды, — среды студентов, избирали себе лектора и поручали ему читать им лекции... (напр., по всеобщей гражд. истории) явился у них самозванный наставник из их товарищей, и они собирались к нему в аудиторию... и хвастались, что их товарищ, самозванный наставник, читает лекции лучше настоящих профессоров... Угрожала академии полная анархия... Студенты наконец решили обратиться прямо к Государю Императору и изготовили прошение на Высочайшее Имя. Для подачи этого прошения придумали особый церемониал... Во время заседания правления, без доклада, врывается один студент младшего курса, в виду зерцала становится на колени, на голову кладет прошение и ... обращается не к членам правления, тут присутствующим, а к Государю Императору, как бы лично ему внимающему... Прошение студентов послано было в Петербург (но потом возвращено с почты)... Их прошение — не столько прошение, сколько обвинительный акт против академии... Прежде всего нападают на свое ближайшее начальство... которое не отличается ни умом, ни административным тактом, ни в ком не внушает к себе уважения. К тому же, один из них (инспектор) алкоголик и к студентам часто является в нетрезвом виде. Из наставников многие ведут свое дело небрежно, кое-как, не отличаясь ни умом, ни познаниями, ни даром сообщения; иные из них так слабы, что об них говорят, что они красноречивы как рыбы... Содержание студентов скудное... Дисциплинарные порядки тяжелые, напрасно стесняющие свободу студентов». И нужно удивляться, что после описанной выше истории из этого XX курса «бунтарей», как называет его проф. В.Ф.П., по его словам, «никто не был уволен из академии», а только 4 человека сами ушли из нее, в том числе М. Ф. Владимирский-Буданов, ныне «пользующийся славою ученого и незаурядного проф. киевского университета». В этом очень даровитом курсе было немало выдающихся личностей, впоследствии даже епископов: М. Невский (Митрофан; † еп. Смоленский), М. Некрасов (Лаврентий, бывший рект. Моск. акад., еп. Курский и Тульский), Хар. Орда (Ириней; еп. Могил., Тульск., Подольск., Екатеринб., Орлов.), И. Т. Экземплярский (Иероним; еп. Тамбов., архиеп. Виленский и Варшавский). К этому же курсу принадлежал и проф. С. М. Сольский, бывший много лет киевск. градск. головою. Ему одному удалось, не без труда (в силу предубежденья против этого курса), попасть в проф. Киев. академии, из преподавателей Киев. семинарии. Столько, однако, полезных для Церкви и духовной школы деятелей сохранили доброта и «бесхарактерность» ректора Израиля! едва ли такой результат получился бы, если бы на его месте был наш Иоанникий, и нам кажется, глубоко ошибается досточтимый В. Ф. Певницкий, предполагая, что в таком случае «в академии не было бы никаких треволнений» (1911, III, стр. 347).

этого движения, которое началось в его инспекторство, хотя и окончилось после него. «Признаки необычного брожения уже начались, — пишет в своих воспоминаниях профессор В. Ф. Певницкий, — и они немало беспокоили Иоанникия как инспектора; ввиду их Иоанникий уже высказывает опасение за свою судьбу: придется идти в монастырь, — говорил он в частном интимном кругу». Он пробыл только 5 месяцев, при «начале движения» — до 6 октября 1858 г., когда он сделался ректором Киевской семинарии. Вероятно, вскоре после его выхода из академии, в том же 1858 г., началась киевская студенческая история, описанная нами в предшествующем примечании.

Итак, слухи из Киева были фактически неверны, что касается участия ректора Иоанникия в выгоне будто бы студентов, да еще десяти-двенадцати, но они были глубоко верны относительно гонительского, так сказать, настроения нашего нового ректора. Он приехал к нам с киевскими своими впечатлениями, с крайне мрачным взглядом на студенчество. Легко ли человеку, еще молодому, энергичному, сказать: «Придется идти в монастырь»; видно, ему не сладко приходилось в родной академии от ее студентов. Таким образом, наши киевские коллеги невольно совершили перед нами преступление — испортили нам ректора, поселив в нем мрачное настроение и до чрезвычайности усилив природную его подозрительность. Вместе с тем семена подозрений бросили и в нас, а ректор этим семенам, своими неосторожными речами и действиями, дал разрастись. Создалась, таким образом, у нас удушливая атмосфера взаимной подозрительности, которая разразилась бурею, принесшей обеим сторонам много горя.

Между тем, у нас не было и тени чего-либо похожего на киевский «развал». Может быть, мы испытывали некоторые либеральные веяния из университета, но во всяком случае жизнь наша шла обычным порядком, с незначительными нарушениями дисциплины. Инспектора Павла у нас даже побаивались. Вообще, мы были смирными студентами, держали себя далеко не так высоко и самомнительно, как, например, студенты Московской академии, которых я увидел, когда приехал в 1863 г. в Сергиев Посад. И немудрено: Петербург, в котором так много властей и великих мира сего, а равно и других высших учебных заведений и всякого рода ученых учреждений, невольно принижал нас. Преосв. Иоанникий всего этого не рассмотрел (хотя имел для

того достаточно времени — целый год) и не взвесил. По-видимому, его преследовала навязчивая идея (idée fixe): в противоположность крайней слабости киевской ректорской власти (архимандрита Израиля) — проявить твердость своей власти на новой ректуре, произвести переворот в студенческой нашей жизни, каковой он, со свойственной ему настойчивостью, постепенно и подготовлял, приискивая подходящий к тому случай. И случай этот представился.

В «случае 4 октября» мы тотчас же, после известного распоряжения ректора, через дежурного, усмотрели casus belli и решили, что все это есть дело исключительно ректора[193], который давно намекал нам на необходимость изгнания некоторых из нас. Начали говорить, что это именно он «приказал» Пр-му в первый раз записать в классный журнал не бывших на греческом классе. Предположение относительно «приказания» — совершенно неправдоподобное, хотя тогда оно не казалось нам таким. Такого грубого приема не мог допустить такой умный и не лишенный тонкости человек, как Преосв. Иоанникий. Кому принадлежала инициатива первой записи в журнале ранее 4 октября, об этом теперь можно делать только предположения, более или менее вероятные. Могло это быть сделано, не говорим «по совету», а «с ведома» ректора, то есть что ректор предварительно знал об этом рискованном шаге молодого бакалавра и, если не одобрил, то во всяком случае не остановил его[194]. Важнее, впрочем, этого

---

[193] Сколько мы ни ломали себе голову над вопросом, как могла прийти Предтеченскому мысль записать нас в журнал, не могли найти ни малейшего с нашей стороны к тому повода. Наши отношения к нему были вообще корректные. На младшем курсе был даже один случай, весьма характерный в этом отношении. Приходит Пр-ий раз к нам на лекцию, вероятно после «всенощного бдения» за картежной игрой (он любил ее и подобные удовольствия и предавался им со всем пылом своей страстной, широкой натуры) и начинает читать по своим запискам, но через несколько времени слышим что-то, совсем не относящееся к данной лекции, как говорится — совсем из другой оперы. Оказалось, что он не пересмотрел своих листков, перемешал их с другими, к этой лекции не относящимися. Мы сделали вид, что не заметили этого скандала и ни одним движением не дали ему понять, что нам ясна причина внезапного его перехода к другой теме. На следующий класс он сам заговорил об этом случае и горячо благодарил нас за нашу к нему деликатность и выдержанность.

[194] Бак. Пр-ий, как тогдашний помощник секретаря (по внутреннему правлению академии), без сомнения, часто посещавший ректора, да и живший

первого момента — второй, 4 октября, когда Преосв. Иоанникий не принял никаких мер к улаживанию инцидента, если не через прямое свое участие (беседу с нами или с комнатными старшинами), то хотя бы через того же Пр-го, которому мог бы посоветовать переговорить с студентами, через его земляков, и как-нибудь замять и погасить вспышку студентов. И если он ничего подобного не сделал, то тем ясно показал, что ему принадлежит большая доля активного участия в истории нашего несчастного «случая», чем бакалавру Пр-му. А потому едва ли можно согласиться с Преосв. Леонтием, будто «вся эта история наполовину сочинена под диктовку Предтеченского. Я выяснил все это митрополиту» и т. д. Последние слова показывают, что это есть заключение следователя по нашему делу, в представлении высшему начальству — митрополиту. Достойно внимания, что Преосв. Леонтий в конце описания всей нашей истории жалуется, что Преосв. Иоанникий «отношений к нему, которые, могу сказать, оставались благородными, братскими, не оценил ни тогда (т. е. в нашем деле?), ни после, когда мы оба присутствовали в Синоде» (см. след. прим.). Не в силу ли этих «братских отношений» он значительно понизил степень деятельного участия Преосв. Иоанникия в нашей

в своей бакалаврской квартире совершенно рядом с квартирой ректора, к тому же человек очень общительный, даже болтливый, среди разных разговоров, между прочим, о своем несчастном товарище, Валериане Орлове, бывшем инспекторе Киевской академии, и недавних киевских академических беспорядках, мог сказать, что и у нас-де порядки и дисциплина находятся не в блестящем виде, студенты очень неаккуратно посещают лекции, как, напр., у него на классе греческого языка, и в азарте, к которому он был склонен, мог выразить намерение впредь записывать только присутствующих в классе, чтобы через то показать, сколько студентов отсутствует, как это он и сделал с нами за несколько дней до 4 октября. Положение ректора при этом разговоре, если только он был в действительности, было не из легких. Ответить на проектируемую меру отрицательно не позволяло сознание, по существу, ее законности, да и жаль было пропустить такой хороший случай — подтянуть студентов; утвердительно — значило взять на себя большую, главнейшую часть инициативы в рискованном предприятии. Едва ли можно, однако, сомневаться в том, что ответ был получен более или менее утвердительный, а главное, что начало дела совершилось во всяком случае с ведома ректора, который был тогда для академии всё — и ректор, и инспектор (инспектора ведь не было), и к которому был близок фактический его инициатор, Пр-ий, — лицо, близкое к академической администрации (помощник секретаря правления).

истории, свалив «половину» ее на голову Пр-го? Неправдоподобной представляется и мысль о «сочинении всей этой истории под диктовку Пр-го». Действование под чью-нибудь «диктовку» совсем не вяжется с характером Преосв. Иоанникия, самостоятельным, твердым, инициаторским. Не вернее ли представлять все наше дело так: жестокий удар по направлению студентов давно готовился в уме и сердце Преосв. Иоанникия и сначала предназначался (в уме, по крайней мере) киевским студентам, но потом, минуя их, попал в нас и с удвоенной силой нас поразил. А мы, хотя и сами виновные во многом, пострадали за свои грехи больше и тяжелее, чем того заслуживали. Это по обыкновенной юридической оценке, а с высшей точки зрения тут сказался неумолимый закон вменения и наследования одними вины других, принадлежащих к тому же роду. Так думает теперь человек, близкий к концу своего земного поприща. Но, конечно, не так думали мы в то время.

Эпилог нашей драмы был в Москве, куда к приснопамятному митрополиту Московскому Филарету в то время, да и после, целые десятки лет, посылались из Св. Синода все, сколько-нибудь выходящие из ряда дела — для совета, рассмотрения и окончательного решения — так сказать, резолюции. Туда же послано и наше дело. Правда, был еще один, последний момент этого эпилога, был он за границей, в Лондоне, у «страшного тогда Герцена», в пресловутом его «Колоколе», но это выступление заграничного нашего защитника не имело существенного значения для нашего дела и было во много раз менее важно, чем то, что произошло в Москве[195].

195 У нас было решено отправить в Лондон Герцену описание нашего дела. Статья была составлена и отправлена по назначению. Кто ее составлял, неизвестно: по-видимому, она составлена была вне академии, кем-либо из исключенных студентов. Заключаю из того, что текста ее совсем не помню; очевидно, никогда не читал. Не читал ее, кажется, и в печатном виде, обработанном, конечно, самим Герценом, по крайней мере совершенно ее не помню. Помню только, что товарищи ликовали после появления в «Колоколе» описания нашего дела. О статье «Колокола» упоминает в своих воспоминаниях и Преосв. Леонтий. Заметив в начале, что «недовольство управлением Иоанникия проявлялось, еще когда он был ректором киевской академии (?), — в статьях в свое время страшного «Колокола», что он, Преосв. Леонтий, по поручению митр. Исидора, получал и читал этот журнал», что получив номер с описанием

А в Москве произошло следующее. Гениально мудрый московский митрополит Филарет ответил обер-прокурору Св. Синода, графу А. П. Толстому, на запрос последнего по нашему делу таким спокойным, глубоким, тонким, убийственным анализом «случая в греческом классе Спб. дух. Академии», что от этого анализа не поздоровилось не только нашему ректору, Преосв. Иоаннникию, но и митрополиту Исидору. Позволим себе сделать выдержки из этого замечательного документа и подчеркнуть некоторые в нем места и выражения (курсив наш). «О *случае* в греческом классе С.-Петербургской духовной Академии[196], — пишет митрополит Филарет, — что было мне сообщено,

нашего дела, отправился к митрополиту, который «приказал дать прочитать его Иоанникию», — после всего этого, пишет далее: «говорю пр. Иоанникию: в «Колоколе» есть интересная статья, которую Вам прочитать надо; она уже доложена была покойному ныне Государю, через III отделение... Заговорил я об этом потому, что статья «Колокола», при происшествии в академии, мной описанном, послужила поводом к весьма невыгодному понятию петербургской публики об Иоанникии и в высших сферах и ускорила его назначение на епархию. Мои отношения к Иоанникию оставались, могу сказать, благородными, братскими, хотя он не оценил их ни тогда, ни после, когда пришлось нам опять вместе быть в Петербурге, в Синоде уже, и когда он, по воле судеб, явился уже в «белом клобуке» («Богосл. вестник», 1914, январь, стр. 142). Передан был «Колокол» Преосв. Иоанникию в 1862 г. (т. е. через 6 мес. после 4 окт. 1861 г.), на Страстной неделе, как пишет Преосв. Леонтий. А к первому дню Пасхи этого же 1862 г. наш ректор получает орден св. Владимира 4-й степени. Мы очень злорадствовали по этому случаю. После рассказа Преосв. Леонтия становится понятным, откуда взялась такая необычайно малая награда нашему ректору, епископу, после 13-летней его службы (1849–1862). Государь Император Александр II (кстати сказать, очень высоко ценивший этот орден, «торговавшийся», как потом, через несколько лет, передавали мне, даже из-за 4-й степени), прочитав статью «Колокола» об Иоанникии, вероятно, сам понизил степень ордена, с 3-й на 4-ю. Едва ли митр. Исидор представлял нашего ректора, своего викария, да еще земляка (оба туляки), к 4-й степени.

[196] Замечательно, что митр. Филарет не прилагает к нашей истории названия ни «бунта», ни «возмущения студентов», ни какого-нибудь другого подобного наименования, а характеризует ее просто словом: «случай в греческом классе» («Собр. мнений и отзывов Филарета, митр. Московского». М., 1887. Т. V, ч. I, стр. 151–155). Дата этого документа: 16 октября 1861 г. Этот драгоценный документ важен был для меня, при составлении моих воспоминаний, помимо его содержания, еще и в отношении хронологических данных, в нем содержащихся. Без него я не мог бы точно указать не только дня, но даже месяца, когда

то мной прочитано и при сем возвращается. Какие мои по сему делу мысли, изволите усмотреть из прилагаемой при сем записке. *Конфиденциально.* 1. Из объяснений студентов открывается многое, требующее внимания. 2. Признается в небрежении о сем классе. Черта располагающая *к снисходительному суждению.* 3. росит обращения внимания на небрежение бак. Предтеченского... Это *уменьшает вину студентов и обвиняет наставника...* 4. Невероятно, чтобы у других наставников не случалось отсутствующих, но видно, они не показывали сего в журнале... В таком случае *на них падает часть вины студентов*, которым законная мера, долго не употребленная по небрежению, показалась оскорбительною и ребяческою.... 14. *Жаль*, что употреблена была *угроза изгнанием.* Она *тяжела* была для тех, на которых падала, и уменьшала свободу начальства в оказании снисхождения[197]... 17. *Хорошо*, что из 25 студ. 19 *приобрели снисхождение начальства*, но было бы лучше для настоящего и будущего, если бы сие было не в отмену слова, прежде сказанного начальством. Свободное действование начальства располагает к добрым чувствованиям, *уступка* не имеет сего действия». В заключение, в числе советов, как следует поступать в случаях, подобных рассматриваемому, истинно мудрый святитель рекомендует «исправлять проступки студентов соответствующими *кроткими мерами*» и «если кто не примет *увещаний* и кротких мер исправления, такового надлежит немедленно и решительно удалить из академии,

---

случилась наша история. Помнил только, что «случай в греческом классе» был или в октябре, или в ноябре. Так забываются даже важнейшие события нашей жизни!

[197] Очень интересна критика нашего, шестнадцати человек, заявления правлению академии. Слабость его чувствовалась даже нами, когда, помнится, мы редактировали этот документ. Тем более не могла она укрыться от человека такого необыкновенного ума, как митр. Филарет. Вот что он пишет по нашему адресу. «15. В другом объяснении 16 студентов говорят, что 4 окт. были в классе, повинуясь воле его высокопреосв. Это законно и одобрительно. 16. С тем вместе они говорят, что разделяют убеждения не бывших в классе 4 окт., след. разделяют и то убеждение, высказанное 25 студентами в объяснении, что не нашли возможным идти в класс 4 окт. Итак, они, в одно и то же время, и не могли быть в классе и были в нем. Примечательный пример, до какой странности доводит порабощение собственного рассудка духу соумышления».

и о сем обстоятельстве донести высшему начальству к сведению». (16 октября 1861 г.)

Существование этого огромной важности «конфиденциального» документа нам, конечно, тогда не было известно (а если бы было известно, то какое ликование было бы у нас по этому случаю!). Но оно, без сомнения, было известно начальству, в том числе и Преосв. Иоанникию. Теперь становится понятно все дальнейшее поведение нашего ректора в отношении к нам, да и не к нам только. Прочитан ему из Москвы урок, который был памятен ему в течение всей его жизни и, имеем основание думать, избавил его в будущем от повторения ошибок и ложных шагов, подобных допущенным им в октябрьской истории нашего несчастного XXV курса.

В вышеприведенном документе не только прямо порицается «угроза изгнанием» но и ясно дается понять, что ректор не употребил «соответствующих кротких мер», увещаний и т. п. и потому образ его действий явно не одобряется. Преосв. Иоанникий действительно не сделал ни малейшего шага в этом направлении, как справедливо заметил Преосв. Леонтий. Впрочем, едва ли было бы лучше, если бы он тогда к нам явился; пожалуй, вышло бы что-нибудь еще хуже, при нашем тогдашнем возбуждении и при его неспособности к такого рода выступлениям. Дело в том, что Преосв. Иоанникий совершенно не годился для роли миротворца, как человек «замкнутого, сухого, недоверчивого характера» (характеристика Преосв. Леонтия). Эта роль требовала сердечности, открытого, прямого характера, умения действовать на молодые умы и сердца[198], а он имел только ум, твердость принципов и замечательную энергию. Эти последние свойства далеко выдвинули его потом из ряда собратий и дали ему возможность совершить много полезного для Церкви и духовно-учебного ведомства, в особенности в области улучшения материальных средств и нужд духовенства (свечные заводы — по его именно инициативе, обще-

[198] Были потом времена (1867–1883) еще хуже 60-х годов, но тогда во главе академии стояло лицо, обладавшее большим педагогическим тактом, пониманием молодежи и умением действовать на нее (прот. И. Л. Янышев), и не случилось тогда ни одной катастрофы. А сколько было к тому случаев! Пишущему эти строки этот приснопамятный ректор, когда сделался протопресвитером и вышел из академии, однажды сказал: «Все время моего ректорства я чувствовал себя точно на вулкане, не был спокоен ни одной минуты».

жития при семинариях в Саратове и Нижнем и т. п.), но он не был рожден, чтобы быть удачным педагогом. Таким он и явился у нас, действующим «невпопад» и «без такта», как деликатно выражается о нем Преосв. Леонтий.

Но нет худа без добра. Наш «случай в греческом классе» послужил Преосв. Иоаннникию в большую пользу и в науку на будущее время. Мы слышали от кого-то, что он прямо выражал раскаяние в своих действиях 4 октября 1861 г. Как человек умный, он понял умом, если не почувствовал сердцем, свою ошибку, какую он допустил в отношении к нашему курсу. Вот почему видим большую в нем перемену в обращении с последующим XXVI курсом нашей академии. Этот курс пользовался каким-то особенным его вниманием и расположением, точно он хотел загладить свою вину перед студенчеством, и, в свою, очередь студенты этого курса сохранили о своем ректоре добрую и благодарную память[199]. Большая осторожность и снисходительность заметны в его действиях по академическим студенческим делам и впоследствии, в бытность его митрополитом Московским и Киевским. Один из бывших студентов Московской академии 1890-х годов, например, рассказывал нам, как митрополит Московский Иоанникий очень долго медлил с решением одного студенческого дела, о беспорядках, возникших у студентов Московской академии по поводу 1 октября (день годичного акта академии), и как он, к большому их удивлению,

199 В воспоминаниях прот. Н. К. Смирнова («Памятная книжка за 1913 г.», изд. Обществом духовной и материальной взаимопомощи бывших питомцев СПб. дух. академии. СПб., 1914, стр. 77–79) Преосв. Иоанникий называется ректором, «к которому благодарную память всегда питали студенты XXVI курса». Приводятся здесь и факты заботливости Преосв. Иоанникия о студентах и его к ним милости, факты довольно красноречивые. В той же книжке, в дневнике прот. И. К. Херсонского (стр. 105), читаем: «1864 г. февр. 2. Пр. Иоанникий говорит после литургии прощальную речь, в которой... (между прочим) просит простить ему ошибки и сделанные кому-либо неприятности и пр.». Это, впрочем, довольно обычное содержание прощальных речей. Но вот что необычайно — под 5 февр. читаем: «Отъезд ректора пр. Иоанникия. *Земной поклон при прощании и целование со студентами. Пожертвование студентам 75 р. и приходящим 25 р.*». Весьма вероятно, что Преосв. Иоанникий в этот момент вспомнил о нашем XXV курсе и мысленно направил свой земной прощальный поклон и к нам, и даже более к нам, чем к наличному XXVI курсу. По крайней мере очень хотелось бы этому верить.

в конце концов решил это дело почти совершенно в пользу студентов, что совершенно не вязалось с суровым характером митрополита. Когда я рассказал своему собеседнику нашу историю и ее исход, он заметил, что теперь ему все понятно и он более не удивляется тому, что казалось ему прежде удивительным и непонятным. Кажется, именно по поводу упомянутого студенческого дела митрополит Иоанникий (как передавал мой собеседник) выразился так: «Когда-нибудь академия московская узнает, что я для нее сделал». Точно так же он действовал и в Киеве, в отношении к студентам тамошней академии; «с большою осторожностью относился он к студенческим беспорядкам», — по словам одного почтенного профессора Киевской академии. Можно только порадоваться, что наш XXV курс послужил, так сказать, козлом отпущения студенческих прегрешений не только предшествующего киевского XX курса «бунтарей», но и последующих курсов Московской и Киевской академий.

Все это так, все это хорошо, и за все это — слава Богу, все устрояющему к нашей пользе. Но что было тогда с нами?.. Об этом было бы удобнее молчание, если бы не взятая мною на себя нелегкая задача быть правдивым описателем тогдашних событий. Итак, продолжаю. Наше душевное состояние после 4 октября было поистине ужасным, мы совершенно потеряли спокойствие и жили как затравленные зверьки. Озлобление против ректора было страшное; не находили слов для выражения негодования на него; наши поэты сложили даже бранную песню («Аника господин» и т. д.), которую громко, совершенно не стесняясь, распевали всюду, в академии.

После октябрьской истории всех, без исключения, нас, комнатных старших, разжаловали в рядовые и поставили над нами, в трех комнатах (в том числе и моей) старшими трех из наших товарищей, бывших 4 октября на греческом классе, а в остальных комнатах — студентов младшего XXVI курса, так что некоторые из наших товарищей оказались под командою младших студентов. Трое из упомянутых наших товарищей, теперь новых наших старших, были отлучены нами от общения; мы не подавали им руки, не говорили с ними, сердились на них за измену и вдобавок подозревали их в шпионстве. Так продолжалось до конца курса, что было очень тяжело и, в соединении с неприязненными отношениями к ректору, переполняло чашу наших душевных страданий.

При таком настроении неудивительно, что мы очень мрачно смотрели на свое будущее. Мы думали, что при окончании курса нам не дадут даже ученых степеней или дадут низшие, вместо магистерской — кандидатскую, а вместо кандидатской выпустят со званием студента академии. А потому пустились во вся тяжкая. Преосв. Иоанникий хотел поднять упавшую, по его мнению, академическую дисциплину, для чего и устроил нам 4 октября, а в окончательном итоге от его усилий получился результат поистине плачевный. Дисциплина упала у нас до последней степени. Большей распущенности, чем в нашем XXV курсе, академия не видела никогда, ни прежде, ни, вероятно, после нас, так что по временам от безобразного нашего поведения становилось очень тяжело жить даже нам самим, нарушителям академических порядков (сужу по себе). Развилось у нас ужасающее пьянство, пили и вне академии и в самом ее здании, где устраивали по временам попойки, причем обязательно участвовали в них все, даже и те, которые (как, например, пишущий эти строки) совсем не любили вина. Были дни, и таких было немало, когда отвратительные следы безобразно проведенных вечера и ночи оказывались у весьма многих коек наших товарищей в спальнях[200]. Курили не только в занятных комнатах и спальнях, но даже в столовой при чаепитии[201]и после обеда и ужина. Посещение лекций, вечерних и утренних молитв и богослужений сделалось очень неаккуратным. В город уходили когда вздумается и возвращались очень поздно, а иногда и совсем не возвращались, приходили только на другой день.

---

200 Было и битье стекол, впрочем не в комнатах, а в известных местах уединения. Там же и тогда же одним товарищем, в весьма нетрезвом виде, истреблен классный журнал — вероятно, в отместку за запись в нем 4 октября. То и другое деяние заслужило, однако, общее порицание всего курса.

201 Помню, это куренье в комнатах и столовой было очень неприятно для людей не куривших, каким был тогда и А. К-ий. Дым скверных дешевых папирос, особенно в столовой, при чаепитии, смешиваясь с ароматом чая, очень мешал наслаждаться эти любимым нашим напитком. Неприятно было, когда курили и в комнатах. Помню, товарищи, замечая мою нелюбовь к табаку, говорили иногда: «Пойдем в курильню (это была тогда нами самими избранная, маленькая комнатка, при входе в среднюю часть занятных комнат), „Львович“ уже морщится». Товарищи любили меня и называли этим именем.

Чего же, спросят читатели, смотрело академическое начальство, инспектура? Настоящего инспектора, в течение семи первых месяцев, с октября 1861 г. до 12 мая 1862 г., у нас не было. И именно на это период времени падают крайние проявления нашего безобразного жития. Временно исполнял должность инспектора в это время ординарный профессор В. И. Долоцкий, один из старейших профессоров академии, а помощником инспектора был иеромонах Афанасий (Турчинович), магистр Киевской академии, человек молодой, мягкого характера, снисходительный, да к тому же не авторитетный. Оба они очень редко заглядывали к нам в комнаты и в столовую; вечерние и утренние молитвы помощник инспектора посещал, но не обращал внимания на отсутствующих. Преосв. Иоанникий также, видимо, махнул на нас рукой и предоставил нас самим себе. Даже не помню, бывал ли он у нас когда за это время. Да пожалуй, такое отношение его к нам было тогда самое лучшее — при нашем тогдашнем настроении и озлоблении. Когда окончился острый период наших страданий и, к тому же, наступило время летних экзаменов, 12 мая 1862 г., приезжает наконец настоящий наш инспектор, незабвенный и добрейший архимандрит Владимир (Петров; † архиепископ Казанский), магистр Киевской академии, человек, представлявший во многих отношениях совершенную противоположность ректору. Своею добротою, сердечным, поистине отеческим и крайне деликатным к нам отношением[202] он много способствовал тому, что наши душевные раны мало-помалу затягивались, залечивались. Да и время

[202] Инспектор Владимир — человек поистине не от мира сего, впоследствии променявший инспектуру в академии и соединенные с нею выгоды для дальнейшей карьеры на миссионерские подвиги в Алтае, — видимо, понял наше душевное состояние и вел себя в отношении к нам как врач при постели трудно больного, крайне деликатно и осторожно, и это вовсе не потому, что хотел подлаживаться к нам. Чувствовалось, что источник такого его обращения с нами был другой. Когда, например, посещал нас, входил к нам в комнаты не иначе, как очень медленно отворяя дверь и затворяя ее, повертывался к нам спиной, чтобы дать нам время скрыть следы какого-нибудь беспорядка. Когда случилось у кого-нибудь горе, обнаруживал бездну доброты и сердечности. Так, когда у одного моего товарища (Н. Г. Благовещенского) скончался отец и когда тот пришел к инспектору проситься по этому случаю в отпуск, добряк Владимир обнял его, прослезился и предложил ему даже денег на дорогу. Поистине сам Бог послал его нам в трудную для нас годину.

наступило такое, что невольно отвлекало наше внимание от наших сердечных горестей в сторону совершавшихся в Петербурге событий, а затем предстоявшего нам большого труда — составления диссертаций на ученые степени, так называемых «курсовых» сочинений.

А какое тогда наступило для Петербурга, да и для всей России, время — об этом красноречиво говорит простая хронологическая дата: это был 1862-й год — год подготовлявшегося польского восстания и грандиозных петербургских пожаров.

Петербург переживал тогда состояние тревожное и вместе с тем какое-то неустойчивое, колебательное. Во всей петербургской интеллигенции, начиная с высших ее слоев, было «полякующее» настроение. Весьма многие, чисто русские люди, религиозные, патриоты в душе[203], прониклись какою-то сентиментальной жалостью к полякам и выражали им сочувствие. В самом правительстве заметно было колебание. Один М. Н. Катков в Москве за всех бодрствовал и громил правительство. Вместо Е. П. Ковалевского назначен был министром народного просвещения известный либерал, А. В. Головнин (1861–1866). Начались волнения студентов университета и других высших светских учебных заведений и студенческие сходки на площади перед Казанским собором. На эти сходки приглашали и нас, студентов духовной академии; но очень немногие из нас бывали там. Однако такое приглашение очень мне памятно: на нашей студенческой половине, в нижнем коридоре, по пути в столовую, на подоконнике, оказался лист бумаги с заголовком: «гг., желающие участвовать в сходке на площади Казанского собора, имеющей быть (тогда-то), благоволят подписать свои фамилии». Кем, когда и для чего выбро-

[203] Как на поразительный пример такого настроения укажу на одного, поистине достопочтенного моего родственника, в душе горячего патриота, весьма религиозного человека, Н. И. Розова, в то время вице-директора медицинского департамента министерства внутренних дел. Н.И. с необыкновенным почтением, чуть не подобострастием слушал польские речи (чему я был свидетелем) — известного поляка, проф. Спасовича, и очень не одобрял «Московские ведомости» и М. Н. Каткова, вооружавшихся против поляков и против колебаний нашего правительства, иронически называя статьи моск. газеты «бряцанием» и «квасным патриотизмом», словечком, которое было тогда в большом ходу. Это было с его стороны чистое недоразумение, но тогда весь Петербург был в нем повинен, ибо он весь был «полякующий».

шен этот нелепый лист — неизвестно. Если хотели оповестить нас об имеющей быть сходке, то довольно было бы просто написать, что, дескать, имеет она быть там-то и тогда-то, для чего же еще предлагать подпись фамилий? Если бы это было в наше время, непременно сказали бы, что это провокация, но тогда этого, очень популярного ныне словечка еще совсем не было в употреблении. Вероятно, какой-нибудь студент университета, товарищ по семинарии наших студентов, додумался до этой блестящей мысли, которая, в сущности, очень смахивала на ловушку для неопытных юнцов. И нашлись такие глупые люди, человек пять, которые подписались на этом листе. Увидев лист с подписями фамилий, я был так озадачен и такой взял меня страх за подписавшихся товарищей, что немедленно, не прочитав даже их фамилий, разорвал лист и бросил тут же в коридоре в печку[204]. Студенты наши все-таки иногда посещали эти сходки, но только из любопытства. Между нами вообще, сколько мне известно, не было лиц, настроенных революционно, хотя немало было любителей чтения тогдашней подпольной литературы; я не принадлежал к их числу. Был у нас даже один любитель — коллекционер (И. В. П-в), у которого можно было найти все экземпляры произведений подполья, — из которого, как из навозной кучи, в огромном количестве вылетали тогда зловонно-ядовитые листки, — человек совершенно безвредный, сделавшийся коллекционером не по внутреннему своему расположению к революции, а только из хвастовства перед товарищами; посмотрите, дескать, вот я какой. По слухам, он оказался потом очень строгим начальником духовного училища. Да и вообще все наши тогдашние либералы были в жизни, на службе, такими же строгими, как этот коллекционер.

---

204 Когда был этот случай, хорошо не помню. По всей вероятности, не в 1862 г., а в конце 1861 г., около времени нашей октябрьской истории, может быть в самый разгар ее. Заключаю об этом из моего возмущения и страха за товарищей при виде этого жалкого документа (глупости?!), а равно и из оставшейся в памяти тогдашней нашей догадки, что этот несчастный лист, — который каким-то образом, как мы предполагали, все-таки сделался известным нашему начальству, — послужил для некоторых из товарищей (вероятно, Жданова, очень вообще неосторожного, может быть — Абрамовича и Конст. и Ник. Соколовых) одною из причин их исключения из академии. К сожалению, я слишком торопился покончить с несчастным листом, не рассмотрел и не запомнил фамилий.

В том же 1862 году летом начались в Петербурге страшные пожары, которые навели ужас на петербургских жителей. Ежедневно загоралось во многих, десяти и более, местах сразу. Очевидно, были поджоги, организованные какою-то рукою с целью устрашения правительства. Чья орудовала тут рука, догадаться нетрудно: подготовлялось польское восстание. Народ винил в поджогах и пожарах студентов, которые будто бы намазывали заборы и деревянные дома каким-то воспламеняющимся от солнечных лучей составом. В виду этого студенты, в том числе и мы, опасались ходить по тротуарам, вблизи домов, а ходили посреди улицы[205]; рассказывали о случаях избиения народом студентов, подозреваемых в поджогах. Особенно сильное впечатление в Петербурге произвели пожары так называемой «толкучки» (Апраксина двора и Щукина), здания министерства внутренних дел и Песков. Пески, с нынешними Рождественскими (1–10-й) улицами, все выгорели, осталась самая ничтожная часть домов. Сильнейший пожар толкучки случился под вечер, вероятно в начале июня, во время наших экзаменов. Мы с товарищем ехали на пароходе из Ораниенбаума в Петербург. Подъезжая к Петербургу, видим громаднейшее зарево, нам показалось, что горит чуть не весь Петербург, а когда подъехали и подошли к Невскому проспекту со стороны Адмиралтейской площади, то увидели, что весь Невский проспект, с самого его начала от площади, заставлен экипажами и вещами и совершенно непроходим, почему должны были пробираться в академию окольными путями, соседними улицами. Пожар здания министерства внутренних дел случился около этого же времени, помнится днем. Он был так силен, что в наш академический сад и на двор летели пачки обгорелых бумаг.

Так прошел для нас третий год нашего вообще пребывания в академии и первый год студенчества в старшем курсе, то есть осень

---

[205] Кстати сказать, мы ходили тогда уже не в серых шинелях со стоячим воротником и в цилиндрах на голове, как в первые два года (1859–1861), а в пальто, устроенном нам в 1861 г. на пожертвованные тогдашним старостою академической церкви, купцом Королевым, деньги. Цилиндр заменен фуражкою. Пальто было летнее, и носили мы его в теплое время, шинель же, хотя она была также не на вате, а только с байковой подкладкой до половины (около груди), — в зимнее.

и часть зимы 1861 г., и остальная часть зимних месяцев, весна и лето 1862 г. Поистине крайне тяжелый, печальной памяти год!

Следовало бы теперь перейти к нашим учебным занятиям в старшем курсе. Но не могу умолчать об одном интересном случае в нашей тогдашней жизни. В том же 1861 г., через полтора месяца после 4 октября, умирает наш земляк, известный литератор Н. А. Добролюбов († 17 ноября 1861 г.). Мы, с Ф. Г. Ел-м, как его земляки, и вдобавок хорошо знавшие его по семинарии (а Ф. Г. Елкий даже раз был у него на квартире, в Петербурге, незадолго до его смерти, вероятно по поводу 4 октября), сочли своим долгом присутствовать при его похоронах, да, признаться, побуждало нас к тому же и любопытство, хотелось видеть тогдашних литераторов. К нам присоединился еще мой приятель Н. Г. Благовещенский. Отправились на Волково кладбище, рано утром, конечно тайно (это было в будни и мы должны были бы присутствовать на лекциях) от начальства, от которого, впрочем, никакого запрещения по этому случаю не последовало; может быть, о похоронах популярного литератора оно совсем даже и не знало; тогда по подобным поводам еще не поднималось такого шума в газетах, как ныне. Приходим на Волково до прибытия печальной процессии, встречаем ее на улице и видим очень небольшое количество в ней участвующих, человек тридцать-сорок, не более, и притом исключительно литературной братии, представляющей кучку людей, очень небогато, чтобы не сказать бедно, и неряшливо одетых, с всклокоченными, длинными волосами и по большей части в очках. Толпы посторонней публики, молодежи, студентов, многочисленных венков, колесниц и т. п., что составляет ныне непременную принадлежность похорон более или менее выдающихся общественных деятелей, литераторов, артистов и т. п., не было и в помине; все это еще не вошло тогда в обычай. Словом, это были самые заурядные похороны небогатого человека. Не помню, были ли какие-нибудь венки; гроб несли, кажется, на руках. Вошли в церковь, и вся эта литературная братия приняла самые непринужденные позы, почувствовала себя в церкви как дома, многие встали спинами к иконам и алтарю и занялись громким разговором. Такое крайнее неблагочиние так сильно подействовало на приготовлявшегося начать литургию священника, что он вышел из алтаря и в энергических выражениях попросил присутствующих вести себя

приличнее в храме, из уважения если не к религии, — которой они, быть может, заметил он, совсем не признают, — то по крайней мере к публичному месту, в котором долг приличия требует вести себя как должно. Речь священника, видимо, подействовала на литераторов; разговоры стали тише и спины поворотились от икон и алтаря в надлежащую сторону, но, как я заметил, ни один из литераторов ни разу не перекрестился в течение литургии и отпевания. Когда после отпевания вынесли гроб и опустили его в могилу, известный и славившийся тогда поэт Н. А. Некрасов, с сильно поношенным лицом, продекламировал, хриплым и каким-то вдобавок глухим и сиплым голосом, известное предсмертное стихотворение покойного: «Милый друг, я умираю» и т. д. Затем выступил также приобретший тогда большую известность публицист Н. Г. Чернышевский. С очень желчным лицом, каким-то визгливым голосом, высокого тембра тенором, очень неприятно действующим на нервы, он прочитал отрывки из дневника покойного, присоединяя к прочитанным местам свои комментарии, пропитанные такою же желчью, как и его лицо. Всё завершил коротенькою речью какой-то студент Медицинской, или, как тогда она называлась, Медико-хирургической академии (содержания речи не помню). Вот и всё, что мы видели и слышали при похоронах нашего, во всяком случае выдающегося по своей даровитости, земляка и бывшего нашего совоспитанника по родной семинарии. Крайне жаль, что большие свои дарования он не употребил на служение Церкви и духовному просвещению. Скончался Н. А. Добролюбов, имея от роду не более 25-ти лет. Он поступил в Педагогический институт 17-ти лет (1853 г.) + 8 (до 1861 г.) = 25 лет.

В старшем курсе преподавались тогда: догматическое богословие, нравственное богословие, обличительное богословие, история и обличение русского раскола, церковная история древняя, церковная история новая, русская церковная история, литургика, церковное законоведение, гомилетика, греческий язык, еврейский и новые языки.

Догматическое богословие читали у нас два профессора: ректор Преосв. Иоанникий и инспектор архимандрит Владимир (Петров).

Преосв. Иоанникий, в звании ординарного профессора, — Иван Руднев, 1-й магистр XIV киевского курса 1849 г., однокурсник другого, также 1-го магистра XVIII с.-петербургского курса, того

же 1849 г., Ивана Янышева († протопресвитера И. Л. Янышева), — человек, без сомнения, очень даровитый, что было видно и из его лекций, но как профессор далеко не был таким блестящим, как его однокурсник (на другой, впрочем, кафедре — нравственного богословия) и преемник, хотя и не непосредственный[206], по ректуре в Петербургской академии. Преосв. Иоанникий первый год читал нам догматическое богословие один. Очень большое количество лекций, чуть ли не в течение целого года, он посвятил обозрению ветхозаветных пророчеств о Мессии — Христе Спасителе. Говорили у нас тогда, что эти лекции не что иное, как извлечение из магистерской его диссертации. Расположенный к изучению Св. Писания, как своей диссертацией, так и первоначальной своей академической кафедрой (он оставлен был при Киевской академии, по окончании курса в 1849 г., бакалавром по Св. Писанию), он естественно тяготел преимущественно к области догматических данных, заключающихся в Св. Писании, и в этой области обнаруживал основательные и большие познания. На святоотеческие творения обращал мало внимания. Из других его чтений памятны его лекции о злых духах. Здесь поражало нас мастерское изображение психологического состояния падших ангелов, направленное, как нам тогда казалось, прямо по адресу нашего тогдашнего душевного состояния, с явными на него намеками, как на состояние, аналогическое с состоянием падших духов. Эти лекции были читаны вскоре после 4 октября 1861 г. Лекции он читал, часто, впрочем, отрешаясь от своих записей, но хорошим даром слова и в особенности дикцией не отличался. Вполне верно замечание Преосв. Леонтия об его лекциях: «Лекции по догматике он (Преосв. Иоанникий) читал хотя дельно, но далеко не увлекательно, и к тому же как-то неразборчиво в произношении». У него был, по-видимому, природный недостаток в этом отношении, который немало вредил ему на профессорской кафедре.

Помощником ему по кафедре догматики был экстраординарный профессор (с 6 июня 1862 г.) архимандрит Владимир (Петров),

[206] После Преосв. Иоанникия (рект. с 5 октября 1860 до 13 января 1864) ректором СПб. академии был (с 13 января 1864 до 9 ноября 1866) архим. Иоанн (Соколов; 2-й маг. XIII к. Моск. акад., 1842), из ректоров Казанской акад., а с 27 ноября 1866 до 19 октября 1883 — протоиереем И. Л. Янышев.

прекраснейшей души человек, но как профессор еще менее, чем Преосв. Иоанникий, способен был увлечь своих слушателей. Он, точно в просонках, что-то нам читал, а мы дремали на его лекциях. Читал он из второй части догматики, — читал свой первый академический курс лекций. Из его чтений решительно ничего не осталось в памяти. Боюсь погрешить против истины, но, кажется, он придерживался догматического богословия Преосв. Макария (Булгакова). К экзаменам же, несомненно, мы готовились по этому сочинению. Мы, однако, так любили и почитали архимандрита Владимира, что старались усердно посещать его лекции; помнится, его аудитория никогда не пустовала. Читал он у нас один только учебный год, 1862/3, последний год нашего пребывания в академии, когда мы всецело погружены были в составление своих диссертаций, мало вообще интересуясь лекциями.

Лекции по нравственному богословию читал нам иеромонах Афанасий (Турчанович)[207], в звании бакалавра, человек, не лишенный даровитости, но довольно болезненный, не представительной наружности и не обнаруживавший дара слова. Читал он по какому-то немецкому сочинению, тогда довольно знаменитому, какому именно, теперь не могу припомнить. Хотя его лекции были вообще хороши и достойны академической кафедры, но от них веяло каким-то немецко-философским сентиментализмом. Они представляли очень стройную систему, но с каким-то, так сказать, нерусским привкусом. Жаль, что о. Афанасий не переработал немецкой системы, не перевел ее не только по букве, но и по складу с немецкого на русский склад и вкус. Он был внове на академической кафедре, читал нашему курсу, только второму, по переходе с семинарской службы на академическую. Мы слушали этого преподавателя довольно внимательно. Он был нам симпатичен, как добрый помощник инспектора.

Обличительное богословие читал нам И. Т. Осинин[208], сначала бакалавр, а потом, к концу нашего курса (1863), экстраординарный

---

[207] Иером. Афанасий Турчанович (по Чистовичу: Турчинович), киевл., 13 маг. XVIII к. Киев. акад. (1857), из препод. Саратов. сем., с 1859 — бак. СПб. акад., 1863 — архим., 1865 — ректор. Минск. сем., † 1867.

[208] Иван Терентьевич Осинин, СПб. сем., 1-й маг. XXII к. СПб. акад. (1857), 1863 — экстраорд. проф.

профессор, довольно блестящий молодой профессор, обладавший хорошим знанием новейших языков, даром слова и очень хороший дикцией, с иностранным, правда, датским выговором (например, он всегда говорил «було» вместо «было») и акцентом, как сын датчанки, на которой женился его отец, псаломщик нашей посольской церкви в Копенгагене. И. Т. Осинин читал лекции по запискам, но с весьма частым отступлением от них на живую речь. Его лекции о римском католицизме, реформации и протестантстве с его сектами, об англиканском вероисповедании, были содержательны и интересны, по временам, однако, несколько расплывчаты и не лишены многословия. Немало мешали ему сосредоточиться на его предмете и на отделке лекций его порывы к расширению деятельности в область не только литературную, но и практическую. В то время он напечатал немало статей в «Христианском чтении» по своему предмету[209] и уже тогда начал проникать в высшее общество, в круг лиц, группировавшихся около великой княгини Елены Павловны. Впоследствии он составил себе блестящую карьеру по ведомству Императрицы Марии, но об этом будет сказано в свое время, при обозрении моего служебного поприща — в Петербургской академии.

Историю и обличение русского раскола читал нам И. Ф. Нильский[210], товарищ И. Т. Осинина, не менее, если не более его даровитый, бакалавр, а с 1863 г. — экстраординарный профессор. Он обладал и даром слова, и громадной памятью, говорил свои лекции совершенно без тетрадки, даже большей частью не сидел на кафедре, а ходил по классу. Он удивлял нас тем, что читал на память выдержки, часто очень длинные, из раскольнических сочинений и рукописей. Хотя в наше время он был еще внове на кафедре, окончив курс не более 4-х лет (1857), и с нами начал только третий курс своих чтений, но казался нам вполне обладавшим своим предметом. Взгляда на раскол держался среднего между крайними взглядами: между взглядом, не находившим в расколе ничего, кроме тупого, невежественного упорства и приверженности к старине

[209] См.: И. А. Чистович «История СПб. дух. академии. 1858–1888». Стр. 44–45.

[210] Иван Федорович Нильский, псков., 2-й маг. XXII к. СПб. акад. (1857).

в мелочах, и взглядом на раскол, как на народный протест против преобразований Петра Великого. Этого молодого нашего профессора мы слушали с большим вниманием и интересом и относились к нему с симпатией.

Церковную историю читали нам трое: общую древнюю, до разделения Церквей, — ординарный профессор И. В. Чельцов, новую — бакалавр А. М. Иванцов-Платонов, историю русской Церкви — экстраординарный профессор М. О. Коялович.

И. В. Чельцов[211], ординарный профессор по древней церковной истории, пользовавшийся в академии большим авторитетом, читал нам о первых трех веках христианства, времени гонений на христианскую Церковь, придерживаясь своей печатной истории христианской Церкви, а потом — историю с IV века — по своим запискам. К экзаменам и репетициям (которых, впрочем, не помню) выдавал довольно краткий конспект. Библейской истории не читал, хотя она входила в круг его чтений (отдельной для нее кафедры в нашей академии не было). Чтобы заставить нас хоть немного заняться ею, дал нам тему для сочинения — о желательной постановке чтений по библейской истории. Не особенно владея даром слова, лекции свои, однако, говорил, а не читал, причем отличался остроумием и большим мастерством в выпуклом изображении событий церковной жизни и в яркой характеристике церковно-исторических деятелей золотого христианского века и периода вселенских соборов. Заботился не о количестве фактического материала, а о ярком его освещении, в чем и успевал, сильно поддерживая наше внимание. Увлекая нас своими характеристиками и картинами древней церковной жизни, он и сам, видимо, увлекался ими, почему по временам не чужд был преувеличений. Так, например, при изложении истории несторианских споров более надлежащего выдвигал значение элементов личных и церковно-политических в ущерб чисто религиозным, догматическим, которые в его изображении отступали на задний план. Во всяком случае, этот прекрасный профессор пользовался большим нашим уважением и расположением, несмотря на его резкий и довольно

---

[211] Иван Васильевич Чельцов, рязан., 4-й маг. XIX к. СПб. акад. (1851), 1851 — бак., 1856–1859 — эконом акад., 1859 — экстраорд. проф., 1860 — ордин. проф., † 1878.

желчный характер. Между студентами он слыл за самого строгого рецензента диссертаций на ученые степени. О нем говорили, что он «проваливает» магистерские диссертация, а потому когда я узнал, что мое сочинение передано ему на рассмотрение, то не очень этому обрадовался, но вышло нечто для меня неожиданное, как увидим далее.

Новую церковную историю читал очень молодой бакалавр, только что окончивший Московскую академию, магистр А. М. Иванцов-Платонов[212]. Читал он нам первый и единственный курс своих академических лекций. Очень даровитый преподаватель. Не владея бойким даром слова, он читал по запискам очень интересные лекции по истории православной восточной Церкви после разделения Церквей, в особенности в эпоху попыток к их соединению, в эпоху лионской и флорентийской уний. Пользовался нашим уважением и вниманием, характера был симпатичного. Едва ли не его чтениям я больше всего обязан тем, что для магистерской своей диссертации избрал тему именно по истории попыток к соединению Церквей, хотя тема была дана не им.

Историю русской Церкви читал экстраординарный профессор М. О. Коялович. Его чтения имели тот же характер и успех у нас, что и лекции его по русской гражданской истории в младшем курсе. Помнятся прекрасные его лекции об Иосифе Волоколамском и Ниле Сорском, их направлениях и их, так сказать, школах.

Литургику читал ординарный профессор Василий Иванович Долоцкий[213], старейший, после В. Н. Карпова, из профессоров академии. Читал он литургику очень давно, со времени учреждения этой кафедры, с 1839 г., то есть в течение двадцати лет до нашего курса. Он, можно сказать, создал науку о православном богослужении и, конечно, прекрасно знал свой предмет. Много времени, большую часть своего курса посвящал он именно «литургике», как

---

[212] Александр Михайлович Иванцов-Платонов, курск., 2-й маг. XXII к. Моск. акад. (1860), в 1863 г. — законоуч. моск. Александровского воен. учил., затем — проф. церк. истории в Моск. университете, 1877 — доктор богословия.

[213] Василий Иванович Долоцкий, петерб., 5-й маг. XII к. СПб. акад. (1837), 1839 — бак., 1851 — экстраорд. проф., 1852 — орд. проф.

этот предмет назывался в нашей академии[214], то есть описанию и анализу различных церковных служб. Этого рода лекции у него были очень хороши, но они не особенно привлекали наше внимание. Больше интересовали нас, по крайней мере меня, чтения по церковной археологии. Но здесь он следовал тому направлению, которое дали ей корифеи старого времени: Бингам, Августи и Бинтерим, сообщавшие отрывочные сведения по истории возникновения в первых веках христианства некоторых отдельных обрядов, по преимуществу при совершении церковных таинств. Задачей — проследить историю постепенного образования целых богослужебных чинопоследований нашей православной Церкви — В. И. Д-кий не задавался. Также не вводил он в круг своих чтений и новых отделов — по церковной архитектуре и иконографии. Вообще, он не шел дальше давно установившегося у него курса чтений. Тем не менее, он был, во всяком случае, прекрасным и очень почтенным профессором. Владея хорошим даром слова, не читал свои лекции, а всегда говорил их, правда довольно хриплым и сиплым голосом, с обильными понюшками табаку[215], спокойным тоном, но со значительным оживлением. Характера был спокойного, ровного, очень сдержанного и отличался житейской мудростью и опытностью, так что поистине мог быть назван мужем совета. Эти его свойства оказались очень ценными, в особенности по преобразовании академии в 1869 г., в заседаниях академического совета, о чем, впрочем, нам еще придется говорить впоследствии. Его интересные чтения были причиной того, что по окончании академического курса, когда мне предложено было для занятия кафедры бакалавра в Московской академии избрать

---

[214] Литургикой этот предмет назывался в нашей академии, да еще в Казанской, где в первое время он назывался еще «экклезиастикой» (См.: П. В. Знаменский «История Казанской дух. академии...», т. II, стр. 313). В Московской академии «литургики» не было, а была «церковная археология». В Киевской академии этот предмет назывался то литургикой, то церковной археологией, соединяясь с каноническим правом (см. «Списки начал. и наставн. Киев. акад.», стр. 9).

[215] Очень худощавый собой, он носил у студентов прозвище «мощи». Вероятно, не без влияния на происхождение такого прозвища был и предмет его чтений.

один из двух предметов — патристику или церковную археологию, я избрал именно церковную археологию[216].

Церковное право читал бакалавр священник А. И. Парвов[217], хороший знаток своего предмета, человек практического склада ума. Преподавал предмет применительно к потребностям лиц, облеченных священным саном, священников, сообщая сведения, необходимые для них в их пастырской деятельности. Хорошо выражает характер его чтений само заглавие изданного им потом печатного труда, представляющего, если не целиком, то с некоторой обработкой, сокращениями, изменениями и, где нужно, добавлениями, его академические чтения по церковному праву: «Практическое изложение церковно-гражданских постановлений в руководство священнику, при совершении важнейших треб церковных». Лекции он читал, а не говорил. Нам хотелось бы слышать чтения по этому, весьма интересному и близкому к жизни предмету в другой, более теоретической и широкой постановке, с выяснением современного положения и устройства нашей православной и, в частности, русской Церкви, взглядов на отношение к ней государства и обратно — ее к государственной власти и т. п. А потому мы не особенно охотно шли на лекции А. И. Парвова и не особенно внимательно их слушали, но во всяком случае ценили их деловитость и значительную эрудицию преподавателя.

Гомилетику читал нам родной брат Преосв. Нектария, бывшего нашего ректора, — Ф. С. Надеждин[218], магистр Киевской академии,

---

[216] Мои товарищи выражали по временам удивление, почему я был таким внимательным слушателем и усердным посетителем лекций В.И. Д. Вероятно, у меня было предчувствие, что придется преподавать этот предмет, помимо интереса, который он сам по себе возбуждал во мне и который умел пробудить своими чтениями наш достопочтенный профессор.

[217] Алексей Иванович Парвов, новгород., 3-й маг. XXII к. СПб. акад. (1857), 1857 — бак. гомил. и основ. богосл., 1859 — церковн. законов, 1860 — свящ. ц. Инженерного замка, 1864 — экстраорд. проф., 1865 — проф. и настоят. ц. Учил. правоведения, 1883 — председат. Учеб. комитета при Св. Синоде, † 1897.

[218] Федор Самойлович Надеждин, киевск., 4-й маг. XVIII к. Киев. акад. (1855), 1855 — препод. Новгород. сем., 1859 — бак. СПб. акад., 1863 — экстраорд. проф., † 1866.

перешедший в академию из преподавателей Новгородской семинарии. По расписанию (у И. А. Чистовича в «Истории СПб. дух. академии») он обязан был читать еще введение в богословие (основное богословие). Но я решительно не помню чтений по этому предмету и всегда думал, что он у нас не существовал в составе предметов нашего курса, точно так же, как и библейская история. Гомилетику Ф. С. Над-н, как воспитанник Киевской академии, читал по методу и образцу чтений знаменитого киевского гомилета Я. К. Амфитеатрова, со значительными, кажется, от него заимствованиями. Впрочем, о лекциях по гомилетике не сохранилось у меня почти никаких воспоминаний. Осталась память только о наружности преподавателя, человека довольно болезненного вида и некрепкого сложения, и впечатление, что Ф.С. Н. был не лишен даровитости и обладал в значительной степени даром красноречия, так что казался нам лицом, подходящим к этой кафедре.

Еврейский язык и новые языки и в старшем курсе преподавали те же лица, что и в младшем.

Греческий язык, после нашей истории 4 октября 1861 г., преподавал (с 10 ноября того же года) магистр И. Е. Троицкий[219], в звании бакалавра. Он вызван был в академию из преподавателей Олонецкой семинарии. Основательно зная греческий язык, он занимал нас, кроме переводов, лекциями по истории древней греческой, классической литературы. Тогда он только еще начинал свое ученое поприще. Впоследствии он приобрел большой авторитет в ученом мире на другой кафедре — новой церковной истории, которую он занял после А. М. Иванцова-Платонова, поступившего на священническое место в Москву. Должен признаться, что переходил я из младшего курса в старший с большим предубеждением против богословских наук. Теперь, думал я, конец всякому научному интересу; остается отбыть как-нибудь известный срок, два года, до окончания полного академического курса, написать диссертацию, получить ученую степень, а затем относительно дальнейшей судьбы у меня тогда еще

---

[219] Иван Егорович Троицкий, олонец., 7-й маг., XXIII к. СПб. акад. (1859), 1859 — препод. Олонец. сем., 1861 — бак. СПб. акад. по греч. яз., 1863 — по новой церк. истории, 1866 — экстраорд. проф., 1875 — ордин. проф. и докт. богословия, † 1901.

не было никаких предположений. Каково же было мое удивление, когда вместе со слушанием богословских наук начал замечать, что у меня пробуждается интерес к богословию, которое начало давать для любознательности не меньшую пищу, чем светские науки (философские, исторические), и в моем настроении и симпатиях мало-помалу произошел большой переворот. К концу же академического курса образовалась уже решительная склонность к занятиям именно богословскими предметами.

Обыкновенные письменные работы, «срочные», как тогда их называли, сочинения назначались только в первый год старшего курса, последний же год предоставлен был исключительно для составления «курсового» сочинения, или диссертации на ученую степень.

В учебном году, 1861/62, дано было нам много сочинений, целых шесть, и одна проповедь. Почему так много, когда в первые годы, на младшем курсе, давали только четыре и одну проповедь? Не в наказание ли нам за наши грехи? Помнится, мы хлопотали об уменьшении их количества, но безуспешно. Темы были следующие: 1) «Значение богослужения для Церкви как общества верующих» (проф. В. И. Долоцкий); 2) «Об управлении Христовой церкви по изображению священных книг Нового Завета» (бак. свящ. А. И. Парвов); 3) «В каком виде желательно иметь учебное руководство для преподавания истории Ветхозаветной церкви» (проф. И. В. Чельцов); 4) «Может ли обличительное богословие способствовать воссоединению христианских Церквей и, если может, то при каких условиях?» (бак. И. Т. Осинин); 5) «Значение просвещения для будущей судьбы русского раскола» (бак. И. Ф. Нильский); 6) «Отличительный характер православия в сравнении с католичеством и протестантством» (Преосв. Иоанникий); 7) «Проповедь на день сошествия Св. Духа» (бак. Ф. С. Надеждин). Все эти сочинения у меня сохранились, из них пять отмечены высшим баллом (10) и две — баллом 9½; все — с очень лестными для меня отзывами. Сочинения этого курса были настолько удачными, что два из них были впоследствии мной напечатаны: одно, по расколу, в «Дне» И. С. Аксакова, а другое, об «отличительном характере православия», — в «Христианском чтении», и оба обратили на себя внимание читателей.

Четвертый и последний академический учебный год, 1862/63, посвящен был нами исключительно составлению диссертаций. Дана

была нам масса тем на выбор[220], до ста пятидесяти. При таком огромном количестве их у нас положительно разбегались глаза. Обилие тем некоторым из моих товарищей послужило даже во вред; они долго, по целым месяцам колебались, брали то одну, то другую тему, а время, которого, в сущности, было очень немного (с конца августа до 1 мая), уходило, и они рисковали не представить вовремя диссертаций, что с некоторыми из них и случилось, к несчастью. Мне довольно скоро удалось остановиться на данной И. Т. Осининым теме: «Обозрение предприятий и попыток к соединению Церквей восточной и западной», — без ограничения периода времени, который должен подлежать обозрению. По-видимому, назначавший эту тему полагал, что студент в течение одного года может обозреть всю многовековую историю вопроса о соединении Церквей. Поработав месяца два, я нашел, что решительно нет никакой возможности довести, как следует, обозрение до конца, что с великим трудом можно дотянуть до Флорентийского собора, и потому обратился к И. Т. Осинину с просьбой дозволить мне ограничить тему через прибавку к ней слов: «с половины XI века до начала XV». Разрешение было дано, и я с большим рвением и жаром принялся за работу. Задал себе серьезную, нелегко выполнимую задачу представить не поверхностный очерк, а полную, всесторонне очерченную картину 400-летних сношений Востока и Запада по вопросу о соединении Церквей. Много трудов потратил на собирание материала — и прямо относившегося к теме, и нужного вообще для изучения того времени в различных

---

220 За это нужно сказать большое спасибо Преосв. Иоаннникию. Не то было при его преемнике, Преосв. Иоанне (Соколове; † еп. Смоленском), который, как в Казанской академии, так потом и в Петербургской, сам назначал тему каждому студенту, ни с чем не сообразуясь, ни с силами, ни со склонностью студентов к известного рода работам, причем иногда давал темы прямо невозможные по самому их существу, так что случались даже курьезы в этом роде, как рассказывает П. В. Знаменский в своей «Истории Казанской дух. академии». То же было и в нашей академии со следующим за нашим курсом –XXVI, один из самых лучших студентов которого, А. В. Белецкий, должен был из-за неудачной темы окончить кандидатом. Потом, уже долго спустя (в 1871 г.), получил степень магистра за новое сочинение. Такая неудача постигла «многих из этого курса», как замечает бывший студент этого курса А. С. Родосский в своем «Биографическом словаре...» (стр. 59).

отношениях. Некоторых книг не оказывалось в академической библиотеке, приходилось ходить в Публичную, — в особенности для чтения и выдержек из очень важных для меня летописей (Annal. eccles.) Райнальда, продолжателя Барония. Работал совершенно без всякого руководства профессора[221] и не имея готового образца для задуманной работы, так как известная «история» Пихлера (Geschichte der kirchl. Trennung zwischen Orient und Occident) вышла в следующем 1864 г., когда я служил уже в Московской академии. Другие мои товарищи, более или менее также усердно, работали по предметам своих диссертаций, пробуя свои силы в большой, настоящей уже ученой работе, причем некоторые из них испытывали слишком большой перевес формального своего развития, способности обобщений в ущерб способности объективного изучения предмета. Так, например, один из особенно даровитых моих товарищей[222] со слезами на глазах говорил мне, что он несчастный человек, так как не может спокойно изучать предмет своей темы: мысль его, едва встречает какой-нибудь факт, как забегает вперед, пускается в обобщения. Другие мои товарищи писали на следующие темы: Ф. Г. Елеонский «О состоянии русского раскола при Петре I», Н. И. Барсов — также по расколу — «Братья Денисовы, их жизнь и значение в истории раскола» (обе эти диссертации напечатаны: Ф. Г. Ел. — в «Христианском чтении», 1863, Н.И.Б. — в «Православном обозрении», 1865); Т. В. Барсов — «Отличительный характер православия сравнительно с католическим и протестантским вероисповеданиями» (тема Преосв. Иоанникия, тождественная с темой для «срочного» сочинения). Сочинение мое вовремя было окончено и к назначенному сроку подано.

Наступили последние, выпускные для нас экзамены, с участием внешних членов конференции. Не помню, чтобы эти внешние члены

[221] Не обращался к Ив. Т. Осинину — отчасти чтобы не лишиться самостоятельности в работе, отчасти потому, что первоначальная формулировка темы поселила во мне, может быть, неосновательную мысль, что сам профессор едва ли хорошо знаком с предметом моей темы.

[222] Н. Г. Благовещенский, тверск., 11-й маг., препод. Витеб. сем., инспект. и директ. нар. учил. Псков. губ., потом Ревельск., 1898 — в отставке, † 1899. Тема диссертации: «Протестантские движения в Англии до времени реформации».

участвовали в обыкновенных, невыпускных экзаменах, в особенности в рождественских, но судя по дневнику одного протоиерея (П. К. Херсонского), принадлежащего к следующему — XXVI — курсу, они присутствовали даже и на рождественских экзаменах в 1862 г.[223], следовательно, были и у нас в этом году. На переходных из младшего курса в старший, тем более при выпускных, они должны присутствовать по положению[224]. Этих членов полагалось десять человек; такое же количество их было и в наше время[225]. Всех их хорошо помню, кроме старшего из них, протоиерея И. Е. Колоколова,

[223] См. дневник прот. П. К. Херсонского в «Памятной книжке за 1913 г.», изд. Обществом духов. и матер. взаимопомощи бывших питомцев СПб. дух. академии, СПб., 1914.

[224] У И. А. Чистовича в «Истории СПб. дух. академии» (стр. 75) читаем: «Переходные для студентов низшего отделения и выпускные для студентов высшего отделения экзамены производились — первые — академическим правлением, последние — конференцией, с участием и внешних членов конференции, которые назначались депутатами по различным предметам академического курса».

[225] Вот эти внешние члены конференции нашего времени, по старшинству — не окончания ими академического курса, а по порядку назначения их членами: прот. Морск. Никол. собора И. Д. Колоколов — с 1831 г., прот. Училища правовед. М. И. Богословский — с 1893 г., архим. Аввакум (Честной), член Цензурного комитета — с 1842 г., придв. прот. И. В. Рождественский — с 1848 г., прот. Казан. собора Г. С. Дебольский — с 1848 г., прот. Воспит. общ. благ. девиц И. К. Яхонтов — с 1855 г., свящ. законоучит. 3-й СПб. гимназии К. П. Добронравин († Гермоген, еп. Псковский) — с 1855 г., прот. Никол. сирот. института В. В. Гречулевич († еп. Виталий) — с 1860 г., прот. Казан. собора Ф. Ф. Сидонский — с 1862 г., прот. ц. СПб. университета П. Ф. Солярский — с 1862 г. Все они были лицами очень почтенными и известными в ученом, в особенности духовном мире. Из них в особенности выдвигались: доктор богословия прот. М. И. Богословский, Ф. Ф. Сидонский, известный наш философ, обладавший кроме того огромной эрудицией и по другим наукам, и архим. Аввакум (Честной, тверск., старш. канд., а потом маг. VIII к. 1829 г. СПб. акад.), известный синолог, совершивший с романистом Гончаровым поездку на фрегате «Паллада» и им хорошо охарактеризованный, высокопочитаемый ученый. Кажется, он страдал слабостью к спиртным напиткам. Помню, мы ждали его на экзамен по Св. Писанию, а он сидит себе в сторожевой будке, при входе в академию, с владимирскою 2-й степени звездой на рясе. Отдохнув, он все-таки через несколько времени явился на экзамен. Отличался он очень добродушным характером. Его земляки, тверяки, к нему ходили.

который по старости едва ли бывал у нас. Внешние члены были по большей части молчаливыми ассистентами на экзаменах, но некоторые отличались говорливостью, таков был в особенности протоиерей И. К. Яхонтов, издатель «Духовной беседы», тогдашнего полуофициального органа Св. Синода. О. Яхонтов был ассистентом на экзамене по гомилетике.

Не говоря уже о прежних экзаменах в старшем курсе, даже выпускные совершенно вышли из памяти. Помню хорошо только один экзамен, по общей церковной истории древней и новой, с участием внешнего члена конференции, протоиерея М. Изм. Богословского. Этот экзамен остался памятным мне по многим причинам. Спрашивали не каждого студента по древней и новой церковной истории, а одного — по одной, другого — по другой. Мне выпал очень счастливый для меня билет — по новой церковной истории, именно о времени господства латинян в Константинополе (1204–1261). А. М. Иванцов, заглянув (пока отвечали другие вызванные) в мой билет, тихонько сказал мне, чтобы я не слишком распространялся в подробностях, а отвечал бы покороче; очевидно, он знал о моем курсовом сочинении и предполагал, что мои занятия по сочинению обогатили меня многими сведениями по данному вопросу. Когда пришла моя очередь, я отвечал, конечно, очень обстоятельно, уверенно, бойко и складно. После, от профессора Н. И. Глориантова, знакомого с протоиереем М. И. Богословским, слышал, что мой ответ очень понравился последнему, и М. И. Богословский по этому случаю заметил обо мне: «Из него выйдет хороший бакалавр академии». Более чем вероятно, что такого обо мне отзыва со стороны достоуважаемого внешнего члена конференции не последовало бы, если бы попался мне другой билет — из древней церковной истории, по которой все ответы были не особенно блестящими, благодаря отсутствию подробных записок и существованию только очень коротенького конспекта. Этот экзамен был памятен мне и в других отношениях. Интересен был спор профессора И. В. Чельцова, человека, как уже замечено выше, резкого и желчного, с протоиереем М. И. Богословским, доктором богословия, очень умным и уважаемым лицом, характера также крутого и еще более, чем у Чельцова, резкого. Сошлись, стало быть, два лица очень характерные. По какому-то поводу зашла речь о житиях святых. Кажется, М. И. Богословский обратил внимание, как на нечто

ценное, на исторические данные, в них заключающиеся. «Как вы можете это утверждать, вы, М.И., а еще доктор богословия!» — ответил наш профессор свойственным ему, довольно ядовитым тоном. Этот последний из всех выпускных экзаменов происходил не в зале и не в одной из аудиторий, а в жилой студенческой комнате, и именно в том самом номере, в который поселили меня четыре года тому назад, по принятии в академию, под старшинство И. Д. Касаткина († архиепископ Николай Японский). Конец, видимо, сходился с началом. Наконец, перед тем, как идти на этот экзамен, оказалось, что у меня украдена вся парадная пара одежды, и я принужден был у кого-то из товарищей или младших студентов позаимствоваться платьем, чтобы явиться на экзамен в приличном виде, а не в затасканном, повседневном платье. Академия как бы выпроваживала меня из своих стен, отобрав у меня даже свое платье; такое предзнаменование, впрочем, не приходило мне тогда в голову.

Публичного экзамена не было; по крайней мере совсем его не помню. По окончании курса отправился в свой Нижний Новгород[226], Ф. Г. Ел-кий остался в Петербурге, в академии. Каждый год, на летние каникулы, мои родители выписывали меня в Нижний, присылая прогоны; раз сопутствовал мне Ф. Г. Обыкновенно отправлялся домой по Николаевской железной дороге до Твери, а от Твери — на пароходе по Волге, до Нижнего.

Но раз, в какой-то год (вероятно, 1861 или 1862) рискнул поехать до Москвы, а оттуда — по только что открывшемуся участку Нижегородской железной дороги, до Владимира. От Владимира до Нижнего (220 верст), — думал я, — как-нибудь доберусь в экипаже. Поездка по новой, только что открывшейся Нижегородской железной дороге была весьма приятна. Ехал с двумя студентами (одним товарищем, владимирцем, К. Ф. Надеждиным, и другим — студентом Московской академии), с большим комфортом, рискнули даже взять билеты 2-го класса. Но за все это удовольствие пришлось очень

---

[226] Езда на пароходе была очень благодетельна для студента, истомленного экзаменами, так что в какие-нибудь двое суток я несколько поправлялся в своем здоровье, кстати сказать, от сырого петербургского климата не ухудшившемся, а напротив, вообще говоря, укрепившемся. В Нижнем, благодаря его горному воздуху и сильным ветрам, я всегда чувствовал себя хуже, чем в Петербурге.

поплатиться; поездка от Владимира до Нижнего окончилась для меня весьма плачевно. Извозчики, избалованные богатыми московскими купцами, ехавшими на нижегородскую ярмарку, а теперь, к тому же, удрученные мыслью, что с устройством железной дороги пришел им конец, были в крайне мрачном настроении и очень несговорчивы насчет цены, за проезд до Нижнего просили 30 рублей, а у меня в кармане было не более пяти. Пришлось пристроиться попутчиком к одному купеческому семейству, которое согласилось, не особенно притом охотно, поместить меня за 5 рублей на облучке тарантаса, вместе с извозчиком. Ехали мы около двух суток, в том числе две ночи, причем в дремоте я несколько раз подвергался опасности свалиться под ноги лошадей и быть раздавленным экипажем. Все это мое похождение окончилось тем, что по приезде в Нижний я заболел.

Кстати, о денежных наших, с Ф. Г. Ел-м, средствах во время студенчества. Мои средства были более, чем скромными. Мои родители присылали мне, в течение академического курса, раза два-три в год, по 5 рублей, исключая, конечно, прогоны на поездку в Нижний. Этих 10–15 рублей едва хватало на необходимые расходы, на прибавку к казенным чаю, сахару, булкам, на молоко к чаю и т. п. К счастью, тогда я не курил, и потому не нужно было тратиться еще на табак. Об извозчиках мы не имели понятия, всегда ходили пешком, иногда очень далеко[227]. Ф. Г. Ел-кий не имел и моих скудных денежных средств; из дома не присылали ему ничего или весьма мало и редко. Поэтому он принужден был добывать себе добавочные средства переводами. Ему как-то удалось пристроиться к тогдашнему педагогическому журналу «Учитель», издаваемому И. Н. Паульсоном и Н. Х. Весселем, где он участвовал в переводе Педагогики Дистервега. Да и я нашел подспорье к своим скудным средствам, давая в последние годы уроки племяннику митрополита Исидора, А. П. Богословскому, не окончившему нигде курса и со-

[227] Раз пешком отправились даже в Большой театр (тогда итальянская опера) слушать знаменитого Тамберлика в роли Отелло и его «ут-диез», выпросились у капельдинера за ничтожную плату постоять в райке, а потом также пешком — обратно в академию. Результат для меня был тот, что я заболел. В другой раз отправились, также пешком, в Ботанический сад, на Аптекарском острове. Это от академии будет туда и обратно, вероятно, не менее 12 верст, не считая ходьбы по саду.

биравшемуся держать экзамен на получение чина. Этим урокам я был обязан другому племяннику митрополита, моему товарищу Н. Н. Никольскому, перешедшему к нам из Киева[228].

По приезде в Нижний Преосв. Нектарий, бывший наш ректор, а тогда нижегородский епископ, вздумал посватать мне дочь одного почтенного нижегородского протоиерея, К. И. Мил-ва, его товарища по Киевской академии, обещая дать мне хорошее место священника в Нижнем. Поблагодарив Преосвященного за такое предложение, я решительно от него отказался, заявив, что мне хотелось бы сначала послужить на педагогическом поприще. Меня очень влекла к себе именно академическая кафедра, хотя я далеко не был уверен, что останусь при академии.

В Нижнем пробыл недолго, до августа, спешил обратно в Петербург, озабоченный вопросом о дальнейшей своей судьбе. По приезде в академию застал своих товарищей обитающими в академической больнице, где академическое начальство поселило их, как отрезанных ломтей. Жили они в довольно неприглядной обстановке. Больница была в это время в запущенном почему-то виде, даже, помнится, не все стекла были в ней целы. Здесь пришлось пристроиться и мне. Но я старался, насколько можно, менее оставаться в этом нашем общежитии, проживая очень часто у своего родственника, Н. И. Розова, или у земляка, профессора Н. И. Глориантова.

Наконец, в августе месяце, вероятно в конце его, наступил день, когда решилась наша судьба: собралась конференция из профессоров академии и внешних ее членов. Мы в это время, вероятно, все, или по крайней мере в огромном большинстве, были в нашем обиталище — академической больнице, в трепетном ожидании решения нашей участи. Через несколько времени вдруг прибегает А. А. Некрасов († профессор Казанской академии), необыкновенно шустрый и всюду, где он появлялся, вносивший шум, оживление и хохот, и говорит мне: «Ну, Львович, какая из-за тебя идет резня в конференции, не приведи

---

[228] Н. Н. Никольский, тульск., 32-й канд., был учит. Ярослав. сем. Скончался. Помнится, мы стеснялись предлагать ему, из-за родства с митр. Исидором и землячества с Преосв. Иоанникием, подписывать заявление 16-ти, по поводу истории 4 октября. Значит, мы не лишены были некоторой доли деликатности и не были совсем дурными молодыми людьми.

Бог». «Да в чем дело, говори скорее?» — встревожился я, ожидая себе всяких зол за 4 октября. «Против тебя ректор, а за тебя горой стоит Чельцов». «Благодарю, не ожидал», — мог я только ответить А. А. Н-ву. Действительно, было чему удивляться, не ректорскому, конечно, ко мне отношению, — это было вполне для меня ожиданно, — а защите меня Чельцовым, этим страшным рецензентом всех магистерских диссертаций. Впрочем, спор шел не о диссертации, а о первом месте в списке. Кое-что еще сообщал А. А. Н-в, но теперь не припоминаю. Все эти сведения он добыл, подслушивая у дверей № 9 (прежнего моего обиталища на старшем курсе), смежного с залой, где происходила конференция.

Некоторые и другие сведения вскоре дошли до нас: о том, кому присуждены какие степени, о местах в списке, а равно и баллах на курсовых сочинениях, наконец о том, кто оставлен при академии. Оказалось, что Т. В. Барсов поставлен в списке первым и оставлен при нашей академии бакалавром по греческому языку, я — под номером вторым и предназначен к бакалаврству в Московской академии, Ф. Г. Елеонский — под номером девятым, и т. д.

Но все интересные подробности присуждения нам степеней и, в частности, горячих из-за меня прений я узнал много позднее, уже тогда, когда из Москвы перешел в Петербург и сделался сослуживцем бывших моих наставников. В особенности много рассказывал о том, как происходила эта конференция, профессор И. Ф. Нильский, восторгавшийся замечательной тактикой Преосв. Иоанникия. А нечто, также весьма интересное, сделалось известным даже только теперь, через 50 лет, из воспоминаний Преосв. Леонтия («Богосл. вестник», 1914, январь).

Сначала шло рассуждение о диссертациях и присуждении ученых степеней. «На конференции, — пишет Преосв. Леонтий, — вышли пререкания. Предтеченскому, бакалавру еще тогда (?) и секретарю конференции, а затем и ректору, хотелось выпустить человек 10 со званием действительного студента. Я восстал против этого[229]...

[229] «Пр-ий в горячах говорит: „после этого всех бунтовщиков надо делать кандидатами". Я строго заметил: „бунтовщики в тюрьмах содержатся. Академия не тюрьма, да какое право имеете вы, бакалавр только, не член конференции, а секретарь ее, возвысить голос и давать суждение? Ваше дело записывать, что

Список составлен на основании баллов по успехам и поведению — и все (?) выпущены со степенью магистров и кандидатов. Из курса 1863 г., ошельмованного, можно сказать, академическим начальством, вышли весьма дельные люди, которые с честью служат и по духовному, и по гражданскому ведомству. Так нужно умеючи обращаться с молодыми силами!»[230] — заключает свой рассказ Преосв. Леонтий.

Кроме решения общего вопроса о том, скольким студентам и какие присудить ученые степени, немало споров возбуждали: составление списка и вопрос о том, кого оставить при академии бакалавром по вакантной кафедре. Наибольшая часть споров выпала на долю пишущего эти строки, что подслушал, как выше замечено, мой товарищ А. А. Некрасов и о чем потом сообщали мне бывшие мои наставники. В видах не личного моего интереса, а для обрисовки и характеристики действий тогдашней конференции, позволю себе сообщить все, что слышал от достоверных свидетелей. Моя диссертация встретила большое одобрение со стороны самого строгого моего рецензента — профессора И. В. Чельцова, который поставил на ней высший балл — 10, хотя наделал немало замечаний на моей рукописи, в особенности на введении, к чему, впрочем, я сам дал повод, не обработав его как следует[231]. Другие, более снисходительные

определяет конференция“». Преосв. Леонтий здесь ошибается: Пр-ий был тогда экстраорд. профессором и имел право голоса, если только с этим условием он возведен был в это звание. Тогда, по словам И. А. Чистовича, возводили в экстр. проф. с присвоением или без присвоения этого права.

[230] Точно так же Преосв. Леонтий забыл, что у нас не все были магистрами и кандидатами, а четыре человека выпущены студентами (правда, самые слабые по успехам). В заключение Преосв. Леонтий пишет: «Пр-ий, однако же, долго служил при академии и дослужился, кажется, до заслуженного профессора, хотя за его жизнь развратную следовало вовремя удалить его из академии».

[231] Оставалось мало времени на обработку. Писал предисловие по окончании всей работы по сочинению, писал сгоряча, не обдумывая выражений, забывая даже совсем, что пишу диссертацию, которая подлежит критике рецензентов. Вдобавок, переписывал черновик свой не сам; при личной переписке, вероятно, многое изменил бы. А главное, нужно было мои выводы и общие суждения поместить не в начале, а в самом конце сочинения. Сделай это, избег бы многих возражений, которые были бы устранены самим содержанием моего сочинения. Читая общие мои суждения и выводы, один рецензент (прот. Яхонтов), к удивлению, даже заметил в конце моего введения, что оно «совершенно лишнее» (?!).

рецензенты, однако, оценили мое сочинение более низкими баллами: И. Т. Осинин — 9½, протоиерей И. К. Яхонтов — даже 8½. После рассмотрения диссертаций и присуждения ученых степеней приступили к составлению списка и решению вопроса о первых в нем местах, и прежде всего, конечно, о том, кого поставить под номером 1. Вопрос этот был важен в виду следующего затем вопроса об оставлении кого-либо из нас бакалавром при академии.

Кандидатами на первое место оказались двое: Тим. В. Барсов и А. К-ий. Корпорация профессоров, у которых у всех мои сочинения оказались лучшими, высказалась за меня, а Преосв. Иоанникий — за Т. В. Барсова. По правде сказать, шансы у нас были почти равными. Если мой соперник имел высшие, чем я, баллы по устным ответам, то я имел большое перед ним преимущество по сочинениям за все курсы[232], да и курсовое мое сочинение заслужило большое одобрение такого авторитетного и строгого судьи, как профессор Чельцов, который выразился о нем, как передавали мне, так: «12 лет я уже профессорствую, но еще в первый раз пришлось мне читать такое солидное сочинение». В виду того, что сочинениям, как всегда, так и в данном случае, давалось предпочтение перед устными ответами

По всей вероятности, он не сделал бы такого замечания, если бы мое введение было отнесено к концу сочинения и явилось бы его заключением. В печатной моей книге «История попыток к соединению Церквей греческой и латинской в первые четыре века по их разделении» (СПб., 1868) предисловие совершенно переработано и из него исключены все вышеуказанные общие суждения и выводы. Но мне жаль было совершенно выбросить их. В обработанном виде я поместил их в отдельной статье в «Православном обозрении» (1865, янв. и февр.) под заглавием «История попыток к решению вопроса о соединении Церквей и будущей его судьбы».

[232] Вот для сравнения баллы за оба курса, младший и старший:

	Средний балл по наукам	По срочным сочин.	По курс. сочинению	По поведению
Тим. Барсов	9,85	9,32	9,50	10
А. Катанский	9,51	9,71	9,16	10
Н. Барсов	9,80	9,25	9,66	9½
Ф. Елеонский	9,50	6,82	9,57	9½

Эта табель баллов подписана А. И. Предтеченским. Балл по моему курсовому сочинению 9,16 образовался оттого, что один из рецензентов (прот. Яхонтов) поставил балл 8½. Разделив 10, 9½ и 8½ на три части, получим 9,16.

(что видно из места, занятого в списке Ф. Г. Елеонским)[233], есть полное основание думать, что первое место осталось бы за мной, если бы я не был в немилости у ректора[234]. Чью сторону держали внешние члены конференции, во главе с ревизором академии Преосв. Леонтием, неизвестно; вероятно — сторону Преосв. Иоанникия и, следовательно, высказались за Тим. В. Барсова. Это видно из того, что, как мне передавали, мои адвокаты-профессора должны были уступить противной стороне в вопросе о первенстве, в надежде поставить на своем, когда будет решаться вопрос о бакалаврстве в академии; этот вопрос поставлен был последним. Таким образом, первое место в списке было предоставлено Т. В. Барсову, мне — вто-

---

[233] Из таблицы в предыдущем прим., именно из случая с Ф. Г. Ел-м, поставленным в списке под № 9, с несомненностью усматривается, что сочинениям придавалось наибольшее значение. У Ф. Г. Ел. баллы по устным ответам были почти тождественны с моими (-1) и гораздо выше (на 0,42) баллов Н. Барсова (№ 3 по списку), и, однако, его ставят в списке гораздо ниже нас обоих, и это потому, что у него оказался очень низкий балл по сочинениям — только 6,82. Такой балл зависел от случайных причин (сочинения у него всегда были очень хороши), именно от неподачи некоторых сочинений в старшем курсе. Их было тогда очень много: шесть и одна проповедь. Помнится, многие не подали тогда два-три сочинения. И за неподачу этих-то одного-трех сочинений у всех, в том числе и у Ф. Г. Ел., сбавили с общего балла по сочинениям. А когда начали составлять список, низкий балл по сочинениям естественно потянул всех их, в том числе и Ф. Г. Ел., книзу. Почему, в таком случае, мой самый высший из всех баллов этой категории (9,71), выше балла Тим. Барсова (на 0,39), не потянул меня кверху? Мой низкий балл по курсовому (9,16) не помешал бы тому, как не помешал Ф. Г. Ел. его очень высокий балл по курсовому соч. (9,57), гораздо выше и моего и Тим. Барсова (9,16 и 9,50), благополучно спуститься вниз, до № 9. Мой сравнительно низкий средний балл по курсовому соч., в виду блестящего о нем отзыва проф. Чельцова, естественно терял свою силу.

[234] Что Преосв. Иоанникий гневался на меня до последних дней моего студенчества, это видно из слов проф. В. И. Долоцкого. Когда уезжая в Москву на должность, я пришел к нему проститься и за советом относительно предстоявшего мне преподавания церковной археологии, этот досточтимый мой наставник сказал мне: «Жаль, что преосвященный очень сердится на вас за то, что вы не повлияли (?!) на своих товарищей, в смысле исполнения ими 4 октября воли начальства». Помнится, эти слова не были вызваны ходом нашей беседы, а вырвались у него как-то нечаянно, как бы в объяснение того, почему я должен отправиться в Московскую академию.

рое. Затем следовало дальнейшее составление списка. В окончательно составленном списке оказалось: в 1-м разряде — 13 магистров[235], во 2-м — 30 кандидатов[236] и в 3-м — 4 студента = 47 человек[237].

Последним на этой конференции вопросом решался вопрос о замещении кафедры новой церковной истории, оказавшейся в то время вакантной за выходом бакалавра А. М. Иванцова. При этом профессор И. В. Чельцов прямо заявил, что он желал бы иметь меня ближайшим сотрудником, коллегой по преподаванию церковной истории.

[235] Вот магистры нашего курса: Тим. Барсов, А. Катанский, Ник. Барсов († и. д. орд. проф. СПб. акад.), Е. Мегорский (рект. Новгор. сем., † настоят. Казан. собора в СПб.), А. Тачалов (псал., потом прот. Висбаденской ц., † настоят. Парижской посольской ц.), Ив. Образцов († прот. спб. Вознесенской ц., проф. спб. Историко-филол. института, член Учебн. ком. при Св. Синоде), иером. Владимир Никольский († еп. Нижегород.), Г. Пеньковский († препод. Новгор. сем.), Ф. Елеонский († засл. орд. проф. СПб. акад.), О. Щербицкий († инспект. Литовской сем.), Н. Благовещенский († директ. народн. учил.), А. Некрасов († и. д. орд. проф. Казан. акад.), Андрей Вещезеров († препод. Тверской сем.). С правом на степень магистра, по представлении новых сочинений, — Ф. Смирнов († секр. Литовской консист.), П. Иовлев († прот. спб. Конюшенной ц.), В. Голубков († нспект. Яросл. сем.).

[236] Из кандидатов нашего курса самым выдающимся и занявшим самое высокое положение среди всех своих однокурсников оказался Алексей Алексеевич Опоцкий, псковской уроженец, еще здравствующий, ныне Высокопреосвященный архиепископ и член Св. Синода Алексий, пребывающий на покое в московском Донском монастыре. А. А. Опоцкий, общий всего курса любимец за свою доброту и симпатичный характер, 1864 — инспект. Виленск. дух. учил., 1871 — прот. гроднен. Софийск. соб. и законоучитель Гроднен. гимн., 1872 — утвержд. в степ. канд. богосл., 1891 — архим. и рект. Литовск. сем., 1893 — еп. Балахн., вик. Нижегор., 1896 — еп. Вятский, 1901 — архиеп., Экзарх Грузии, 1905 — архиеп. Тверской и член Св. Синода, 1910 — на покое в моск. Донск. мон., с управлением его. Не раз случалось мне слышать восторженные отзывы о нем как законоучителе гимназии, от бывшего его питомца, орд. академика Академии наук и директора с.-петербургского Историко-филол. института, В. В. Латышева. Помнится, в первый раз слышал их от этого глубокоученого академика при посвящении Преосв. Алексия в Александро-Невской Лавре, куда горячий его почитатель, В. В. Латышев, нарочно прибыл, чтобы видеть хиротонию своего бывшего законоучителя.

[237] Из живых однокурсников могу насчитать, кроме себя, только еще троих: архиеп. Алексия (Опоцкого), В. А. Васнецова (вятск., 26-й канд., препод. Астрах. сем.), Н. Г. Смирягина (петерб., 41-й канд., прот. петербург. Христорожд. ц.). Может быть, еще кто-нибудь здравствует, хотелось бы о том знать.

Благо, мое курсовое сочинение прямо относилось к новой церковной истории, обнимая значительную ее часть. Все профессоры, мои сторонники, очень рассчитывали на это обстоятельство, как весьма благоприятное для их замысла — оставить меня при академии. Пусть, дескать, Преосв. Иоанникий ставит возлюбленного им Тим. Барсова на первое место, а бакалавром при академии мы все-таки оставим К-го. Но они допустили большую тактическую, так сказать, ошибку, уступив Преосв. Иоанникию в первом пункте, относительно первого номера в списке, каковой ошибкой он прекрасно и воспользовался к полному их поражению, ибо вот что случилось далее.

Пока профессор Чельцов ратовал за меня, как желательного кандидата для занятия кафедры новой церковной истории, вдруг заявляет желание занять ее бакалавр по греческому языку И. Е. Троицкий. Весьма вероятно, что Чельцов об этом желании не знал, в противном случае едва ли бы усиленно выдвигал мою кандидатуру против кандидатуры своего сослуживца, хотя и младшего. Были ли заранее известны намерения И. Е. Троицкого Преосв. Иоанникию — это находится под сомнением; может быть, и были. Долг беспристрастия требует при этом заметить, что академия не только не проиграла, напротив, — очень много выиграла с избранием на эту кафедру не меня, а такого, впоследствии прекрасного ученого, как профессор И. Е. Троицкий[238]. Моя же кандидатура после упомянутого заявления, конечно, сейчас же отпала.

Затем возник вопрос о замещении кафедры греческого языка, оказавшейся вакантной с переходом И. Е. Троицкого на другую кафедру. Мои приверженцы опять стали настаивать на оставлении меня хотя бы на этой кафедре. Но тут у них уже совершенно не оказалось почвы под ногами; не за что было им ухватиться. Навели справки относительно балла по греческому языку у Тим. Барсова и у А. Катанского; баллы оказались совершенно одинаковыми. Кому

[238] Впоследствии я имел случай слышать от И.Е. признание, делающее большую честь благородству его характера, именно, что моя диссертация была ему очень полезна (даже, помнится, он выразился сильнее), при составлении первых лекций по новому для него предмету. А когда, в 1868 г., она была напечатана, то, по предложению того же И. Е. Тр-го, несколько десятков экземпляров ее было приобретено для академической библиотеки, в качестве пособия студентам для приготовления к экзамену по новой церковной истории.

же предоставить эту кафедру? Конечно, тому, кто стоит первым по списку, то есть Т. В. Барсову. «Что же мы сделаем с К-м?» — спросили мои приверженцы. «А вот что, — ответил на это Преосв. Иоанникий. — Если вы такого высокого мнения о К-м, то пошлем его в Московскую академию, от которой есть требование на замещение одной из ее кафедр: он наверное поддержит честь нашей академии». Все вышеуказанные, весьма искусные тактические приемы в борьбе с оппозицией, и в особенности последний выпад Преосв. Иоанникия, были признаны тогдашними профессорами, моими сторонниками, поистине мастерскими и заслужили следующий отзыв одного из участников этой конференции: Преосв. Иоанникий «разбил нас наголову, поразив нас нашим же собственным оружием». В этих именно выражениях, много раз повторяя их, формулировал свои впечатления от всей этой истории досточтимый мой бывший наставник, а потом сослуживец, профессор И. Ф. Нильский.

Вскоре после конференции призывает меня Преосв. Иоанникий и предлагает мне на выбор одну из кафедр при Московской академии — патристики или церковной археологии. Мой выбор пал на церковную археологию. Кафедру патристики предлагали потом Ник. И. Барсову и И. Я. Образцову, а может быть и другим, но все они отказались от такого предложения и заняли места преподавателей в тех семинариях, в которых оклад жалования преподавателей равнялся тогда академическому, бакалаврскому, то есть 429 р., а служить в семинарии было, конечно, легче, чем в академии, при повышенных от академического преподавателя требованиях и при усиленных трудах по изучению предмета, без предварительной к тому подготовки. Н. И. Барсов поступил в С.-Петербургскую семинарию, И. Я. Образцов — сначала в Рижскую, а потом, в 1864 г., — в С.-Петербургскую.

Ф. Г. Елеонский назначен был сначала в Казанскую семинарию, но от этого назначения отказался и провел, по окончании академического курса, целый год, занимаясь репетиторством по философии в одном из петербургских юнкерских училищ. Тогда была тенденция придать военно-учебным заведениям общеобразовательный характер и потому в юнкерских училищах, при начальнике военно-учебных заведений Исакове, введена была философия. Преподавание ее поручено было в юнкерском, кажется Павловском училище, профессору И. А. Чистовичу, а он в помощники себе в качестве репетитора пригласил Ф. Г. Ел-го.

Ф.Г. провел этот год (1863/64), живя на квартире вместе с А. А. Опоцким (впоследствии архиепископом Алексием), который нашел себе занятие в редакции «Правительственного вестника». К концу 1864 г. Ф.Г. назначен был в Литовскую семинарию, где и служил до перехода в 1870 г. в Петербургскую академию, на кафедру библейской истории — в звании доцента по новому уставу 1869 г. В Виленской (Литовской), как и в Петербургской, Рижской и, кажется, еще Витебской, семинариях был оклад жалования, равный бакалаврскому, — 429 р.

Таким образом, в Московскую академию я должен был отправиться один. Судьба опять, как в начале моей жизни, привела меня под покров преподобного Сергия, но на 7 лет разлучила со спутником моей жизни Ф.Г., а затем, с 1870 года, снова нас соединила, на целые 36 лет, до конца его жизни († 1906).

Такова, смею думать, правдивая летопись нашего многострадального, или, как сильно выразился Преосв. Леонтий, «ошельмованного» XXV курса.

О тогдашней системе академического образования приходится сказать почти то же самое, что и о семинарской того времени. Обе эти системы находились в полной гармонии. И в академии была та же многопредметность, что и в семинарии, та же масса письменных работ, поглощавших наше время и отвлекавших наше внимание от изучения предметов курса. Та же и оценка успехов студентов — главным образом на основании достоинства сочинений. Все это и профессоров, и студентов мало располагало: первых — к чисто научной постановке их чтений, а последних — к возможному углублению в изучении наук. А потому у нас, тогдашних студентов, являлось естественное желание некоторой специализации предметов академического курса и значительного уменьшения письменных работ, что и осуществилось с появлением академического устава 1869 г., пробудившего усиленную научную деятельность и учебно-литературную производительность и профессоров, и студентов. Тем не менее, грешно было бы не помянуть добрым словом и старую систему академического образования. Самое дорогое в ней было то, что она давала студентам прекрасное умственное развитие и делала их способными ко всякой работе на всех возможных поприщах служения Церкви, отечеству и просвещению.

IV. В Московской духовной академии — начало службы (1863–1867)

Из многомятежного Петербурга и от волнений Петербургской академии суждено было мне переселиться в Троице-Сергиев Посад, в тихую обитель преп. Сергия, в находившуюся под его покровом Московскую академию. В ней витали: дух Филарета, митрополита Московского, громадная ученость, необыкновенная сердечность и отеческая доброта тогдашнего идеального ее ректора, протоиерея А. В. Горского, традиции знаменитого ее профессора-философа, протоиерея Ф. А. Голубинского, и патриарха академической корпорации, составлявшего ее душу, соединявшего ее во единое братство, первенца I ее курса, протоиерея П. С. Делицына. Словом, попал я в совершенно особое царство, нисколько не похожее на ту среду, в которой провел четыре года своего студенчества.

Назначение мое в Московскую академию представляло весьма редкий, всего второй в ее истории, Филаретовского периода, случай, когда посылался в нее воспитанник другой академии[239]. Первый случай — назначение в 1839 г., на кафедру словесности, 2-го магис-

---

[239] Исключая переход из СПб. академии ее воспитанника, Н. А. Сергиевского (2-й маг. XVIII к., 1849), бак. математики, москвича родом и родственника митр. Филарета. Сергиевский, согласно его прошению, переведен в 1850 г. на ту же кафедру в Моск. акад. и занимал ее до 1854 г., † прот. проф. Моск. университета, основатель и редактор-издатель «Правосл. обозрения».

тра XIII курса (1839) Петербургской академии Е. В. Амфитеатрова (товарища моего наставника, К. И. Лучицкого), родственника митрополита Киевского Филарета (Амфитеатрова). Вызов в 1863 г. из Петербургской академии двух воспитанников в Московскую для занятия двух ее кафедр (патристики и церковной археологии) был, вероятно, со стороны митрополита Филарета (без которого не делалось в академии ничего самого маловажного) отплатою Петербургской академии за ее вызов московского воспитанника XXII курса (1860 г., 2-го магистра этого курса) А. М. Иванцова-Платонова, для занятия в ней кафедры новой церковной истории. А что Московская академия просила прислать, вместо одного, двух воспитанников, это походило на отплату за любезность сугубою любезностью. Митрополит Филарет, когда хотел, умел быть таким. Не было ли, однако, у него и какого-нибудь другого умысла? В 1861 г. он разбирал наше октябрьское (4 октября) дело и отнесся к нам крайне снисходительно. И вдруг из этого самого курса октябристов (если только он не забыл нашей истории) вызывает в свою академию, да еще не одного, а двух воспитанников, и при том без всякой настоятельной нужды[240].

Охотно ехал я в Московскую академию. Она выдавалась тогда из ряда других наших духовных академий своей солидной ученостью. О Киевской у нас составилось почему-то представление, как о не особенно симпатичной, проникнутой иезуитским духом, о молодой Казанской — как приближающейся по типу к Петербургской. Московская обрисовывалась как строго ученое царство, Филаретовского закала, своего рода русский Оксфорд, как ее называли иностранцы, посещавшие Россию.

Правда, о ней в Петербурге слышались не совсем приятные отзывы, как о царстве, полном гордого сознания своего превосходства перед другими академиями и нетерпимости ко всему, что вышло

---

[240] Можно было бы подождать окончания XXIV к. Моск. акад., в 1864 г., для замещения обеих кафедр, или по крайней мере одной, собственными ее воспитанниками. Через полгода после моего приезда в Посад это и случилось. Из означенного курса был назначен на кафедру патристики 1-й его магистр, А. А. Смирнов, родной брат прот. П. А. Смирнова, бывшего также бак. в этой академии, по церк. археологии († председ. Учеб. комитета при Св. Синоде). А потом, в следующем 1865 г., на кафедру философии избран был 2-й маг. того же курса, однофамилец первого, А. П. Смирнов.

не из нее, почему мне приходилось выслушивать советы отказаться от назначения в нее[241]. Несмотря, однако, на такие охлаждающие отзывы о месте моей будущей службы, я нимало не поколебался в своем решении отправиться на место своего назначения. Слишком сильно было во мне желание попробовать свои силы на академической кафедре. И потому, собрав свои пожитки, в том числе полный академический постельный прибор, считавшийся собственностью каждого студента, получив прогоны и, кажется, еще 50 р. на первоначальное обзаведение, 4 декабря 1863 г. отправился в Москву, а оттуда уже, по железной, недавно открытой дороге, в Троице-Сергиев Посад. Приехал туда утром, 6 декабря, в Николин день, остановился в старой монастырской гостинице и немедленно отправился к своему земляку, тогдашнему инспектору архимандриту Михаилу (Лузину). О. Михаила никогда прежде не видал, а знал только по слухам, да по сохранившемуся в нашем семействе сведению, что он был другом одного из моих дядей, товарища его по семинарии (Петра Г. Елеонского). Не имея ни одного знакомства в академии, счел за лучшее явиться прежде всего именно к нему, как к земляку, в надежде, что он поможет мне ориентироваться в совершенно незнакомом месте и в новой обстановке. Пришел к нему рано утром, около девяти-десяти часов. О. Михаил, по легкому нездоровью, в этот день не служил и был очень рад приехавшему земляку. Среди разговоров о Нижнем, Петербурге и Московской академии он чуть не с первых слов выразил сожаление о кончине за несколько дней тому назад (30 ноября 1863 г.) старейшего из всех профессоров, протоиерея П. С. Делицына. Вот что он сказал мне. «Вы приехали в тяжелую для всего нашего академического братства годину. Всего три дня тому назад мы опустили в могилу нашего патриарха, человека, который соединял всех нас воедино. Мы потеряли душу нашей академической корпорации. Что будет теперь с нами не знаю. Думаю, что наступит

---

[241] Вот, например, что говорил мне проф. А. И. Предтеченский, которого, забыв все прежние огорчения, посетил я перед отъездом в Посад: «Не советую вам ехать в эту деревенскую академию. Там свой особый дух, и там не любят чужих. И имейте еще в виду, что если вы там понравитесь, никогда оттуда вас не выпустят, а если не понравитесь, — выгонят». К счастью, он оказался плохим пророком.

разделение, и прежнего единодушия не будет». Слова моего достопочтенного собеседника, к несчастью, сбылись!

Среди таких разговоров прошло часа два-три, окончилась литургия, и о. Михаил напомнил мне, что нужно явиться к начальнику академии, «высокопочтенному и всеми нами глубокоуважаемому, нашему общему наставнику и руководителю, о. ректору, протоиерею А. В. Горскому». Сделать это тем более удобно теперь же, прибавил он, что вы застанете у него всю академическую корпорацию и с нею познакомитесь. У нас существует обычай посещать о. ректора во все праздничные и воскресные дни после литургии. Устрояется у него по этому случаю некое утешение братии — небольшая закуска. Но среди разговоров мы не заметили, что пропустили времени более надлежащего, и когда я явился к о. ректору, оказалось, что все его посетители уже разошлись по домам и оставался только один — бакалавр физики Д. Ф. Голубинский, сын покойного философа Ф. А. Голубинского. Обладавший завидным аппетитом, он доканчивал оставшееся от предложенного на закуску. Более чем скромно одетый и далеко не представительной наружности, этот, единственный в тот момент представитель академической корпорации заставил меня задать себе вопрос: неужели все здешние профессоры такие оригиналы? О. ректор А. В. Горский, видной наружности, убеленный сединами старец, с очень симпатичным лицом, глубокими, задумчивыми, куда-то вдаль смотрящими глазами, принял меня с распростертыми объятиями, со свойственной ему сердечностью и предложил мне также закусить, причем, наливая рюмку какого-то виноградного вина, с милой шутливостью прибавил: «Приступите же к исполнению своих обязанностей». Так оригинально начал я службу в Московской академии!

Еще прежде представления о. ректору, о. Михаил простер свою любезность ко мне до того, что уговорил меня перейти к нему из гостиницы со всем моим багажом и временно у него поселиться. После обеда, несмотря на легкое нездоровье, он повез меня вечером на так называемый «казенный двор» (обычное неофициальное название), или в «замонастырский академический дом» (официальное — см. в «Истории Московской духовной академии 1814–1870 гг.» С. К. Смирнова), где в принадлежавших академии двух деревянных домах занимали квартиры семейные профессоры. В большом доме жили: семейство только что скончавшегося профессора П. С. Делицына, два

его сына, уже взрослые и даже служившие в Вифанской семинарии наставниками (Петр Петрович — 18-й магистр XVI курса, и Димитрий Петрович — 14-й магистр XIX курса Московской академии), и экстраординарный профессор священник Ф. А. Сергиевский. В малом доме: экстраординарный профессор А. Ф. Лавров († архиепископ Литовский Алексий) и бакалавр П. И. Горский — холостой (но у него жила его мать). Перед тем как отправиться туда о. Михаил сказал мне: «Хочу познакомить вас с первенцем моего академического курса А. Ф. Лавровым. Он человек семейный. Жена его Мария Николаевна очень симпатичная дама, есть у него и дочка — Саша». Приняли меня очень приветливо, но глядели на меня, что называется, во все глаза, стараясь распознать, что за птица прилетела к ним из Петербурга. Сейчас же, как только мы явились к А. Ф. Лаврову, к нам присоединился его визави по квартире, бакалавр П. И. Горский, однофамилец, но не родственник А. В. Горского, отличавшийся более всех своих сослуживцев любопытством, хотя и другие, в большей или меньшей степени, не были чужды этого недостатка захолустных провинциальных городов и местечек. Он в особенности испытующе посматривал на меня для того, чтобы на другой день разнести по Посаду весть о новоприезжем из Петербурга бакалавре и поделиться своими впечатлениями от нового знакомства. Крайняя монотонность жизни академической корпорации, совершенное отсутствие разнообразия впечатлений в кругу обыденной жизни делали совершенно естественными и понятными подобные проявления житейской любознательности. В силу таких обстоятельств мне суждено было сделаться на несколько дней героем, или, как теперь выражаются, гвоздем декабрьского сезона 1863 г. в Московской академии. А встретили меня там вначале, как потом оказалось, с большим предубеждением и подозрением. Впоследствии, когда познакомились поближе, некоторые из наиболее близких ко мне сослуживцев признались, что, питая предубеждение против петербуржцев, они думали, что в моем лице приехал к ним из Петербурга «хлыщ», но теперь в этом разубедились. О том же предубеждении москвичей против петербуржцев говорили мне потом протоиерей Ф. А. Сергиевский, профессор Московского университета и протоиерей П. А. Преображенский, воспитанники Петербургской академии. П. А. Преображенский сказал мне раз, уже долго спустя, при встрече на годичном акте Петербургской

академии: «Нас, петербуржцев, в Москве ведь не любят», и прибавил, обращаясь ко мне: «Хорошо, что вы поддержали честь нашей Петербургской академии».

Вскоре водворили меня в одну из квартир профессорского или, как мы называли его, бакалаврского корпуса, примыкавшего к главному корпусу, или «чертогам», где были вверху квартира ректора и зал собрания, а внизу — жилые комнаты и спальни студентов старшего курса (младшего — были в инспекторском корпусе). Все бакалаврские квартиры были почти совершенно одинаковы по размерам и расположению комнат, различаясь только большей или меньшей уютностью, зависевшей, впрочем, от их обитателей, да еще тем, на какую сторону выходили их окна: на северную, обращенную к зданиям академической библиотеки и больницы, или южную, выходившую в академический садик. На северную выходили только две квартиры: та, в которой поселили меня, — ближайшая к главному зданию, и на противоположном конце коридора — квартира бакалавра Е. Е. Голубинского. Другие части этой стороны были заняты входной лестницей, служительской комнатой и редакционной. На южной стороне были лучшие квартиры: против моей — бакалавра П. М. Хупотского, и далее по коридору, квартиры — бакалавра Н. К. Соколова, бакалавра В. Н. Потапова и экстраординарного профессора Н. И. Субботина. Самыми лучшими были квартиры этих последних — по обстановке и потому, что были оклеены обоями, а не выкрашены светло-голубой клеевой краской, как все остальные.

Квартира моя состояла из трех комнат и была обставлена в достаточном количестве казенной мебелью. Были диван, кресла, стулья, обитые зеленого цвета клеенкой, столы, письменный и для гостиной, шкаф для книг, железная кровать и даже ширмы для спальни. Все эти предметы, не отличаясь изяществом отделки, были сделаны прочно и способны были долго служить, переходя от одного лица к другому.

Всем моим коллегам счел долгом сделать, конечно, визиты, и прежде всего вышеупомянутым моим сожителям по коридору, а потом и другим, жившим в разных местах: ординарным профессорам Е. В. Амфитеатрову — в своем доме, П. С. Казанскому — в инспекторском корпусе (против квартиры инспектора архимандрита Михаила, который называл его в шутку своим

супостатом)[242], С. К. Смирнову — в квартире близ «казенного двора», В. Д. Кудрявцеву — в доме Е. В. Амфитеатрова, экстраординарному профессору Ф. А. Сергиевскому — на «казенном дворе», бакалавру Д. Ф. Голубинскому — на квартире вблизи «казенного двора». Экстраординарному профессору А. Ф. Лаврову и бакалавру П. И. Горскому были сделаны такие визиты, хотя я уже был у них в первый день моего приезда в Посад.

На святках о. ректор повез меня в Москву для представления митрополиту Филарету. Условились встретиться у Преосв. Саввы (Тихомирова)[243], — бывшего, перед А. В. Горским, ректором Московской академии, а в то время московского викария, жившего в одном из московских монастырей, — чтобы оттуда отправиться к митрополиту. Был какой-то праздничный день, Преосв. Савва служил, и после литургии я явился в его покои. Здесь меня, не привыкшего к церемониалу московских архиерейских приемов, поразила торжественность приема посетителей московским викарием. В Петербурге викарные епископы держали себя гораздо проще. От Преосв. Саввы мы с о. ректором отправились к митрополиту Филарету. Принял он меня благосклонно, задав обычные вопросы и выразив также обычные пожелания и надежду относительно успешности предстоявшей моей службы. Ничего особенного он не сказал, но таково было обаяние этой необыкновенной личности, что все сказанное им казалось очень умным. Как вначале, так и в заключение представления последовал наш общий с о. ректором земной поклон владыке. Так обычно кланялись ему тогда в Москве все, не только духовные, но и светские лица. Когда митрополит Филарет приезжал в Сергиев Посад и представлялась

---

[242] Перевод франц. слова «визави» и двойной намек как на это обстоятельство, так и на принятие о. Михаилом монашества, которым он был обязан П. С. К-му. Рассказывали, что проф. Казанский доставил студента М. И. Лузина (о. Михаила) в академию начальству, в очень нетрезвом виде, вследствие чего оканчивающему уже курс студенту было предложено принять монашество с оставлением при академии бакалавром.

[243] Иером. Савва (Тихомиров), владим., 10-й маг. XVII к. Моск. акад. (1850), из вдовых священников, 1850–1859 — ризничий Моск. синодальной ризницы, 1859 — ректор. Моск. сем., 1861 — ректор. Моск. акад., 1862 — еп. Можайск., вик. Моск., 1866 — еп. Полоцк., 1874 — архиеп. Харьков., † архиеп. Тверской.

ему академическая корпорация, все поголовно падали пред ним ниц, в начале и в конце представления.

Во время моего приезда в академию, 6 декабря, чтение лекций прекратилось, наступили рождественские экзамены. Лекции начались после святок. Когда наступило это время, А. В. Горский сам ввел меня в аудиторию старшего, XXIV, курса (1860–1864) и по этому случаю сказал небольшую речь. Помнится, он рекомендовал моим будущим слушателям быть внимательными к изучению православного богослужения, которое представляет «цвет и плод» древа жизни Церкви Христовой. Сказав эту речь, он оставил класс и на первой моей лекции не присутствовал.

Начал я чтения по церковной археологии с общего обозрения истории развития христианского богослужения, затем перешел к краткому обозрению литературы предмета, оживляя свои чтения и восполняя естественную их сухость и отрывочность общими церковно-историческими обозрениями. Потом перешел к чтениям об обрядовой стороне важнейших церковных священнодействий, семи церковных таинств, согласно совету, данному мне моим бывшим профессором В. И. Долоцким. В этого рода чтениях я следовал, на первых порах, манере своего бывшего наставника, не задаваясь трудно исполнимой задачей (какой задался в следующие годы) — проследить историю постепенного образования чинопоследования таинств. Пришлось мне читать лекции оканчивающим XXIV курс (1860–1864) студентам в последнее полугодие их учения в академии[244].

Кроме церковной археологии, мне пришлось читать еще гомилетику, или «церковное красноречие», как этот предмет назывался в Московской академии. А. Ф. Лавров († архиепископ Литовский Алексий) признался мне, что это он наградил меня этим предметом, который был до тех пор соединен с «церковным законоведением» и который ему был не по душе, в особенности потому, что приходилось читать

[244] К этому курсу принадлежали: А. А. Смирнов (1-й маг., с 1864 — бак. патристики), А. П. Смирнов (2-й маг., с 1865 — бак. психологии и нравств. философии), Д. Ф. Касицын (3-й маг., с 1867 — бак. новой церк. истории), П. И. Казанский (4-й маг., с 1867 — бак. педагогики), Н. Я. Фортинский (7-й маг., с 1864 — бак. матем.), И. Кратиров (9-й маг., после службы в Вологод. сем., секретарь правл. Моск. акад. после 1869 г., препод., а потом ректор. Харьков. сем., вик. Харьков. епархии, ректор. СПб. акад., еп. Саратов., † на покое).

студенческие проповеди, — занятие далеко не из интересных. В первое полугодие моей службы к чтениям по этому предмету я не приступал, отложив их на один из следующих двух лет курса XXV.

Мои сослуживцы на первых же порах сообщили мне, что у них в академии лекции не пользуются вниманием студентов, не то что, как они слышали, в Петербургской, поэтому советовали не особенно заботиться о составлении и отделке лекций, а изучать предмет для себя. Кроме того, грозили мне так называемым «первым выстрелом», на публичном экзамене, от митрополита Филарета, который имел обычай смирять гордость молодых бакалавров, немилосердно обрывая их и раздавая им очень нелестные комплименты, до дурака включительно[245]. Из слышанных мной рассказов оказалось, однако, что подобных комплиментов, по временам, удостаивались от владыки даже и старшие заслуженные профессоры, вроде протоиерея Ф. А. Голубинского[246].

---

245 Из рассказов этого рода помнится один, именно — как митр. Филарет отнесся, на первом публичном экзамене, к одному из ближайших моих предшественников по кафедре церковной археологии, бак. П. А. Смирнову († прот., председ. Учеб. комитета при Св. Синоде). Этот молодой бакалавр вздумал выдать к публичному экзамену лекции по катакомбной символической живописи. Митр. Филарет, не знакомый с этой тогдашней новинкой, напал на молодого преподавателя и сильно разбранил его. Окончился, однако, этот инцидент тем, что когда, после уже экзамена, митрополиту разъяснили (кажется, А. В. Горский) важность открытий западных археологов для церковной истории и археологии, митр. Филарет смягчился и даже косвенно извинился за свою резкость, а потом дал П. А. Смирнову хорошее священническое место в Москве. Подробный рассказ об этом случае пришлось мне слышать из уст самого прот. П. А. уже в Петербурге, лет 25–30 тому назад.

246 Рассказывали тогда о следующей забавной сцене. Раз как-то, Ф. А. Голубинский, крайне огорченный подобным обращением с ним митр. Филарета, сидит, пригорюнясь, на крыльце своего дома. К нему подходит также старейший сослуживец, товарищ его по студенчеству и сожитель по замонастырскому академическому дому, П. С. Делицын, и спрашивает: «Что вы, Ф. Ал., так пригорюнились?» «Да как же не горевать мне; ведь вы слышали, как назвал меня владыка». «Так-то, так. Но, Ф. Ал., если хорошо поразмыслить, да взвесить, то окажется, что тут нет достаточного основания обижаться и огорчаться. Ведь владыка — такой великий, необыкновенный ум, что, по правде сказать, все мы пред ним, в сущности, оказываемся дураками». «А ведь и то правда», — будто бы ответил Ф. Ал. и совершенно успокоился и повеселел.

Пророчество о «первом выстреле» не сбылось. Ни первого и никакого выстрела от митрополита Филарета мне не последовало. На публичных экзаменах по моему предмету ни в этот первый, ни в последующие годы он не присутствовал. Публичные экзамены в Московской академии продолжались два дня; первый день назначался для главных предметов, второй — для второстепенных, к числу которых относились церковная археология с церковным красноречием, церковное законоведением и некоторые другие. На первом экзамене всегда присутствовал сам митрополит, на втором, в мое время, — его викарий, Преосв. Савва. В виду возражений митрополита Филарета, на публичные экзамены избирались трактаты с большим разбором и осторожностью, по большей части бывшие уже не раз на испытании. И по моему предмету студенты откопали где-то тетрадки старых времен. Были известны по преданию и возражения, какие обыкновенно делал митрополит.

Оба дня публичных экзаменов заканчивались обедами для всех служащих в академии лиц, в первый день — у митрополита, во второй — у ректора. На эти обеды приглашались и начальство, и преподаватели Вифанской семинарии, в свою очередь приглашавшие и нас, академических преподавателей, также на свои обеды по случаю публичных экзаменов в семинарии. Эти празднества вносили немалое оживление в нашу монотонную жизнь. Митрополит Филарет на своих обедах держал себя довольно приветливо с академической братией и не стеснял нас своим присутствием, по крайней мере мы, молодежь, порядочно шумели на своем конце стола. У ректора на обеде он не присутствовал. В Вифанской семинарии проводили время еще приятнее, гуляли в Платоновских рощах и около Вифанских прудов и заходили после обеда к тогдашним вифанским преподавателям, из которых особенно выдавались: М. И. Каринский, впоследствии долголетний мой сослуживец по Петербургской академии, братья Делицыны, Петр и Димитрий Петровичи, и С. Линьков (6-й магистр XXIII курса 1862 г. Московской академии; † Симеон, епископ Минский). Первые трое отличались общительностью и гостеприимством. Всего чаще собирались у М. И. Каринского.

На летние каникулы 1864 г. на родину не ездил, в видах приготовления за это время к лекциям следующего учебного года — 1864/65-го.

50-летний юбилей Московской академии — 1 октября 1864 г. Немного не застав 50-летний юбилей Петербургской академии, праздновавшийся (17 февраля 1859 г.) за 6 месяцев до моего в нее поступления (в августе того же 1859 г.), я имел зато редкое счастье участвовать в юбилейном торжестве Московской академии, 1 октября 1864 года.

В памяти осталось, однако, немногое. Как теперь вижу двух преклонных старцев, под руку вступающих в академический зал для торжественного заседания. Это были: митрополит Филарет и, как тогда говорили, его учитель, — архиепископ Евгений (Казанцев), бывший Ярославский, а в то время — управляющий московским Донским монастырем[247]. Он был тогда слепец, и потому-то митрополит Филарет вел его под руку. Помню речь ректора А. В. Горского и чтение исторической записки профессора С. К. Смирнова. Из приветствий очень живо помнится речь ректора Московского университета С. И. Баршева, бывшего воспитанника Московской академии[248], произнесенная чрезвычайно громким, высокого тембра голосом. Несколько слов произнес также от себя и знаменитый наш историк С. М. Соловьев, бывший в составе депутации от Московского университета, поражавший своим цветущим здоровьем, несмотря на усиленные труды и выпуск ежегодно по одному тому истории. По поводу этих выпусков тогда острили, что у С. М. каждый год, вместе с очередным томом истории, появляется на свет и новый, также очередной, член семейства. Из остальных речей и приветствий помнятся: приветствия настоятеля московского, тогда кафедрального Архангельского собора (ныне придворный) протоиерея

[247] Архиеп. Евгений (Казанцев), 1800 — из Троице-Лаврской сем., 1804 — пострижен, 1809 — инспект. СПб. акад., 1810 — ректор. Троицкой сем., 1814 — Моск. сем., 1817 — архим. Донского мон., 1818 — еп. Курский, 1822 — архиеп. Псков., 1825 — Тобольский, 1831 — Рязанский, 1837 — Ярославский, 1853 — на покое, управл. Донским мон., со зван. члена Св. Синода, † 1876, 27 июля.

[248] Был в составе VII к. Моск. акад. (1830), товарищ по студенчеству архиеп. Филарета (Гумилевского), но пробыл в академии только 3 года, на четвертом был вызван в Петербург для изучения права под руководством гр. М. М. Сперанского, а потом послан за границу.

П. Е. Покровского († главный священник армии и флота)[249] и делегата от С.-Петербургского университета — профессора протоиерея В. П. Полисадова[250]. Характерные фигуры их обращали на себя внимание, а о. протоиерей В. П. Полисадов, кроме того, выдавался еще своей живостью, общительностью и говорливостью. Заметно было, что за П. Е. Покровским ухаживали несколько более, чем за другими членами московского духовенства. Тогда говорили о каком-то значительном денежном пожертвовании, из его ли личных средств, или из сумм, собранных им у московского духовенства. Наконец, помнятся, хотя и не так живо, тов. обер-прокурора Св. Синода князь С. Н. Урусов, с его невзрачной фигурой, и затем — М. Н. Катков, И. С. Аксаков и Н. И. Гиляров-Платонов.

Здесь же, на акте, были объявлены, по случаю юбилея, и награды профессорам и бакалаврам академии. Денежные — профессорам П. С. Казанскому и В. Д. Кудрявцеву (по 500 р.), С. К. Смирнову и экстраординарному профессору священнику Ф. А. Сергиевскому (по 429 р.), бакалаврам — П. И. Горскому-Платонову, Н. К. Соколову, Евг. Евс. Голубинскому и П. М. Хупотскому (по 214 р.). Другого рода награды получили: бакалавры — Дм. Фед. Голубинский — звание ординарного профессора, В. Н. Потапов — экстраординарного профессора, бакалавр иеромонах Иоанн (Митропольский) — звание соборного иеромонаха московского Донского монастыря, бакалавр А. Л. Катанский — благословение Св. Синода, вместе с экономом академии иеромонахом Геронтием и внешними членами конференции (числом 6). В список награжденных не вошли: ректор А. В. Горский, инспектор архимандрит Михаил, ординарный профессор Е. В. Амфитеатров и экстраординарные профессоры Н. И. Субботин и А. Ф. Лавров. Все эти лица, за исключением Е. В. Амфитеатрова,

---

249 Петр Евдокимович Покровский, москв., 8-й маг. VI к. Моск. акад. (1828), 1828 — препод. Вифан. сем., 1834 — свящ. Параскиев. ц., 1855 — прот., настоят. моск. Арханг. соб., 1871 — глав. свящ. армии и флота.

250 Василий Петрович Полисадов, костром., 5-й маг. XIII к. Моск. акад. (1842), товар. по студ. Иоанна Соколова († еп. Смолен.) и проф. П. С. Казанского; 1842 — препод. СПб. сем., 1845 — свящ., 1847 — в Женеве в Швейцарии, 1848–1854 причислен к миссии в Париже, 1854 — настоят. посольской ц. в Берлине, 1858 — проф. богословия в СПб. универ. и настоят. Петропавловского соб., 1871–1874 — при Исаакиев. соб., † 1878.

не оказались в числе награжденных, вероятно, потому, что в предшествовавшие два года получили те или другие награды и для них не наступил еще срок (трехлетний) получения следующей очередной награды[251]. Оказался обойденным один, старейший после ректора, профессор Е. В. Амфитеатров. Но это произошло по совершенно не зависевшим от учебного и вообще духовного начальства причинам[252].

Юбилейный обед был, сколько помнится, в помещении конференции, где находится монументальная, из старинных изразцов, печь (вероятно, она сохранилась доныне). Речей не помню.

---

[251] Ректор прот А. В. Горский в декабре 1862 г. награжден митрой, инспект. архим. Михаил получил в 1863 г. звание ордин. проф., а А. Ф. Лавров, в том же 1863 г., — экстраорд. проф., Н. И. Субботин — орден св. Анны 3-й степени.

[252] Он оказался тогда состоявшим некоторым образом под судом, по следующему случаю. Рассказывали, что вскоре по открытии участка железной дороги от Посада до Москвы, находясь у кассы III кл. для получения билета в Москву, он оттолкнул жандарма, не допускавшего его до кассы вне очереди, при многочисленном стечении пассажиров. Почему Е. В. Ам-в дозволил себе такой поступок или, как теперь любят выражаться, «жесть», объясняли так. Старейший в академии, заслуженный профессор, считавший себя первым, после ректора и наместника Лавры, лицом в Посаде, к тому же человек довольно гордого характера, он возмущен был непочтительным к себе отношением жандармского унтер-офицера и притом где же? — в вокзале, строившемся на глазах Е. В., почти возле его дома, как бы в области его владений. Таков, как тогда говорили, был источник, из которого возник у него конфликт с жандармом. Жандарм донес о поступке профессора своему ближайшему начальству, а то – в Петербург, в III тогдашнее отделение, шефу жандармов, всесильному тогда, гр. Петру Андр. Шувалову; III же отделение сообщило об этом происшествии духовному начальству. Словом, возникло очень неприятное дело о нанесении оскорбления нижнему чину, при исполнении им обязанностей по службе. Как шло это дело, не могу сказать; возникла, конечно, переписка, потребовано было от Е. В. объяснение и т. д. Наверное могу сказать только одно, что долго, вероятно до 1867 или даже до 1869 г., тяготело над Е. В. обвинение в его поступке с жандармом, пока мой тесть, прот. И. В. Васильев, сделавшийся в 1867 г. председателем Учеб. комитета при Св. Синоде, не упросил гр. П. А. Шувалова, большого своего почитателя, замять это дело и восстановить почтенного, уважаемого профессора, к тому же земляка (орловца) во всех его правах по части наград. Об исходе этого дела слышал от самого прот. И. В. Васильева, уже в Петербурге, следовательно, не ранее 1867 года.

Два учебных года — 1864/65 и 1865/66 — были годами усиленных моих трудов по изучению предметов преподавания, в особенности церковной археологии.

Громадную пользу при этом принесли мне указания незабвенным о. А. В. Горским источников и пособий для изучения разных отделов этой науки. При начале каждого нового отдела я неизменно отправлялся к многоученому своему ректору, который с видимым удовольствием принимал эти мои посещения. Встречая меня сначала с некоторой напускной, не свойственной ему, ректорской важностью, затем, когда заходила речь о книгах, совершенно преображался, видимо забывал, что он ректор, а перед ним — младший из бакалавров, лазил под диваны и кресла, доставая оттуда нужные книги, и нагружал меня ими, обыкновенно в большом количестве. Причем никогда, однако, не указывал, где что взять и в каком именно отношении важно то или другое сочинение, предоставляя мне самому разбираться в груде полученных книг. В одном только можно было быть уверенным, что уносишь с собою всё, что в тогдашней литературе было самого лучшего, важного и новейшего. Считаю нелишним еще прибавить, что библиотека Московской академии была чрезвычайно богата (гораздо богаче, чем библиотека Петербургской) книгами по церковной истории вообще и церковной археологии в частности, да, кажется, и по другим предметам академического курса. Здесь сказалось также влияние профессора А. В. Горского, в его двадцатилетнее библиотекарство (1842–1862).

Начал и на сей раз с церковных таинств, но при этом задался другой, несравненно более трудной, чем в первое полугодие (с января 1864 г.), задачей, именно — проследить историю постепенного образования литургической стороны семи церковных таинств в нашей православной восточной Церкви. Трудность выполнения такой задачи обусловливалась как отсутствием в литературе пособий, преследовавших эту цель, так и крайней отрывочностью, с одной стороны, и скудностью материала, с другой, — для связного и последовательного изображения исторической судьбы каждого из чинопоследований церковных таинств. Для первых IV–V веков имелось, правда, достаточно материала в трудах западных протестантских и римско-католических литургистов (Бингама,

Августи и Бинтерима)[253], но этот материал был сырой, разбитый на рубрики, и требовалось немало труда и искусства, чтобы из этой мозаики составить нечто цельное, а для истории православного восточного обряда, начиная с V–VI веков, не оказывалось и такого материала, и тут уже приходилось по крупицам самому собирать исторические данные, сюда относящиеся. В том и другом отношениях, особенно в последнем, незаменимую помощь оказал А. В. Горский рекомендацией различных ученых трудов. Так, для истории литургии и других важнейших священнодействий усиленно рекомендовал труд Гоара (Евхологион), и, в частности, для выяснения схемы литургии, в первоначальной стадии ее развития, сочинение Бунзена — Hyppolitus und seine Zeit — и труд Людольфа (Historia Aetiopica –XVII в., — она также была у меня в руках), на котором этот ученый (Бунзен) построил свою гипотезу о древнейшей схеме литургии, затем труды Ренодота (Liturgiarum orientalium collectio) и Даниеля (Codex liturgicus — важный для сравнения всех литургий, восточных и западных, древних и новых) и несколько других сочинений, менее капитальных. Для истории литургической стороны таинств в последующее, с V–VI веков, время огромное значение имел для меня последний том «Описания рукописей Московской Синодальной библиотеки», данный мне незабвенным А. В. Горским — в корректурных листах (тогда этот том только еще печатался). Этот том содержал поистине богатую сокровищницу драгоценных указаний на то, что в православном восточном обряде явилось с XI–XII веков и чего не было до того времени. Правда, им не восполнялась огромная пустота, недостаток исторических данных для промежуточного периода между V,VI и XI и XII веками. Тут уже приходилось прибегать по большей части к догадкам, вероятным предположениям, пробавляясь теми крупицами фактов, которые можно было находить или в творениях отцов и писателей Церкви, или в трудах римско-католических ученых, вроде Бинтерима, в тех случаях, когда наш православный восточный обряд совпадал со средневековым римским. Из нашей отечественной

---

253 Bingam — Origines eccles., Augusti — Denkwürdigkeiten aus der chistl. Archeologie, Binterim — Die vorzuglichsten Denkwürdigkeiten der christl. Kirche.

литературы очень полезными были труды архиепископа Филарета (Гумилевского) по патрологии («Историческое учение об отцах Церкви»), в особенности же — «Исторический обзор песнопевцев и песнопений греческой Церкви» и издание С.-Петербургской академии — «Писания св. отцов и учителей Церкви, относящиеся к истолкованию православного богослужения». О характере моих чтений по этому отделу церковной археологии можно судить по напечатанным мной впоследствии статьям: «Очерк истории литургии нашей православной Церкви» («Христ. чтение», 1868), «К истории литургической стороны таинства брака» («Христ. чтение», 1880) и «Очерк истории обрядовой стороны таинства елеосвящения» («Христ. чтение», 1880). В основе этих статей лежат прежние московские мои лекции, правда со значительной их переработкой и дополнением.

Ту же задачу преследовал и того же, в сущности, метода держался в своих чтениях и по другим отделам литургики, то есть стремился представить исторический очерк постепенного развития различных частей и сторон православного восточного богослужебного обряда, как ни трудно было подчас удовлетворить такого рода целям и задачам. Вдобавок, всегда по возможности старался проводить параллель между восточным и западным (римским, англиканским и лютеранским) обрядами, по большей части в окончательно уже сложившемся их виде, по временам только входя в исследование исторической судьбы некоторых частностей западного обряда.

Покончив с отделом о семи церковных таинствах, перешел к отделу о храме, как месте общественного богослужения, рассматривая его с двух сторон: со стороны внешнего его вида — архитектурной и со стороны внутреннего его устройства, расположения и назначения его частей.

В первом отношении, — после трактата о домашних церквах и катакомбах первых христиан и древних базиликах, — должен был пуститься в область архитектуры, изучать различные ее стили, начиная с ассирийско-вавилонского, египетского, древнегреческого и древнеримского, продолжая византийским, переходным к готическому (ломбардо-флорентийским), средневековым готическим, романским и оканчивая древнерусским, постройками деревянных церквей в древней России и каменных, разных смешанных стилей,

церквей на Руси — в Киеве, Новгороде, Владимире-на-Клязьме, Москве и других городах. При этом под руками оказалось, благодаря, конечно, тому же А. В. Горскому, всё, что было тогда самого лучшего и даже редкого и дорогого по этой части. Для изучения базилик было сочинение Цестермана — Die antiquen und christl. Basiliken, для изучения стилей ассиро-вавилонского и египетского — редкое и очень дорогое издание наполеоновской экспедиции в Египет — Description de l'Egypte (t. 1–26)[254], для древнегреческого, римского, готического и романского стилей — несколько руководств по церковной археологии на французском языке (под церковной археологией у французов разумелась исключительно архитектурная археология), для византийского стиля — Зальценберга — Altchristliche Baudenkmale von Constantinopel VI–XII Jahrh.), для русских храмов — труды графа Строганова («Дмитриевский собор во Владимире»), Снегирева («Москва», «Памятники московских древностей»), Мартынова («Памятники московских древностей»), сборники материалов Севастьянова и некоторые другие.

По истории внутреннего расположения частей храма находились данные отчасти в западных археологических трудах Бингама, Августи, Бинтерима и др., отчасти — в наших отечественных исследованиях. Из последних в особенности важную услугу оказало сочинение Филимонова — «Церковь св. Николая на Липне», для решения вопроса об алтарных преградах, русском иконостасе.

Отдел о церковной иконографии начал с катакомбных символических изображений, пользуясь, главным образом, трудом Ажинкура («Histoire de l'art) и отчасти Мартиньи (Dictionnaire d'antiqu. chret.) и статьями русских духовных журналов («Христ. чтение», 1864 — «Катакомбы», «Дух. вестник», 1864, июнь, и др.), потом перешел к византийскому иконописанию, причем имел под руками «Менологий императора Василия Македонянина» (какое-то очень старинное издание) и Дидро — об афонских иконописцах XII в. Didrot — Manuel

[254] Замечательно, что это поистине драгоценное, роскошное и многотомное издание приобретено Московской академией дешевле, чем за грош, — только за 50 р. (?!!), по смерти архиеп. Тобольского Афанасия, а им куплено за 1000 р. ассигнациями (?!). (См.: С. К. Смирнов «История Моск. дух. акад. 1814–1870 гг.», стр. 286).

d'iconographie greque et latin[255]. Для ознакомления с русским иконописанием пользовался трудами Ф. И. Буслаева («О русском иконописном подлиннике» — в очерках, «Общие понятия о русском иконописании» — в «Сборнике общ. древнерусского искусства»), И. П. Сахарова («О русском иконописании» — 1 и 2 вып.), «Древности и символика Киево-Софийского собора» (Творения св. отцов, 1859) и др. В конце этого отдела представил характеристику византийской религиозной живописи, нашей древнерусской иконописи, с ее различными школами до суздальской включительно, наконец западной итальянской, оказавшей влияние через Новгород и Псков и на старую московскую живопись (в XVI в. — дело дьяка Висковатого). В заключение, воспользовавшись очень интересной статьей в одном немецком сочинении, дал очерк развития всей вообще западной живописи, не только религиозной, но и светской, в связи с возвышением или упадком религиозности — или возвышавшейся до недосягаемой высоты (век Рафаэля, Микеланджело и др.), или постепенно падавшей до очень низкого уровня, как и в переживаемое нами время.

В отделе о священных одеждах и сосудах прежде всего решался вопрос: были ли богослужебные одежды первых веков христианства вообще отличны от обыкновенных одежд и не были ли они заимствованы от одежд, употреблявшихся в ветхозаветной Церкви. Для решения этого вопроса пользовался очень хорошей статьей Гефеле (Beitrage zur Kirchengesch., Archeol. und Liturgik, 1864), затем, в частности, трактовал об одеждах диаконских, священнических и архиерейских — с определением сравнительной их древности. Окончательный результат: древнейшие священные одежды: подризник с его видоизменением стихарем, фелонь, орарь с епитрахилью и омофор. Из позднейших ранее других явилась митра, позднее — саккос, палица, панагия и, наконец, набедренник (особенность нашей русской Церкви). Кроме западных археологических трудов пользовался, между прочим, «Обозрением Московской патриаршей ризницы» — Преосв. Саввы, где встречается немало ценных исторических и археологических замечаний. — В отделе о священных

[255] Был у меня в руках и труд Пицера — описание Берлинского музея (т. 1). Но тогда вышел только первый том, своим содержанием не представлявший для меня интереса.

сосудах трактовалось прежде всего о сосудах, употребляемых при совершении таинства Евхаристии: потире («Древности» в «Трудах Московского археологического общества», 1865), дискосе, звездице, лжице, копье, дарохранительнице, а потом и о других священных сосудах и принадлежностях богослужения. Пособия были те же, что и для трактата о священных одеждах. В заключение трактата о священных одеждах и сосудах проводилась параллель между тем, что сохранено от древних времен нашей православной Церковью и что есть в римской Церкви и осталось в англиканстве и лютеранстве.

Чтения по церковной археологии заканчивались обширным отделом о временах богослужения в круге годичном, седмичном и суточном. Начинал с круга годичного, продолжал — седмичным и оканчивал суточным. В годичном круге, около великих праздников Пасхи, Пятидесятницы и Богоявления Господня, с Рождеством Христовым, как около трех центров, группируются все праздники и посты года, а потому и рассматривались они как части трех циклов: Пасхи, Пятидесятницы и Рождества Христова. Начинал с цикла пасхального, переходил к циклу Пятидесятницы и заканчивал циклом Рождества Христова. Вместе с историей праздников и постов, группировавшихся около этих центров, занимался историей пасхалии, календаря, месячной минеи и триоди постной и цветной. Что касается круга седмичного богослужения, то после решения вопроса о том, откуда и когда явилось деление года не только на месяцы, но и на недели, трактовалось о характерных чертах и особенностях богослужения в различные дни недели. В связи с этим трактатом сообщались сведения об октоихе. Суточное богослужение сформировалось в окончательном виде в древних восточных монастырях, а потому вместе с трактатом в различных частях его (повечерии, вечерне, полунощнице, утрене, всенощном, часах и литургии) сообщались сведения о трудах по этой части Василия Великого и об уставах иерусалимском и студийском. Этот важный отдел литургики (разумеем весь отдел о временах богослужения и различных церковных службах и богослужебных книгах) был тогда очень мало разработан в нашей литературе. Разработка его весьма значительно подвинулась вперед впоследствии, благодаря солидным трудам профессоров: И. Д. Мансветова (моего преемника по кафедре церковной археологии), А. А. Дмитриевского (киевского профессора) и Н. Ф. Красносельцева

(казанского профессора; † профессор Новороссийского университета). Приходилось по частям отовсюду собирать исторические данные, относящиеся к указанным предметам и вопросам. Много помогало известное сочинение протоиерея Дебольского «Дни богослужения», но далеко не удовлетворяло всем научным запросам по части исторических сведений. Для истории праздников находились пособия в отечественной литературе, в статьях «Творений св. отцов» (1857 г. XVI — праздник Пятидесятницы, 1858 г. XVII — праздник Вознесения Господня). Для истории праздника Рождества Христова было в руках весьма хорошее сочинение берлинского профессора Касселя — Weihnachten, Ursprung, Brauche und Aberglauden, 1856. Для истории постов — диссертация, изданная при Московской академии (точного заглавия не помню). Для истории пасхалии, календарей, начале нового года и т. п. — труд Араго, посвященный изложению популярной астрономии.

Вообще, для всех моих лекций по церковной археологии старался собирать данные отовсюду, не только из духовных журналов, но и из светских. Чего из всех моих предположений осуществить мне не удалось, это составить очерк истории церковного пения вообще и у нас, в нашей отечественной Церкви, в частности. В этом случае помешало мне совершенное отсутствие музыкального образования и даже природная к нему неспособность, и потому пришлось ограничиться только краткими замечаниями по этому предмету, хотя под руками были уже некоторые материалы для более обстоятельного очерка истории церковного пения[256].

Соединенному с церковной археологией предмету — гомилетике, или (как она называлась в Московской академии) «церковному красноречию», посвящал гораздо менее внимания, уделяя этому предмету не более ¼ всего двухгодичного курса, читал гомилетику в течение одной половины года, в первую его треть, до Рождества

[256] В. М. Ундольского — «Замечания для истории церковного пения в России» («Чтения в обществе истор. и древн.» 1846–1847), Бессонова — «Судьба нотных певческих книг» («Православ. обозрение», 1864, май), Сахарова — «Исследование о русск. церковн. песноп.» («Журн. мин. нар. просв.», 1849) и даже труды известного знатока русск. церковн. пения, прот. Разумовского, о наших крюковых нотах и напевах.

Христова. Этого рода чтения имели также характер исторический, а не теоретический. Они состояли из очерков истории церковной проповеди, начиная с первых веков христианства. Для истории древнейшего ее периода, до V в., прекрасным пособием был известный труд Паниля — Pragmat. Gesch. der christl. Bereds. Для очерков дальнейших периодов — с V по X век, средневекового и на протестантском и римско-католическом Западе (о знаменитых французских проповедниках — Боссюэте, Бурдалу, Фенелоне и Массильоне) — различные менее выдающиеся пособия. Впрочем, нужно признаться, эти очерки имели довольно общий, поверхностный характер. Истории же нашей отечественной проповеди не коснулся вовсе, спеша перейти к любимым своим занятиям по церковной археологии. Лекции по гомилетике читал только один раз за все время службы в Московской академии, XXV ее курсу (1862–1866).

Лекции свои читал, а не говорил, не надеясь на небогатый свой дар слова и опасаясь природной застенчивости и конфузливости.

Мои идеалы академического профессора совершенно расходились с идеалами сослуживцев, которые, как замечено уже выше, советовали больше всего заниматься изучением предмета для себя и обращать поменьше внимания на составление лекций, не посещаемых студентами. Мне же хотелось, вместе с серьезным изучением церковной археологии, иметь у себя поболее и внимательных слушателей, и в конце концов мне удалось до некоторой степени достигнуть желаемого. Студенты посещали мои лекции, правда, в умеренном количестве, но во всяком случае моя аудитория никогда не была пуста. Всего более бывало слушателей при начале каждого отдела и постепенно уменьшалось к его концу. Мои слушатели заметили мое усердие и даже однажды поручили одному из своих товарищей, посещавшему меня, сказать мне: «Зачем вы так усердно занимаетесь составлением лекций, они у нас мало посещаются и ценятся. Ведь если бы Ангел пришел к нам с неба и начал читать нам лекции, на первых порах мы бы, конечно, его послушали, сказали бы, что его лекции прекрасны, а потом... все-таки перестали бы ходить к нему». Но на меня не особенно подействовало и это предупреждение студентов, и я продолжал вести свое дело по-прежнему. Результатом было крайнее мое переутомление в двухлетний учебный курс 1864–1866 гг., но зато моя репутация, как хорошего лектора, прочно утвердилась между студентами, что

и выразилось раз в лестных по моему адресу надписях в классном журнале[257] и аплодисментами на одной из лекций[258].

Нельзя сказать, чтобы студенты мало занимались. Они много читали серьезных научных книг; но особенно много времени употребляли на составление сочинений. Замечательно, как они держали себя на экзаменах. С поразительным спокойствием, нимало не беспокоясь относительно удовлетворительного ответа на вопросы. Кто мало знал, тот прямо так и заявлял, что он не может ничего сказать на известный билет (экзамены производились по билетам, как и в Петербургской академии), а когда к нему приставали, что не может быть, чтобы он не знал того или другого из общеизвестных фактов, неохотно отвечал кое-что, повторяя в заключение, что, в сущности, он все-таки ничего не знает. Вообще, от студенческих ответов получалось такое впечатление, как будто, присутствуя на экзаменах, студенты делают некоторое одолжение экзаменаторам, проявляют некую к ним любезность. Происходило это оттого, что экзаменским ответам придавалось в Московской академии еще меньшее значение, чем в Петербургской, можно сказать, — почти никакого. Кстати, экзамены по церковной археологии и гомилетике соединялись с экзаменом по каноническому праву, так что А. Ф. Лавров и А. Л. Катанский были один у другого

---

[257] Раз студенты дозволили себе одну очень дерзкую выходку: испещрили классный журнал замечаниями относительно достоинства лекций преподавателей и вообще краткими характеристиками личностей профессоров и бакалавров. По большей части эти замечания были очень грубыми и неблагоприятными для тогдашнего состава академической корпорации; исключение составляли очень немногие надписи, в том числе против бак. А. К-го надпись: «достоин профессора». Эта дерзкая выходка студентов довольно благополучно сошла им с рук. Виновные не найдены.

[258] Прервав свои лекции по археологии, я вздумал однажды посвятить одну лекцию гомилетике, с целью поделиться своими впечатлениями от чтения студенческих проповедей, о чем, в конце предшествующей лекции, и сообщил своим слушателям. В назначенный день собрался весь курс, аудитория была полна, как никогда. И хотя мои слушатели услышали от меня весьма мало для себя лестного, так как со всей откровенностью я высказал довольно безотрадные впечатления, вынесенные из чтения их произведений, они, однако, сочли нужным наградить меня в конце лекции громкими аплодисментами. Потом сообщили мне, что о. ректор А. В. Горский, которому ежедневно приносили классный журнал с записями о содержании лекций, спрашивал дежурного, что именно говорил я о студенческих проповедях. Со мною об этом предмете разговора у него не было.

ассистентами, а студенты отвечали — один — по одному предмету, другой — по другому. Председательствовал на этих экзаменах ректор, А. В. Горский. Жутко было мне, такому, так сказать, пигмею, выступать с результатами своих чтений перед таким колоссом науки богословской вообще и церковно-исторической в частности, как А. В. Горский, но о. ректор по своей деликатности и такту ни разу не дал мне почувствовать громадной между нами разницы и не делал никаких возражений по поводу моих тезисов; по крайней мере ничего подобного не припоминается.

Студенты Московской академии, как уже замечено выше, были мало похожи на нас, петербуржцев. Они держали себя с большим сознанием своего достоинства, так как составляли единственную интеллигенцию Посада и не видели ничего выше себя. Вели себя очень свободно и по отношению к своим наставникам. Нисколько не стесняясь их, едва удостаивая на улице раскланиваться с ними, преспокойно продолжали ухаживать за местными дамами и барышнями, так что мы, по крайней мере молодые бакалавры, более стеснялись их, чем они нас. Иногда они задавали концерты, играя на скрипках, виолончелях и флейтах в студенческих комнатах с открытыми окнами, между тем как в академическом садике, перед жилыми студенческими комнатами, прогуливалась посадская публика, наслаждаясь музыкой академических артистов. Впрочем, после нескольких таких концертов они прекратились, вследствие протеста лаврских монастырских властей. И после того, однако, этот студенческий оркестр не раз играл, но уже не публично, а в квартирах академических профессоров, например, у С. К. Смирнова, Ф. А. Сергиевского и, кажется у А. Ф. Лаврова, когда собирались у них гости. Раз, помнится, был такой вечер у Ф. А. Сергиевского, и на нем, между прочим, присутствовал родной его брат Н. А. Сергиевский[259] (одноименник профессора

[259] Ник. Ал. Сергиевский, 3-й маг. XX к. Моск. акад. (1856), 1856–1858 — бак. библейск. истории и греч. языка, 1858 — чин. особ. поруч. при обер-прок. Св. Синода, 1861 — чин. особ. поруч. при мин. нар. просв., 1862 — обер-секретарь канцелярии Св. Синода, 1864 — инспект. акад. комм. наук, 1866 — директ. канцелярии обер-прок. Св. Синода, 1869 — попечитель Виленск. учебн. округа.

Московского университета, протоиерея Н.А. С.), бывший в то время инспектором Московской практической академии коммерческих наук, замечательный тип необыкновенно холодного, выдержанного бюрократа. Был он со своей супругой, москвичкой, из купеческого рода. Солидные люди играли в карты, а мы, молодежь, танцевали под музыку студенческого оркестра. Особенно много таких вечеров провели мы у профессора С.К. Смирнова, у которого было много дочерей-подростков. Студенческий оркестр составляли: С.И. Миропольский (известный потом педагог, † вице-дир. Синод. канцелярии), Н.Н. Корсунский (шурин А.Ф. Лаврова), М. Световидов и др.

Наиболее даровитыми в этом XXV курсе студентами были: С.И. Миропольский, В.П. Сланский († на служ. в Госуд. контроле), Д. Извеков (преподаватель СПб. семинарии), А. Кудрявцев († протоиерей, профессор одного из университетов, Одесского или Харьковского), вдовый священник Петр Леонтьевич Лосев († епископ Пермский), П.Ф. Комаров (и.д. бакалавра в СПб. академии, потом библиотекарь ее, наконец священник)[260].

---

260 Из них: С.И. Миропольский, воронеж., 8-й маг.; В.П. Сланский, воронеж., 9-й маг.; Д. Извеков, калуж., 1-й маг.; А. Кудрявцев, вифан., 2-й маг.; свящ. П. Лосев, рязан., 5-й маг.; П.Ф. Комаров не получил никакой степени, хотя стоял в списке под номером 1. Правда, как теперь помню, при составлении списка в течение курса на вопрос, кого ставить под номером 1, обыкновенно отвечали: «Некого», — «Ну, так поставим Комарова», — замечал А.В. Гор. Зависело это от того, что даровитейшие студенты (Миропольский и Сланский) не удовлетворяли требованиям или дисциплины, или аккуратного исполнения учебных студенческих обязанностей, а Комаров, не выдаваясь особенно своей даровитостью, казался подходящим для занятия этого места. Судьба П.Ф. Комарова, вызванного Преосв. Иоанном (Смоленским, тогда ректором СПб. акад.) для занятия кафедры нравств. богословия в СПб. академии, в надежде, что он примет монашество, оказалась довольно необыкновенной: монашества он не принял, диссертации не представил и, хотя прослужил, не имея никакой ученой степени, бакалавром с 1866 до 1869 г., но с уставом 1869 г. должен был оставить кафедру, сделан был библиотекарем, а затем принял священство и был где-то в Калужск. епархии священником. В этом курсе были еще довольно замечательные личности, люди не без способностей, но хромавшие относительно поведения: С. Раевский, тульск., 42-й канд., и М. Семеновский, владим., 43-й канд. († прот. ц. Лазенковского дворца в Варшаве). О них говорили тогда, что они «составляют больное место инспектора о. Михаила».

Начальство и сослуживцы. Поистине великий святитель, Московский митрополит Филарет (Дроздов)[261], 46 лет занимавший Московскую кафедру (с 1821 по 1867 г.), был для академии более, чем обыкновенный высший начальник. Он, можно сказать, исключительно делал в ней хорошую и дурную погоду. В мое время, доживая последние годы своей долгой жизни († 19 ноября 1867), он был только солнцем, освещавшим ее своим сиянием, и перестал быть грозным громовержцем, каким он был в прежние, более ранние годы своего начальствования над академией. До нас, молодых преподавателей, доходили только предания прежнего времени и отзывы о суровом его режиме. Но замечательное дело, что ни от одного человека, даже из молодежи, обыкновенно не склонной к преклонению перед старыми людьми, не приходилось слышать речи об ослаблении умственных его способностей, вроде того, что, дескать, выжил старик из ума. Его необыкновенный ум и авторитет непоколебимо стояли в сознании академии, можно сказать, загипнотизированной его гением. Деятельное участие в академической жизни проявлял он по-прежнему. Так, по-прежнему он, между прочим, зорко следил за тем, чтобы из «его академии» не выходило ничего слабого в ученом отношении или неудобного в цензурном, будут ли то труды академических наставников или диссертации студентов. Поэтому магистерские (студенческие) диссертации, отсылаемые в Св. Синод, подвергались им самой строгой цензуре, непосредственному его рассмотрению и прочтению, по крайней мере в отрывках, на конференции[262]. В виду чего академическим преподавателям самим приходилось очень много работать для приведения их в более совершенный вид, так что некоторые из студенческих магистерских диссертаций чуть не наполовину составляли труд профессоров — руководителей магистрантов. Перспективой такого труда угрожали и мне, но мне не пришлось испытать ничего подобного, так как две-три диссертации, писанные по моему

[261] Филарет (Дроздов), москов., 1803 — из Троице-Лаврской сем., 1808 — пострижен, 1811 — архим., 1812 — ректъ СПб. акад., 1814 — докт. богосл. 1817 — вик. Ревельск., 1819 — архиеп. Тверск., 1820 — Ярослав., 1821 — архиеп. Моск., 1826 — митр. Моск., † 1867, 19 ноября.

[262] Как происходили эти конференции, не могу сказать, так как на них не присутствовал, да и не мог присутствовать, не будучи профессором.

предмету, не попали в число магистерских. Памятно мне еще мнение митрополита Филарета о темах для диссертаций на ученые степени. В одном из заседаний в собрании академических наставников, при обсуждении вопроса об этих темах, ректор А. В. Горский, по поводу тем о вселенских соборах, заметил: «Владыка — против такого рода тем, он находит, что молодым людям они не по силам; мало ли чего не бывало на вселенских соборах». Последняя фраза очень живо помнится, и она очень меня поразила, как мнение, очевидно, самого митрополита. Затем, помню еще один случай, ярко выставляющий заботу митрополита Филарета о том, что выходит из его академии из-под пера не студентов только, но и профессоров. Прихожу раз к инспектору о. Михаилу, когда он только что воротился домой, вижу его в страшной испарине, с красным лицом, точно он только что вышел из бани, и говорю ему: «Вы, вероятно, были в бане?». «Да, — отвечает он, — был действительно в бане, только не в обыкновенной, а в Филаретовской». Оказалось, что о. Михаил печатал тогда свои статьи: «О Евангелиях и евангельской истории, по поводу книги Ренана — Жизнь Иисуса» и должен был предварительно, перед их напечатанием, прочитывать свою рукопись митрополиту Филарету, жившему в ту пору в Вифании, в своем ските. Это было летом, в один из обычных его туда приездов. Между прочим, о. Михаил сообщил, что митрополит очень неохотно согласился на напечатание его статей, опасаясь смущения умов читателей приводимыми в них взглядами Ренана на лицо Христа Спасителя. Кстати, о приездах митрополита Филарета в Сергиев Посад, а оттуда в Вифанию. В один из таких приездов — вероятно, последний или предпоследний (в 1866 или 1867 г.) — он был очень любезен с академической корпорацией. При представлении он сказал нам: «Очень рад, что снова нахожусь среди вас, мне всегда приятно быть в среде академического братства; а как идет дело по изданию церковно-исторического словаря?». На этот словарь он дал 10.000 р. Ректор отвечал, что дело идет довольно успешно (? — далее будет видно, насколько это было верно). «Вы меня извините, — продолжал митрополит, — я и сам должен бы принять деятельное участие в этого рода ваших трудах, но по старости не могу; силы мои оскудели». Если к сказанному прибавить то впечатление, какое я вынес, при моем представлении митрополиту Филарету, по случаю испрошения его благословения

на вступление мое в брак (об этом сказано будет ниже), то это будет всё, что у меня осталось в воспоминаниях об этой замечательнейшей личности. В последний раз я видел его на публичном экзамене в июне 1867 г. (здесь он поразил меня необыкновенно блестящими живыми глазами) и на обеде, по этому случаю, в его лаврских покоях, за четыре-пять месяцев до его кончины (19 ноября 1867 г. — в то время я уже служил в Петербургской академии, с 30 июля 1867 г., — и, к сожалению, не участвовал в отдании последнего долга поистине великому святителю). Таким образом, лично у меня остались одни только светлые воспоминания о митрополите Филарете.

Ректор академии (с 23 октября 1862 г.) о. протоиерей Александр Васильевич Горский[263] — такая редкая, необыкновенная и многосторонняя по своей ученой деятельности и по своему влиянию личность, что весьма трудно в кратких словах дать исчерпывающую его характеристику. Полную и необыкновенно удачную, всестороннюю его характеристику можно читать в превосходном, мастерском очерке (преемника Евг. Евс. Голубинского) профессора С. И. Смирнова («А. В. Горский» — «Богосл. вестник», 1890, № 11), а краткую, но весьма выразительную, — у Н. П. Гилярова-Платонова (Сборник его сочинений, изд. К. П. Победоносцева, т. 2, стр. 464–465), где этот замечательный ученый и публицист, весьма строгий и злой на язык критик, преклоняясь перед личностью А.В., как «личностью колоссальною», пишет: «Этот аскет профессор, этот инок мирянин, с подвижническою жизнью соединявший общительную гуманность и готовность всякому служить своими знаниями и трудами, — это было необыкновенное явление. Оно едва ли повторится. Оно было созданием особого духовного строя в известный период Московской академии, где А. В. Горскому предшествовал первообраз его — Ф. А. Голубинский, с тою же бездною эрудиции, с глубоким мыслительным умом и не только с отсутствием тщеславия, но со смирением,

[263] А. В. Горский, костром., 3-й маг. VIII к. Моск. акад. (1832), товар. по студ. Филофея (Успенского, 1-го маг. Курса; † митр. Киев.), 1832 — препод. Моск. сем., 1833 — бак. церк. истории, 1837 — экстраорд. проф., 1839 — орд. проф., 1860 — свящ., без вступления в брак, и прот., причисленный к моск. Архангельскому соб., 1862 — рект. Моск. акад., 1864 — докт. богосл., † 11 октября 1875 г.

о котором трудно составить даже понятие». Вполне присоединяясь к этой меткой и совершенно верной характеристике, прибавим от себя только несколько слов о нем как ректоре академии. А. В. Горский был незаменимый, можно сказать идеальный, ректор академии как *ученый* ее руководитель, что, впрочем, ясно видно из всей этой главы наших воспоминаний. Как администратор он не выдавался способностями этого рода, имел даже недостатки в этом отношении, но эти небольшие дефекты сугубо покрывались громадными достоинствами ума и сердца незабвенного старца, великого ученого и необыкновенной доброты человека. К студентам относился с большим снисхождением, но это видимая как бы его слабость вела только к тому, что студенты боялись чем-нибудь огорчить своего ректора — «папашу», как они обыкновенно его называли, и при своих проказах нередко останавливали друг друга словами: «Узнает папаша, расплачется». Как мы видели выше, он дозволил даже студенческому оркестру играть пьесы в студенческих комнатах с открытыми окнами. Видели также, что это дозволение было взято назад по протесту со стороны лаврского начальства. Последнее имело, конечно, вполне достаточные для того основания. Но вместе с тем тут сказался и некоторый антагонизм Лавры с Академией, — антагонизм, который давал себя знать во многих и других случаях, что весьма естественно при сожитии, в одной ограде, двух различных самостоятельных и независимых одно от другого учреждений. И ректору, протоиерею А. В. Горскому, при всей его кротости, смирении и миролюбии, трудновато было сохранять добрые отношения с лаврскими властями, так что у него по временам вырывалась фраза: «Не знаю, что делать с Лаврою». Тем труднее было его положение, что во главе Лавры стоял тогда очень влиятельный и имевший большой вес у митрополита Филарета наместник — архимандрит Антоний, недружелюбно относившийся к академии и по некоторым личным мотивам[264]. К профессорской корпорации,

[264] Рассказывали, будто архим. Антоний задумал получить степень магистра, не прослушав академического курса. Для этой цели будто бы приготовлена была диссертация, составленная, как гласила молва (может быть, сплетня?), проф. С. К. Смирновым. Но все это предприятие окончилось ничем. Когда был этот инцидент, не могу сказать. Во всяком случае эта история относится не к описываемому времени, а к более раннему.

в том числе и к младшим ее членам, молодым бакалаврам, ректор А.В. относился крайне деликатно и сердечно. В академическом правлении не обнаруживал деспотических наклонностей, предоставляя, как тогда говорили, много простора влиянию и опытности тогдашнего секретаря правления, старейшего после себя профессора, Е. В. Амфитеатрова, которого тогда называли «воротилой» академической администрации. И такая уступчивость ректора служила, без сомнения, только в пользу успешного течения административных академических дел. Единственным, довольно чувствительным его недостатком была необыкновенная мнительность — медлительность и нерешительность в ведении академических изданий. Эти его свойства обусловливались, можно думать, крайней ученой его добросовестностью и требовательностью и отчасти влиянием Филаретовской беспощадной критики. Издание академического журнала — «Творения св. отцов» — почти приостановилось, книжки его выходили неаккуратно, в год — две-три. Насколько сказался тут недостаток материальных средств — слабость подписки, неизвестно. Об этом не было тогда и речи, а взваливали вину всецело на ректора. Упомянутый церковно-исторический словарь, задуманный самим А.В., о чем и заявлено было им в юбилейной речи по случаю празднования 50-летия академии (в 1864 г.), нисколько не двигался вперед. Преподаватели разных наук представляли о. ректору алфавитные списки трактатов, имевших войти в словарь, но все это падало точно в Лету. По этому поводу живо вспоминается следующая характерная сцена — в квартире ректора, в один из праздников, когда академическая корпорация по обычаю собралась у него после литургии. О. ректор, А. В., сидит на диване, а на креслах вокруг стола — старейшие профессоры, в том числе П. С. Казанский. Мы, совсем или сравнительно молодые, в том числе А. Ф. Лавров (впоследствии архиепископ Алексий), В. Н. Потапов, П. И. Горский, Н. К. Соколов, стоим в кучке недалеко от старейших профессоров. Возле нас очутился и наш тогдашний академический доктор Нил Петр. Страхов (который носил у нас прозвище — «Нил легкомысленный»). Вдруг среди старейших профессоров заходит речь о церковно-историческом словаре, почему не налаживается это издание, а кстати, и об журнале «Творения св. отцов», почему и он ведется неисправно. Тогда П. С. Казанский, указывая рукой на ректора, с живостью, кажется даже привстав, замечает: «Это все

он виноват, всему причиной он» (эти слова врезались с буквальной точностью в мою память). Добрейший А. В., от природы «живого, воспламеняющегося темперамента, не могший иногда удержаться от гневной вспышки или выражения досады» (собственное его признание в его дневнике), от этих слов П. С. К-го сильно покраснел, даже приподнялся на диване и начал горячо оправдываться. Произошла, таким образом, довольно бурная сцена, указывая на которую стоявший возле нас доктор, Н. П. Страхов, заметил: «Вот они (А. В. Гор. и П. С. Каз.) теперь поссорились, потом заболеют, а затем меня к себе потянут: дескать, лечи, а что лечить, например, у П. Сим. Каз., когда у него внутри уже ничего нет, все сгнило», — намекая на застарелый катар легких достопочтенного старого профессора. Эта сцена, конечно, нисколько не нарушила давних дружеских отношений старых сослуживцев — ректора и П. С. К., обоих, отличавшихся благородством и искренностью характера, при исключительной доброте А.В. Г. Эта характерная сцена хорошо иллюстрирует тогдашний склад московской академической жизни и вместе с тем доказывает ту старую истину, что и на солнце есть пятна. Невольно напрашивается мысль на сопоставление московского ректора, протоиерея А. В. Горского, с тогдашними ректорами Петербургской академии — Преосв. Иоанникием и Преосв. Иоанном (Соколовым; † епископ Смоленский). Какая громадная между ними разница!

Инспектор, ординарный профессор архимандрит Михаил (Лузин)[265], пользовавшийся большим вниманием и уважением студентов как хороший, красноречивый профессор по Св. Писанию, не пользовался среди академической корпорации одинаковой симпатией всех ее членов. У некоторых он находился под сомнением относительно искренности и особенно правдивости. Впрочем, многое в последнем отношении, кажется, должно быть отнесено более к игривости его ума и фантазии, чем к недостаткам нравственного характера. К сослуживцам, даже младшим, относился вполне корректно, к ректору — с большим почтением, а протоиерей ректор с уважением — к его сану

[265] Иером. Михаил (в мире — Матвей Ив. Лузин), нижег., 3-й маг. XIX к. Моск. акад. (1854), 1854 — бак. по Св. Писанию, 1861 — инспект. акад., 1863 — орд. проф., 1876 — ркт. Моск. акад., 1878 — ркт. Киев. акад. и еп. Уманьский, † еп. Курский.

архимандрита, так что при нечастых, впрочем, совместных своих с ним богослужениях, ставил его в ряд с собою, подобно тому, как становятся в храме в своем сослужении епископы.

Старейший после ректора, ординарный профессор общей словесности Егор Васильевич Амфитеатров[266], пользовался огромным влиянием на студентов как очень даровитый, прекрасный, красноречивый профессор словесности, и большим весом и авторитетом среди академической корпорации. Отличался решительным, твердым, довольно гордым характером. В профессорской среде не все его любили, но все уважали.

Петр Симонович Казанский[267], ординарный профессор общей гражданской истории, весьма солидный, многосведущий ученый, известный многочисленными печатными ценными трудами, не пользовался, к сожалению, должным вниманием студентов. Мешала тому крайняя его болезненность, о которой упомянуто уже выше. Студенты шутя говорили о нем, что он не читает, а «кашляет свои лекции». К его несчастью, при крайне плохом здоровье он был страстный любитель табакокурения; сидя в своей квартире, не выпускал изо рта трубки, так что его квартира была полна табачным дымом, и среди облаков его едва можно было разглядеть почтенного профессора. Отличался религиозностью и прямотой, искренностью характера, что видно из рассказанной выше сцены в квартире ректора. Ко всем членам корпорации относился очень доброжелательно и пользовался любовью и уважением всех своих сослуживцев.

Сергей Константинович Смирнов[268], ординарный профессор русской гражданской истории, также один из старейших профессоров, очень трудолюбивый и талантливый ученый, автор весьма

---

[266] Е. В. Амфитеатров, орлов., 2-й маг. XIII к. СПб. акад. (1839), 1839 — бак., 1844 — экстраорд. проф., 1848 — орд. проф. Был потом град. головою Посада.

[267] П. С. Казанский, моск., вифанск., 4-й маг. XIII к. Моск. акад. (1842), с 1842 — бак. Моск. акад., 1850 — экстраорд. проф., 1858 — орд. проф., 1873 — докт. богосл., 1874 — в отставке, † 1878.

[268] С. К. Смирнов, моск., 3-й маг. XIV к. Моск. акад. (1844), 1844 — бак., 1857 — экстраорд. проф., 1859 — орд. проф., 1873 — докт. богосл., 1870–1878 — инспект. Моск. акад., 1878 — ректор. Моск. акад. и прот.

многочисленных трудов и исследований по самым разнообразным предметам, преимущественно по истории академий (славяно-греко-латинской и московской), Троице-Сергиевской Лавры, различных монастырей, московских церквей и других памятников древности, был популярным у студентов профессором. По слухам, он увлекал их своими лекциями, полными курьезов и пикантных подробностей, выбранных им из летописей, нарочито для возбуждения внимания слушателей. Аудитория его, говорили тогда, всегда была полна. В корпорации был очень покладистым коллегою, со всеми дружественным и ко всем приветливым. Над ним, однако, подсмеивались, что он дружил и с лаврскими монахами, ожидая себе, как человеку многосемейному[269], некоторых от того выгод и льгот.

Виктор Дмитриевич Кудрявцев-Платонов[270], ординарный профессор метафизики и истории древней философии, стоявший тогда во главе преподавателей философских наук в академии, достойный преемник знаменитого нашего философа, протоиерея Ф. А. Голубинского, пользовался глубоким и искренним уважением и студентов, и академической корпорации не только как прекрасный профессор, но и как очень симпатичная личность. Он был ровного, сдержанного и вместе

---

[269] Из многочисленного его семейства, состоявшего преимущественно из дочерей (кажется, 6), большую (даже политическую) роль играет в настоящее время одна его дочь — Анна Сергеевна, вышедшая замуж за П. Н. Милюкова. В мемуарах Преосв. Саввы («Богосл. вестник») помещено письмо, в котором проф. С. К. Смирнов извещает, что одна из его дочерей выходит замуж за П. Н. Милюкова, тогда доцента Моск. универ. (ныне — глава кадетской партии). По слухам, Анна Сергеевна Милюкова имеет на своего супруга огромное влияние. Говорят даже, что если Милюков — в политическом мире есть то, что он есть, то этим он обязан главным образом влиянию своей супруги. Не могу пройти молчанием личности супруги проф. С. К. Смирнова, Софии Мартыновны, прекрасной во всех отношениях женщины, весьма умной, очень симпатичной, с огромным тактом. Это была редкая женщина, мать и супруга, выдававшаяся среди других, также достопочтенных тогдашних профессорш. Вся корпорация академических преподавателей относилась к ней с большим почтением и симпатией.

[270] В. Д. Кудрявцев-Платонов, черниг., 1-й маг. XVIII к. Моск. акад. (1852), 1852 — бак. библейск. ист. и греч. языка, 1854 — бак. метафиз. и истор. древн. философ., 1858 — орд. проф., 1861 — препод. философии Государю Цесаревичу Николаю Александровичу, 1873 — докт. богосл.

приветливого характера, вполне корректный во всех своих поступках, сосредоточенный, довольно молчаливый.

Николай Иванович Субботин[271], товарищ В. Д. Кудрявцева по студенчеству, экстраординарный профессор герменевтики и учения о вероисповеданиях и расколах (предметов, соединявшихся в Московской академии в одну кафедру), известный большой знаток русского раскола, не пользовался симпатиями академической корпорации, отчасти благодаря дружбе своей с нелюбимым в академии бывшим ее инспектором и ректором Сергием (Ляпидевским; † митрополит Московский), отчасти потому, что сам держал себя от нее довольно далеко; он был близок только к кружку профессоров Е. В. Амфитеатрова и В. Д. Кудрявцева. Тяготел больше к Москве, в которую и сам ездил очень часто, и к нему постоянно приезжали из нее какие-то довольно странные личности из раскольнического мира. Частенько приходилось видеть их выходящими из его квартиры, — визави с моей. Одевался очень хорошо, даже щеголевато, и вообще всей своей внешностью выгодно отличался от прочей академической братии, в огромном ее большинстве не блиставшей внешним лоском.

Протоиерей Филарет Александрович Сергиевский[272], экстраординарный и потом ординарный профессор нравственного и пастырского богословия, один из довольно близких родственников митрополита Филарета, считался очень основательным и серьезным профессором. Был сдержанного, молчаливого характера. В сущности, он очень походил на своего родного брата, Н. А. Сергиевского († попечитель Виленского учебного округа), упомянутого выше, но, благодаря среде, его характер не мог отлиться в бюрократическую форму, и он остался добрым, покладистым коллегой, не лишенным общительности и до известной степени сердечности, не прочь был участвовать в разных развлечениях.

---

[271] Н. И. Субботин, владим., 3-й маг. XVIII к. Моск. акад. (1852), 1852 — препод. Вифан. сем., 1855 — бак., 1859 — экстраорд. проф., 1874 — докт. богосл. и орд. проф.

[272] Прот. Ф. А. Сергиевский, моск., 2-й маг. XIX к. Моск. акад. (1854), 1854 — бак. библейск. ист. и греч. яз., 1856 — бак. логики и истор. средней и новой философ., 1857 — нравств. богосл. и пастырского, 1860 — экстраорд. проф., 1865 — орд. проф., 1874 — ректр. Вифан. сем.

Александр Федорович Лавров-Платонов (в монашестве Алексий; † архиепископ Литовский)[273], бакалавр, а с 1864 г. — экстраординарный профессор церковного законоведения, глубокий знаток своего предмета, самый выдающийся наш канонист, представлял по виду довольно могучую, внушительную фигуру, в которой обитала очень кроткая, добрая душа. Характера был скромного, тихого, приветливого, общительного и вообще симпатичного[274]. В семейной его обстановке, при приветливости его супруги М.Н., чувствовалось легко и хорошо. Был он и в ту пору очень религиозен, неуклонно посещая все богослужения и, кажется, почти один только из всей корпорации произносил в мое время, раз или два в году, проповеди в трапезной лаврской церкви (там тогда, за неимением собственной академической церкви, совершалось богослужение академическим духовенством), по назначению академического начальства. Прежде обязаны были проповедовать все академические наставники, да и в мое время назначались проповеди всем, но никем почти они не представлялись. Раз, как преподаватель церковного красноречия, я счел долгом представить о. ректору назначенную мне проповедь, но не произносил ее за богослужением. Кроме А.Ф. Л., помнится, проповедовал еще Дм. Ф. Голубинский.

Дмитрий Федорович Голубинский[275], сын знаменитого философа протоиерея Ф. А. Голубинского, бакалавр, а потом, с 1864 г., — ординарный профессор физики, был поистине человек не от мира

---

[273] А. Ф. Лавров-Платонов, ярослав., 1-й маг. XIX к. Моск. акад. (1854), 1854 — бак. церк. законоведения, 1864 — экстраорд. проф., 1878 — мон. и еп. Можайский, † архиеп. Литовский. Не получил степени доктора богословия (хотя более, чем кто-либо, был ее достоин), потому что не представил сочинения, а не представил, как он сам заявил мне, потому, что «боялся критики». Тогда же в разговоре (это было в Петербурге, вскоре после его хиротонии) он сообщил мне, что принял монашество по настоянию Преосв. Михаила (Лузина), его товарища по студенчеству и друга. «Не будь его влияния, не был бы я монахом», — прибавил Преосв. Алексий.

[274] Пришлось мне слышать в Москве следующий восторженный о нем отзыв от известного также канониста, А. С. Павлова, бывшего бакалавра Казанской академии, а тогда — профессора университета. «Я могу быть только его учеником, и даже горжусь тем, что могу им быть», — сказал А. С. Павлов.

[275] Дм. Фед. Голубинский, вифан., 5-й маг. XIX к. Моск. акад. (1854), 1854 — бак. геометрии и физики, 1864 — орд. проф., 1870 — сверхштатный препод. «естественно-научной апологетики».

сего, страстно любил свой предмет, подобно петербургскому своему коллеге (профессору Н. И. Глориантову), и был еще более его чудаковатый. Был очень любим студентами, хотя они нередко подтрунивали над ним, и среди них ходило много рассказов об его чудачествах, в особенности на экзаменах. Жил на особой квартире со своей старой тетушкой. Был очень религиозен и отличался еще благотворительностью к бедным. Несколько раз в году (кажется, в дни памяти родителя и в его именины) собирались у него толпы нищих, которых он оделял подаянием. В отношении к сослуживцам был весьма приветлив и предупредителен, хотя держался от них в стороне.

Василий Никифорович Потапов[276], бакалавр, а с 1864 г. — экстраординарный профессор логики и новой философии, в своем роде также довольно оригинальная личность. Очень даровитый профессор, отличался философским глубокомыслием и сосредоточенностью, из которых по временам выходил и проявлял много сердечности и какой-то милой наивности. В отношении к сослуживцам держал себя очень корректно и пользовался общими, без исключения, их симпатиями. Любил музыку, хотя, кажется, не имел особых музыкальных способностей, играл на фортепиано, которое у него одного было в нашем бакалаврском корпусе, и через то несколько оживлял нашу монотонную жизнь в казенной обстановке.

Павел Иванович Горский-Платонов, однофамилец, но не родственник ректора (родственник профессора П. С. Казанского, его племянник)[277], бакалавр, а потом, с 1867 г., — экстраординарный профессор библейской истории и еврейского языка, очень почтенный ученый, большой знаток своего предмета, не пользовался, однако, симпатиями большинства сослуживцев, благодаря некоторым особенностям его характера.

---

[276] В. Н. Потапов, моск., 1-й маг. XXI к. Моск. акад. (1858), 1858 — бак. логики и истор. нов. философ., 1864 — экстраорд. проф., 1870 — истор. древн. и новой философии.

[277] П. И. Горский-Платонов, вифан., 2-й маг. XXI к. Моск. акад., 1858 — бак. библейск. ист. и евр. яз., 1867 — экстраорд. проф., 1870 — библейск. археол. и еврейск. яз., 1878 — инспект. Моск. акад. Был потом градским головою Троице-Сергиева Посада.

Николай Кириллович Соколов[278], родственник ректора А.В.Г. (двоюродный его брат), бакалавр, а с 1865 г. — экстраординарный профессор новой церковной истории; при большой даровитости был, что называется, человек с огоньком в душе. С ним мы были в большой дружбе. К сожалению, по временам он страдал от свойственной многим у нас на Руси слабости, и мне, как очень близкому к нему человеку, приходилось переживать много тяжелых минут, за которые, по миновании кризиса, был вознаграждаем проявлениями горячей, преданной его дружбы. Впоследствии состоя, с 1867 г., профессором церковного права в Московском университете, он заявил себя многочисленными, талантливыми трудами по этому предмету, между прочим, вел горячую полемику с профессором А. Ф. Лавровым по жгучему тогда вопросу о преобразовании церковного суда. Крайне жаль, что Н. К. Соколов так рано скончался (1874).

Евгений Евсигнеевич Голубинский[279], однофамилец, но не родственник протоиерея Ф. А. Голубинского, получивший эту фамилию в память знаменитого его земляка, в свою очередь и сам сделался впоследствии знаменитостью, как автор капитальных трудов по истории русской Церкви. Он окончил свою жизнь (7 января 1912 г.) ординарным академиком Академии наук. В описываемое время Евг. Евс. был молодым бакалавром, большим оригиналом[280], нелюдимым,

[278] Н. К. Соколов, костр., 3-й маг. XXI к. Моск. акад. (1858), 1858 — бак. рус. церк. истории, 1861 — за границей в командировке, 1863 — бак. новой общей церк. истор. (вновь открытой кафедры), 1865 — экстраорд. проф., 1867 — проф. Моск. универ. по кафедре церк. права, † 1874 (орд. профессором Моск. унив.).

[279] Евг. Евс. Голубинский, костром., 5-й маг. XXI к. Моск. акад. (1858), 1858 — препод. Вифан. сем., 1861 — бак. рус. церк. истории, 1870 — экстраорд. проф., 1872 — командирован на полтора года, с ученой целью, за границу, в Грецию и прав. славянские земли, 1881 — докт. богосл. и орд. проф., 1902 — орд. академик Академии наук, † 7 января 1912 г.

[280] Таким он остался и до конца жизни. Вот, например, как мы встретились у меня на квартире в Петербурге, в 1905–1907 году, через 40 лет после совместной нашей службы. Первые его слова, обращенные ко мне, были: «Вы краситесь? почему у вас не седые волосы?» Он был старше меня только на 2 с небольшим года (род. 28 февраля 1834 г.), между тем совершенно убелен сединами. Оригинальна была и первая наша встреча, 50 лет тому назад, когда я делал ему, по приезде в Посад в 1863 г., первый визит. Первые его слова были: «Вы любите покушать?» «Предупреждаю вас, что здесь прескверно кормят».

замкнутым кабинетным ученым, не без резкости в обращении. В сущности, однако, он был очень добродушен, резкое слово почти всегда заканчивалось у него раскатистым, каким-то детски наивным смехом. Прекрасную и очень полную и верную его характеристику можно читать в очерке его преемника по кафедре и родственника, профессора С. И. Смирнова (вероятно, в «Богосл. вестнике», 1912; у нас под руками — отдельный оттиск).

Петр Макарович Хупотский[281], товарищ А. М. Иванцова по студенчеству, бакалавр опытной психологии и нравственной философии (3–я кафедра по философии; в нашей петербургской академии было их только две), человек даровитый, но, к сожалению, подвержен был слабости к спиртным напиткам, служил в академии до 1865 г. Отличался большой общительностью и добродушным характером. Его можно было встретить во всех местах, где собирались сослуживцы, имел хороший голос и очень охотно пел в компании, когда о том его просили.

Иеромонах Иоанн (Митропольский)[282], бакалавр древней церковной истории, преемник по кафедре профессора А. В. Горского и товарищ по студенчеству киевских профессоров А. Воронова и Ф. Терновского, и петербургского профессора — М. И. Каринского, не считался особенно даровитым. Был он человек добродушный, не обладавший, однако, тактом вообще и в отношении к студентам, в частности, почему инспектор о. Михаил не нашел возможным предложить ему должность своего помощника, а настойчиво убеждал принять ее меня[283].

Евг. Евс. разумел стол, который для всех жильцов корпуса приготовлял один из наших служителей (их было два).

[281] П. М. Хупотский, рязан., 1-й маг. XXII к. Моск. акад. (1860), 1860 — бак. психол. и нравств. фил., 1865 — оставил службу, был потом за границей (на свой ли счет или командирован от мин. нар. просв., не помню), но заграничное путешествие не принесло ему пользы. Дальнейшая судьба его мне неизвестна.

[282] Иером. Иоанн (Митропольский), калуж., 3-й маг. XXIII к. Моск. акад. (1862), 1862 — бак. древней церк. истор., 1868 — архим., 1870 — еп. Алеутский, 1877 — член моск. Синод. конторы, 1881 — настоят. моск. Симонова мон., 1889 — еп. Аксайский, 1910 — на покое, † 2 июня 1914 г.

[283] Я всячески отказывался от его предложения, доказывая, что ему, как монаху, всего удобнее иметь своим помощником монаха же, то есть о. Иоанна. Среди разговора по этому предмету, когда я допытывался, почему он не хочет

С 1864 г. оказались моими сослуживцами еще три лица из бывших моих слушателей.

Александр Алексеевич Смирнов[284], бакалавр патристики, родной брат протоиерея П. А. Смирнова († председатель Учебн. комитета при Св. Синоде), видной, представительной наружности, человек с довольно высоким о себе мнением.

Александр Петрович Смирнов[285] (однофамилец А. А. Смирнова), бакалавр опытной психологии, считавшийся более даровитым, чем его однофамилец. А. П. См-в был преемником П. М. Хупотского по кафедре, человек скромный, симпатичного характера, не лишен был слабости своего предшественника, хотя в несравненно меньшей степени.

Николай Яковлевич Фортинский[286], бакалавр математики, отличался скромностью, большим добродушием и покладистостью характера, пользовался симпатиями всех сослуживцев.

Жизнь академической корпорации сосредотачивалась исключительно в ней самой, ограничиваясь взаимным общением ее членов. Никакого другого общества в Посаде не было, и потому академическими преподавателям приходилось поневоле жить в очень близком общении между собой.

Пока жив был Петр Спиридонович Делицын, академическая корпорация представляла единое тело, имевшее в нем единую душу. Все шли к этому академическому патриарху, и старый и молодой

иметь своим помощником иером. Иоанна, о. Михаил откровенно, наконец, признался, что он боится, как бы о. Иоанн, по своей бестактности, не сочинил ему студенческого бунта.

[284] А. А. Смирнов, яросл., Вифан. сем., 1-й маг. XXIV к. Моск. акад. (1864), 1864 — бак. патрист., 1871 — свящ., законоуч. 1-й Моск. воен. гимназии.

[285] А. П. Смирнов, яросл., 2-й маг. XXIV к. Моск. акад. (1864), 1864 — препод. Моск. сем., 1865 — бак. психологии, 1871 — экстраорд. проф.

[286] Н. Я. Фортинский, рязан., 7-й маг. XXIV к. Моск. акад. (1864), 1864 — бак. матем., 1870 — свящ., законоуч. 4-й Моск. воен. гимназии. По слухам, здравствует.

профессор, и все около него группировались. Рассказывали, что у П. С. Делицына в его квартире была даже комната с несколькими кроватями, предназначенная специально для засидевшихся в гостях профессоров, преимущественно молодых бакалавров, живших в академическом корпусе, когда они, после 10-ти часов вечера, не могли попасть в свои квартиры из-за запертых лаврских ворот. Просыпаясь утром, старец П.С.Д. обыкновенно задавал прислуге лаконичный вопрос: «Есть кто-нибудь?». «Есть, — отвечала она, — двое или трое». «Ну, так зови их пить чай, когда проснутся». И затем, когда гости-ночлежники являлись к чаю, начиналась дружеская, непринужденная беседа между авторитетнейшим, заслуженным профессором-хозяином и его, часто совсем юными, гостями, чувствовавшими себя у него точно в родительском доме. Но все это было уже в прошлом. В мое же время начало сбываться предсказание инспектора, о. Михаила, о котором он говорил в первое мое с ним свидание — относительно распадения академической корпорации.

Скоро образовалось несколько кружков, которые потом (впрочем, уже после моего выхода из академии) превратились даже в партии, по слухам немало враждовавшие между собой, в особенности со времени введения устава 1869 г., с заседаниями совета, отделений, диспутами и т. п. В мое время все это было еще только в зачаточном состоянии, не идя далее обособления и образования кружков. Таких было два главных.

Первый состоял всего из четырех лиц: Е. В. Амфитеатрова, В. Д. Кудрявцева, Н. И. Субботина и доктора Н. П. Страхова. Это был, так сказать, аристократический кружок. Во главе его стоял Е. В. Амфитеатров, человек с сильным характером, задававший и здесь свой тон. Он и В. Д. Кудрявцев были свояками, женатыми на двух родных сестрах, и жили в первое время в одном доме (Е. В. Амф-ва), пока В. Д. Кудрявцев не построил собственного. Н. И. Субботин по студенческому товариществу с В. Д. Куд-м и по симпатии к семейству Е. В. Амф-ва также тяготел к этому кружку.

Второй кружок имел своим центром «казенный двор» — замонастырский дом. В этот кружок входили жившие в этом доме: экстраординарный профессор Ф. А. Сергиевский, А. Ф. Лавров

и бакалавр П. И. Горский[287], главный заправило этого кружка. К нему же примыкали: профессор С. К. Смирнов, живший вблизи означенного дома, и инспектор о. Михаил (Лузин), стоявший, как тогда говорили, в некоторых контрах с Е. В. Амфитеатровым по академическому правлению, да еще друживший со своими товарищами по студенчеству — Ф. А. Сергиевским и А. Ф. Лавровым, в особенности с последним.

Ни к какому кружку не примыкали жившие отшельниками: П. С. Казанский, Дм. Фед. Голубинский и Евг. Евс. Голубинский, наконец мы — обитатели бакалаврского корпуса: В. Н. Потапов, Н. К. Соколов, П. М. Хупотский, А. Л. Катанский, А. А. Смирнов (другой Смирнов, Ал. Петр., был женат и жил на частной квартире) и Н. Я. Фортинский. Мы одинаково охотно посещали семейных лиц, принадлежавших к тому и другому кружку, лишь бы представлялся какой-нибудь случай приятно и без особенной скуки провести вечер. У нас, холостых насельников корпуса, было очень близкое взаимное между собой общение, было своего рода как бы общежитие, ходили друг к другу постоянно, каждый день, иногда по нескольку раз, за исключением Н. И. Субботина, который устранялся от общения с нами, от которого и мы сторонились, и отчасти — малосообщительного Евг. Евс. Голубинского, который, впрочем, очень скоро оставил наш корпус, переселившись на казенный двор, что, между прочим замечу, дало мне возможность занять его квартиру.

Наиболее дружеские отношения завязались у меня с В. Н. Потаповым и, в особенности, с Н. К. Соколовым. К первому привлекал весьма симпатичный, благородный его характер, а к последнему — очень сходное наше настроение. Дело в том, что мы оба сильно скучали в Посаде, я после жизни в таких городах, как Нижний Новгород и Петербург, он — после двух лет заграничной жизни, преимущественно в Лондоне, куда он отправился в 1861 г., сначала в качестве домашнего учителя в семействе известного адмирала

---

[287] В большом доме, в квартиру покойного П. С. Делицына перешел Ф. А. Сергиевский, а квартиру последнего занял А. Ф. Лавров, перешедший туда из малого дома. В малом доме в квартиру А. Ф. Лаврова перешел П. И. Горский, а его квартиру занял Евг. Евс. Голубинский, перешедший туда из нашего бакалаврского корпуса.

Е. В. Путятина, а потом был там в ученой командировке для приготовления к занятию вновь открывшейся, в 1863 г., в Московской академии, кафедры новой церковной истории. Н. К. Соколов ко времени моего приезда в Посад только что возвратился из заграничного путешествия и занял новую кафедру, вместо прежней (русской церковной истории). Таким образом, оказалось еще одно обстоятельство, нас сближавшее: оба внове, хотя и на разных кафедрах. Живой ум, не без поэтической складки, горячий темперамент, большая общительность Н.К.С. очень привлекали меня к нему.

Встречи и знакомства. В августе 1864 г. посетила академию великая княгиня Елена Павловна, известная покровительница просвещения, составлявшая центр группировавшегося около нее кружка. Собрались в академической зале, где представлялась ей академическая корпорация, в том числе и пишущий эти строки. Великая княгиня, при представлении меня как преподавателя церковной археологии, видимо, поражена была полным несоответствием моей наружности с характером предмета моего преподавания. Она не могла сдержать улыбки на лице, видя очень юного археолога, не представлявшего по фигуре ни малейшей солидности, хотя бы сколько-нибудь соответствовавшей специальности его занятий. В 1865 г. в квартире ректора академические преподаватели представлялись новому обер-прокурору Св. Синода графу Дм. Андр. Толстому, только что назначенному, тогда молодому человеку, живому и показавшемуся нам мало солидным для высокого, занятого им поста. Почему-то (вероятно, в связи с недавно явившимся сочинением графа Толстого — Le Catholicisme en Russie, 1863, — сочинением, которому, кстати заметить, он обязан был своим назначением на должность обер-прокурора) зашла речь о только что вышедшем, в 1864 г., сочинении Пихлера о соединении Церквей и попытках к тому. Граф Дм. Андр. спросил: известно ли это сочинение в академии? А. В. Горский по этому случаю, не без видимого удовольствия, доложил, что не только известно, но что об этом сочинении есть уже заметка в печатной статье одного бакалавра, именно А. Катанского, при этом указал на меня. Нужно заметить, что наш великий библиофил, о. ректор, сейчас же, как только вышло это сочинение, выписал его и, зная о моей диссертации на ту же

тему, дал его мне. А я составил статью для «Православного обозрения» (1865, январь и февраль), под заглавием «Вопрос о соединении Церквей, история попыток к его решению и будущая его судьба», где, между прочим, поместил коротенькую библиографическую заметку о вновь вышедшей за границей книге Пихлера. Главное содержание статьи составляло переработанное введение к моему магистерскому сочинению (см. гл. III).

Кстати, о печатных моих трудах. Первые мои печатные произведения, которыми я дебютировал на литературном поприще, были две статьи в газете «День», издававшейся тогда известным славянофилом И. С. Аксаковым: «Какое значение имеет распространение просвещения в русском народе для будущей судьбы русского раскола» (1864, декабрь), «О движении религиозной мысли образованного класса в России» (1865, №1). Затем следовали две вышепоименованные статьи в «Православном обозрении» (1865).

Отчасти в связи с этими первыми моими опытами публицистической деятельности завязывались у меня в Москве и знакомства. Из них самыми интересными были — с И. С. Аксаковым и Н. П. Гиляровым-Платоновым.

У И. С. Аксакова был несколько раз. В редакцию газеты «День» решился отправить первую мою статью о расколе (представлявшую в несколько переделанном виде студенческое мое сочинение, писанное на ту же тему), так сказать на авось: в рукописи своей не обозначил ни своей фамилии, ни адреса. Статья оказалась, однако, напечатанной, после чего отправил И. С. Ак-ву письмо с обозначением моей фамилии и адреса. Ответил он мне очень интересным письмом[288], а затем я явился к нему, чтобы познакомиться с ним лично и получить гонорар. Бывал у него еще несколько раз, по случаю напечатания второй статьи. Между прочим, И. С. Аксаков очень жаловался на несправедливое отношение к нему петербургских властей и извинялся за скромную

---

[288] В нем между прочим сообщалось, что в числе выдержек из газетных и журнальных статей, представляемых Государю Императору Александру II, были выдержки и из моей статьи, и что эти выдержки не заслужили одобрения государя. И. С. Аксаков приписывал это обстоятельство тенденциозному подбору делавшего эти выдержки чиновника (Капниста), враждебно настроенного в отношении к славянофильству. Таким оказался мой «первый» литературный «блин».

плату за мои статьи, ссылаясь на денежные затруднения по изданию газеты, поглощавшей, по его заявлению, личные его средства.

В связи с этим знакомством стояло другое, не менее интересное. Пришлось мне встретиться, при довольно оригинальных обстоятельствах, с одним из самых замечательных тогдашних литературных деятелей, Никитой Петровичем Гиляровым-Платоновым, бывшим в то время управляющим Московской синодальной типографии[289]. Много слышал о нем от сослуживцев, но лично знаком с ним не был. Вдруг однажды он сам приходит ко мне, в мою бакалаврскую квартиру. Оказалось, что он слышал обо мне от И. С. Аксакова и желал со мной познакомиться. Среди разговоров с неожиданным гостем я поражен был массой самых разнообразных его познаний[290], оригинальностью его взглядов и кипучестью его мысли. Взял он с меня слово, что я буду у него в Москве, в синодальной типографии. В Москве при свидании, после осмотра этой замечательной типографии он повез меня к себе на дачу (собственную, в Петровском Разумовском), где пришлось ночевать. Здесь, среди разговоров и массы разнообразных проектов, которыми была полна горячая его голова, он высказал между прочим мысль, что намерен издавать большую общенародную газету. Намерение это, как оказывается из его биографии, он питал еще с юных лет, к осуществлению его начал стремиться с 1859 г. и осуществил в конце 1867 г. (в изд. «Современных известий»).

---

[289] Никита Петрович Гиляров-Платонов, моск., 2-й маг. XVI к. Моск. акад. (1848), 1848 — бак. герменевтики и учения о вероисповеданиях, ересях и расколах, 1854 — по рус. расколу, 1855 — выбыл из академии, сотрудник славянофильских изданий кружка Хомякова и Аксаковых, 1856 — член Московского цензур. ком., 1862 — чиновник особых поручений при министре нар. просв. (А. В. Головине), 1863 — управляющий Моск. синод. типогр., 1867 — оставил службу и начал издавать газету «Современные известия» (с 1 дек. 1867 г.). Скончался 13 окт. 1887 г. 20 лет издательства газеты, при 20-ти карах, его постигших, совершенно его разорили и истощили его силы. См.: Гиляров-Платонов. Сборник сочинений. Т. 1. М., 1899. Предисл.: стр. I–LX.

[290] Очень удивило меня, что Н.П. изучал даже многотомные Acta Sanctorum. В то время занимал меня вопрос, как образовалась наша служба всенощного бдения. Н.П. советовал мне поискать данных для истории этой службы в одном из месяцев Acta Sanctorum (помнится, сентябрь-ноябрь), что я потом и сделал, и действительно нашел нечто, относящееся к истории первой половины службы.

В этой проектируемой газете предлагал участвовать и мне, в качестве ближайшего своего сотрудника, помощника. Но я был тогда еще так юн и незрел (это было в 1865–6 г.), что чувствовал себя совершенно ему не «под пару», да кроме того, не совсем был уверен в осуществимости этого проекта, — одного из многочисленных его проектов. Некоторое предубеждение против Н. П. Гилярова поселили во мне и отзывы о нем бывших его сослуживцев. Дело в том, что этот даровитейший человек не пользовался любовью академической корпорации, главным образом за свой злой язык и увлекающийся характер. Не отрицали большой его даровитости, но считали его не особенно основательным человеком, разбрасывающимся в разные стороны, увлекающимся то одним, то другим предметом, не входившим в круг академической его специальности. Вдруг, например, он увлечется политической экономией, или статистикой, запирается на несколько месяцев в квартире, усиленно занимается этим предметом, потом бросает, переходит к другому.

Прочими знакомствами я обязан был сослуживцам и друзьям. У о. ректора, А.В.Г., познакомился с Кап. Ив. Невоструевым, магистром XII курса (1840) Московской академии, до 1849 г. — преподавателем Симбирской семинарии, с 1849 г. — в Москве, помощником А. В. Горского по описанию рукописей Московской синодальной библиотеки. К. И. Нев-в, замечательный, выдающийся археолог, поражал оригинальностью своей наружности и привычек. Например, он не признавал, подобно митрополиту Филарету, железной дороги и направлялся из Москвы в Посад, к своему другу А. В. Гор-му, пешком, наподобие странника, с котомкою за плечами и посохом в руках. Митрополит Филарет приезжал в Лавру также не по железной дороге, а в экипаже. У своих сослуживцев я встречался еще с А. Е. Викторовым (орлов., кандидат XVII курса 1850 г. Московской академии), также известным московским археологом. Н. К. Соколов познакомил меня с профессором Московского университета протоиереем Н. А. Сергиевским и со своим братом — протоиереем А. К. Соколовым (6-й магистр XIII курса 1842 г. Московской академии, первый бакалавр церковной археологии до 1854 г.). Живо помню двух его сыновей, учившихся тогда в Московской семинарии, в том числе В. А. Соколова, впоследствии талантливого, красноречивого профессора Московской академии. В. Н. Потапов познакомил

меня со своим зятем, протоиереем Василием Петровичем Нечаевым (3-й магистр XVI курса 1848 г. Московской академии; † Преосв. Виссарион, епископ Костромской), тогда настоятелем одной из замоскворецких церквей и редактором «Душеполезного чтения». У профессора С. К. Смирнова познакомился с его товарищем по студенчеству и свояком, протоиереем Ипп. Мих. Богословским-Платоновым (1-й магистр XIV курса 1844 г. Московской академии, до 1850 г. — бакалавр логики и истории средней и новой философии), очень почитаемым в Москве и пользующимся популярностью среди московской аристократии, и наконец — с их общим товарищем по студенчеству, протоиереем Вас. Ив. Романовским (19-й магистр того же, XIX курса), очень оригинальной личностью.

Москва всегда отличалась хлебосольством и широким гостеприимством, что пришлось испытать и мне при посещениях моих московских знакомых. Но рекорд в этом отношении, как говорят ныне, побил о. протоиерей В. И. Романовский. Несколько раз виделся с ним у профессора С. К. Смирнова. Но вот однажды еду в Москву и встречаюсь с ним на вокзале. «Куда едешь и зачем?», — спрашивает меня, обращаясь почему-то ко мне на «ты», когда мы не пили с ним так называемого «брудершафта». «В Москву, чтобы проветриться». «Где остановишься?». «В гостинице», — отвечаю. «Вот какой вздор, глупости, едем ко мне». Несмотря на мой деликатный отказ, он увез-таки меня в собственном экипаже, на паре, и привез в свой дом, в Замоскворечье, возле Пятницкой церкви, при которой был настоятелем. После осмотра дома начал (несмотря на то, что было раннее утро) усиленно и, можно сказать, насильно угощать меня вином; отказаться не было никакой возможности, и кончилось тем, что мне сделалось дурно. Вечером отправил нас с сыном в театр, из театра позвал нас, через прислугу, пить чай и закусить в дом одного богатого купца, в том же Замоскворечье (Рыб-на), где находился сам, чувствуя себя здесь как дома и обращаясь со всеми без всякой церемонии. По приезде домой начал сватать мне дочь этого купца. Как ни был я благодарен о. протоиерею за его более чем радушный прием, но испытать его в другой раз не решился. Вообще о. В.И.Р. был редкий тип широкой русской натуры в рясе. Он пользовался большой популярностью у московских купцов, в особенности железнодорожных строителей и подрядчиков, вроде Губонина, и называл

себя в шутку «железнодорожным архиереем», совершая освящение мостов, вокзалов и т. п. Как сам называл себя всегда полуименем, так звали его и другие. Рассказывали, что он вел широкую жизнь еще в студенчестве, получив довольно большое наследство от родителей. Был высокого роста, очень видной наружности и атлетического сложения.

Все мы очень любили ездить в Москву. Эти поездки доставляли много удовольствия и были очень полезны в смысле освежения и отдыха после усиленных трудов, в особенности для молодых бакалавров, составлявших первый двухлетний курс лекций. К сожалению, скудость материальных средств препятствовала возможно чаще доставлять себе это удовольствие. Из 35 р. жалования истратить 10 р. на поездку в Москву значило лишить себя возможности сделать потом хотя бы самый незначительный расход, например для обновления и ремонта костюма, да и помимо того, и без этих трат, являлось крайне трудно разрешимой задачей прожить, без дефицита и займа, месяц на оставшиеся 25 р. — при плате ежедневно за стол 1 р., да еще при неизбежном расходе на чай, сахар, табак (увы! я начал курить). Правда, к концу 1865 г. последовала, благодаря митрополиту Филарету, прибавка жалования бакалавру — к прежним 429 р. еще 271 (= 700 р.), из сумм Московской кафедры, — первый пример, которому последовали и другие кафедры: несомненно, Петербургская и, вероятно, Киевская, а может быть, и Казанская. И еще лично для меня, с 6 сентября 1866 г., денежные средства увеличились на 10 р. в месяц с назначением меня на должность помощника инспектора академии (128 р. 70 к. в год). Но это было уже через два с лишком года после начала службы, да и эти новые средства, около 58 р. в месяц, требовали большой сдержанности и осмотрительности в тратах на экстренные расходы, вроде поездок в Москву. А потому я был счастлив, если у кого-либо из моих московских знакомых находил себе приют, при посещении Москвы, и был избавлен от трат на наем номера в гостинице, к чему все-таки нередко должен был прибегать, чтобы не обременять собой московских друзей и добрых знакомых. В особенности часто останавливался у одного почтенного московского диакона — И. Г. Богоявленского, близкого родственника митрополита Филарета. Сын этого о. диакона, К. И. Богоявленский (14-й магистр XXIV курса 1864 г. Московской

академии, впоследствии старший зять профессора С. К. Смирнова, настоятель церкви Василия Блаженного), был моим слушателем по академии. Кстати, этот о. диакон рассказывал мне о том, каким блестящим наставником, кажется по Св. Писанию, был у них в Московской семинарии митрополит Исидор (Никольский), в бытность его архимандритом — ректором Московской семинарии. «Мы, ученики, — говорил И. Г. Б-й, — слушали своего ректора, можно сказать, затаив дыхание, и крайне были недовольны, когда слышали звонок к выходу из класса». Архимандрит Исидор часто, однако, засиживался в классе и после звонка, и уходил только тогда, когда являлся другой наставник давать следующий урок. «Почему у вас в Петербурге митрополит Исидор оказался таким... (кажется, прибавил мой собеседник) бесцветным?». Не знаю, что отвечал ему тогда, а теперь сказал бы, что таким его сделали: Петербург, имеющий несчастное свойство обесцвечивать личности, затем традиции истории синодального периода (вроде высылки из Петербурга двух Филаретов — Московского и Киевского, что очень помнил мудрый и осторожный митрополит Исидор и о чем как-то раз прямо заявил нашему петербургскому ректору — о. И. Л. Янышеву) и, наконец, личность митрополита Филарета, который был главным заправителем нашей церковной жизни и без которого у нас тогда ничего не делалось. Мудрый петербургский святитель митрополит Исидор, если хотел чего-либо достигнуть, действовал через глубоко им чтимого митрополита Филарета, сам оставаясь в тени.

У о. диакона И. Г. Б-го познакомился с очень интересной и уважаемой в Москве личностью, с настоятелем церкви, при которой служил о. диакон, с протоиереем церкви Никиты мученика в Басманной, Пл. Ив. Капустиным (2-й магистр XII курса 1840 г. Московской академии, в 1840 — преподаватель Тобольской семинарии, в 1842 — бакалавр философии, в 1844 — математики, в 1850 — священник и протоиерей церкви Никиты мученика). Этот о. протоиерей считался не только очень умным человеком, но и большим знатоком и любителем физики. Он был, если не ошибаюсь, родным братом известного настоятеля нашей палестинской миссии, знаменитого архимандрита Антонина.

Троице-Сергиев Посад, прекрасное место для серьезных ученых занятий, был, однако, очень скучен в часы отдохновения

от них, в особенности для молодежи. Мы, молодые, положительно не знали куда деваться в свободное от занятий время. Негде было даже погулять; во всем Посаде совсем не имелось тротуаров, приходилось совершать прогулки по немногим грязным или пыльным улицам: Переславской, Вифанской или около вокзала железной дороги. Крошечным бульваром возле монастырской стены, близ входа в главные, святые ворота, завладели студенты, которые стесняли нас, сами однако, как выше замечено, нисколько не стесняясь от встречи с нами. Приходилось для прогулок избирать даже монастырские стены, наверху которых были довольно широкие проходные коридоры, или же топтаться в маленьком академическом саду. В этом саду нередко можно было встретить и о. ректора, обычно здесь прогуливавшегося. Памятна мне одна такая встреча, по одному с ним разговору. «Знаете ли, — говорит А.В., — есть книжная новинка: вышло в свет «Догматическое Богословие» Преосв. Филарета Черниговского» (1864). «Как вы его находите», — решился я спросить о. ректора. «Да что сказать вам. Была у нас догматика католическая (Преосв. Макария Булгакова), теперь явилась — протестантская, а православной все-таки нет». Вероятно, о. А. В. Горский словами «католическая» и «протестантская» хотел обозначить не довольно полную самостоятельность указанных им догматик, некоторую зависимость авторов от западных пособий и образцов не только относительно материала, но и относительно метода изложения. Но, конечно, не имел намерения бросить тень на сущность догматических воззрений наших православных догматистов. Так я понял его тогда, а потом и сам в свое время убедился в справедливости такой, хотя и очень резкой характеристики. Лучше бы, однако, выразиться так: одна — «католичествующая», другая — «протестантствующая»...

Последний — четвертый — год (1866/67) моей службы в Московской академии, кроме обычных занятий по составлению новых лекций, исправлению и дополнению старых, прошел в попытках устроить себе семейную жизнь, недостаток которой почувствован был теперь особенно сильно. Гнетущей ежеминутной заботы о составлении лекций, благодаря составленному двухгодичному курсу,

не было, а потому оставалось более, чем прежде, свободного времени подумать о себе, о прочном устройстве своей жизни на выпавшем на мою долю и симпатичном для меня поприще службы.

Хотя Троице-Сергиев Посад незавидным своим местоположением и скучным складом крайне однообразной жизни не удовлетворял человека, выросшего в таком выдающемся красотой городе, как Нижний, и проведшего четыре года среди чрезвычайного оживления петербургской жизни 1860-х годов, но, думалось мне, стоит породниться с Москвой через женитьбу, и Москва восполнит мне то, чего недостает в Посаде. Первопрестольная же, сразу привлекшая к себе, еще при проезде в Петербург для поступления в академию, стала мне нравиться все более и более, среди нередких ее посещений из Посада, удовлетворяя и эстетическим моим потребностям, и тяготению к умственным и общественным движениям. А потому я решил жениться непременно на москвичке. Нашлись и люди, которые охотно взялись устроить меня в этом отношении. И был один момент, когда мне казалось, что все мои предложения и планы осуществились. Но как-то совершенно всё расстроилось[291]. А затем случилось со мной нечто совершенно неожиданное и далеко не обыкновенное. Причем невольно приходишь к мысли, что пути нашей жизни направляются не нами, а Тем, Кто ведет нас к намеченной Им цели нашей жизни. Вскоре после несостоявшегося московского сватовства мне было сделано предложе-

---

[291] Задумал я взять себе подругу жизни в семействе одного из самых почтенных московских протоиереев и, хотя не сделал еще предложения моей избраннице, но был принят в семействе и имел полное основание думать, что не встречу отказа ни с ее стороны, ни со стороны ее родителей. Дело настолько уже подвинулось, что выписал мою мать из Нижнего в Посад, чтобы получить от нее благословение на женитьбу. Мать приехала, видела мою невесту, но последняя ей не совсем понравилась... Тем не менее благословение матери было получено, и, проводив ее до Москвы, а в Москве — на Нижегородскую железную дорогу, я в тот же вечер отправился к своей невесте с решительным намерением сделать ей предложение, но так его и не сделал... Что-то помешало, слова ли матери, или недостаток собственного влечения к будущей моей подруге, очень умной, прекрасно образованной, симпатичной. Вероятно, и то и другое. Так это дело и расстроилось. Последствия имели огромное значение для всей моей жизни и службы. В упомянутый вечер рушились все мои планы относительно Посада и Москвы, и поистине этот день имел роковое влияние на мою судьбу.

ние[292] познакомиться с семейством протоиерея и настоятеля нашей Парижской посольской церкви, о. Иосифа Васильевича Васильева, имеющего приехать, с двумя из своих дочерей, в Петербург в конце 1866 года. Совершенно не веря в возможность такой необычной женитьбы, больше для развлечения и рассеяния томившей меня скуки, решился, однако, поехать в Петербург, для свидания с почтенным семейством парижского протоиерея. Взял на 14 дней отпуск и приехал в Петербург в начале октября, в самый день въезда туда датской принцессы Дагмары, невесты тогдашнего Государя Наследника Александра Александровича, нынешней Императрицы Марии Феодоровны. Гостиницы были переполнены, и я едва нашел место в одной из них, и, удивительное дело, — в той самой (против Казанского собора), в которую мы втроем были привезены семь лет тому назад извозчиком с Николаевского вокзала, при приезде в первый раз в Петербург для поступления в академию. Петербург, видимо, начал влечь меня к себе после трехлетнего моего удаления. Недолго продолжалось мое сватовство: через неделю после первого моего свидания с невестой мы были обручены. Вскоре я уехал в Посад продолжать чтение лекций до Рождественских каникул, а семейство будущего моего тестя осталось пока в Петербурге, в квартире старшего свояка о. Васильева, протоиерея В. П. Полисадова, профессора С.-Петербургского университета и настоятеля Петропавловского

[292] Предложение это сделано было через бывшего моего товарища по семинарии, П. И. Покровского, тогда доктора одной из московских больниц, шурина свящ. П. И. Раева (тогдашнего ректора СПб. семинарии, архим. Палладия; † митр. С.-Петербург.). В бытность свою в Петербурге П. И. Покровский, в разговоре с о. Палладием, упомянул обо мне как земляке, служащем в Моск. академии, и сообщил о моем намерении жениться, а равно и о том, что дело это почему-то не налаживается. Архим. Палладий, в свою очередь, передал об этом разговоре своему товарищу по семинарии, свящ. церкви петербург. Смоленского кладбища П. А. Матвеевскому, также нашему общему земляку по семинарии. Отец же Матвеевский, слыша от о. Палладия хорошие отзывы обо мне и о всем моем семействе, которое последний прекрасно знал, задумал предложить меня в женихи многосемейному своему свояку, прот. Парижской посольской церкви о. И. В. Васильеву, для одной из шести его дочерей. Возникла по этому поводу переписка между мной, доктором П. И. Покровским и о. архим. Палладием. Произошел обмен фотографических карточек — моей и невесты, старшей дочери о. Васильева, Софии Иосифовны Васильевой.

собора. Решено было сыграть свадьбу в Париже, куда все Васильевы, гостившие в Петербурге, должны были, вместе со мной, отправиться в конце декабря 1866 г., перед самым праздником Рождества Христова. Когда настало это время, взял я официальное разрешение на вступление в брак и отпустить на 28 дней в заграничную поездку. Кроме того, должен был явиться к митрополиту Филарету, чтобы лично получить от него благословение. Митрополит принял меня очень благосклонно. Когда хотел, он умел быть приветливым и даже любезным. С улыбкой на лице, выразив удивление, что я не могу найти себе невесту в Москве и должен был искать ее так далеко, митрополит Филарет, благословляя меня, в заключение произнес следующие памятные слова, врезавшиеся в память с буквальной точностью: «Передайте от меня почтение о. протоиерею» (то есть о. И. В. Васильеву). Он прекрасно знал о. Васильева и очень его уважал, что неудивительно после знаменитых писем о. И.В. к нантскому епископу и постройки русского православного храма в Париже. Эта постройка заставила о. И.В.В. несколько раз ездить в Москву и Нижний, отчасти для сбора пожертвований на построение храма, отчасти по поводу освящения — построенного уже храма — одним из наших епископов, причем приходилось вести продолжительные беседы с митрополитом Филаретом, чтобы получить от него на то согласие. От согласия митрополита Филарета зависел благополучный исход ходатайства перед Св. Синодом, как это было во всех, сколько-нибудь выдающихся делах.

По приезде в Петербург тотчас же отправились за границу. Ехали вшестером[293]. Проезжая через Кельн, успели осмотреть тамошний знаменитый собор, чудо готического стиля. Здесь о. И.В. В-в обратил мое внимание на одно барельефное изображение св. крещения — через погружение. Приехали в Париж 23 декабря. После святок, 18 января 1866 г., состоялось наше бракосочетание в великолепном нашем парижском храме, при пении прекрасного хора из французских оперных певцов, в присутствии всей, тогда очень

[293] Сам прот. И. В. Васильев, его супруга Анна Ефимовна, моя невеста София Иосифовна, ее сестра Надежда Иосифовна, ныне супруга настоятеля нашей русской церкви во Флоренции — прот. В. И. Левицкого, и тогда 8-месячный брат их — С. И. Васильев, ныне член СПб. окружного суда.

знатной русской колонии, во главе с тогдашним русским послом, бароном Будбергом[294]. Венчал нас сам о. протоиерей И. В. Васильев. Стечение публики на свадьбу было так велико, что каретами русской знати была запружена даже часть ближайшей к русской церкви улицы — Faubourg St. Honore. А громкая известность русского митрофорного протоиерея в Париже сделала то, что французские газеты не преминули описать бракосочетание одной из дочерей русского «епископа» (eveque) с профессором Московской академии Mr Katansky, причем даже перечислили многочисленные свадебные подарки, полученные новобрачной от русских знатных лиц. После свадьбы, двумя знатнейшими из них, светл. кн. Чернышевой и фельдмаршалом кн. Барятинским, были даны новобрачным свадебные обеды. В особенности остался памятным обед у кн. Барятинского. Этот покоритель Кавказа, в то время прикованный сильнейшей подагрой к креслу, показывал нам, между прочим, великолепную, усыпанную крупными бриллиантами саблю, Высочайший подарок за покорение Кавказа.

До свадьбы о. И. В. Васильев знакомил меня с Парижем и его достопримечательностями. Были мы в парижском кафедральном соборе Notre Dame, в ризнице которого находится несколько предметов из нашей русской церковной утвари, взятых французскими войсками во время крымской войны. Здесь поразил меня француз служитель, показывавший нам эту ризницу. Он ораторствовал с таким необыкновенным красноречием и жаром, точно ему пришлось говорить нам первым. Мой спутник и руководитель объяснил мне, что означенный служитель не составляет исключения из общего правила, что все французы — большие ораторы, что какой-нибудь уличный продавец, например, карандашей, говорит большие патетические речи собравшейся вокруг него публике, рекомендуя свой товар. Посетили мы Пантеон, с необыкновенно широким видом на весь

---

294 Из наиболее значительных лиц были: гр. Муравьев Амурский с супругой (близкий друг о. Васильева), светлейшая кн. Чернышева, княг. Барятинская (супруга кн. Барятинского, по болезни не присутствовавшего на бракосочетании), кн. Ипсиланти, кн. Кочубей, графиня Радзивилл (представит. гр. Киселева, не присутствовавшего лично по болезни), кн. Оболенский с супругой, гр. Самойлова, княжна Мещерская (впоследствии Демидова Сан-Донато), генер. Чертков, генер. Новицкий с супругой (зять гр. Адлерберг, мой посаженый отец) и мн. др.

Париж, — с решетки вокруг его купола, и с замечательной статуей Вольтера, в его подземелье, церковь св. Женевьевы, церковь Инвалидов (с гробницей Наполеона I), Клюни и многое другое. В Клюни, в этом музее французских древностей, меня поразили в особенности французские иконы XII века, чисто византийского стиля.

Париж, с его легкими изящными зданиями, веселыми бульварами, необыкновенной чистотой[295], крайней оживленностью уличной жизни, изысканной любезностью, приветливостью и веселостью парижан, прекрасным климатом (хотя в тот год, в январе месяце, были порядочные морозы, до 10 и более градусов) прямо очаровал меня. И неудивительно: из более, чем скромного русского Посада попал я точно в волшебное царство изящества, красоты, веселья, в центр утонченной европейской цивилизации. Было от чего закружиться голове, и естественно являлось желание остаться здесь навсегда, или по крайней мере потом, со временем, перейти сюда через заграничную службу где-либо в другом месте, в сане священника, к чему представлялась полная возможность. Эту комбинацию и предлагал мне мой тесть, человек очень влиятельный и имевший большие связи и в духовном мире, и в светском высшем обществе. Искушение было великое. Тем не менее, мне удалось победить его. Помогли мне в этом случае мое увлечение академической службой и отчасти укоренившееся во мне сознание моей непригодности к служению в священническом сане[296], не говоря уже об упомянутых (гл. I) моих взглядах на высоту пастырского служения. Вот почему, скрепя сердце, должен был оставить Париж, без всякой надежды когда-нибудь в него возвратиться и вообще служить за границей, в составе нашего русского заграничного духовенства. Вернулись

[295] Не нужно забывать, что это было при Наполеоне III, в эпоху самого блестящего состояния французской столицы. Через 20 лет, в 1886 г., уже при республике, когда мы с женой снова посетили Париж, картина получилась другая: не было уже такой чистоты в городе, да и характер парижан довольно резко изменился к худшему.

[296] Недостаток представительной наружности, а главное — слабость голоса и неумение петь, вследствие совершенного отсутствия музыкального слуха (во всю мою жизнь я не мог взять верно ни одной ноты), — всё это очень живо чувствовалось и отклоняло от принятия священства.

мы, новобрачные, сначала в Петербург[297], а потом в Москву и Посад, явились к назначенному сроку (6 февраля), наняли себе квартиру на Переславской улице (за 200 р. в год, целый этаж довольно большого дома), и зажил я, наконец, семейной жизнью. Жалованья было тогда, благодаря милости митрополита Филарета[298], по должности бакалавра 700 р., да еще 128 р. по должности помощника инспектора, и к концу службы в Московской академии (с 14 мая 1867 г.) — квартирного пособия, 120 р., так что можно было жить довольно безбедно, — при нетребовательности моей молодой супруги. Нужно заметить, что переезд из блестящей мировой столицы в скромную русскую деревню она перенесла, к удивлению, очень благодушно. В этом случае, кроме серьезного домашнего воспитания, сказались, вероятно, несоизмеримость таких величин, как Париж и Посад, невозможность их сопоставления, подобно тому, как какому-нибудь путешественнику из цивилизованного мира в страны, совершенно не тронутые культурой, не приходит даже и в голову сопоставлять, сравнивать несравнимое. Многое заинтересовывало мою молодую жену своей необычайностью, каково, например, зрелище огромных гор снега очень суровой, снежной зимы 1867 года.

В этот, четвертый и последний, год службы в Московской академии читал XXVI ее курсу[299] (1864–1868), отделы о внешнем, с архитектурной стороны, и внутреннем устройстве храма и освященных изображениях — церковной иконографии.

---

[297] В Петербург из Парижа я отправлен был, между прочим, курьером с депешами в министерство иностранных дел, благодаря любезности парижского посла барона Будберга, — конечно не ко мне, а к моему тестю. Курьерских мне было выдано 1000 франков.

[298] Московская академия, как замечено выше, шла в этом отношении впереди других академий. В ней первой, по милости незабвенного митр. Филарета, совершилась прибавка к казенному жалованью, «из неокладных сумм московской кафедры»: орд. проф., вместо 858, — 1200 р., экстраорд. проф., вместо 429 р., — 900 р., бак., вместо 429 р., — 700 р. (См.: С. К. Смирнов «История Моск. дух. акад. до ее преобраз.», стр. 344–345).

[299] В этом курсе моими слушателями были, между прочим, мой преемник по кафедре И. Д. Мансветов (1-й маг.), Н. Елеонский (2-й маг., впоследствии прот., проф. Моск. универ.), П. И. Цветков (6-й маг., впоследствии проф. Моск. акад. по латин. языку).

К концу учебного года 1867/68, по обычаю, был публичный экзамен, на котором в первый день (по главным предметам) присутствовал сам митрополит Филарет, а во второй (по второстепенным) — Преосв. Савва, тогдашний московский викарий. После экзаменов были обычные два обеда, первый — у митрополита в его лаврских покоях, второй — у ректора, в его помещении, а затем следовали два обеда в Вифанской семинарии.

По окончании экзаменов и всех учебных дел потянуло нас снова за границу. В этот год, летом 1867 г., в Париже была всемирная выставка. В этот же год и именно весной устроилось назначение моего тестя, протоиерея И. В. Васильева, в председатели вновь учрежденного Учебного комитета при Св. Синоде, вместо прежнего Духовно-учебного управления. Предстоял переезд всего его семейства из Парижа на постоянное жительство в Петербург, после двадцати одного года пребывания за границей. Трудно было противостоять искушению снова повидать очаровавший меня город, да сверх того побывать на всемирной выставке, а молодой моей жене — проститься с местом ее родины и всей девической жизни, до самого замужества. Наполовину удешевленные билеты специальных поездов (train de plaisir), по случаю всемирной выставки, делали наше предприятие удобоисполнимым и с денежной стороны. Получив из Парижа прогоны, мы с радостью покатили за границу.

Моя женитьба естественно потянула меня в Петербург. Не будь этого обстоятельства, я окончательно осел бы в Московской академии, тяготея к милой издавна моему сердцу Москве. Одновременно со мной потянуло из Посада и ближайшего моего друга — профессора Н. К. Соколова. Ему предложено было занять в Московском университете кафедру церковного права[300], и его выход из академии в 1867 г. совершенно совпал с моим выходом.

---

300 Потянула его туда влиятельная в то время на юридическом факультете кучка профессоров: Чичерин, Капустин и Дмитриев. Посредником был проф. Капустин, который обратился к Н. К. С-ву с означенным предложением и все время вел с ним переговоры. Впрочем, дело это наладилось не вдруг. Профессоры университета долго торговались относительно признания степени магистра богословия достаточной для занятия в университете профессорской кафедры по церковному праву. Предлагали Н.К. то сдать экзамен на университетского магистра, то представить диссертацию на степень доктора юридических наук,

Еще на каникулах, в то время, когда мы гостили в Париже, нам сделалось известным, что переводят меня в Петербургскую академию на кафедру догматического богословия, помощником тогдашнему экстраординарному профессору и инспектору архимандриту Хрисанфу (Ретивцеву), совмещавшему в своем лице преподавателя и основного, и догматического богословий. Это назначение состоялось 30 июня 1867 года.

Так моя судьба снова привела меня в Петербург, но предварительно провела через строгую Филаретовскую школу, через полную ученых традиций высокочтимую Московскую академию, поставив под ближайшее руководство великого ученого, незаменимого научного руководителя и в особенном смысле «отца» ректора, протоиерея А. В. Горского. Московская академия была поистине второй моей матерью, довершившей мое образование как академического преподавателя. Она направляла и укрепляла мои первые, еще нетвердые шаги на ученом поприще. Проведенные в ней годы были для меня важнее, чем всякое заграничное путешествие. И если впоследствии мне удалось совершить нечто, не совершенно бесполезное для бого-

---

обещая оказать со своей стороны, при получении этой степени, всевозможное снисхождение. Но Н. К. С-в твердо стоял на том, чтобы (если они желают иметь его своим профессором) признали степень магистра богословия достаточной для звания экстраординарного и даже ординарного профессора Моск. университета и чтобы дали ему формальное в этом удостоверение. В конце концов, он взял верх и поступил в университет в звании экстраорд. профессора. Впоследствии он был ординарным профессором. Представил ли он докторскую диссертацию потом, состоя уже на службе университета, мне неизвестно. Вероятно, нет, судя по тому, что он говорил, когда ему предлагали, по снисхождению, дать степень доктора, при переходе из академии в университет. «Какой я доктор юридических наук, мне стыдно носить это звание, когда я сознаю, что не имею на него права». Вот подлинные его слова. Единственную уступку настойчивости профессоров-юристов он сделал, представив, вроде как бы диссертацию pro venia legendi, небольшой труд по какому-то предмету, близкому к области юридических наук. Темы этой диссертации не помню. Вся эта история делает большую честь стойкости Н. К. Соколова в отстаивании прав наших богословских ученых степеней. Не то было в С.-Петербург. университете с М. И. Горчаковым, которого заставили, и он согласился, выдержать все экзамены на университетские степени — кандидата, магистра и доктора — и представить соответствующие диссертации.

словской науки, то этим, бесспорно, во многом обязан тому закалу и направлению, которое я получил в русском Оксфорде.

Считаю себя крайне счастливым, что удалось дожить до 100-летнего юбилея (1 октября 1914 г.) дорогой Московской академии, которой и посвящаю этот очерк (IV гл.) своих «Воспоминаний» в знак глубоко почтительной и сердечно благодарной о ней памяти.

Vivat Academia, vivant professores!

V. В Петроградской духовной академии (1867–1896)

Первый период службы (1867–1884), под действием старого и нового (1869 г.) академического устава

Переход мой из Московской в Петроградскую духовную академию почти совпал с наступлением ректорства приснопамятного протоиерея о. Иоанна Леонтьевича Янышева, только за 7 месяцев до моего возвращения в родную академию сделавшегося (с 27 ноября 1866 г.) ее ректором, преемником известного Иоанна (Соколова; † епископ Смоленский). Более половины моей здесь службы прошло под начальством этого весьма замечательного ректора, давшего совершенно новое направление академии. 17 лет его ректорства (с 27 ноября 1866 г. по 19 октября 1883 г.) представляли поистине блестящий, славный период в истории Петроградской академии, до сих пор носящий название «Янышевского». Считаю себя счастливым, что пришлось мне начать службу в родной Alma Mater именно в этот период времени, после серьезной подготовки в дорогой Московской академии.

Переход мой в Петроградскую академию был довольно необычен. Слышно было, что он устроился по представлению ректора высшему начальству, без совещания с корпорацией профессоров. Это было

в каникулярное время в конце июня 1867 г. (перевод мой состоялся 30 июня того же года), в отсутствие академических преподавателей. По всей вероятности, ректор, протоиерей И. Л. Янышев, советовался только с тогдашним о. инспектором академии, архимандритом Хрисанфом (Ретивцевым), который, можно полагать, не только предложил мою кандидатуру, но посоветовал избрать и указанный выше способ моего перевода, имея в виду хорошее обо мне мнение тогдашней корпорации академических наставников и собственные свои выгоды и цели. Ему выгодно было получить себе помощника по кафедре основного и догматического богословия, которую он до того времени занимал один, да кроме того избранием таким помощником именно меня он достигал и некоторых других целей. Прежде всего он делал нечто приятное и ректору, моему по жене родственнику (жена моя приходилась родной племянницей супруге И.Л., А. Е. Янышевой), и моему тестю, протоиерею И. В. Васильеву, только что назначенному тогда председателем Учебного при Св. Синоде комитета, членом которого состоял и сам о. архимандрит Хрисанф. Если же советник ректора, далеко не лишенный тонкости и сообразительности, и предвидел неудовольствие своих коллег, профессоров академии, от такого способа избрания и назначения нового преподавателя, то может быть, был даже отчасти этому рад, думая про себя, что, дескать, «попадет» за это от них ректору — протоиерею, по существу же полагал, что академия от моего назначения ничего не проиграет, да и коллеги ничего против меня иметь не могут; скорее, в душе будут рады переходу к ним бывшего их питомца, некогда очень желанного (1863 г.) сочлена в их семье (см. гл. III — о замещении кафедры новой церковной истории), и в конце концов всё устроится к общему благополучию. Так оно и случилось. Слышно было, что когда в конце августа 1867 г. съехались после каникул профессоры, в первом же заседании конференции ректору пришлось выслушать от них немало горячих и резких речей по поводу незаконности (по форме) моего перевода, с оговоркой, впрочем, что по существу они ничего против меня не имеют и даже рады, что назначение состоялось, но почему сделано не так, как бы следовало по законам и академическим обычаям?

Действительно, все мои бывшие наставники встретили меня как давно желанного сослуживца, очень приветливо, а некоторые даже рассказали о том, что было в общем собрании академических

преподавателей по поводу моего перевода в родную академию, прибавляя, что, в сущности, ничего они против того не имеют. Из визитов, которые сделаны были мной бывшим моим наставникам, а теперь сослуживцам, в особенности памятен был один, именно — профессору И. А. Чистовичу. «Вы, вероятно, — заметил он, — не останетесь на кафедре догматического богословия. Ведь этот предмет в научном отношении совсем неинтересный. Он ведь — не наука; это не что иное, как распространенный катехизис. Полагаю, что вы займете кафедру философии вместо Василия Николаевича Карпова, дни которого сочтены (недолго спустя после этого разговора он действительно и скончался — 2 декабря того же 1867 г.), и я желал бы, чтобы вы были моим ближайшим сотрудником по преподаванию философских наук». Поблагодарив почтенного профессора за это лестное для меня предложение, я, однако, со всей решительностью отклонил его, заявив, что у меня образовалось совсем другое настроение, решительное расположение к занятиям богословскими предметами, что хотя у меня очень мало знаний из круга науки догматического богословия, но есть надежда поставить преподавание этого предмета более или менее на научную почву, при этом, кажется, прибавил, что намерен придать своим чтениям историко-догматический характер, что действительно и сделал.

Такой характер первых моих чтений по догматическому богословию объясняется как влиянием московской школы — приснопамятного великого церковного историка о. А. В. Горского и советами нового моего ректора о. И. Л. Янышева, очень сочувствовавшего такому именно методу преподавания этого важного предмета, так, наконец, и моим скептическим взглядам на возможность создать систему догматического богословия. Казалось тогда, что после трудов Преосв. Макария (Булгакова) и Филарета (Гумилевского) сделать что-либо в этом направлении, достойное академической кафедры, невозможно и что пришлось бы в таком случае повторять их труды, в особенности многотомный и уже прославленный труд Преосв. Макария. Только через три-четыре года (1872) я приступил к чтению лекций по системе догматического богословия, параллельно с чтениями по историческому изложению догматов. Вызван был к тому самими моими слушателями, как увидим далее, а до того времени мои чтения имели исключительно историко-догматический характер.

Разделили мы с о. архимандритом Хрисанфом — он в звании экстраординарного профессора, а я в звании бакалавра — преподавание предмета следующим образом: он взял введение в богословие (основное богословие) и первую часть догматического, то есть учение о единстве Божием, о Троичности Лиц в Боге и о творении мира видимого и невидимого (Ангелов). Все остальное, то есть вторая, большая часть догматики выпала на мою долю.

Так как первым предметом моих чтений было Лице Христа Спасителя, а затем все то, что привнесено христианством в область Богооткровенной веры, то, идя историко-догматическим путем, естественно было заняться прежде всего последними временами, перед пришествием Спасителя, с целью проследить, каким образом иудейский мир приготовлялся к принятию Мессии, какие в то время существовали в еврействе понятия относительно важнейших вопросов веры и не было ли в этих понятиях подготовительных элементов к принятию христианства. Порекомендованный мне о. ректором И. Л. Янышевым, только что явившийся тогда, очень интересный труд римского богослова, впоследствии старокатолика Лянгена[301], содержащий обстоятельное изложение и анализ всего того, что явилось в религиозной иудейской литературе в промежуток времени между появлением последних книг Св. Писания Ветхого Завета и Новозаветными Писаниями свв. апостолов, помог мне осуществить эту задачу. Общий вывод был тот, что в иудейской литературе того времени более или менее близко подходили к чаянию того полного озарения, которое явилось в христианстве, но что это были, однако, лишь слабые проблески, подобные утренней предрассветной заре, предшествующей появлению солнца — Христа, и что невозможно объяснить появление христианства путем будто бы естественного развития бродивших в иудействе идей и представлений, как стремилась к тому отрицательная немецкая критика. После этих чтений следовало обратиться к изложению догматических данных, заключающихся в Новозаветных книгах Св. Писания, или к тому, что на Западе называется «Библейским богословием», как первой части исторического изложения догматов, и чем, как увидим далее, пришлось заняться впоследствии, но на сей раз я начал чтение прямо с истории

[301] Langen, Das Judentum zur Zeit Christi. Beitrag zur Offenbarung und Religionsgeschichte, als Einleitung in Theologie des N.T. Freibur. 1866.

раскрытия догматов в период святоотеческий и средневековый. При этом руководствовался западными, так называемыми «историями догматов» — как римско-католическими[302], так и протестантскими, и последними преимущественно, в особенности трудом Каниса[303], весьма объективного, очень беспристрастного, даже в профессиональных вопросах строго ортодоксального в лютеранском смысле богослова. Нужно признаться, что эти чтения на первых порах почти совершенно лишены были самостоятельности и имели конспективный характер, заключая массу довольно отрывочных сведений и представляя беглый обзор богатой истории догматических движений в святоотеческий и средневековый период. Если в чем проявлялась моя самодеятельность, то почти только в переработке даваемого немецкими пособиями материала, да в исключении всего того, что отзывалось протестантством или католичеством. В общем же, долг справедливости требует признать, что в этот первый период моей деятельности на новой кафедре я состоял в порядочном рабстве у немцев и освободился от него только после 1869 г., когда приступил к более или менее самостоятельной разработке предмета и составлению новых лекций, прежние же сдал в архив. Такова судьба первых лекций, насколько нам известно, огромного большинства академических преподавателей прежнего, по крайней мере, времени, когда не существовало нынешней подготовки кандидатов на занятие академических кафедр.

Тогдашний ректор Петроградской академии протоиерей Иоанн Леонтьевич Янышев[304], как видно из предыдущего, вполне одобрял

---

302 Klee — Lehrbuch der Dogmengeschichte. Mainz. 1837–1838. Schuane — Dogmengeschichte der vornicänischen Zeit Munster. 1862. Dogmengeschichte der patristischen Zeit Munster. 1862. Zobl — Dogmengeschichte der katholischen Kirche. Insbruck. 1865.

303 Kahnis — Die Kirchenglaube in seiner geschichtlichen Entwicklung. Leipz. 1864 — второй том трехтомного его труда, из которых первый посвящен лютеранской догматике в историческом ее развитии (Die luterische Dogmatik historisch genetisch dargestellt. Leipz, 1861), а третий — системе лютеранской догматики (System der lutherischen Dogmatik. Leipz, 1868).

304 Протоиерей И. Л. Янышев, род. в 1826, калуж., 1-й маг. XVIII к. СПб. акад. (1849), оставлен при акад. сначала помощ. эконома, потом (1850) — бак. математики, 1851 — свящ. Висбаденской ц., в 1856 — проф. богосл. и филос. в Петрогр. университете, в 1858 — снова заграничный свящ. и прот., сначала

принятый мной метод чтений. Богато одаренный от природы, сначала бакалавр математики в родной академии, вскоре заграничный (в Висбадене) священник, потом блестящий профессор богословия в Петроградском университете, оставивший в нем по себе громкую славу[305], далее — снова заграничный священник и протоиерей (в Берлине и Висбадене), в 1864 г. — преподаватель в Копенгагене закона Божия и русского языка принцессе Дагмаре, ныне вдовствующей Государыне Императрице Марии Феодоровне; в 1866 г., по Высочайшему повелению, — ректор Петроградской духовной академии, Янышев был человеком философского склада ума, светлых, широких взглядов, высоко ставивший научные интересы, прекрасно знакомый и с родной академией, и с постановкой преподавания в университетах как отечественных, так и заграничных немецких, энергичный, многоопытный, много видевший и испытавший на своем веку, несмотря на свои сравнительно небольшие годы (40 лет — в 1866 г.). Он составил себе идеал духовной академии, во многом совершенно не похожий на тот, выражением которого была тогда наша отечественная духовная академия. Идеалом его был богословский факультет преимущественно немецких университетов.

Ректорство его совпало с эпохой преобразований в духовно-учебной среде, и он оказался как нельзя более кстати на ректуре в столичной академии, вблизи той среды, где вырабатывались духовно-учебные планы, и вскоре сделался одним из самых видных и влиятельных руководящих деятелей духовного просвещения, в академии же приобрел, с течением времени, большой авторитет. Не считаем, однако, нужным скрывать, что первые его шаги на новом поприще службы были не особенно удачны, в чем он, впрочем, в значительной степени был виноват сам, благодаря

в Берлине, а с 1859 — в Висбадене, в 1864 — препод. закона Божия и русского яз. принцессе Дагмаре в Копенгагене, а с 1866 (28 ноября) — ректор Петрогр. дух. академии.

[305] Как видно из «Исторической записки» проф. Григорьева, по случаю 50-летнего юбилея Петрогр. университета. «Число его (о. И. Л. Ян.) слушателей возрастало с каждым днем. Несколько раз он должен был переходить из одной аудитории в другую, более обширную. Наконец, стал читать в актовом университетском зале, но и тот едва вмещал всех, стремившихся насладиться его увлекательною речью» (См.: И. А. Чистович «История СПб. дух. академии...», 1889, стр. 24–25).

своему увлекающемуся характеру. Дело в том, что встреченный академической корпорацией наставников весьма приветливо, как желательный начальник, как славный питомец академии, он, рассказывали, на самых же первых порах поставил своих сослуживцев в оппозиционное к себе отношение. В своих речах и особенно во вступительном своем слове, из текста: «на Моисеовом седалище седоша книжницы и фарисеи», он обидел память старой Петроградской академии, как бы зачеркнул все ее прошлое. Между тем, родная академия гордилась этим прошлым, в особенности эпохой Преосв. Макария (Булгакова), славного ее ректора и выдающегося духовного писателя, богослова и церковного историка. А нужно при этом заметить, что большинство преподавателей Петроградской академии того времени были питомцами именно Макарьевского периода. «Новый ректор, — говорили тогда (мне пришлось слышать это впоследствии от других, так как при вступлении о. И. Л. Янышева в должность ректора я служил в Московской академии), — сам еще ничего не сделал, а между тем осмелился так отнестись ко многим славным, во всяком случае, именам, к историческим традициям академии и установившемуся укладу ее жизни. Посмотрим, что он сам даст академии». В частности, и относительно академической дисциплины взгляды нового ректора резко расходились со взглядами старейших представителей академической преподавательской корпорации. Для них идеалом в этом отношении были строгие Макарьевские времена. Они вздыхали о строгом Макарьевском режиме, расшатанном при преемниках Преосв. Макария — Феофане (Говорове), Нектарии (Надеждине), Иоанникии (Рудневе) и Иоанне (Соколове), в период от 1857 до 1866 г., и мечтали об его восстановлении. Новый же ректор, сам воспитанник тех же Макарьевских времен, далеко не был их поклонником и являлся поборником совсем другого строя студенческой жизни, несравненно большей свободы. Были еще и некоторые другие обстоятельства, содействовавшие усилению недоразумений между новым ректором и академическими профессорами, но об этом будет сказано далее.

Ближайший его помощник, инспектор академии архимандрит Хрисанф (Ретивцев)[306], мало был способен к улаживанию означенных

[306] Влад. Никол., в монашестве Хрисанф (Ретивцев, тверск., 5-й маг. XX к. Моск. акад., 1856), 1856 — препод. Костром. сем., 1857 — монах,

недоразумений, напротив, по своему характеру и положению, в каком очутился, был склонен содействовать их усилению. По-видимому, он был далеко не чужд ревности монаха, подчиненного лицу из белого духовенства, да и личный его характер располагал его к тому же. Очень даровитый, прекрасный, блестящий профессор, производивший сильное впечатление на студентов своими умными и живыми лекциями, он был очень популярен и в среде корпорации академических наставников. В высшей степени живой и общительный, интересовавшийся всем — от важных событий до мелочей жизни, он всегда был как нельзя более в курсе академической жизни и очень любил делиться своими впечатлениями со своими сослуживцами. И в Петрограде он был тем же, что в Казани, во время своей службы в Казанской академии, — по описанию его бывшего слушателя, студента VIII курса Казанской академии, профессора П. В. Знаменского. Вот что читаем в замечательной, в высшей степени интересной «Истории Казанской академии»[307] этого почтенного профессора: «Молодой, рыжеватый монах, с юркими движениями, с живым, несколько подозрительным взглядом маленьких, бегающих во все стороны глаз... Это была крепкая философская и вместе с тем живая историческая и литературная голова, с самой разносторонней научной и житейской любознательностью и даже увлечением. Не было на свете новости в области ли немецкой трансцендентальной философии, в области ли современной политики Наполеона III, в жизни ли бакалавров или студентов, которой он не постарался бы узнать первым, принимая во всем живейший интерес. С раннего утра его непременно можно было видеть бегущим по академическому двору от одного наставнического флигеля к другому; это значило, что он или услыхал о каком-нибудь курьезе между студентами, о новом оригинальном изречении

1858 — бак. Казан. акад. по обличит. и основн. богосл., 1865 — бак. СПб. акад. по нравств. богосл., 1866 — архим., инспект. СПб. акад., экстраорд. проф. по догм. богосл. совместно с ректором Иоанном (Соколовым), 1867 — член Учебн. ком. при Св. Синоде, 1869 — рект. СПб. сем., 1874 — еп. Астрахан., 1877 — еп. Нижегор., 1878 — докт. богосл. (по удостоению Казанской акад.), 1879 — на покое в москов. Донском мон., † 1884.

[307] П. В. Знаменский «История Казанской духовной академии». Казань, 1892, вып. 2-й, стр. 256–258.

ректора Иоанна (Соколова; † епископ Смоленский), о скандальчике в городе, или вычитал, за чаем из газет, какую новую каверзу устроил Наполеон III, и спешил поделиться новостью с приятелями». Точь-в-точь то же самое было и в Петроградской академии, куда он перешел на службу еще при предшественнике о. И. Л. Янышева, Преосв. Иоанне (Соколове). При таких особенностях ума и характера о. Хрисанфа понятно, какую богатую пищу для необыкновенной житейской любознательности и какой богатый материал для критического ума инспектора давали распоряжения и взгляды нового ректора, в силу предносившегося последнему идеала академической жизни, совершенно не похожего на старый — Филаретовских и Макарьевских времен. Нисколько поэтому неудивительно, что инспектор о. архимандрит Хрисанф очутился во главе академической оппозиции ректору, был, можно сказать, ее душою. Таким он остался и по выходе из академии на ректуру Петроградской семинарии в 1869 г., перед самой академической реформой. Близкое соседство семинарии и академии и тесная дружба с некоторыми из старейших профессоров академии, в особенности с преемником по инспекторству, заслуженным профессором К. И. Лучицким, очень облегчали выполнение этой роли. Так продолжалось дело и после 1869 г. (добрые пять лет), до 1874 г., когда архимандрит Хрисанф, возведенный в сан епископа Астраханского, отбыл из Петрограда, а профессор К. И. Лучицкий вместе с инспекторством оставил, в том же 1874 г., службу в академии. Впрочем, это относится уже к периоду времени после преобразования академии в 1869 г., — предмету дальнейшего нашего рассказа.

Из моих тогдашних сослуживцев по Петроградской академии огромное большинство были мои прежние наставники по студенчеству, достаточно мной уже охарактеризованные (см. гл. III). Из новых были только ректор, инспектор и четыре бакалавра (Л. А. Павловский, Т. В. Барсов, А. Е. Светилин и П. Ф. Комаров).

Ректор, ординарный профессор по кафедре нравственного богословия, избрал этот предмет (а не догматическое богословие, как делали это его предшественники), потому что ему казалось легче и удобнее совместить занятия этим предметом с исполнением многотрудных ректорских и других (по придворной службе) обязанностей. Не раз он говорил мне, что догматическое богословие требует более

молодых сил, более времени и более безраздельной ему преданности, чем нравственное богословие, почему он и решился избрать последнее, а для первого вызвать меня из Московской академии. От себя прибавлю, что философский склад ума о. И. Л. Янышева наиболее подходил к кафедре нравственного богословия, серьезная научная постановка которого требует именно такого склада, что, вероятно, инстинктивно чувствовалось И.Л. и что, в конце концов, повело к появлению замечательного, капитального его труда — системы нравственного богословия. Справедливость требует заметить, однако, что сильному уму И.Л. далеко не вдруг удалось овладеть своим предметом. Слышно было, что по временам он разочаровывался в ценности своих лекций, чего не скрывал от близких ему людей. В лице И.Л. академия получила, несомненно, прекрасного, блестящего профессора, превосходного, заботливейшего обо всех сторонах ее жизни ректора, а корпорация наставников — симпатичного, деликатнейшего главу, дружественно, в высшей степени доброжелательно относившегося к ее сочленам и терпеливо — к их недостаткам, а подчас и не совсем корректным выходкам. К сожалению, наши тогдашние сослуживцы, привыкшие к совершенно другому обращению прежних ректоров, не сумели оценить, по крайней мере в первые годы его ректорства, изысканную его вежливость и деликатность его обращения и несправедливо заподозрили его в неискренности и даже в иезуитстве. Слишком уж резок был контраст между ним и его предшественником, грубо деспотичным Преосв. Иоанном (Соколовым), да и другими, более ранними ректорами.

Впрочем, то, что сказано выше об И. Л. Янышеве, как профессоре нравственного богословия, относится собственно к периоду после преобразования академии (после 1869 г.); до того же времени (1867–1868) он преподавал педагогику, а кафедру нравственного богословия с 1866 г. занимал, в звании бакалавра, П. Ф. Комаров, бывший мой слушатель по Московской академии[308], не представивший

[308] Говорили тогда, что он вызван был из Московской академии ректором, Преосв. Иоанном (Соколовым), и инспектором, о. Хрисанфом, с целью иметь в нем монаха, но их расчеты оказались ошибочными. П. Ф. Комаров монашества не принял, по всей вероятности оттого, что переход его в Петроградскую академию совпал как раз с переменой в ней ректора-монаха на ректора-протоиерея (кстати сказать, земляка Комарова, калужанина). П. Ф. Комарову о. архим. Хрисанф передал, в октябре 1866 г., свою кафедру нравственного богословия,

магистерской диссертации, а потому оставленный в 1869 г. за штатом (о нем см. в IV гл. моих «Воспоминаний»). Его место на кафедре нравственного богословия (соединенного с педагогикой по уставу 1869 г.) и занял о. И. Л. Янышев.

Из новых лиц, кроме ректора, инспектора (о. Хрисанфа) и П. Ф. Комарова, оказались моими сослуживцами мои сверстники по студенчеству — курсов: старшего XXIV, моего XXV и младшего XXVI, именно Л. А. Павловский, бакалавр патристики[309], Т. В. Барсов, бакалавр церковного законоведения, мой сотоварищ по студенчеству, и А. Е. Светилин[310], бакалавр логики и психологии. Первый — более практического, чем научного склада ума, второй — не пользовался симпатиями большинства сослуживцев, вследствие особенностей его характера, третий отличался большой скромностью, застенчивостью, сосредоточенностью, глубокомыслием, во многом и складом ума и характера, отчасти даже наружностью, напоминая бывшего моего сослуживца по Московской академии, профессора В. Н. Потапова, также преподавателя логики и еще новой философии.

Корпоративная жизнь преподавателей Петроградской академии во многом отличалась от Московско-Посадской. Здесь профессоры и бакалавры не жили в таком близком общении, как в Сергиевом Посаде. Немногие, человек шесть (В. И. Долоцкий, Н. И. Глориантов, А. И. Предтеченский, И. Е. Троицкий, Т. В. Барсов, П. Ф. Комаров), имели казенные квартиры в здании академии, остальные были рассеяны по Петрограду, и если первые естественно часто виделись, то последние жили особняками как друг от друга, так и от академических насельников, имея особый круг знакомых и родных, что представляло свои выгодные и невыгодные стороны.

сам же занял кафедру догматического. А 9 ноября того же 1866 г. Преосв. Иоанн получил назначение на Смоленскую епископскую кафедру.

309 Леонид Андреевич Павловский, петербурж., 3-й маг. XXIV к. СПб. акад. (1861), 1861 — препод. СПб. сем., 1863 — бак. СПб. акад., 1866 — свящ., 1872 — оставил службу при акад., 1877 — прот., † 1895.

310 А. Е. Светилин, рязан., 8-й маг. XXVI к. СПб. акад. (1865), 1865 — препод. Смолен. сем., 1867 — бак. СПб. акад., 1875 — экстраорд. проф., † 1887.

Материальное положение преподавателей столичной академии оказалось также несколько иным, чем в скромном Посаде. Правда, по примеру Московской и вслед за ней, и в Петроградской академии существовала такая же прибавка, от Александро-Невской Лавры, к казенному жалованию: ординарному профессору (вместо 858 р.) — 1200 р., экстраординарному (вместо 429 р.) — 900 р., бакалавру (вместо 429 р.) — 700 р., но этих средств было недостаточно при дороговизне столичной жизни, в особенности для людей семейных. Для примера возьму себя. Нанял я квартиру за 300 р. в год (25 р. в месяц), осталось 400 р. — на всё про всё; более чем скромное содержание! Так прожили мы конец 1867 и весь 1868 год; к концу 1868-го, началу 1869-го, с выходом инспектора архимандрита Хрисанфа на ректуру в Петроградскую семинарию, я получил прибавку в 200 р., на меня перевели его оклад — экстраординарного профессора (900 р.), в виду моего семейного положения, хотя я и не был возведен в это звание. Считал себя счастливым, располагая в месяц уже 75 р., а за исключением платы за квартиру, — 50 р. Но это счастье было очень кратковременное; продолжалось оно месяца два-три. Перед преобразованием академий по новому уставу, месяца за три-четыре до 30 мая 1869 г. (время утверждения устава), Лавра отказалась давать прибавки к нашему жалованию, в виду будущих возвышенных окладов содержания, в размере университетских. Случилось это совершенно неожиданно. Большое было разочарование, когда, настроенные на ожидание близкого улучшения нашего быта, явились мы в январе или в феврале этого года к эконому академии, и нам объявили, что мы, бакалавры, вкупе с экстраординарными профессорами, получим по 35 р. с копейками месячного жалования.

При таких обстоятельствах поневоле приходилось прибегать к литературному труду, как к добавочному средству существования. В половине месяца карман обыкновенно оказывался совершенно пустым, и идешь, бывало, с некоторым смущением, к казначею редакции «Христианского чтения» профессору И. Ф. Нильскому за получением 10–15 рублей в счет гонорара за печатающиеся в журнале статьи. Отсюда и ведут начало мои «Очерки истории литургии нашей православной Церкви» (1868) и «Истории древних национальных литургий Запада» (1870), печатавшиеся в «Христианском чтении». Не будь гнетущей нужды, едва ли появились бы на свет эти очерки, отнявшие

у меня немало времени от занятий новым предметом преподавания (догматическим богословием), с трудами по которому я не мог еще выступить в печати по недостаточному его изучению. По временам еще помещал статьи публицистического характера в «Церковно-общественном вестнике» А. И. Поповицкого.

Преобразование духовных академий по уставу 1869 г.

Главным двигателем преобразования был тогдашний обер-прокурор Св. Синода (с 1865 г.) граф Д. А. Толстой. Он повел это дело со свойственной ему энергией и настойчивостью. С января 1868 г. учрежден был комитет для пересмотра устава академий — под председательством Нижегородского архиепископа Нектария (Надеждина), бывшего нашего ректора. Но душой комитета был не председатель, человек ничем не выдающийся, кроме полного сочувствия делу преобразования и потому persona grata у графа Д. А. Толстого, а члены комитета, в особенности председатель Духовно-учебного комитета протоиерей И. В. Васильев и ректор Петроградской академии протоиерей И. Л. Янышев. Оба они горячо были преданы делу преобразования и являлись прекрасными, весьма сведущими представителями постановки высшего богословского образования на Западе: протоиерей И. В. Васильев — в римско-католическом мире, протоиерей И. Л. Янышев — в протестантском. Сверх того, протоиерей И. В. Васильев, — высокодаровитая личность с сильным и уравновешенным характером, очень живой, остроумный и красноречивый, весьма влиятельный во всех высших сферах, и светских и духовных, — имел большой вес и значение и у обер-прокурора Св. Синода графа Д. А. Толстого[311].

---

[311] Близкое между ними знакомство восходило к 1862–1863 годам пребывания гр. Д. А. Толстого в Париже, где он, еще не будучи обер-прок. Св. Синода, составлял, или по крайней мере окончательно редактировал, свой

Прочие члены комитета были также в своем роде люди замечательные и вносили свою долю влияния в дело преобразования. Главный священник армии и флота, протоиерей М. И. Богословский, человек также авторитетный и влиятельный и в духовных и отчасти светских кругах, сильного, непреклонного характера, некогда безраздельно властвовавший в училище правоведения, в бытность свою его профессором и законоучителем, доктор богословия (что тогда было большой редкостью), являлся в комитете представителем умеренно консервативного элемента. Видные представители министерства народного просвещения — профессоры Петроградского университета И. Е. Андреевский и Историко-филологического института А. Д. Галахов — тянули, конечно, в сторону преобразования и факультетского устройства духовных академий на манер университетов. Ректор Петроградской духовной семинарии архимандрит Павел (Лебедев; † архиепископ Казанский), человек широких взглядов, был также на стороне преобразования. О Н. А. Сергиевском, директоре канцелярии обер-прокурора, и говорить нечего: он, конечно, усердно творил волю своего принципала — обер-прокурора. Профессор И. А. Чистович, авторитетный знаток истории академии, автор «Истории С.-Петербургской духовной академии. 1858–1888» (СПб., 1889), примыкал также к поборникам коренного преобразования духовных академий; сверх того, он взял на себя особую миссию — быть горячим защитником светских наук, в частности философии, в составе академического курса; тогда было довольно сильное течение в пользу преобразования академий в специально богословские заведения, вроде университетских богословских факультетов. Наконец — Е. И. Ловягин, он же делопроизводитель комитета, почтенный профессор математики, отстаивавший, хотя и не особенно энергично, существование физико-математических наук в академическом курсе.

Были в комитете и случайные члены, присутствовавшие в нескольких заседаниях его: Литовский архиепископ Макарий (Булгаков)

труд — Le Catholicisme romain en Russie (1863), пользуясь во многом советами прот. И. В. Васильева, о чем последний не раз говорил пишущему эти строки, подчас жалуясь на забывчивость услуг, оказанных бывшему другу, а теперь — его начальнику. Учебный комитет был в полном подчинении обер-прокурору.

и очутившиеся в это время в Петрограде делегаты (по случаю 50-летнего юбилея Петроградского университета в феврале 1869 г.) академий Московской и Казанской: ректор Московской академии протоиерей А. В. Горский и профессор Казанской академии Н. П. Соколов[312]. Архиепископ Макарий был горячим поборником преобразования; А. В. Горский, как и естественно было ожидать, — не особенно к нему расположенным. Кстати, во время своего пребывания в Петрограде незабвенный мой бывший ректор, А. В. Горский, к великой моей радости, удостоил меня своим посещением на моей скромной квартире.

Так, трудами упомянутых лиц и выработан был Высочайше утвержденный 30 мая 1869 г. устав духовных академий, — со всеми его особенностями.

Одной из главных была специализация и разделение преподаваемых наук на три группы, или отделения: богословское, церковно-историческое и церковно-практическое, с немногими общеобязательными для всех студентов предметами. Общеобязательными были: Св. Писание Ветхого и Нового Завета (2 каф.), основное богословие, логика, психология, история философии, метафизика и педагогика. К богословскому отделению причислялись: догматическое богословие, нравственное, сравнительное, патристика, библейская археология и еврейский язык. К церковно-историческому: библейская история, общая церковная история древняя и новая (2 каф.), история русской Церкви, гражданская история древняя и новая (2 каф.), русская гражданская история и русский раскол. К церковно-практическому: пастырское богословие с гомилетикой (1 каф.), церковное право,

---

312 Нафанаил Петрович Соколов, сарат., 12-й маг. XIII к. Моск. акад. (1842), 1842 — бак. Казан. акад. по философии, 1847 — экстраорд. проф., 1850 — орд. проф., 1858 — проф. церк. истории, переведенный на эту кафедру, вопреки его желанию, тогдашним ректором Иоанном (Соколовым). Отличался чрезвычайно внушительной наружностью (огромным ростом), апломбом и необыкновенной практичностью, сумел расположить к себе гр. Д. А. Толстого, предложив ему перевести на русский язык его соч. «Le Catholicisme romain en Russie», через что много выиграл: после отставки от акад. службы в 1872 г. был причислен (в 1875 г.), к канц. обер-прокурора и, кажется, состоял потом сверхштатным членом Учебн. ком. при Св. Синоде. О нем — в «Истории Казан. дух. академии» П. В. Знаменского, см. т. 2, стр. 22–26 и 293–294, — очень интересные очерки и характеристика, как во всем и всегда, мастерские.

церковная археология, словесность и славянские наречия. Из древних языков для каждого студента был обязателен только один, из новых — тоже.

Слабые стороны такого учебного плана скоро были замечены. Это — преобладание небогословских наук перед богословскими в двух, по крайней мере, отделениях: церковно-историческом и церковно-практическом[313], недостаток полноты богословского образования студентов по причине отнесения к отделенским, специальным, некоторых важнейших предметов, каковы в особенности общая церковная история и догматическое богословие[314], наконец большая неравномерность в количестве предметов, подлежавших изучению студентами отделений и выслушиваемых еженедельно лекций[315].

Идея специализации духовно-академического образования носилась, так сказать, в воздухе тогдашнего времени и находила почти общее признание. Но кому именно принадлежала первая мысль о таком учебном плане, о разделении всех наук на три группы, или отделения, сказать наверное трудно. У И. А. Чистовича в его «Истории С.-Петербургской духовной академии...». СПб., 1889, стр. 113) говорится, что Преосв. Макарий (Булгаков), тогдашний архиепископ Литовский, присутствовавший в одном из заседаний комитета по преобразованию академий, высказался за такое разделение, с усвоением отделениям таких именно наименований. Очень

---

313 Из общеобязательных было пять небогословских предметов, при четырех кафедрах (логика, психология, история философии, метафизика, педагогика), и только два богословских, при трех кафедрах (основное богословие, Св. Писание Ветхого и Нового Завета). Таким образом, считая вместе с этими общеобязательными предметами отделенские, получаем след. результаты: студенты только одного богословского отделения изучали более богословских предметов, чем светских, именно семь против пяти светских, студенты же исторического и практического отделений — семь светских и шесть богословских.

314 Богословское отделение лишено было церковной истории, церковно-историческое — догматического богословия, а церковно-практическое — обоих предметов.

315 Более всего перегружено было, как теперь выражаются, церковно-историческое отделение. Студенты этого отделения слушали преподавателей (как различных наук, так и языков) — 17, церковно-практического — 14, богословского — 13.

может быть, что ему именно принадлежит первая мысль и что его авторитет повлиял на других членов. За такое, как бы факультетское устройство академических курсов ухватились, вероятно, прежде всего светские члены комитета, профессоры университета и историко-филологического института (И. Е. Андреевский и А. Д. Галахов); к ним присоединились профессоры И. А. Чистович и Н. А. Сергиевский, может быть, и архимандрит Павел (Лебедев). Но главную опору оно нашло в протоиерее И. Л. Янышеве, горячем и убежденном защитнике самой строгой специализации, как можно было убедиться из неоднократных наших с ним бесед, причем он усиленно, между прочим, защищал практическое отделение, ссылаясь на устройство немецких богословских факультетов. Протоиерей И. В. Васильев был сторонником более умеренной специализации; с ним, по всей вероятности, сходился во взглядах и протоиерей М. И. Богословский.

После введения в действие новый учебный план устава 1869 г. принес много добрых и ценных плодов. Студенты стали несравненно серьезнее, чем прежде, относиться к изучению наук, в особенности отделенских. Лично я был очень рад, что мой предмет был специальным, отделенским. Никогда я не имел таких внимательных и усердных слушателей, как в период времени от 1869 до 1884 г. Вообще во всех классных занятиях прошла какая-то бодрая, живая струя. Тем досаднее была явная крайность в проведении прекрасного и благодетельного, в сущности, принципа специализации, являлось предчувствие недолговечности нового устава и сильное опасение возврата к прежнему академическому строю, что потом, к сожалению, и случилось в 1884 г. Одушевленный такими мыслями и чувствами, я даже рискнул в 1874 г. выступить печатно с доброжелательной, но откровенной критикой учебного плана по уставу 1869 г., с указанием вышеупомянутых его недостатков, со своим проектом разделения всех наук академического курса на две группы, или отделения, — богословское и церковно-историческое, и с другой комбинацией относительно общеобязательных предметов. Статьи мои напечатаны в «Церковно-общественном вестнике» А. И. Поповицкого (1874, № 45–47) — конечно, без подписи фамилии автора.

Далеко небезопасно было тогда выступать с подобной, хотя и очень сдержанной критикой, при известном деспотичном

и не терпевшем возражений характере обер-прокурора, графа Д. А. Толстого. Дело это держалось в большом секрете, имя автора было известно только самым близким ко мне людям и — никому в академии, но был один момент, угрожавший нарушением моего секрета. Вскоре после напечатания упомянутых статей, в том же 1874 г., ревизовал нашу академию Литовский архиепископ Макарий (Булгаков). После ревизии, в собрании всех наставников академии, в квартире ректора, Преосвященный ревизор заводит, между прочим, речь о новом академическом уставе, причем заявляет, что он читал статьи «Церковно-общественного вестника», находит их, в общем, справедливыми и основательными[316], и потом вдруг обращается к тут же присутствовавшему лектору французского языка и редактору «Церковно-общественного вестника», А. И. Поповицкому, со словами: «А.И., кто писал эти статьи? Вы сами?». «Да, я сам», — отвечал А.И., при гробовом моем молчании.

Была еще одна сторона в учебном плане устава 1869 г., которая подвергалась жестокой и почти общей критике. Это постановка IV курса. Три первых курса — I, II, III — назначены были для чтения лекций, IV — для практических занятий. Оставалось мало времени для чтения полных курсов, оно сокращалось на четверть против прежнего (до преобразования), даже больше, так как на III курсе студенты писали уже кандидатские сочинения и, естественно, были мало расположены к слушанию лекций, с чем преподавателям поневоле приходилось считаться. И хотя количество лекций в этом курсе не уменьшилось, даже иногда увеличивалось, по расписанию, но на самом деле, в студенческой практике оно сокращалось... IV же курс, назначенный для практических занятий и для приготовления

---

316 Одобрение статей, далеко не совпадавших с его предположениями, высказанными им раньше в заседании комиссии (см. выше), делает большую честь его беспристрастию и терпимости в отношении к чужим мнениям. Эта, не часто встречающаяся черта крупного ученого, в особенности ярко, даже поразительно выразилась впоследствии, когда Преосв. Макарий был уже Московским митрополитом, — по поводу издания труда проф. Е.Е Голубинского (История Русской Церкви), сильного конкурента и даже критика собственного труда Преосвященного по истории Русской Церкви. Митр. Макарий не только разрешил проф. Е. Е. Голубинскому печатание его труда, но даже дал и материальные на то средства!..

к магистерскому экзамену, считался малополезной, чтобы не сказать больше, тратой времени[317]. Недовольство такой постановкой классных занятий было в нашей академии, нужно признаться, почти общим, защитников было очень немного. Между ними самым горячим был ректор. Пишущий эти строки принадлежал также к этому меньшинству, не разделяя мнение большинства, — на следующих основаниях.

Никогда не считал я полноту курсов задачей академии, держась мнения, что для академий, как высших учебных заведений, должно быть девизом «non multa sed multum», полагая, что то, что является необходимым требованием для духовных семинарий, совершенно необязательно, даже в некоторых отношениях вредно для духовных академий. Осмеливаюсь так думать и теперь. Нападки на IV курс также казались мне маловескими и несостоятельными. Больше всего нападали на безделье и леность студентов этого курса, получивших уже право на степень кандидата, при переходе с III на IV курс, за поданные курсовые сочинения, и потому считавших себя вправе почивать на лаврах. Нельзя отрицать, что таких было немало, но это были худшие студенты. Таких людей, способных пролежать на боку не один, а целых четыре года, всего было, есть и будет известное количество, при всех уставах. В данное время их было больше, чем прежде, но ведь и количество всех студентов более, чем удвоилось, при широко открытых дверях академии. Лучшие же студенты проводили этот год с огромной для себя пользой; ревностно занимались даваемыми им работами, главным образом по изучению литературы избранных ими для магистерского экзамена предметов (группы из двух-четырех), в частности — наиболее выдающихся руководств по этим наукам. Кроме того работали над своими кандидатскими сочинениями, с целью превратить их в магистерские через расширение или вообще некоторое изменение темы; практиковались в составлении и чтении пробных лекций по избранным ими предметам. Эти практические занятия чередовались со слушанием некоторых, правда немногих, теоретических лекций, читанных

[317] Может быть, в нелюбви к IV курсу играла некоторую, конечно, небольшую, роль необычность нового труда академических преподавателей, принужденных вырабатывать новые методы занятий со студентами. Лишний, да еще очень неопределенный труд не мог особенно нравиться.

наставниками в видах дополнения или завершения курсов I–III. Все это сильно возбуждало энергию студентов и располагало их к научной, серьезной, самостоятельной и вместе спокойной работе, даже худших заставляло кое-что делать, так как и они были обязаны давать отчет в своих занятиях надлежащим наставникам, и было совестно являться перед ними совсем с пустыми руками и головой. В крайнем случае, — берем средних студентов — IV курс был далеко небесполезен хотя бы в том отношении, что давал возможность осмотреться, подвести итоги многолетнего (15–16 лет) их ученья в духовном училище, семинарии и академии, наметить себе путь дальнейшей жизни и деятельности и накопить энергию для будущей преподавательской деятельности. И опыт показал, и наблюдения подтвердили, что из питомцев академий периода 1869–1884 гг. выходили наиболее энергичные семинарские преподаватели; таким оказывались нередко даже лица, не особенно усердно и успешно проходившие академический курс.

За исключением указанных выше особенностей устава 1869 г., другие — не только не встречали себе возражений в академической среде, но находили, напротив, полное сочувствие. Таковы: постановка академического совета, отделений и пр., вообще все административное устройство и направление разносторонней ученой и учебной академической жизни. И жизнь родной академии потекла усиленным темпом, весьма стройно, под управлением такого идеального, в особенности для того времени, ректора, каков был протоиерей И. Л. Янышев, и под попечительством ближайшего ее начальника, весьма благожелательного к академии, мудрого митрополита Исидора.

Митрополит Исидор (Никольский) был замечательнейший святитель. Воспитанник Петроградской академии того периода (1821–1825), когда в ней еще жив был дух Филарета (Дроздова), знаменитого ее ректора (хотя тогда уже наступил период реакции — годы 1824-й и следующие), еще более сблизившийся с московским святителем в течение своей семилетней службы в Москве, как ректор Московской семинарии (1833) и викарий Московский, епископ Дмитровский (1834–1840), митрополит Исидор был близок по своим идеалам и просветительным стремлениям (перевод Библии на русский язык) к знаменитому московскому святителю, но он резко и во многих отношениях выгодно отличался от митрополита

Филарета чертами личного характера. Крайне сдержанный, в высшей степени спокойный, до поразительной невозмутимости, ровный, вежливый в обращении, склонный к юмору, чуждый порывов к произволу и часто встречающемуся архиерейскому деспотизму, глубоко проникнутый чувством законности, в высшей степени дальновидный, наконец искренно сочувствовавший успехам духовной науки — таков был митрополит Исидор. Под его начальством, как за надежной стеной, спокойно могла жить родная академия и развиваться в новом направлении. Нет никакого (для меня по крайней мере) сомнения, что митрополит Исидор в глубине души сочувствовал уставу 1869 г., конечно — в общем, а не во всех его частностях. Обладая далеко недюжинным умом, он был вообще более широкого кругозора, чем многие его собратья в высшей церковной иерархии. Припоминается разговор с одним лицом, близким к высшим духовным сферам, именно с профессором И. А. Чистовичем (зять протопресвитера В. Б. Бажанова). Сравнивая митрополита Исидора с тогдашним митрополитом Киевским Арсением (Москвиным)[318], профессор Чистович выразился так: «Наш владыка куда выше киевского по уму, по светлому и широкому кругозору». Сочувствие митрополита Исидора новому академическому строю, по свойству крайне сдержанного его характера, не выражалось ярко, но оно чувствовалось. Замечательно, как он благожелательно относился к академическим диссертациям на ученые степени, снисходительно к некоторым слабым их сторонам. Мы были свидетелями, как он ласково относился к труженикам науки, присутствуя на диспутах, академических актах, или принимая подносимые ему труды. Мы сами лично испытали это, например, по случаю появления моих трудов по литургике («Очерк истории литургии нашей православной Церкви» и «Очерк истории древних национальных литургий Запада»[319]), или

---

[318] Арсений (в мире — Феодор Павлович Москвин), костром., 8-й маг. V к. СПб. акад. (1832), 1823 — бак. СПб. акад. по Св. Писанию и библиотекарь, 1826 — ректор. Могил. сем., 1829 — Рязан. сем., 1831 — Тверск. сем., 1832 — еп. Тамбов., 1841 — архиеп. Подольский, 1848 — Варшавский, 1860 — митр. Киевский, † 1876.

[319] Он призвал меня к себе, весьма милостиво со мной беседовал и посоветовал мне явиться к какому-то провинциальному, присутствовавшему в Св.

по поводу представления ему мной лично экземпляра моей докторской диссертации. В особенности горячо он сочувствовал трудам по Св. Писанию[320]. Помнится, он даже сам держал корректуры по толкованию книг Св. Писания в печатавшихся в «Христианском чтении» статьях доцента И. С. Якимова и других. А вынесенное им на своих плечах издание полного русского перевода Библии? Одно это слишком громко говорит об известном его настроении и направлении. Вообще, чувствовалось, что у него есть ученая жилка, что он далеко не безразлично относится к сильному научному движению, порожденному уставом 1869 г. Правда, нечто в этом случае (и может быть, немалое) может быть отнесено на счет его склонности идти по господствующему течению, к той замечательной его способности мириться с Толстовскими реформами, в силу которой он потом помирился и с Победоносцевским направлением, хотя, как увидим далее, он иногда давал пассивный отпор последнему. Нельзя отрицать и того, что у него во многих случаях не доставало стойкости в отстаиванье своих прав и в защите академии, — от нападок со стороны характерного обер-прокурора, графа Д. А. Толстого (например, в деле проф. Н. И. Глориантова и В. И. Модестова), или от попыток Учебного духовного комитета подчинить академии комитету в некоторых сторонах административной и даже ученой деятельности. Мы все очень удивлялись, что он, первенствующий член Св. Синода и, в сущности, его председатель, способен был нередко подписывать указы Св. Синода, осуждающие состоявшиеся и им самим утвержденные определения академического совета. Мы волновались и недоумевали, а он оставался совершенно спокойным, как будто это совсем его не касалось. «Удивительный человек, — выразился раз по этому поводу И. Л. Янышев в конфиденциальной

Синоде епископу (имя его забыл), назначенному в комиссию по рассмотрению западных литургий, — в виду бродившей тогда мысли (в связи со старокатолическим движением), нельзя ли устроить на Западе церковную общину, православную по вероисповеданию, но с западным обрядом. Этот Преосвященный, говорит митрополит, «приехал без книжек, так вы к нему сходите и ему помогите».

[320] Недаром он начал службу бакалавром СПб. акад. по Св. Писанию и библиотекарем (1825–1829). Он был преемником Арсения (Москвина) по тем же должностям.

беседе. — Вероятно, у митрополита есть какое-нибудь особое мировоззрение». Активное выступление против не нравящихся ему решений было совсем не в духе митрополита Исидора. Он способен был только на пассивную оппозицию, и в этом отношении был неподражаем. Как на самый характерный факт такой оппозиции можно указать на защиту меня, как редактора «Церковного вестника», от К. П. Победоносцева, от нападок этого обер-прокурора на данное мной направление академическому органу, бывшему в то же время (до 1888 г.), в официальной части, органом Св. Синода; об этом, в высшей степени замечательном, инциденте будет подробно сказано в своем месте. Наконец, — еще одна черта характера митрополита Исидора. Он был строгий исполнитель закона, у него сильно было развито чувство законности. Вот, например, был такой случай. Приходит к нему исполняющий обязанности ректора профессор Е. И. Ловягин с докладом, и вдруг среди докладываемых дел попадается один журнал с таким светским определением, которое возбуждает недоумение митрополита. Докладчик в защиту светского решения ссылается на какой-то параграф устава. Митрополит говорит: «Посмотрим», достает с полочки за своей спиной (доклад был в кабинете) академический устав и, удивленный прочитанным параграфом, со словами: «Странный параграф», подписывает журнал. Вообще, хотя подчас мы критиковали нашего мудрого старца начальника, но глубоко его почитали и искренно любили — как своего попечителя, который давал нам жить и трудиться с легким сердцем и со спокойной душой. После его кончины мы оценили его еще более. Да будет благословенна память этого замечательного святителя, 32 года стоявшего во главе Св. Синода (1860–1892), 57 лет епископствовавшего (1834–1892) и скончавшегося почти 93-летним старцем (без 24-х дней, род. 1 октября 1799 г., сконч. 7 сентября 1892 г.).

Ректором почти во все время действия устава 1869 г. был протоиерей И. Л. Янышев. Он оставил службу при академии за полгода до введения устава 1884 г. (19 октября 1883 г.).

Совет Петроградской академии 1869–1884 гг. По уставу 1869 г. управление академий сосредотачивалось в совете под председательством ректора. Совет разделялся на общий и частный. Общий состоял из всех профессоров академии, ординарных и экстраординарных.

Частный — из ректора, его помощников по отделениям, инспектора и представителей трех отделений, по два от каждого. Первый ведал важнейшие дела по ученой и учебной части, второй решал дела административного и менее важного характера.

Большую роль играли как в том, так и в другом совете в особенности помощники ректора и отчасти выборные от отделений. Первыми помощниками ректора были: по богословскому отделению — профессор И. А. Чистович, по церковно-историческому — профессор И. В. Чельцов, по церковно-практическому — профессор В. И. Долоцкий. Инспектором остался прежний — профессор К. И. Лучицкий. Членами от отделений в частном совете были: от богословского — ординарный профессор М. А. Голубев, экстраординарный профессор И. Т. Осинин и (по кончине вскоре, 22 августа 1869 г., М.А.Г., с октября того же года) — экстраординарный профессор А. Л. Катанский, от церковно-исторического — экстраординарный профессор М. О. Коялович и И. Ф. Нильский, от церковно-практического — ординарный профессор Е. И. Ловягин и экстраординарный профессор Н. И. Глориантов. Секретарем совета и правления в первые годы по преобразовании (1869–1873) был А. В. Белецкий, прекрасный, можно сказать идеальный, секретарь[321].

Дальнейшие перемены состояли в следующем. На место профессоров В. И. Долоцкого и И. А. Чистовича[322], вышедших в 1873 г. в отставку, избраны были помощниками ректора по церковно-практическому отделению проф. Е. И. Ловягин и по богословскому позже, уже в 1877 г. (4 года эта должность была вакантна), — профессор А. Л. Катанский. В 1874 г., вместо профессора К. И. Лучицкого, вышедшего в отставку, избран был инспектором проф. М. О. Коялович. В 1878 г., после кончины И. В. Чельцова, он (М.О.К.) был избран

---

[321] Алексей Викторович Белецкий, новгор., XXVI к. СПб. акад. (1865), канд., а потом маг., 1865 — препод. Новгор. сем., 1868 — СПб. сем., 1869 — секрет. совета СПб. акад., 1873 — на службе по мин. нар. просв. в Виленском учеб. окр., 1833 — окр. инспект. этого окр., 1889 — помощ. попечит. Вилен. окр.

[322] Проф. Илларион Алексеевич Чистович, в 1873 — в управл. канц. мин. нар. просв. по делам греко-униатского вероисп., 1875 — вице-дир. канц. обер-прокур. Св. Синода, 1883 — член совета при министре нар. просв., 1888 — управл. контролем при Св. Синоде, † 1893.

помощником ректора по церковно-историческому отделению, а инспектором — профессор И. Ф. Нильский. Таким образом, весь этот период времени (1869–1884) прошел при двух помощниках ректора по всем трем отделениям (по богословскому — И. А. Чистович, А. Л. Катанский; церковно-историческому — И. В. Чельцов, М. О. Коялович; церковно-практическому — В. И. Долоцкий, Е. И. Ловягин) и при трех инспекторах: К. И. Лучицком, М. О. Кояловиче, И. Ф. Нильском[323].

Выборы в эти должности привлекали большое внимание и производились с особенной осмотрительностью. Памятны в особенности выборы на должность помощников ректора по богословскому и церковно-историческому отделениям.

По выходе, в 1873 г., в отставку И. А. Чистовича выборы помощника ректора по богословскому отделению долгое время не производились, так как в отделении (кроме ректора) не было ни одного ординарного профессора. Через два года появляется наконец в отделении ординарный профессор в лице Д. А. Хвольсона, выбаллотированного 31 августа 1875 г. в это звание. После некоторых колебаний совет дозволил в 1876 г. членам отделения в своем присутствии баллотировать Д. А. Хвольсона на должность помощника ректора; баллотировка дала положительный результат, и совет постановил «об утверждении в сей должности представить Св. Синоду» (журн. 15 февраля 1876 г.). Однако это «представление» так и не состоялось в виду того, что слышались (между прочим и из Св. Синода) голоса, протестующие против избрания в руководители отделения человека, не имеющего богословского образования, к тому же еврейского происхождения, хотя и почтенного ученого, православного вероисповедания. В объяснение такой задержки, в журнале заседания совета, состоявшегося (14 февраля 1877 г.) ровно через год после избрания Д.А., читаем в представлении богословского отделения, что «Д. А. Хвольсон, избранный богосл. отделением 15 февр. 1876 г. на вакантную в сем

[323] Преемниками первых выборных от отделений, для присутствования в частном совете, были: от богословского — М. И. Каринский, А. Е. Светилин, от церк.-истор. — И. Е. Троицкий, Ф. Г. Елеонский, от церк.-практ. — Т. В. Барсов, Н. И. Барсов, заменившие лиц или получивших назначение на должности помощников ректора и инспектора, или вышедших в отставку (Н. И. Глориантова, И. Т. Осинина).

отделении должность помощника ректора, но не представленный советом академии к утверждению в сей должности, в виду (?) приближавшегося в то время 25-летнего срока службы г. Хвольсона и необходимости избрания его вновь на дальнейшее продолжение академической службы, ныне заявил отделению, что он по личным своим обстоятельствам не может принять на себя должность помощника ректора, о чем отделение и имеет честь представить совету». Но все это только казовая сторона дела, более или менее приличный для совета выход из неловкого положения. Главное же дело было в упомянутых слухах и толках и в ожидании, что вскоре может получить права на занятие этой должности другой член отделения, экстраординарный профессор А. Л. Катанский, который через месяц после февральского, 1877 года, заседания совета действительно и представил (15 марта того же года) докторскую диссертацию на рассмотрение. 26 мая того же 1877 года моя диссертация была допущена до публичной защиты, 5 июня состоялся мой диспут, 22 августа — утвержден в степени доктора богословия, 31 августа — баллотирован на звание ординарного профессора, а 6 октября — на должность помощника ректора. Баллотировка на эту последнюю должность производилась членами отделения в присутствии совета, через закрытую подачу голосов (баллотировальными шарами), причем получилось четыре избирательных и ни одного неизбирательного. Так окончилось это довольно щекотливое дело.

Памятен еще другой случай, при баллотировке также в должность помощника ректора по церковно-историческому отделению. Этот случай глубоко и приятно поразил всех нас проявленным при этом чисто рыцарским благородством. В 1878 г., после кончины И. В. Чельцова, нужно было избрать ему преемника по должности помощника ректора. Баллотируются, в присутствии совета, членами отделения три кандидата, ординарные профессоры М. О. Коялович, И. Ф. Нильский и И. Е. Троицкий. И вдруг оказывается, что все трое получают все избирательные шары и ни одного неизбирательного. Баллотировка повторяется, результат получается тот же, и так до трех раз. Наконец, сами баллотирующиеся (в особенности И. Ф. Нильский и И. Е. Троицкий, тут были еще двое-трое экстраординарных профессоров) убеждают своих товарищей положить себе «черняков». Убеждение подействовало, и избирается единогласно старейший

из членов отделения, в то время занимавший должность инспектора академии, профессор М. О. Коялович. Нужно заметить, что закрытые баллотировки, вообще, не в этом только случае, поражали большим беспристрастием и справедливостью. К акту баллотировки приступали каждый раз с большой серьезностью, с сознанием нравственной ответственности. Нередко можно было слышать фразу: «Невелик этот шарик, а ведь им можно убить человека». Помнится, эту фразу особенно часто любил повторять профессор И. Ф. Нильский при баллотировках на ученые степени и звания.

Отделения академии. В самой тесной связи с деятельностью совета стояли отделения. Это были как бы постоянные, организованные комиссии, ведавшие делами по замещению вакантных в академии кафедр, рекомендацией кандидатов на их замещение, рассмотрением программ преподавания подлежащих академических наставников, отзывов о сочинениях на ученые степени, предварительным присуждением этих степеней, а равно — поощрительных наград за студенческие сочинения, и вообще всеми делами, касавшимися деятельности как преподавателей, так и студентов, входивших в состав отделения. Результатом было то, что предварительными работами отделений весьма облегчалась деятельность совета и ректора, сберегалось много времени, избегались лишние разговоры и прения, так как в отделенских представлениях приводились все нужные справки по делу, давался и проект решения, оставалось только согласиться с ним или его отвергнуть.

Такая организация и деятельность отделений имели большое значение прежде всего для самих академических наставников. В состав отделений входили, без исключения, все преподаватели академии — и старшие и младшие, с одинаковым правом голоса. Деятельное участие тех и других, при обсуждении разнообразных академических дел, не могло не отразиться на них благотворно, приучая всех принимать близко к сердцу все события общеакадемической жизни, сближая старших преподавателей с младшими, обогащая младших через общение со старшими большей ученой и педагогической опытностью, подготовляя их к будущей деятельности в качестве членов совета, попутно дисциплинируя самонадеянную молодежь и подчиняя ее авторитету старших сослуживцев. Последнему

обстоятельству мы придаем немалое значение в стройном течении тогдашней академической жизни.

Отделения имели большое и благотворное влияние и на студентов в смысле возбуждения их энергии и даже дисциплинирования. Каждого студента знали в отделении, и то или другое мнение о нем обобщалось между преподавателями, что придавало больший вес установившемуся мнению того или другого отдельного преподавателя; студенты жадно прислушивались к тому, что о них говорят в отделении. Сверх того, привыкали смотреть на членов отделений как на своих защитников или строгих судей в делах дисциплинарного свойства, что сдерживало их в должных границах относительно поведения и косвенно помогало академической инспекции поддерживать в академии дисциплину.

В особенности большое для студентов значение имели помощники ректора. С ним студенты вели разнообразные переговоры: относительно сроков подачи семестровых сочинений, об освобождении того или другого студента, по уважительным причинам, от экзамена, назначенного на известный день, о полученных на экзамене баллах, об изменении этих баллов и т. п. Им же подавались и семестровые сочинения, для передачи подлежащим наставникам, с отметками дня их получения; по истечении срока подачи сочинения не принимались, а их авторы отсылались к ректору для того, чтобы он собственной властью, если находил то возможным, разрешал вопрос об их принятии. Присутствие помощника ректора на всех экзаменах (кроме магистерских в IV курсе) по предметам отделения в качестве председателя экзаменационной комиссии, обыкновенно состоявшей из трех человека (помощника ректора, преподавателя известного предмета и ассистента), хорошо знакомило с каждым студентом, и студенты это знали и чувствовали, что есть глаз, наблюдающий за их успехами и отчасти за тем, как они держат себя на экзаменах.

Были случаи, когда помощники ректора оказывали немаловажные услуги делу академического спокойствия и мира. Был, например, такой случай. Когда я был помощником ректора по богословскому отделению (1877–1884), в известный день на одном из курсов был назначен экзамен по одному из общеобязательных предметов, именно по педагогике. Так как преподаватели этих предметов входили в состав богословского отделения, то и председателем на экзаменах

по этим предметам был всегда помощник ректора по богословскому отделению, что, кстати сказать, ложилось на него немалой тяжестью: приходилось присутствовать на 25–30 экзаменах по общеобязательным предметам (студентов всех отделений — до 100 человек), крайне продолжительных. Перед началом упомянутого экзамена являются ко мне депутаты от этого курса с заявлением, что их товарищи экзаменоваться по этому предмету не будут, так как преподаватель не соглашается исключить для экзамена несколько билетов (3–4) из выданной им программы, между тем, говорили депутаты, эти билеты падают на случайно не записанные лекции. А нужно заметить, что большинство наставников обыкновенно удовлетворяло подобные просьбы студентов, и они привыкли к этой практике; неуступчивость преподавателя, а может быть и резкий тон отказа возбудили на этот раз чувство протеста, вылившееся в такой некорректной форме[324]. После моих увещаний не делать такого рискованного шага депутаты удалились с обещанием переговорить с товарищами. После того является снова депутат от них с заявлением, что студенты явятся на экзамен. Через несколько минут все мы, в составе полной комиссии, отправляемся в аудиторию в полной уверенности, что инцидент улажен. Но каково было наше удивление, когда мы находим аудиторию совершенно пустой, — ни одного студента... Тогда я снова призываю одного из студентов этого курса и, зная по собственному опыту (наша студенческая история 4 октября 1861 г.), что угрозами о репрессиях ничего не достигнешь, становлюсь на совершенно другую точку зрения, обращаюсь к чувству обязательной и для

[324] Перед экзаменами почти по каждому предмету студенты имели обычай клянчить и торговаться насчет количества билетов. Приступали они и ко мне, когда был экзамен по моему предмету. Но я никогда не позволял себе входить с ними в сделку, в самых мягких, вежливых, даже дружественных выражениях, но решительно заявляя, что у меня нет этого обычая, что я готов оказать всякое снисхождение на экзамене, но сократить количество билетов, назначенных мной для экзамена, «по совести» не могу, что надеюсь, они не захотят насиловать мою «совесть». Так студенты и уходили от меня ни с чем, но без всякого раздражения. Замечательно, однако, что потом, при новых экзаменах, они все-таки повторяли свою попытку и с тем же успехом. Вообще, из всей практики я вывел то общее заключение, что при умении и добром желании всегда можно столковаться со студентами и избегнуть конфликтов.

студентов порядочности и обычной житейской вежливости и корректности, и с этой точки зрения разъясняю им все неприличие их поступка — после данного слова заставить всю почтенную комиссию идти во второй раз в аудиторию (в первый раз мы в ней были, кажется, до приема студенческой депутации), чтобы полюбоваться на голые ее стены и пустые парты. Нужно еще заметить, что к студентам по этому поводу являлся инспектор И. Ф. Нильский или его помощник, уважаемый студентами А. В. Васильков, а может быть и тот и другой, но не имели успеха. Моя речь подействовала на студентов, и экзамен состоялся, причем упомянутые 3–4 билета не были изъяты из обращения (в удовлетворение преподавателя), но дозволено было, по моему настоянию, заменять их другими, если они попадались отвечавшим. Один из оставшихся в живых студентов этого курса (XXXVIII — 1881 г.) недавно, в случайном разговоре, сообщил мне, что некоторую долю влияния на благополучный исход этого дела имела симпатия студентов ко мне, как к председателю комиссии. Что касается власти ректора, то никакого умаления ее от существования его помощников по учебной части не было. Ректор был высшей инстанцией, к которой отсылали его помощники, что бывало нередко, но к чему студенты прибегали весьма неохотно, так как имели мало надежды на удовлетворение их ходатайств; ректор очень оберегал авторитет своих помощников. Существование лишней, посредствующей между ним и студентами инстанции еще более возвышало ректора, не говоря уже о том, что освобождало его от многих, не особенно важных дел и забот.

Возвращаюсь к отделениям. Между ними заметно было благородное соревнование и проявлялось стремление к преобладанию относительно влиятельности в совете, но серьезной борьбы не было. Конкурировали, главным образом, церковно-историческое отделение с богословским, церковно-практическое оставалось в тени и как-то заслонялось первыми, стушевывалось. Церковно-историческое, очень сплоченное, благодаря однородности своего состава и старшинству по службе его членов, гордилось еще тем, что имело своими слушателями лучших из студентов. Богословское, не уступая ему в численности членов, даже превосходя его в этом отношении, благодаря принадлежности к своему составу преподавателей общеобязательных предметов, не имело такой сплоченности. В него входили

преподаватели не только различных богословских предметов, но и философских, а ведь философия всегда не особенно дружила с богословием, да и члены богословского отделения были различных возрастов, старые перемешивались с молодыми. По количеству и качеству студентов, избиравших богословское отделение, оно также уступало церковно-историческому, хотя и насчитывало немало даровитых студентов в своем составе. Заседания отделений были довольно частые, не менее, иногда и более, одного в месяц, в зависимости от количества дел, подлежавших рассмотрению для представления в совет. Если в каком из отделений дело отделенских собраний было поставлено наиболее серьезно, то это именно в богословском. Его заседания ни разу не превращались в товарищеское препровождение времени, как это часто практиковалось в церковно-историческом, где после обсуждения и решения отделенских дел собрания заканчивались товарищеским вечером с обычными развлечениями. Ничего подобного не было в нашем богословском, и хотя и у нас всегда заседания заканчивались небольшой братской трапезой, но даже и за столом продолжался обмен мыслей, беседа на научные или церковно-общественные темы. Такой тон задал первый наш председатель, первый помощник ректора, профессор И. А. Чистович, мой предшественник по этой должности. Ему следовал и я, его преемник. Собирались всегда вечером, по очереди, в квартирах семейных членов, старейших по службе, во время моего председательства — по большей части в моей квартире. Приятно вспомнить эти серьезные, дружественные собрания!..

По совести говоря, отделения ничего кроме добра и многоразличной пользы не внесли в жизнь академии, и поистине жаль, что с уставом 1884 г. они прекратили свое существование. Они имели важное значение для жизни академии в административном, педагогическом и ученом отношениях, для совета же академии они оказывали неоценимые услуги.

В совете, в особенности частном, по большей части только завершался цикл дел, предварительно разработанных в отделениях и восходивших в него в виде проектов решения — письменных или устных. Совету оставалось только или соглашаться с представлениями отделений, или отвергать их. Понятно, насколько деятельность совета оттого облегчалась и ускорялась. Едва возникали прения

по этого рода делам, то главным образом для разъяснения мотивов такого или иного отделенского решения. Источником разногласия в совете служили иногда трения между отделениями, но тут выступал в роли примирителя ректор и делал это со свойственным ему тактом и искусством.

Ректор И. Л. Янышев был идеальным председателем совета. Очень деликатный, проявлявший большую терпимость к чужим мнениям, в какой бы крайней форме они ни выражались, но твердый блюститель порядка прений, он не допускал беспорядочных речей сразу нескольких членов (как это было потом после него), устанавливал их очередь, не позволял ораторам перебивать друг друга, уклоняться в сторону, вовремя улавливал момент для прекращения прений по известному вопросу, превосходно, неподражаемо, тонко и умно резюмировал сущность высказанных мнений, сводил их к нескольким вопросным пунктам и пускал их на голоса. Он очень напоминал при этом талантливого председателя окружного суда, дающего слово свидетелям, прокуратуре, адвокатуре, и потом резюмирующего перед присяжными все ими слышанное на суде.

Нужно, однако, отдать должное и тогдашним членам совета. Некоторые из них были мастерами слова и дела и обладали или ораторскими талантами (М. О. Коялович, И. В. Чельцов, И. А. Чистович, И. Т. Осинин), или большой житейской мудростью и опытностью в академических делах (В. И. Долоцкий, К. И. Лучицкий, В. И. Ловягин). Выходя из совета после таких прений, мы нередко дерзали даже сравнивать наши заседания с заседаниями английского парламента!.. Присутствовать тогда в совете доставляло истинное удовольствие, а не сопровождалось, как впоследствии после 1884 г., тяжелым чувством и горьким осадком в душе.

Да не подумают читатели, что это с нашей стороны идеализация и что вышеуказанное явление — исключительное, временное и местное. Как дело шло в других академиях, хорошо не знаем. Не везде, конечно, были такие благоприятные условия для деятельности совета, как в Петроградской академии; разумеем отсутствие у членов нашей академической корпорации столкновений в обыденной жизни (в провинциальных академиях на этой почве, при тесном сожитии ее членов, легко могли образоваться партии, как это, по слухам, и было в Московской академии), не во всех также академиях были

такие образцовые председатели совета, как у нас. Не отрицаем и того, что стройному течению академических дел содействовали новость положения (новая метла), а равно и предшествующая история академии, суровый ректорский режим прежнего времени, дисциплинировавший академическую корпорацию. Все это имело свою долю влияния на склад тогдашней академической жизни, но все-таки самое большее нужно приписать мудрому устройству административного академического механизма по уставу 1869 г. В этом механизме все колеса, цепляясь одно за другое, приводились в движение постепенное и равномерное. Вся академия, начиная от самого младшего ее члена, была в курсе академических дел, подготовляемых предварительными совещаниями, и проявляла большее или меньшее участие в их направлении и решении. Это не то, что впоследствии, после 1884 г., когда члены совета, даже старейшие, являлись в совет совершенно неподготовленными к решению советских дел, представляя очень часто «tabula rasa», да и председатели совета мало озабочивались предварительным изучением дел, и когда академическая машина, скрипя и стуча своими колесами, беспорядочно и с большим шумом, нестройно двигалась, часто не доходя до цели и снова, по несколько раз к ней возвращаясь в последующих заседаниях.

Правление академии. В правлении, под председательством ректора, участвовали три его помощника, инспектор и эконом (последний — с правом голоса по хозяйственной части). Хозяйство академии велось в образцовом порядке. Ректор был прекрасный, весьма заботливый хозяин, вникал во все мелочи хозяйства, не гнушался ходить по кухням, подвалам и чердакам[325]. Когда нужен был ремонт крыши здания, он взбирался даже на крышу и самолично ее осматривал. В наблюдении над хозяйством деятельно помогали ему тогдашние инспекторы, в особенности М. О. Коялович и И. Ф. Нильский. Перед поступлением на ректуру о. И. Л. Ян-ва академическое хозяйство было

[325] Много лет спустя, когда он был уже протопресвитером, о. И. Л. Ян-в признался мне, что раз, когда он осматривал чердак и, в частности, баки с водой (тогда в нашей академии не было водопровода), он пришел в ужас: в баках, не прикрытых или плохо прикрытых, плавало нечто... «Никому я о том не сказал» (вероятно, кроме эконома), прибавил он, но «конечно, принял самые энергические меры, чтобы такие явления не повторялись».

до того запущено, что отпускаемых на него сумм едва хватало только на первые полгода, во второе же полугодие академия принуждена была жить уже в долг. Так хозяйничал его предшественник — Преосв. Иоанн (Соколов), с тогдашним экономом (1863–1867) профессором А. И. Предтеченским, человеком широкого размаха, широкой натуры. К 1869 г. долг был уплачен[326]. Составлено было нормальное расписание трат на разные предметы: ремонт здания, одежду студентов и их пищу, с подробным обозначением цен на отдельные припасы: мясо, рыбу, муку, крупу и т. д. Этой таблицей с благодарностью мы пользовались и потом, после 1884 г. Нечего и говорить о том, что в правление являлся о. И.Л.Я. после тщательного приготовления и изучения подлежащих дел, почему эти заседания шли очень гладко и ровно и не были продолжительными, не отнимали так много времени, как при его преемниках, когда приходилось высиживать иногда по пять-шесть часов. По окончании правления, а иногда и в середине заседания, при перерывах, нередко происходил обмен мыслей у помощников ректора по отделенским делам, по поводу такого или иного их направления и возможного в совете решения, что иногда имело вид дипломатических переговоров, с ощупыванием почвы, намеками, предупреждениями и т. п.

Состав преподавателей Петроградской духовной академии 1869–1884 гг. При введении устава 1869 г. произошло немало перемен в составе академических преподавателей: увеличилось число кафедр и явились приват-доценты при штатных кафедрах.

Вместо закрытых двух кафедр, математики и физики, открыты восемь новых: вторая по Св. Писанию, по основному богословию, по метафизике, по русской церковной истории (отдельно от гражданской), по библейской археологии, по библейской истории, вторая по гражданской истории (новой), по русскому языку и славянским наречиям. При некоторых кафедрах явились приват-доценты, именно: по догматическому богословию, по церковной истории общей, по истории русской Церкви, по педагогике, по философии и греческому и латинскому языкам.

---

[326] При экономе, свящ. А. Соколове (с 1867 г.), которому, по словам о. И. Л. Ян., академия много была обязана погашением долга.

По общеобязательным предметам. Одну из двух кафедр по Св. Писанию, именно — Нового Завета, занял, вскоре после введения устава 1869 года, в том же 1869 году (после кончины профессора М. А. Голубева, † 22 августа того года), в звании доцента, преподаватель Петроградской семинарии, магистр В. Г. Рождественский[327], бывший перед тем бакалавром Казанской академии, человек очень мягкого симпатичного характера, добрый и почтенный сослуживец, с 1874 г. — многолетний профессор богословия в Петроградском университете. В октябре 1915 г. он праздновал 50-летний юбилей своей почтенной ученой и педагогической деятельности.

На вторую кафедру — по Св. Писанию Ветхого Завета — избран был в 1871 г. окончивший в том же году кандидат И. С. Якимов[328], сначала в звании приват-доцента, а потом (по защищении магистерской диссертации в 1874 г.) — доцента, отличавшийся весьма симпатичными чертами личного характера и преданностью научным интересам, впоследствии заявивший себя многими ценными трудами по своему предмету.

Кафедру основного богословия занял в звании сначала бакалавра, а потом (по введении устава 1869 г.) доцента, бакалавр Казанской академии, магистр Н. П. Рождественский[329], даровитый преподаватель, обладавший, сверх того, даром слова, развитым эстетическим чувством и хорошим голосом. Нередко он участвовал в академическом церковном хоре и даже выступал в академических концертах, нередких во время ректорства И. Л. Янышева. После Н.П.Р. осталось немало ценных научных трудов и даже полный «Курс основного

---

[327] Василий Гаврилович Рождественский, новг., 2-й маг. XXVI к. СПб. акад. (1865), с 1865 по 1867 — бак. Казан. акад. по философии (логике, нравств. фил. и истории филос.), с 1867 — препод. СПб. сем., 1869 — доц. СПб. акад., 1874 — проф. богосл. в СПб. универ., 1880 — экстраорд. проф. СПб. акад.

[328] Иван Степанович Якимов, вятск., канд. XXIX курса СПб. акад. (1871), 1874 — маг. и доц., 1876 — командирован на год за границу, 1883 — экстраорд. проф.

[329] Николай Павлович Рождественский, курск., 1-й маг. XXVI СПб. акад. (1865), 1865–1869 — бак. Казан. акад. по основн. и обличит. богосл., 1869 (31 янв.) — бак. и доц. СПб. акад. по основн. богосл., 1877 — экстраорд. проф., † 1882.

богословия, или Христианская апологетика», изданный после его смерти его другом, профессором А. И. Предтеченским. Дружба этих лиц завязалась и окрепла в особенности с 1875 г., со времени издания «Церковного вестника», которого профессор А. И. Предтеченский был первым редактором, а Н. П. Рождественский — его помощником по редактированию этого журнала.

На кафедру метафизики был избран магистр Московской академии, преподаватель Московской семинарии М. И. Каринский[330]. Он был «предъизбран» на эту кафедру еще в 1868 г., до открытия ее, — по рекомендации профессора И. А. Чистовича, обратившего внимание на представленную М.И.К. в Учебный комитет при Св. Синоде программу по обзору философских учений (для семинарий). По открытии же кафедры метафизики в академиях М. И. К-ий оказался единогласно избранным в звание доцента нашей академии, без конкурса, «в виду несомненной и особенной его способности к разбору метафизических вопросов» (15 августа 1869 г.). Вскоре он командирован за границу с ученой целью. При большой даровитости и прирожденном философском складе ума, — выдающийся профессор философии, достойнейший из питомцев московской духовной школы (прот. Ф. А. Голубинского и В. Д. Кудрявцева). Как член совета (с 1872 г.) проявлял большое и деятельное участие в академических делах. Обладая тонким умом и замечательной способностью анализа, он нередко выяснял такие стороны обсуждаемого вопроса, которые другим членам не приходили в голову. К счастью, здравствует доселе, более двадцати лет находясь в отставке, но не оставляя занятий по философии и обогащая эту науку высокоценными трудами. В 1912 г. праздновал 50-летие своей достопочтенной деятельности. В настоящее время он — старейший из профессоров нашей академии по годам службы (на один год старше меня), но не по летам; в этом отношении пишущий эти строки старше его на два-три года — к великому, прибавлю, сожалению; хотелось бы быть помоложе!

[330] Михаил Иванович Каринский, моск., 4-й маг. XXIII к. Моск. акад. (1862), сначала препод. Вифанской, потом Моск. сем., с 1869 — доц. СПб. акад., 1871 — командирован за границу, 1872 — экстраорд. проф., 1880 — докт. филос. СПб. универ. и орд. проф. СПб. акад.

В 1874 г. профессор М.И Каринский оставил кафедру метафизики и перешел на кафедру истории философии. Богословское отделение, к которому причислялись преподаватели всех общеобязательных предметов, кроме языков, очень упрашивало его остаться на метафизике, но он оказался непреклонным в своем решении, мотивируя свой отказ от метафизики внутренним своим сознанием невозможности для него выработать самостоятельную систему философии и надеждой, что, быть может, удастся это сделать кому-нибудь из его преемников. Через два года, в 1876 г., к чтению лекций по этому предмету, в звании приват-доцента, был допущен кандидат нашей академии М. И. Смоленский[331] проходивший курс учения по практическому отделению. Довольно редкий случай; это отделение дало всего только трех лиц в состав академических преподавателей (Н. В. Покровского, А. И. Пономарева и М. И. Смоленского). М. И. Смоленский был человек несомненно даровитый, но, к сожалению, страдавший алкоголизмом, к тому же неудачно устроивший себя в семейном отношении. Имел призвание к занятиям философскими предметами и подавал немалые надежды, что из него выработается солидный профессор философии. Скончался после четырех лет академической службы.

После него кафедру метафизики занял, в 1882 г. также в звании приват-доцента, Н. Г. Дебольский, кандидат Петроградского университета, сын известного протоиерея Г. С. Дебольского, автора «Дней богослужения Православной церкви» и других сочинений. Н. Г. Дебольский к этому времени уже заявил себя солидными печатными трудами по философии. Хотя по образованию и по службе (он был делопроизводителем в департаменте народного просвещения), казалось бы, был чужд духовной академии, но в действительности он был к ней очень близок: происхождение, склад ума и симпатии вполне роднили его с духовной академической средой, а привлекательный, в высшей степени спокойный, ровный, симпатичный характер прирожденного философа делал его вполне желательным коллегою в среде академической корпорации. И если он не остался среди нее навсегда, то этому помешало единственно только то, что он не имел ученой степени магистра, обязательной для штатного доцента, вследствие чего он должен был в 1887 г. оставить службу в академии.

---

331 Михаил Иванович Смоленский, яросл., канд. XXXI к. СПб. акад. (1874), до 1876 — препод. Харьков. сем., 1876 — прив.-доц., † 1881.

Академия проводила его не без искреннего сожаления. Был он потом вице-директором департамента народного просвещения; в настоящее время он — член совета при министре народного просвещения.

Логику и психологию продолжал преподавать А. Е. Светилин, сначала в звании доцента, а потом, с 1875 г. — экстраординарного профессора, до 1884 г., когда заболел; скончался в 1887 г.

При философских кафедрах была открыта даже приват-доцентура — по антропологии, но продержалась очень недолго, около 3-х месяцев, — ее занимал Ф. Ф. Гусев[332].

Зато другая приват-доцентура — по педагогике — существовала 13 лет, во все время действия устава 1869 г. Педагогика, общеобязательный предмет, была соединена с нравственным богословием, отделенским предметом (богословского отделения). Нравственное богословие избрал ректор протоиерей И. Л. Янышев, а преподавание педагогики поручено было, с 1871 г., кандидату С. А. Соллертинскому в звании приват-доцента. С. А. Соллертинский[333], с 1883 г. — магистр, а впоследствии, с введением в действие устава 1884 г., доктор богословия и многолетний почтенный профессор пастырского богословия и педагогики, не оставлявший академии и по истечении тридцати лет службы (1901), продолжавший читать в ней лекции еще около десяти лет, в качестве сверхштатного заслуженного ординарного профессора.

Из древних языков — греческий поручен был профессору исключенной из академического курса математики Е.И Ловягину, а латинский — профессору также упраздненной физики Н. И. Глориантову. В то время — усиленного развития классицизма в России — на древние языки обращено было особенное внимание, и граф Д. А. Толстой, тогдашний обер-прокурор Св. Синода, был очень недоволен таким замещением кафедр по древним языкам.

---

332 Федор Федорович Гусев, родной брат А. Ф. Гусева (бывшего проф. Казан. акад.), тверск., канд. XXIX к. СПб. акад. (1871), 1871–1872 (21 сент. — 12 янв.) — прив.-доц. по антропологии; 1872–1878 — маг. и доц. Киев. акад., † 1878.

333 Сергей Александрович Соллертинский, рязан., XXIX к. СПб. акад. (1871).

С Е. И. Ловягиным, как бывшим когда-то (1847–1853) преподавателем греческого языка, заявившим себя к тому же трудами по переводам с греческого языка («Богослужебные каноны Православной церкви» и др.), граф Д. А. Толстой еще кое-как мирился, но положительно никак не мог переварить Н. И. Глориантова как профессора латинского языка. При каждом случае, в беседах с председателем Учебного комитета при Св. Синоде протоиереем И. В. Васильевым он считал нужным с язвительностью указывать на эту, по его мнению, аномалию, делая отсюда тот общий вывод, что классическое образование в духовных учебных заведениях находится в упадке. Несмотря на энергическую защиту как профессора Глориантова, так и вообще духовно-учебного классицизма со стороны о. протоиерея Васильева, граф Толстой всегда упорно стоял на своем. Кончилось тем, что профессор Глориантов должен был подать в отставку, предварительно выступив в заседании совета (4 марта 1876 г.) с довольно резким письменным объяснением по поводу указа Св. Синода (30 мая 1875 г.), предписывавшего профессору латинского языка «не ограничиваться переводами в классе по назначенному для семинарий пособию хрестоматии Носова», что, по заявлению профессора Глориантова, не соответствовало действительности. На предложение совета исключить из заявления несколько резких выражений профессор Глориантов ответил словами: «еже писах, писах». Отставка его состоялась 22 марта 1877 г. Он, несомненно, обладал не только физико-математическими, но и большими лингвистическими способностями, прекрасным знанием обоих древних языков и громадной памятью. Всем нам очень было жаль расставаться с этим почтенным профессором, добрым сослуживцем, человеком не от мира сего.

Вакансию профессора латинского языка и его словесности занял с 1877 г. (17 октября) по баллотировке ординарный профессор Киевского университета св. Владимира, доктор классической филологии В. И. Модестов[334]. Знаток своего предмета, даровитый профессор, но человек гордого и довольно неуживчивого характера, он прослужил

[334] Василий Иванович Модестов, из воспитанников Новгород. сем., получил образование сначала в Главн. пед. институте, а потом — в Петр. универ., где по окончании курса был, кажется, приват-доцентом, а потом — профессором в Казанском, Новороссийском и Киевском университетах.

в нашей академии около четырех лет, до 1880 г. (8 января). Склонный к публицистике, он сделался постоянным сотрудником газеты «Голос», где, между прочим, раз поместил большой фельетон, посвященный горячей критике неумеренного классицизма М. Н. Каткова и графа Толстого. Тотчас же со стороны последнего последовало предложение высшему академическому начальству об увольнении свободомыслящего профессора, что он и должен был сделать, подав прошение об отставке. Его место занял, в качестве временного преподавателя, окружной инспектор Петроградского учебного округа, кандидат Петроградского университета Н. Ф. Фокков, специалист собственно по греческому языку, но основательно знакомый и с латинским, энергичный и почтенный преподаватель. Занимал эту кафедру около трех лет (с 1880 до 1883 г.). Некоторое время он потом состоял помощником штатного профессора по преподаванию греческого языка (по уходе приват-доцента Я. Е. Смирнова, см. ниже).

Стремление к усилению классицизма в духовных академиях повело к умножению в них (в том числе и в нашей) преподавателей древних языков: явились приват-доценты как помощники штатных преподавателей. Такими были при кафедре греческого языка: кандидат Московской академии, грек Димитрий Менагиос (с 16 сентября 1876 г. по 12 февраля 1880 г.), а потом — кандидат нашей академии Я. Е. Смирнов (с 18 сентября 1881 г. по 10 ноября 1883 г.); оба они служили недолго. Менагиос[335] должен был оставить академию вследствие случившегося с ним скандала. Гордившийся тем, что он доктор одного из немецких университетов, он изобличен был в присвоении не принадлежавшей ему докторской диссертации. Я. Е. Смирнов[336], хотя был послан за границу для изучения греческого языка, но вскоре оставил академию, поступил на место священника при нашей миссии в Дрездене.

При кафедре латинского языка был сначала приват-доцентом А. И. Садов[337]. Он был также командирован за границу (вместе

[335] Димитрий Менагиос, 30-й канд. XXVII к. Моск. акад. (1870).

[336] Яков Егорович Смирнов, владим., канд. XXXV к. СПб. акад. (1873), в наст. время — настоятель нашей православной церкви в Париже.

[337] Александр Иванович Садов, нижег., XXXIII к. СПб. акад. (1876), 1876–1878 г. — пом. секретаря совета акад., 1877 — прив.-доц., 1883 — маг.

с Я. Е. Смирновым), потом, получив магистерство (1883), занял эту кафедру уже в качестве доцента, штатного преподавателя. Эта приват-доцентура была очень удачна; она дала в лице А. И. Садова многолетнего, очень солидного профессора, с большой честью потрудившегося на академическом поприще, оставшегося верным своей Almae Matri до конца своей службы (1907 г., сверхштатного — до 1909 г.), доктора церковной истории, заслуженного профессора.

По богословскому отделению явились следующие перемены и новости. По кафедре догматического богословия, в помощь мне и по моей инициативе и ходатайству, избран был кандидат нашей академии А. С. Лебедев[338] — в звании приват-доцента, для чтений по одному из отделов исторического изложения догматов, именно по «изложению догматов по Св. Писанию Ветхого Завета». Не без некоторого колебания и возражений со стороны высшего начальства, как было слышно, прошло дело утверждения этой приват-доцентуры. Она казалась как бы отражением протестантских веяний и потому неуместной в православной духовной академии, но мне представлялась очень полезной в смысле облегчения труда изложения историко-догматических данных на пространстве многих веков и среди разнообразных памятников Богооткровенной истины. Это мое предприятие осуществилось, несомненно, только благодаря широте просвещенных взглядов приснопамятного митрополита Исидора и, отчасти, председателя Духовно-учебного комитета при Св. Синоде, протоиерея И. В. Васильева, а также и ректора академии протоиерея И. Л. Янышева. К сожалению, я мог пользоваться сотрудничеством А. С. Лебедева только два года (1876–1878).

Профессор сравнительного богословия И. Т. Осинин, в 1882 г. удостоенный звания заслуженного экстраординарного профессора, в 1883 г. оставил службу при академии, заняв вскоре высокий пост почетного опекуна по учреждениям ведомства Императрицы Марии. Кафедру сравнительного богословия после него (1883) занял магистр

и доц., 1887 — экстраорд. проф., 1896 — докт. церк. ист. и ордин. проф., 1891–1893 — редакт. «Христ. чтения», 1902 — заслуж. орд. проф.

[338] Алексей Сергеевич Лебедев, владим., канд. XXXIII к. СПб. акад. (1876), 1876–1878 — прив.-доц., 1878 — законоуч. Смольного инст. и проф. Мед. акад., 1886 — маг., † настоятелем Вознесен. ц. в Петрограде.

А. П. Лопухин[339] в звании доцента, человек очень даровитый, заявивший себя многочисленными печатными трудами, преимущественно публицистического характера, прекрасно владевший пером, знаток иностранных языков, преимущественно новых, быстрый и на редкость неутомимый писатель и издатель книг и переводов иностранных церковных писателей, вроде Фаррара, человек замечательной энергии и выдающейся инициативы (издание по его инициативе перевода полного собрания творений св. И. Златоуста); недаром он прожил несколько лет в Америке.

К преподаванию патристики был допущен, в 1873 г., в звании приват-доцента кандидат А. А. Приселков[340], но это избрание оказалось не совсем удачным. Не лишенный даровитости, А. А. Приселков как-то не сумел утвердиться на этой штатной кафедре; в течение десяти лет (1873–1884) не мог представить магистерской диссертации, получить звание доцента, и в 1884 г. — с новым уставом — должен был оставить службу в академии.

Гораздо счастливее была кафедра библейской археологии и соединенного с ней еврейского языка. Ее занимал до 1883 г. почтенный профессор Петроградского университета, большой знаток еврейских древностей и языка, доктор еврейской словесности Д. А. Хвольсон, сначала, до 1870 г., — со званием доцента, с 1870 г. — экстраординарного профессора, а с 1875 г. — ординарного. В 1883 г., по выходе его в отставку, к преподаванию этих предметов допущен был в звании приват-доцента кандидат И. Г. Троицкий[341]. Он прочно

---

339 Александр Павлович Лопухин, саратов., канд. XXXV к. СПб. акад. (1878), 1879 — псаломщ. при рус. миссионер. ц. в Нью-Йорке, 1881 — маг. богосл., 1882 — и.д. секретаря совета, 1883 — доц. по сравн. богосл., 1885 — доц. древн. общей гражд. истории, 1889 — экстраорд. проф., 1893–1903 — редакт. «Церк. вестника» и «Христ. чтения».

340 Александр Александрович Приселков, тверск., канд. XXX к. СПб. акад. (1873), 1873 — прив.-доц., 1884 — уволен от службы, 1887 — снова было принятый (20 ноябр.), по случаю представления им диссертации, † 29 нояб. того же 1887 г.

341 Иван Гаврилович Троицкий, пензен., канд. XXXIX к. (1882), 1882 — препод. Курск. сем., 1883 — прив.-доц., 1884 — и.д. доц., 1886 — маг. и доц., 1891 — экстраорд. проф., 1904 — докт. богосл., 1905 — орд. проф., 1910 — заслуж. орд. проф.

утвердился на этой кафедре и состоит — уже свыше тридцати лет, и по выходе в отставку, — почтенным профессором нашей академии. Наследовавший от своего предшественника и учителя основательные знания по еврейскому языку и библейским древностям, усвоивший его методы преподавания, он заявил себя не только даровитым преподавателем предмета, но и немалым количеством печатных трудов по его специальности.

По церковно-историческому отделению последовало также несколько перемен и привзошло немало новых лиц в состав преподавателей.

Открыта новая, отдельная от общей церковной истории (или, как в других академиях, например Московской, — от еврейского языка) кафедра библейской истории. На эту кафедру избран был, по предложению профессора И. В. Чельцова, мой товарищ по студенчеству и близкий родственник Ф. Г. Елеонский[342], в то время преподаватель Виленской семинарии, заявивший себя трудами по разбору исторических памятников Западного края и по изданию Археологического сборника. Вероятно, эти его труды обратили внимание профессора И. В. Чельцова, а может быть, у этого нашего бывшего наставника осталось хорошее впечатление от сочинения Ф. Г. Ел. на данную нам когда-то тему относительно желательной постановки «учебного руководства по преподаванию истории Ветхозаветной Церкви». Как бы то ни было, Ф.Г. было сделано предложение явиться на конкурс для занятия кафедры библейской истории, потребована была программа будущих чтений, сданы были им пробные лекции, и 24 сентября 1870 г. он был назначен штатным доцентом академии. С тех пор, около тридцати лет, профессорствовал в родной академии с честью для нее и для себя, представляя «крупного ученого труженика, главным образом по библейской истории», как справедливо замечено в «Биографическом словаре» А. С. Родосского.

Кафедра древней общей церковной истории получила также нового преподавателя. В 1878 г. внезапно скончался профессор

---

342 Федор Герасимович Елеонский, нижегор., 9-й маг. XXV к. СПб. акад. (1863), 1864 — препод. Литов. сем., 1870 — доц. библ. ист., 1875 — экстраорд. проф., 1884 — докт. богосл. и орд. проф., 1897 — оставил службу при акад., † 1906.

И. В. Чельцов, с 1870 г. — доктор богословия, первый удостоившийся этой высшей ученой степени в нашей академии, после публичной защиты диссертации. Год пустовала кафедра, так как поджидали окончания курса одним необыкновенно даровитым студентом, именно В. В. Болотовым, обратившим на себя внимание всей академии. Сразу же по окончании курса в 1879 г. В. В. Болотов[343] и занял эту кафедру (2 ноября 1879 г.), и притом — очень редкий, при уставе 1869 г., случай — прямо в звании доцента, как получивший степень магистра после защиты диссертации (28 октября того же 1879 г.). Огромное приобретение сделала академия в лице этого феноменально даровитого, можно сказать гениального человека, уже в Тверской семинарии славившегося своими необыкновенными дарованиями и познаниями. Еще перед поступлением его в академию его инспектор по семинарии, а мой бывший слушатель по Московской академии А. А. Тяжелов[344], писал мне, что к нам в академию едет необыкновенных дарований студент, который уже и в семинарии имел научных знаний более иного окончившего полный академический курс. Славное имя профессора В. В. Болотова впоследствии стало известным далеко за пределами академии и духовного мира и внесло в историю родной академии одну из самых блестящих страниц.

При кафедрах общей церковной истории древней и новой (вторую продолжал занимать профессор И. Е. Троицкий, с 1875 г. — доктор богословия и ординарный профессор) явились две приват-доцентуры: 1) по церковной географии и статистике и 2) по византийской истории. Лекции по первой (церковной географии и статистике) читал А. А. Автономов[345], даровитый, обладавший прекрасным даром слова

---

[343] Василий Васильевич Болотов, тверск., маг. XXXVI к. СПб. акад. (1879).

[344] Александр Афанасьевич Тяжелов, тверск., 7-й маг. XXV к. Моск. акад. (1866).

[345] Александр Афанасьевич Автономов, орлов., канд. XXIV к. СПб. акад. (1871), 1871–1872 — прив.-доц., в 1872 г. поступил на службу в кредитную канцелярию, был потом свящ. при частной церкви г. Дервиза в Лугано, в Италии, затем законоуч. Гатчин. Никол. сирот. института, членом дух.-цензур. комитета, свящ. Петергоф. придворн. ц., Петр. конюшенной ц., протоиереем Зимнего Дворца, скончался в отставке по болезни († 1914).

и большим остроумием, но, к сожалению, не привившийся к академии и вскоре (через год) оставивший ее сначала для светской службы, а потом для служения в священном сане. Приват-доцент по византийской истории — магистр сириец Герасим Яред[346] — служил гораздо долее (1870–1876); также очень даровитый, с горячей головой и легко воспламеняющимся характером, он оставил после себя немало ценных научных и литературных трудов. Преподавание этого отдела церковной истории он совмещал со службой в Петроградской духовной семинарии, до назначения его на ректуру в Псковскую духовную семинарию.

На кафедру русской церковной истории, получившей с уставом 1869 г. отдельно от гражданской русской истории (с которой она до того времени была соединена) штатного преподавателя, был избран в 1871 г. и в 1872 г. утвержден в звании доцента магистр священник П. Ф. Николаевский[347], знаток своего предмета, впоследствии многосведущий, выдающийся наш русский церковный историк, энергичный член академического совета.

Помощником ему, с 1875 г., был в звании приват-доцента кандидат Е. М. Прилежаев[348], читавший лекции по истории русской Церкви в период синодального управления. Это была третья приват-доцентура в церковно-историческом отделении; она существовала около девяти лет, до 1884 г., то есть до конца действия устава 1869 г. Е. М. Прилежаев был очень полезным, многообещающим молодым преподавателем. Характера был замкнутого, очень молчаливого.

---

[346] Герасим Яред, сириец-араб, род. в 1840; Моск. сем., 7-й маг. XXVIII к. СПб. акад. (1869), 1869 — препод. СПб. сем., с 1870 — прив.-доц. акад., 1871 — монах, 1871 — ректор. Псков. сем., 1881 — Рижской, 1882 — уволен от должности, 1883 — член Иерусалимского патриархата, 1889 — рукоположен во епископа с назначением митрополитом Селевкийским, † 1899.

[347] Павел Федорович Николаевский, новг., маг. XXVI к. СПб. акад. (1865), 1865 — свящ. Петр. Владимирского соб., 1871 — доц., 1874 — свящ. Свято-Троиц. общины сестер мил., 1882 — экстраорд. проф., 1897 — докт. церк. ист. и орд. проф., † 1899.

[348] Евгений Михайлович Прилежаев, олонец., канд. XXXII к. СПб. акад. (1875), 1875–1884 — прив.-доц., 1884 — правитель дел канцелярии протопресв., управляющего придворным духовенством (И. Л. Янышева).

По другим кафедрам этого отделения оставались прежние преподаватели. По истории и обличению русского раскола — профессор И. Ф. Нильский (с 1870 г. — доктор богословия и ординарный профессор); по русской гражданской истории — М. О. Коялович (с 1873 г. — доктор богословия и ординарный профессор), по общей гражданской истории древней — А. И. Предтеченский (магистр, экстраординарный профессор, с 1880 г. — заслуженный экстраординарный профессор).

Вторую кафедру общей гражданской истории, новой, — после неудавшейся попытки заместить ее магистром Петроградского университета П. И. Люперсольским[349] и после годичного, временного (1872–1873) преподавания доцента того же университета В. Г. Васильевского[350], впоследствии знаменитого ученого, — занял в 1873 г., в звании доцента, окончивший в том же году магистр нашей академии Н. А. Скабаланович[351]. Это был первый случай получения, по уставу 1869 г., степени магистра и звания доцента в нашей академии ее воспитанником сразу же по окончании академического курса; второй случай — упомянутый выше (В. В. Болотов). В лице Н. А. Скабалановича академия получила большую ученую силу, прекрасного профессора, долголетнего (30 лет) члена академической корпорации, заявившего себя не только учеными трудами, но и выдающимся публицистическим талантом (редактор «Церковного вестника» и многолетний в нем сотрудник).

---

349 Петр Иванович Люперсольский, вятск., канд. XXIII к. СПб. акад. (1859), до 1865 — препод. СПб. сем., 1865 — стипенд. мин. нар. просв., 1869 — маг. СПб. универ., командирован за границу для приготовления к профессуре, 1872 — читал конкурсные лекции в нашей академии, был избран доцентом, но не получил увольнения от мин. нар. просв., 1872 — экстраорд. проф. Варшав. универ., 1875–1897 — орд. проф. Нежинск. истор.-филол. инстит., † 1903 в Петрогр.

350 Василий Григорьевич Васильевский, воспит. Ярослав. сем. и СПб. универ., впоследствии экстраорд. и ордин. его проф., орд. академик, знаменитый византолог и эллинист.

351 Николай Афанасьевич Скабаланович, Литовск. сем., канд. XXX к. СПб. акад. (1873), в том же 1873 г. — маг. и доц., 1884 — докт. богосл. и экстраорд. проф., 1891 — орд. проф., 1885–1893 — редакт. «Церк. вестника», 1898 — заслуж. орд. проф.

По церковно-практическому отделению произошли следующие перемены.

Церковное право продолжал преподавать мой товарищ по студенчеству Тим. В. Барсов, сначала в звании доцента, а с 1870 г. — экстраординарного профессора, соединяя профессорскую службу с должностью (с 1879) обер-секретаря канцелярии Св. Синода, в 1888 — доктор богословия, в 1889 — ординарный профессор († 1904).

Кафедру гомилетики и соединенного с ней пастырского богословия занял с 1869 г. другой мой по студенчеству товарищ, магистр Николай И. Барсов[352], в звании доцента, с 1873 г. — экстраординарный профессор. Он оказался вполне подходящим к занятиям по предмету церковного красноречия. Подготовленный к преподаванию в академии церковной словесности своей семинарской службой, как преподаватель общей словесности в Петроградской духовной семинарии, он хорошо владел даром слова и отличался большой живостью и отзывчивостью на текущие события церковной и общественной жизни. К сожалению, он был человек очень нервный, весьма неуравновешенного характера.

Церковную археологию и литургику — после отставки долголетнего (1836–1873) профессора этих предметов В. И. Долоцкого — временно, около года (1873–1874), читал пишущий эти строки, экстраординарный профессор А. Л. Катанский, как бывший некогда бакалавром церковной археологии в Московской академии, причем не оставлял в то же время чтений по кафедре догматического богословия. Мне удалось избрать и подготовить, из числа оканчивавших в то время студентов IV курса церковно-практического отделения, постоянного преподавателя в лице Н. В. Покровского[353], сначала в звании приват-доцента. Мой выбор оказался весьма удачным:

---

[352] Николай Иванович Барсов, СПб. сем., 3-й маг. XXV к. СПб. акад. (1863), 1863 — препод. СПб. сем., 1869 — доц. академии, 1973 — экстраорд. проф., 1887 — и. д. орд. проф., 1889 — в отставке, † 1903.

[353] Николай Васильевич Покровский, костр., канд. XXXI к. СПб. акад. (1874), 1874 — прив.-доц., 1880 — маг. и доц., 1883 — экстраорд. проф., 1892 — докт. церк. ист., 1894 — орд. проф., 1893–1899 — инспект. акад., 1898 — директ. Петрогр. археол. инст., 1899 — заслуж. орд. проф. академии.

Н. В. Покровский, впоследствии магистр, доцент, командированный с ученой целью за границу, затем экстраординарный профессор, доктор церковной истории, ординарный профессор, инспектор академии, директор Петроградского археологического института, получил потом большую и заслуженную известность (благодаря трудам по его специальности) не только в духовных, но и светских кругах; ныне он выдающийся русский церковный археолог. С большой пользой для родной академии до сих пор (даже и после отставки в 1904 г.) не оставляет в ней чтений по церковной археологии — в звании сверхштатного заслуженного профессора.

Прекрасное приобретение сделала также и другая кафедра этого отделения — по теории словесности и истории русской литературы, — после отставки многолетнего также профессора (1839–1874) К. И. Лучицкого. Его место занял в 1874 г. магистр В. В. Никольский[354], бывший преподаватель Петроградской семинарии по классу словесности, а в то время блестящий профессор Александровского лицея, обладавший прекрасным даром слова и большими сведениями по своему предмету, увлекавший своих слушателей превосходной манерой преподавания. В академии слушать его лекции стекались нередко студенты других отделений и курсов. К сожалению, он прослужил в родной академии сравнительно недолго, около девяти лет. Кончина его в 1883 г. была большою для нее потерею.

Одновременно с занятием штатной кафедры словесности В. В. Никольским появилась при ней приват-доцентура в лице кандидата нашей академии А. И. Пономарева[355], допущенного советом к чтению лекций по отделу словесности — «обзору важнейших иностранных литератур». По кончине В. В. Никольского А. И. Пономарев в 1883 г. занял штатную кафедру — сначала в звании приват-доцента

---

[354] Владимир Васильевич Никольский, петрогр., 2-й маг. XXIII к. Спб. акад. (1859), 1859 — препод. СПб. сем., 1862 — в заграничной, от об.-прок. Св. Синода, командировке, 1863 — препод. Учил. правовед. и др. учебн. завед., 1865 — препод. Александр. лицея, 1874 — препод. СПб. акад., 1877 — экстраорд. ее проф., в том же 1877 г. — инспект. Александр. лицея, † 1883 — за границей, в Сан-Ремо.

[355] Александр Иванович Пономарев, уфим., канд. XXXI к. СПб. акад. (1874), 1874 — прив.-доц., 1886 — маг., доц., 1887 — экстраорд. проф., 1900 — докт. церк. ист. и орд. проф., 1901 — заслуж. проф., 1905 — сверхштатный.

и исполняющего должность доцента (после 1884 г.), а потом, с получением степени магистра в 1886 г., — доцента. В его лице академия получила впоследствии солидного профессора и многолетнего служаку. Отзывчивый на все церковно-общественные движения (что объясняется отчасти публицистической его деятельностью в качестве соредактора, а потом редактора и издателя журнала «Странник»), он много потрудился на духовно-литературном поприще; пользовался расположением студентов. В событиях академической жизни принимал живое, горячее участие; характера был не совсем ровного, но во всяком случае был добрым сослуживцем.

Вновь открытую, с уставом 1869 г., кафедру русского языка и славянских наречий занял в 1869 г. кандидат-магистрант Петроградского университета А. С. Будилович[356], сначала в звании приват-доцента, а по получении в университете степени магистра в 1871 г., — доцента. Богатых дарований, глубоко преданный интересам славянства, с горячей головой, широким кругозором и увлекательной речью он был многообещающим, ценным для академии молодым преподавателем. Благодаря симпатичным чертам характера пользовался общим расположением сослуживцев. К сожалению, служба его в академии была непродолжительна (около двух лет, 1869–1871). Наши близкие с ним отношения, начиная с его студенчества, не прерывались до самой его кончины (в Петрограде, в звании члена совета министерства народного просвещения). По оставлении им службы в академии его место занял его учитель по университету, известный славист, профессор Петроградского университета Владимир Иванович Ламанский — в звании нештатного преподавателя, с жалованием сначала в 1200, а потом (с 1877 г.) в 2000 р. в год; быть штатным помешало ему то обстоятельство, что он был штатным профессором в университете. Считаю излишним говорить о громадной эрудиции и ученых заслугах этого выдающегося профессора и общественного деятеля. В академии он служил долго, около двадцати лет, как сослуживец отличался общительностью и симпатичным характером.

[356] Антон Семенович Будилович, Виленск. сем., канд. СПб. универ., маг. и докт., после академической службы был (1872) проф. Нежинского лицея, потом Варшавского универ., ректор. Юрьевского универ., членом совета мин. нар. просв.

У студентов он пользовался, конечно, большим авторитетом, и был им очень полезен как большой знаток славянских языков, располагал их к изучению этих языков, так что, как мы слышали от бывших его слушателей, они начинали понимать сербскую, чешскую и т. п. речи. Отвлекаемый широкой ученой и литературной деятельностью, В.И.Л., правда, не был особенно усердным преподавателем академии, но она очень им дорожила, что и выразила избранием его в почетные свои члены после оставления им службы в академии.

Преподавателями новых языков, получившими с 1869 г. название лекторов, были также новые лица.

Лектором немецкого языка с 1869 г. был Людвиг Павлович Размусен, замечательная личность. Кандидат Копенгагенского университета, датчанин, он был избран по рекомендации ректора, И. Л. Янышева, как хорошо ему известный, бывший до того времени (с 1866 г.) библиотекарем нашей академии[357]. Л. П. Размусен был глубоким знатоком не только немецкого языка, но, что особенно удивительно, и славянских наречий. Раз как-то, когда я был у ректора, приносят ему перевод с какого-то западно-славянского языка (чешского или сербского), и переводчиком оказывается Размусен. На мое удивление о. ректор заметил, что Л.П.Р. прекрасно знает славянские наречия, что он изучил их в бытность свою в Копенгагенском университете на филологическом факультете. Добросовестнейший преподаватель и большой знаток немецкого языка Л.П. был, однако, очень тяжел для тех из студентов, которые мало заботились

---

[357] В 1866 г. Л. П. Размусен был допущен к заведыванию академической библиотекой, по настоянию ректора о. И. Л. Янышева, несмотря на противодействие остальной академической администрации и старших членов корпорации. Долгое время (чуть ли не все время своего библиотекарства) он и содержание получал из личных средств ректора, о чем не раз говорил мне сам о. И. Л. Янышев. Размусен был идеальный библиотекарь, страстный библиофил и ревностнейший охранитель целости книжного академического имущества, за что и пострадал — в столкновении с проф. И. А. Чистовичем: должен был оставить библиотекарство. Крайне жаль; лучшего библиотекаря трудно было даже выдумать. Хотя он был прекрасным лектором немецкого языка, но настоящее его призвание было библиотекарство. Место библиотекаря после него занял П. Ф. Комаров, неудавшийся бакалавр по нравств. богословию (см. выше). И библиотекарем он был также неважным, заставлявшим очень сожалеть об его предшественнике — Л. П. Размусене.

об изучении этого языка, и крайне несговорчив относительно изменения экзаменских отметок в тех случаях, когда требовалось оказать некоторое снисхождение лучшим студентам, имевшим несчастье получить плохой балл на экзамене по его предмету. Вообще, это был человек редких нравственных качеств характера. И жил он совершенным отшельником, холостяком, крайне нетребовательным к жизни. Никаких удовольствий и развлечений он не знал, все время проводил в своей маленькой квартирке за книгами; единственный его выход был в академию, в Публичную библиотеку, да еще в дешевую кухмистерскую, где он питался. После многих лет службы в академии он и скончался в очень бедной обстановке, одиноким.

Лектором французского языка был (1867–1881) кандидат нашей академии А. И. Поповицкий[358], товарищ по студенчеству ректора И. Л. Янышева, впоследствии замечательный духовный публицист, сделавшийся известным в особенности в эпоху издания им «Церковно-общественного вестника». Основательно изучив французский язык в бытность свою в Париже, в качестве домашнего учителя детей князя А. Б. Куракина, тогда старшего секретаря нашего парижского посольства, затем вернувшись в 1853 г. в Россию, он, вместе с трудами на публицистическом поприще, посвятил себя педагогической деятельности: был долгое время преподавателем французского языка в столичных учебных заведениях (в 3-й Петроградской гимназии и др.), а потом поступил преподавателем того же языка в родную академию, с переименованием (с 1869 г.) в лектора. Привлекательного, веселого, весьма общительного характера, он пользовался симпатией сослуживцев и уважением, в особенности за свою публицистическую деятельность. Был он близок к протоиерею И. В. Васильеву, благодаря пребыванию в Париже (1849–1853), где он состоял, между прочим, сверхштатным псаломщиком, прикомандированным к нашей

[358] Александр Иванович Поповицкий, астрах., 43-й канд. XVIII к. СПб. акад. (1849), 1849–1853 — в Париже, 1853 — учитель франц. языка в разных учебн. заведениях Петрограда и сотрудник светских и духовных журналов и газет, 1867 — препод. франц. языка в нашей акад., в том же 1867 г. — редактор «Соврем. листка», изд. при журн. «Странник» прот. Гречулевича, 1874 — редактор-издатель «Церк.-общест. вестника», 1885 — «Русского паломника», 1899 — праздновал 50-летний юбилей своей служебной и общественной деятельности, † 29 марта 1904.

посольской русской церкви. Мы часто с ним видались в доме моего тестя, и близкое наше знакомство не прерывалось до дня его кончины (1904 г.).

Лектором английского языка был (1867–1888) англичанин П. М. Нурок, опытный преподаватель.

В заключение этого обозрения состава преподавателей за время 1869–1884 гг. хочется сказать: сколько, однако, явилось в этот период новых почтенных ученых сил в академии!.. и спросить, не обязана ли она в этом отношении во многом уставу 1869 г.? Было ли бы то же самое при других условиях?..

Студенты. Приток студентов, сравнительно с прежним временем, был огромный — не только из духовных семинарий, но и из светских учебных заведений; вместо прежних 120-ти, количество студентов, постоянно, из года в год повышаясь, достигло в 1883 г. до 392-х, в 1884 г. — до 372-х человек. Явилось много своекоштных, которым дозволялось жить на частных квартирах. Немало было также вольнослушателей, из которых потом некоторые поступали в число студентов. Общий уровень учащейся молодежи, в смысле даровитости, правда, понизился, но зато общее оживление академической жизни сказывалось усиленными и очень плодотворными занятиями лучших и наиболее даровитых из них. Появление и умножение (до 1884 г. — было уже 12) частных стипендий (вдобавок к 120-ти казенным) на содержание студентов и поощрительных денежных наград, из пожертвованных частными лицами для сей цели капиталов, за курсовые сочинения (чего до 1869 г. совсем не было) привлекали в академию одних и очень подбадривали энергию других к усиленным занятиям.

Много помогало недостаточным студентам, не попавшим на казенные или частные стипендии, открывшееся в 1877 г. «Общество вспомоществования недостаточным студентам Петроградской духовной академии». Это общество, в состав которого входили многие из столичного духовенства и все наставники академии, нанимало для нескольких (15–20 человек) своекоштных студентов даже особую квартиру (с 1878 г.) в одном из домов Александро-Невской Лавры, на Калашниковской пристани. Эту квартиру называли в шутку «Калашниковской академией»; многие относились к ней не особенно сочувственно, насмешливо. Она просуществовала не более четырех

лет (1878–1882); в 1882 г. запрещено было Св. Синодом жить своекоштным студентам на частных квартирах, кроме тех, которые имели в Петрограде родителей. «Калашниковская академия» имела, конечно, свои слабые стороны, но нет сомнения, что в то время она была далеко не бесполезной, и закрытие ее повело и академическую администрацию, и общество вспомоществования к большим затруднениям и т. п.

Распределялись студенты по отделениям так: самые даровитые предпочитали записываться на церковно-историческое отделение и, отчасти, — на богословское, менее даровитые избирали церковно-практическое. Между студентами разных отделений была конкуренция и благородное соревнование, спорили о преимуществах отделений, о научных их программах, о достоинствах наличных преподавателей.

Казеннокоштные студенты размещались во всех трех этажах академического корпуса — по курсам и отделениям курсов так, что каждый курс и каждое отделение имели свои особые комнаты (две-три); одна для занятий, другая — спальня, иногда третья — гардеробная. При четырех курсах (в старой академии были только два курса — старший и младший) и трех отделениях нужны были 12 аудиторий, устройство которых, в смысле комнат отдельных от жилых, занятных помещений и спален, было невозможно, так как старое академическое здание рассчитано было только на два курса, не имевших подразделений. Несмотря на постройку в 1882 г. нового здания для помещения академической библиотеки и квартир ректора и других служащих в академии лиц (секретаря, библиотекаря и их помощников) и освобождение, таким образом, значительного количества места в старом корпусе, все-таки устройство многочисленных аудиторий, отдельных от жилых, занятных и спальных комнат, было невозможно.

Такое размещение студентов, изолирующее и курсы и отделения одни от других, было большой помехой для общестуденческих движений, для организации беспорядков, весьма выгодно для академической администрации, в частности для инспекции, и, без сомнения, в значительной степени способствовало тишине и спокойствию в стенах академии в тогдашнее бурное время. Картина была бы, по всей вероятности, другая, будь студенческое общежитие

устроено иначе, как, например, во время нашего студенчества, когда студенческие комнаты, занятные и спальные обоих курсов представляли беспрерывный ряд, так что можно было пройти их насквозь от одного конца до другого. После этого понятен восторженный отзыв одного из младших наших сослуживцев (профессора В. В. Болотова, бывшего студентом в 1875–1879 гг.) об устройстве тогдашнего студенческого общежития: «Тому, кто выдумал это, нужно было бы присудить премию за добродетель» (намек на известную французскую медаль).

Чтение лекций в такой обстановке было, правда, малоторжественно, но зато оно имело, так сказать, интимный характер и лишено официальной сухости. Профессор отделения приходил к студентам в их помещение в качестве как бы почетного гостя, и им было неловко не присутствовать на лекциях, да и неудобно, некуда было деваться. Если некоторые, наиболее ленивые, позволяли себе лежать в соседней спальне, то и им, волей-неволей, приходилось слышать нечто из лекций профессора. Малый состав отделения (самое большее 25, а иногда 10–15 человек) также стеснял студентов, не располагал к манкированию лекциями. Лекции по общеобязательным предметам (для всех отделений) читались или в обширном зале собраний, или в старых двух, очень поместительных аудиториях. Здесь, наоборот, все располагало к неаккуратному посещению лекций.

Практические занятия со студентами IV курса происходили или в тех же студенческих помещениях, если они не были заняты обычными лекциями, или в других местах, где придется, иногда даже на квартирах профессоров. Помнится, ко мне на квартиру ходил для таких занятий студент священник Г. И. Титов, ныне достопочтенный о. протоиерей, один из самых видных членов петроградского духовенства[359]. Курс, к которому принадлежал о. Г.И.Т., был очень небольшой (всего 35 человек), и о. Титов оказался в единственном числе в той группе предметов, к которой принадлежало догматичес-

[359] Свящ. Георгий Иванович Титов, калуж., канд. XXX к. СПб. акад. (1873), впоследствии маг. (1879), прот. церкви дворца Вел. Кн. Михаила Николаевича, член Учебн. ком. при Св. Синоде, в 1914 г. праздновавший 50-летний юбилей священства и почтённый, по этому случаю, выдающейся Высочайшею наградою (бриллиант. знаками к ордену Св. Александра Невского).

кое богословие. Приходил он ко мне на квартиру по вечерам, и мы совершенно по-домашнему, за чайком, вели беседы на научные темы. Много лет спустя с удовольствием вспоминали мы наши вечерние практические занятия.

Семестровых сочинений на первых двух курсах (на третьем составлялись уже кандидатские диссертации) давалось не более трех. На сочинения обращалось большое внимание, хотя уже не в такой степени, как при прежнем уставе; баллы по сочинениям и устным ответам конкурировали между собой, и хотя первым давалось значительное преимущество, но не умалялось и не низводилось до минимума, как прежде, и значение последних. Разрядных списков не составлялось, начиная с XXIX курса (1871), первого курса, окончившего при действии устава 1869 г.

Экзамены получили вполне серьезный характер. Спрашивали всех студентов по всем предметам курса, и ответы отмечали баллами. Обыкновенно ставили баллы все члены экзаменационной комиссии — помощник ректора по отделению, преподаватель предмета и ассистент; по окончании экзамена сводили баллы и выводили средний.

На экзаменах в IV курсе, так называемых магистерских, председательствовал сам ректор академии. Вопросы давались или из литературы предмета, или из какого-нибудь отдела науки, причем требовались уже более специальные сведения, чем на обычных, годичных экзаменах. И нужно заметить, приятно было видеть, как держали себя выпускные студенты, и слышать спокойные, солидные их ответы. Получалось впечатление, что перед вами уже не школьники, а лица, которые сознают, что они держат испытание, так сказать, на аттестат богословской зрелости. Памятен один из таких экзаменов по следующему экстренному случаю. Совершенно неожиданно приезжает в академию (неизвестно для чего, — видеть ли ректора или специально, чтобы присутствовать на магистерском экзамене) К. П. Победоносцев, тогдашний обер-прокурор Св. Синода. Экзамен по той группе предметов, в которую входило догматическое богословие, уже начался. Вдруг в старую аудиторию старшего курса (по правую сторону церкви), где мы во главе с ректором заседали, входит Победоносцев. В момент его появления отвечал по моему предмету очень хороший, даровитый студент, мой земляк К. М. Добронравов, XXXVII курса (1880), — по отделу эсхатологии

о последнем Страшном суде Христовом — и других, соприкосновенных с ним предметах. К. П. Победоносцев, как известно, любил поговорить; не молчал он и тут. Между прочим, по какому-то поводу он высказал свое мнение о высоком достоинстве славянского текста Библии, сравнив его с золотою монетою, а русский перевод — с медною. Замечательно, что при этом, да и вообще все время, он обращался ко мне, а не к ректору, которого он как будто намеренно игнорировал. И. Л. Янышева он, видимо, не жаловал, хотя у них было давнее знакомство, еще с Висбадена, где настоятелем церкви был до ректорства о. И.Л.Я. и где нередко пользовался его гостеприимством К. П. Победоносцев вместе с супругой Е.А., урожденной Энгельгардт. Неудивительно; это были люди совершенно различных настроений и симпатий. Описанный выше визит Победоносцева в академию вызвал у нас много толков. Говорили между прочим об остроумной выходке профессора М. О. Кояловича, тогдашнего нашего инспектора. При выходе из академического здания, столкнувшись с К.П.П., он иронически поблагодарил его за неожиданную честь посещения академии, тем большую, что непосредственного отношения к ней, как обер-прокурор, он не имел. М. О. Коялович отличался смелостью и независимостью характера, притом близко был знаком с К.П.П. и пользовался его уважением.

Магистерские диссертации. Магистранты, то есть окончившие курс студенты, выдержавшие на IV курсе устный экзамен на степень магистра богословия, впоследствии удостаивались этой степени по напечатании и после публичной защиты их диссертаций. По большей части эти диссертации представляли переработку кандидатских сочинений, при некотором изменении, расширении и т. п. их тем.

При этом немало трудов падало и на долю профессоров, руководителей магистрантов. Случалось по большей части так: профессор, заметив выдающееся по достоинствам кандидатское сочинение, советовал автору переработать его в магистерское, начиналась новая работа, представлялась профессору иногда в целом, иногда по частям, но то, что казалось очень хорошим для кандидатской диссертации, оказывалось слабоватым, при повышенных требованиях, для магистерской; отсюда разочарование для обеих сторон, возвращение рукописи автору для переделки, дополнений, исправлений.

С первым магистерским сочинением (1879), написанным под моим руководством — Н. М. Богородского — «Учение св. И. Дамаскина об исхождении Св. Духа, в связи с тезисами Боннской конференции» — был такой случай. К концу учебного года (1878), к окончанию курса, г. Богородский представил только одну треть своего сочинения в обработанном виде, а сам затем отправился в Вильну, на службу в семинарию. То, что я получил, мне понравилось, и я решился войти в совет с представлением о разрешении к напечатанию на казенный счет сочинения, как бы совершенно законченного. Сделано это в виду явившейся у меня уверенности в благополучном окончании труда, с одной стороны, а главное — из опасения пропустить предельный срок для напечатания сочинения на казенный счет — с другой. Затем у нас возникла деятельная переписка с г. Богородским; он присылал мне свои тетради, а я — свои замечания и советы. Каюсь, я поступил нелегально и довольно рискованно, но если бы этого не сделал, то по всей вероятности не явилась бы на свет эта дельная, солидная диссертация: пропала бы у автора энергия к продолжению и завершению труда, главным образом в виду отсутствия материальных средств для напечатания его на свой счет.

За сравнительно небольшой период времени действия устава 1869 г., за 15 лет (до 1884 г.), явилось довольно много магистерских диссертаций. Но к этим 15-ти годам по всей справедливости нужно прибавить еще два года, 1885 и 1886-й, когда продолжала действовать еще старая закваска, и студенты, окончившие курс в 1886 г., только наполовину, то есть в последние два года четырехлетнего курса, находились под действием устава 1884 г. В таком случае число магистерских диссертаций дойдет уже до 34. Интересно, как они распределялись по отделениям. На долю богословского пришлось 15 диссертаций[360], несколько более — 16 — на долю церковно-ис-

[360] В 1874 г. — И. С. Якимова, А. Ф. Гусева; в 1875 г. — М. В. Симашкевича; в 1879 г. — свящ. Г. И. Титова, Н. М. Богородского, Ф. П. Елеонского, А. П. Мальцева, в 1884 г. — Ф. А. Тихомирова, А. А. Бронзова. После 1884 г., в 1885 — И. Г. Троицкого, И. Г. Рождественского, в 1886 г. — А. С. Лебедева, в 1887 г. — иером. Антония (Храповицкого), в 1888 г. — Д. И. Тихомирова и И. А. Орлова. Причисляем сюда последние три диссертации потому, что авторы их окончили академический курс: Д. И. Тихомиров в 1881 г., а иером. Антоний (Храповицкий) и И. А. Орлов в 1885 г.

торического[361] и только 3 — на долю церковно-практического[362]. Не все они прошли через отделения, 7 из них явились на свет, когда отделений уже не было, но несомненно, корень всех их скрывается в отделенской специализации. По догматическому богословию явилось 5 (гг. Богородского, Елеонского, Тихомирова, Лебедева, Орлова) и даже 6 диссертаций[363]. Мой достоуважаемый преемник, профессор П. И. Лепорский, в статье по поводу моего 50-летнего юбилея[364], отмечая этот факт, делает отсюда следующие выводы. «При действии прежнего (1869 г.) устава, когда число студентов богословского отделения колебалось между 10–25 и редко превышало 30, а число избирающих своей специальностью, в IV курсе, группу наук — основное, догматическое и нравственное богословие — составляло три-четыре человека, из этого небольшого числа специалистов шесть человек написали магистерские диссертации только по догматике, на темы, предложенные А.Л.». «Между тем из слушателей А.Л., начиная с 1884 по 1896 г., получил магистерскую степень за диссертацию на догматическую тему только один — покойный проф. Е. П. Аквилонов»[365]. «Этот факт, ясно показывая, что при благоприятствующих условиях А.Л. обладал высоким талантом пробуждать в своих слушателях богословскую мысль и вдохновлять их на трудные

---

[361] В 1873 г. — Н. А. Скабалановича, в 1875 г. — С. В. Кохомского, в 1879 — М. В. Чельцова, В. В. Болотова, в 1881 г. — Д. Н. Дубакина, И. С. Пальмова, А. П. Лопухина, В. Х. Преображенского, В. И. Жмакина, в 1883 г. — С. А. Соллертинского, П. Н. Жуковича, А. И. Садова, В. З. Завитневича, в 1884 г. — Г. Е. Трусмана. После 1884 г., в 1886 г. — Г. В. Мирковича, в 1888 г. — иером. Михаила (Грибановского) и в 1889 г. — Н. С. Соколова. Миркович окончил курс в 1878 г., а иером. Михаил (Грибановский) и Соколов — в 1884 г.

[362] В 1880 г. — Н. В. Покровского, в 1886 г. — А. И. Пономарева и в 1888 г. — И. И. Панова, окончившего курс в 1871 г.

[363] Если включить сюда диссертацию И. В. Морева («Камень веры Стефана Яворского»), окончившего курс в 1885 г. Эта диссертация, написанная на данную мною тему и мною одобренная, по некоторым обстоятельствам явилась в свет очень поздно и защищена уже при моем преемнике по кафедре в 1904 г.

[364] «Церковный вестник», 1913, 46–47.

[365] Да и то, как увидим далее, после тяжелой истории и после уже моей отставки.

научные исследования догматических вопросов, свидетельствует, к прискорбию, также и о том, насколько упразднение специальностей, произведенное уставом 1884 г., гибельно отразилось на богословской мысли и ученой продуктивности питомцев академии».

Докторские диссертации и публичная их защита. За этот период времени явилось 9 диссертаций на степень доктора богословия, именно — ординарных профессоров: И. В. Чельцова («Древние формы Символа веры», 1870), И. А. Чистовича («Древнегреческий мир и христианство в отношении к бессмертию души и будущей жизни», 1871), Е. И. Ловягина («Об отношении писателей классических и библейских по воззрению христианских апологетов», 1872), экстраординарных профессоров: И. Ф. Нильского («Семейная жизнь в русском расколе», 1870), М. О. Кояловича («История воссоединения западно-русских униатов старых времен», 1874), И. Е. Троицкого («Изложение веры армянской, начертанное Нерсесом, католикосом армянским», 1875), А. Л. Катанского («Догматическое учение о семи церковных таинствах в творениях древнейших святых отцов и писателей Церкви, до Оригена включительно», 1877), Ф. Г. Елеонского («История израильского народа в Египте», 1884) и доцента Н. А. Скабалановича («Византийское государство и Церковь от смерти Василия Болгаробойцы до воцарения Алексея Комнина», 1884). Диспутами Ф. Г. Елеонского и Н. А. Скабалоновича закончилась публичная защита докторских диссертаций; устав 1884 г. отменил ее, и с тех пор, вот уже 30 лет, не слышатся, к сожалению, ученые состязания наиболее зрелых академических сил.

Между тем, эти докторские диспуты представляли очень много интересного и поучительного для собиравшейся на них многочисленной и разнообразной публики. Далеко небесполезны они были и для самих академических преподавателей, приучая их к публичным выступлениям и давая им лишний к тому случай. Нужно заметить, что наша духовная среда всегда отличалась более, чем скромностью, желанием держать себя как можно более в тени. А потому нам приходилось немало поработать над собой, чтобы оказаться на высоте положения.

На первом диспуте (докторском — профессора И. В. Чельцова) мне пришлось быть действующим лицом, в качестве одного из официальных оппонентов; другим был профессор И. Е. Троицкий. Это

был самый первый диспут в нашей академии, не только на степень доктора богословия, но и вообще — магистерских, до него не было. Неудивительно, что я оказался неважным оппонентом; тут сказалась наша неподготовленность к публичным выступлениям вообще и некоторые личные мои особенности в частности. Застенчивый, не привыкший говорить в общественных собраниях, я составил предварительно ряд речей, в сущности недурных, которые достопочтенный диспутант, мой бывший уважаемый наставник, выслушивал, и отвечал на них собственными речами — в свойственном ему докторальном тоне, — мало относящимися к предмету моих возражений. В сущности, мы оба друг друга не слушали, а продолжали говорить каждый свое. Результатом было то, что в газетных отчетах (например, в газете «Голос», где сотрудничали наши бывшие воспитанники П. И. Нечаев и А. Н. Надеждин) моя оппозиция подверглась невыгодной для меня критике. Из других докторских диспутов наиболее интересными были: М. О. Кояловича, И. Ф. Нильского и И. Е. Троицкого. Замечательно, что посетителей на диспутах было множество, и не только из числа интеллигенции, но и из простого народа; зал академических торжественных собраний всегда был совершенно полон. В обществе слышались очень одобрительные отзывы о наших диспутах, в смысле признания серьезности и интереса прений.

Мой собственный докторский диспут, 5 июня 1877 г., прошел для меня также невыгодно. Я был страшно утомлен трудами по составлению и печатанию своего сочинения «Догматическое учение о семи церковных таинствах в творениях свв. отцов...», и хотя официальный отзыв рассматривавших мое сочинение лиц, будущих моих оппонентов (экстраординарного профессора И. Т. Осинина и приват-доцента А. А. Приселкова), был весьма для меня лестный и вполне успокоительный[366], тем не менее, крайняя усталость, усугублявшая

---

366 Вот что они писали в своем представлении в богословское отделение, заслушанном в совете (заседание 26 мая 1877 г.): «Исследование автора составляет весьма добросовестный и притом самостоятельный труд по вопросу, почти не затронутому нашей богословскою литературою. Строго научный прием в раскрытии предмета на основании первых источников, самостоятельность и оригинальность многих выводов, критическое отношение к западно-христианским теориям и мнениям, последовательная систематическая группировка предмета и наконец ясное, простое и правильное изложение, — таковы достоинства,

мою природную нервность и застенчивость, сделала то, что я был крайне вялым, едва держался на ногах, был на кафедре похож на живого мертвеца, и потому не показал себя публике с выгодной для себя стороны, хотя возражения далеко не были вескими. Кроме официальных, других оппонентов не было. После диспута, когда на квартиру ко мне явился мой тесть протоиерей И. В. Васильев (вместе с ректором И. Л. Янышевым), чтобы разделить со мной предложенную скромную трапезу, он резюмировал свои впечатления от диспута в следующих памятных для меня словах: «На кафедре вы были из рук вон плохи; если бы я был на вашем месте и знал хотя бы половину того, что вы знаете по этому предмету, я разнес бы своих оппонентов», что, замечу от себя, нисколько не удивительно — при его необыкновенном даре слова, громадном навыке к публичным выступлениям, большом самообладании и находчивости. А неожиданно явившийся из-за границы мой свояк, тогда настоятель нашей церкви в городе Ницце, протоиерей В. И. Левицкий, бывший также на моем диспуте, человек очень остроумный, выразил свои впечатления в следующем замечательном изречении: «Горек ученый хлеб!» — очевидно, сравнивая ученую службу с приятной, обеспеченной и сравнительно легкой службой заграничного священника. Невольно напрашивается мысль порекомендовать это очень верное изречение вниманию тех лиц, которые любят критиковать диссертации профессоров и совершенно не замечают трудного, тернистого, далеко не усыпанного розами пути ученых тружеников... На моем диспуте не было ни одного из представителей высшей церковной иерархии, по случаю летнего времени (5 июня). Обыкновенно они бывали в немалом количестве, во главе с митрополитом Исидором или кем-либо из членов Св. Синода. На сей раз не было ни одного, даже простого епископа, так что председательствовал (редкий случай!) на диспуте ректор академии И. Л. Янышев. Из светских посетителей помню министра народного просвещения И. Д. Делянова, директора Публичной библиотеки А. Ф. Бычкова и сербского посланника (кажется, Протича).

которые дают ученому исследованию А. Л. Катанского право занять видное место в нашей учебно-богословской литературе и, по нашему убеждению, вполне удовлетворяют условиям докторской диссертации».

Почему и как я остановился на такой теме для докторской диссертации? Ответ на этот вопрос вводит в историю моего богословского развития, внутренних моих переживаний, с которыми считаю нелишним познакомить читателей.

В точном соответствии с уставом 1869 г., по которому «догматическое богословие» полагалось «с историческим изложением догматов»[367], мои занятия распадались на три части: 1) изложение системы догматического богословия, 2) историческое изложение догматов в период библейский и 3) в период патристический, святоотеческий.

На занятия по системе догматического богословия я вызван был моими слушателями, студентами. Как-то раз, помнится в 1871 г., среди практических занятий на IV курсе, один из группы студентов (именно А. Ф. Гусев, впоследствии профессор Казанской академии) говорит мне: «Все это хорошо, и интересно то, чем вы нас занимаете по части истории догматов, но ведь нам придется служить в семинариях, где мы будем иметь дело ближайшим образом с системой догматического богословия, а потому нам хотелось бы, чтобы вы предложили чтения и по систематическому изложению догматического учения Православной церкви, кроме истории догматов». Наши догматические системы (Преосвященных Макария и Филарета черниг.), очевидно, их не удовлетворяли. На следующий же год я приступил к этого рода чтениям, на II, III курсах, параллельно с чтениями по истории догматов. При изложении системы догматического богословия старался преимущественно объять весь круг догматических учений и выяснить взаимную их связь, не останавливаясь на подробном обосновании их на авторитетах Св. Писания и церковного Предания (это входило у меня в круг чтений другого рода — по историческому изложению догматов в периоды библейский и святоотеческий), а также — указать желательную постановку разных отделов науки и т. п. Эти чтения

---

[367] По всей вероятности, эта прибавка — «с историч. излож. догматов» — в уставе была сделана, главным образом, по настоянию прот. И. Л. Янышева и прот. И. В. Васильева. С ними у меня было немало разговоров на эту тему. А если так, то через их посредство, не перепала ли на мою долю некая малая капля участия в этом деле?

студентам очень нравились, так что раз они выразили мне свое сочувствие даже аплодисментами[368].

Но все-таки преимущественное мое внимание было направлено на историческое изложение догматов и, притом, в равной мере на оба периода — библейский и святоотеческий, чему соответствовали и два ряда отдельных параллельных чтений. Святоотеческим богословствованием я тогда еще не был увлечен всецело, как впоследствии. Вот почему сначала (около 1872 г.) я остановился было, в поисках темы для диссертации, на библейском периоде, задумал дать изложение догматических данных в Св. Писании Нового Завета, имея в виду представить опыт так называемого на Западе «библейского богословия», или «библейской догматики», но, конечно, в православном духе и понимании, с опровержением протестантских теорий и, в особенности, — отрицательной немецкой критической школы. Начал предварительные работы, и плодом их были две большие статьи, напечатанные в «Христианском чтении» (1872), под заглавием «Об изучении библейского новозаветного периода в историко-догматическом отношении»[369]. Эти статьи, по моей мысли, должны были служить введением к моей диссертации. Но то, что я услышал по их напечатании, совершенно охладило меня. Один из благожелательных моих сослуживцев (профессор И. Ф. Нильский) заметил мне, что от моих статей несколько попахивает протестантизмом, и что если я думаю писать диссертацию на означенную тему, то она, наверное, не пройдет. Несмотря на глубокое мое убеждение в неосновательности высказанных подозрений относительно протестантских на меня влияний, я, однако, убедился в несвоевременности моего предприятия и начал

368 Замечательно, однако, что это своего рода новаторство в постановке чтений по системе догм. богословия не обошлось для меня без некоторых неприятностей. На первом же экзамене председатель комиссии проф. И. А. Чистович и экстраорд. проф. И. Т. Осинин, ассистент, сделали мне много возражений и даже несправедливых, как мне казалось, придирок, и это во время студенческих ответов, в присутствии всех студентов, что очень меня рассердило. Они, видимо, разыгрывали роль экзаменаторов старых времен, когда экзамены имели значение испытаний не только для студентов, но и для преподавателей.

369 А перед тем мною напечатана, в том же «Христианском чтении» (1871), общая, так сказать, руководительная статья — «Об историческом изложении догматов».

искать темы в другой области — в периоде святоотеческого раскрытия догматов. Святоотеческой письменностью я также уже и тогда был очень заинтересован, направляя свои исследования (в классных чтениях) на обличение неправды западных теорий отрицательной немецкой критики, пытавшейся представить историю раскрытия догматов в этот период как процесс постепенного образования, нарастания совершенно будто бы новых учений, не имевших ничего общего с учением Христа Спасителя. В этой области я начал искать темы для своей диссертации. После некоторых колебаний остановился на вопросе о седмеричном числе церковных таинств. Вполне сознавал громадную трудность строго научно, путем беспристрастного исторического исследования оправдать учение Православной церкви относительно этого предмета; главное, что смущало, это — появление в очень позднее время (около XII–XIII вв.) догматической формулы: «таинств церковных семь». То же говорили мне и другие, близкие мне люди и мои сослуживцы, знавшие об избранной мною теме: я ни для кого не делал из нее тайны, хотя многие предпочитали в то время молчание относительно предмета готовившихся диссертаций. Не было буквально около меня ни одного человека, который бы одобрил и ободрил меня в принятом мною намерении; все, без исключения, единогласно меня осуждали и даже жалели. В моем упорстве поддерживало меня наблюдение, сделанное среди занятий по изучению истории догматов, именно, что образование точных формул, даже относительно таких догматов, как — о Св. Троице и Лице Иисуса Христа как Богочеловека, последовало сравнительно поздно, несколько столетий спустя после начала христианской Церкви, жившей, однако, всегда твердою верою в эти божественные истины, и тогда, когда не было внешней, твердо установившейся их оболочки. То же, думал я, наверное, было и с учением о церковных таинствах. Однако легко было предположить, но далеко нелегко было строго научным путем оправдать предположение. Долго шел ощупью, пока не открылся во всей ясности путь, по которому прошло раскрытие этого пункта догматического учения; живо помню тот, поистине счастливый день, когда в конце уже работы (живя на даче, в Гатчине, — вероятно, в 1875 г.) мог свести концы с концами и, обозревая длинный пройденный путь, в несказанной радости воскликнул: ура! виден берег.

Мои занятия по составлению диссертации имели для меня огромное значение. Они вполне открыли для меня богатую сокровищницу святоотеческой письменности, привлекли меня к богатейшему, неисчерпаемому источнику поистине живой воды, сравнительно с которой западные немецкие источники оказались жалкими скоплениями болотной мути, заставили меня всем сердцем полюбить святоотеческие творения и видеть в них единственное средство, чтобы оживить нашу вялую и скудную богословскую мысль. Среди изучения святоотеческих творений завершилось мое богословское развитие. Окончание же труда доставило чувство удовлетворения, принесло сознание окончательной победы над протестантскими теориями в самом, казалось, крепком их пункте и вместе с тем — оправдание метода и направления всех моих историко-догматических чтений, проникнутых теми же тенденциями, что и в диссертации. Таким образом, моя диссертация имела для меня несравненно более важное значение, чем простое средство получить высшую ученую степень; решался вопрос о том, «быть или не быть» мне в будущем на кафедре догматического богословия.

Всем членам Св. Синода были, по обычаю, лично представлены мною экземпляры книги в хороших переплетах. Все они благосклонно приняли и меня, и мое приношение. Владыка митрополит Исидор рассказал при этом, как решаются догматические вопросы в Англии. «Вот вы, — говорил он, — изучали святых отцов и вообще немало поработали над диссертацией, а в Англии догматические вопросы решаются гораздо скорее и проще. Раз возник там какой-то вопрос о крещении. Не задумываясь над ним долго, преспокойно решили передать его в парламент на решение». Весьма любезно принял меня также и Преосв. Макарий (Булгаков, в то время архиепископ Литовский). Он припомнил мою статью — «Об историческом изложении догматов», заметил, что одобряет этот метод, что он сам теперь не в курсе движения литературы по догматическому богословию и занят трудами по русской церковной истории. «Завтра, — сказал он в заключение, — еду в Вильну и дорогой постараюсь познакомиться с вашим сочинением, появление которого с удовольствием приветствую». Был вообще очень со мною любезен и на прощание крепко пожал мою руку. Памятны еще визиты протопресвитеру В. Б. Бажанову и архиепископу Воронежскому Серафиму

(Аретинскому)[370], бывшему в родстве, не очень, впрочем, близком, с моим тестем, протоиереем И. В. Васильевым. Преосв. Серафим очень советовал мне принять священство, к чему, заметил он, очень располагает и самый предмет моих академических чтений.

Кроме девяти докторов богословия предполагались еще три докторства: 1) ректора академии протоиерея И. Л. Янышева, 2) ректора Петроградской семинарии архим. Хрисанфа (Ретивцева) и 3) митрополита Исидора, но по разным причинам эти докторства не состоялись.

В 1872 г., после годичного временного увольнения от должности ректора (12 ноября 1871 г.)[371], для поправления здоровья (официальный мотив), а на самом деле для составления докторской диссертации, ректор протоиерей И. Л. Янышев представил, в рукописи, в совет сочинение под заглавием «Состояние учения о совести, свободе и благодати и попытка к разъяснению этого учения». В этом сочинении, между прочим, содержалась довольно резкая критика наших так называемых символических книг (Прав. Испов., катехизиса и др.) и подвергался сомнению их авторитет в отношении к решению затронутых вопросов. В богословском отделении, куда поступила рукопись на рассмотрение, обращено было на означенный пункт усиленное внимание, причем в особенности налегал на эту сторону сочинения тогдашний председатель отделения, помощник по нему ректора, профессор И. А. Чистович, находя большие неудобства к пропуску сочинения. Почему-то он сразу встал в довольно неблагожелательные отношения к ректору[372],

---

[370] Серафим (Аретинский), орлов., 1-й маг. VIII к. Киев. акад., 1842 — инспект. Казан. акад., 1846 — ректор. Кавказ. сем., 1848 — Могил., 1852 — Херсон., 1858 — Тамб., 1860 — еп. Чигирин., 1865 — Воронеж., 1871 — архиеп.

[371] Исполнение обязанностей ректора на это время возложено было на старшего из помощников ректора проф. В. И. Долоцкого (пом. ректора по церк.-практ. отд.), который и исправлял должность ректора с большим тактом и опытностью.

[372] Почему это случилось? Есть основания думать, что тут отразилось чувство обиды за отношение ректора к прежней истории академии (см. выше). Помнится, старшие профессоры сравнивали нового ректора с прежними, которые успевали, дескать, составлять целые системы наук (напр., Преосв. Макарий Булгаков), не беря отпуска и т. д. При этом сказались, быть может, некоторые

ловко пустил мысль о «несовпадении» основной мысли диссертации с существующими воззрениями относительно символических книг и упорно настаивал на этом своем изобретении. Сверх того, как философ, склонный к подозрительности и чтению между строк, не без осторожности впрочем, намекал, что в диссертации не все благополучно и относительно некоторых других мыслей. Помнится, например, он обращал внимание на такие выражения в сочинении, что Иисус Христос есть «идеал нравственности»; подобные выражения казались ему почему-то подозрительными (?!), чуть ли не отзывающимися рационализмом и влиянием немецкой отрицательной критики. Далеко не все члены отделения были согласны со своим председателем, однако его настойчивость производила свое впечатление, и все дело кончилось тем, что богословское отделение сделало в совет представление в том смысле, что хотя считает представленное сочинение удовлетворительным для степени доктора богословия, но не скрывает встречающихся при этом затруднений, в виду «несовпадения» и т. д. Совету не оставалось ничего другого, как представить в Св. Синод сочинение на рассмотрение — в виду некомпетентности академического совета для решения такого вопроса, как вопрос о символических книгах Православной церкви, что совет и сделал. Так закончилось это щекотливое, крайне неприятное для академии дело. К сожалению, родная академия так и не собралась загладить, даже и впоследствии, свою вину перед бывшим приснопамятным своим ректором, и по выходе капитального его, доселе лучшего по нравственному богословию труда — «Православное христианское учение о нравственности» (Москва, 1888, 1-е изд.)[373], а предоставила честь возведения о. И. Л. Янышева на степень доктора богословия Казанской духовной академии, которая и присудила ему эту степень в 1899 г., то есть спустя 26–27

влияния из круга лиц высшего придворного духовенства, в среду которых (протопр. В. Б. Бажанов и прот. И. В. Рождественский) клином вдавался прот. И. Л. Янышев, как духовник цесаревны Марии Феодоровны. Впрочем, может быть, я грешу излишними и неосновательными подозрениями.

[373] Издано оно не самим о. И. Л. Янышевым, а бывшим его слушателем, проф. Казанской академии, А. Ф. Гусевым, по сохранившимся у него записям академических лекций о. И. Л. Ян-ва.

лет после описанной истории. «Православное христианское учение о нравственности» представляет переработку, правда капитальную, и обоснование тех взглядов, которые проводились в рукописном, вышеупомянутом сочинении «Состояние учения о совести», и пр. Нет, однако, худа без добра. Явись тогда, в 1872 г., в печати рукописное сочинение, — может быть, мы не имели бы такого выдающегося труда, как «Православное христианское учение о нравственности», а получили бы менее зрелое сочинение, составленное наспех, для удовлетворения требованиям устава 1869 г. о необходимости для ординарных профессоров иметь степень доктора богословия[374]. Для получения этой степени для наличных ординарных профессоров назначен был трехлетний срок.

Нечто подобное истории с докторством И. Л. Янышева случилось и с докторством тогдашнего ректора Петроградской семинарии, архимандрита Хрисанфа (Ретивцева). Представленный им в 1873 г., в качестве докторской диссертации, 1-й том «Истории древних религий» встретил строгую критику тогдашнего преподавателя основного богословия, доцента Н. П. Рождественского, который, не отрицая некоторых достоинств сочинения, в особенности блестящего изложения и некоторых других, находил, однако, что этот труд имеет мало самостоятельности, состоит в большой зависимости от некоторых выдающихся западных сочинений этого рода, в особенности от одного из них. Тем не менее, отделение признало сочинение удовлетворительным в качестве докторской диссертации и в этом смысле сделало представление в совет, а совет постановил «допустить автора к публичной защите». Но тут случилось нечто, до сих пор не совсем разъясненное. Митрополит Исидор почему-то не допустил автора до защиты, диспут не состоялся, и архимандрит Хрисанф докторской степени тогда не получил. Произошло это в виду, вероятно, главным образом указанных выше дефектов сочинения, а также положения автора, как ректора семинарии, которому, в случае диспута, пришлось бы выслушивать на кафедре не совсем

374 По-видимому, сам И. Л. Янышев не особенно желал появления своего труда в печати. Это видно из неоднократных его (в конфиденциальных беседах) заявлений, что «едва ли совет академии в состоянии решить вопрос об его диссертации, без представления ее в Св. Синоде на предварительное рассмотрение».

лестные для себя замечания, а может быть, и от каких-нибудь еще других причин и соображений, например, вследствие заметного нерасположения митрополита Исидора к архимандриту Хрисанфу, или хотя бы за компанию с только что забракованным перед тем сочинением ректора академии, о. И. Л. Ян-ва. Судьба этих лиц во многом сходна. Подобно о. И. Л. Янышеву, и архимандрит Хрисанф впоследствии, будучи уже Нижегородским епископом, в 1878 г. получил докторство, и также от Казанской академии, за три тома своей «Истории древних религий»; следовательно, гораздо ранее нашего бывшего ректора.

Наконец, предполагалось присудить степень доктора богословия митрополиту Исидору за его труды по переводу и изданию перевода всех священных книг Ветхого и Нового Завета на русский язык. Предложение об этом последовало в совете (кажется, в 1875/76 году) от профессора И. В. Чельцова. Совет оказался в затруднительном положении. С одной стороны, он сознавал важное значение факта завершения длинной и тяжелой истории перевода всех священных книг на современный русский язык, признавал и то, что этот благополучный исход весьма много обязан мудрости и настойчивости первенствующего члена Св. Синода, митрополита Исидора, участвовавшего и непосредственными личными трудами в деле перевода некоторых книг Св. Писания, но с другой стороны, сознавал, что весь этот труд — все-таки не единоличное дело владыки, что он, во всяком случае, представляет коллективную работу, что, наконец, очень щекотливо присуждать высшую ученую степень непосредственному своему начальнику, что есть опасность заслужить упреки со стороны общества, которое легко может усмотреть в положительном советском решении captatio benevolentiae. В таком смысле и направлении сказал блестящую речь профессор М. О. Коялович, отличавшийся строгостью принципов и замечательным искусством слова. В виде справки профессор И. А. Чистович прибавил, что окончательную — так сказать, ответственную — корректуру по печатанию священных книг держал духовник Их Величеств, протопресвитер и член Св. Синода, В. Б. Бажанов. После таких рассуждений совет, очень ревниво оберегавший свою добрую славу и не практиковавший вошедшее потом в обычай присуждение высшей ученой степени за «совокупность ученых трудов», без наличия

отдельной докторской диссертации[375], не без искреннего сожаления склонился к отрицательному решению вопросу о присуждении степени доктора богословия митрополиту Исидору. Без сомнения, все это сделалось известно нашему доброму, великодушному владыке, но он ни одним словом не выразил совету своего неудовольствия и решительно ничем не проявил своего нерасположения к главному виновнику такого решения совета — профессору М. О. Кояловичу, хотя последний очень этого опасался, что не раз и высказывал в наших частных с ним беседах. Поистине характерная для того времени и весьма поучительная для последующих времен история! Да, были люди в это время… и хотелось бы прибавить дальнейшие слова поэта…

Участие в тогдашних религиозно-общественных движениях. В описываемый период времени оживление деятельности Петроградской духовной академии сказалось деятельным участием ее представителей в тогдашних религиозно-общественных движениях.

В возникшем тогда (1872), «петроградском отделе общества любителей духовного просвещения», под почетным председательством великого князя Константина Николаевича[376], при председателе генерал-адъютанте Н. В. Зиновьеве (бывшем воспитателе царских детей), приняли деятельное участие многие из членов нашей академии — в качестве или членов совета общества (протоиерей И. Л. Янышев, профессор И. Т. Осинин)[377], или членов-учре-

[375] Сколько помнится, такой обычай начал практиковаться в нашей академии уже после моей отставки, т. е. после 1896 г. Первым таким случаем было, вполне впрочем заслуженное, присуждение докторской степени проф. прот. П. Ф. Николаевскому в 1897 г., а потом проф. В. В. Болотову — кажется, также в этом году.

[376] Вел. князь Константин Николаевич был большим любителем богословия. Тогда острили, что адмирал флота занимается богословием, а митрополит — Московской Иннокентий (Вениаминов), председатель комитета по добровольному флоту, — командует флотом. Митр. Иннокентий, знаменитый апостол Сибири, Камчатки и Алеутских островов, родом из Иркутска, семинарского образ., Иркутской сем. (1817), свящ. (1821), прот. (1839), архим. (1840), еп. Камчатский (1840), архиеп. (1850), митр. Московский (1868) — преемник митр. Филарета (Дроздова).

[377] Кроме них членами совета были: прот. И. В. Васильев, кн. Д. А. Оболенский, Б. П. Мансуров (член Госуд. сов.) и А. Ф. Гильфердинг.

дителей (кроме ректора протоиерея И. Л. Янышева и профессора Осинина, профессоры И. А. Чистович, И. В. Чельцов, М. О. Коялович, А. Л. Катанский, И. Е. Троицкий), или действительных членов — профессоры И. Ф. Нильский, Т. В. Барсов, Н. П. Рождественский.

Все эти лица академического братства заявили себя немалыми трудами на пользу общества духовного просвещения, в особенности по вопросам: старокатолическому, об единоверии и раскольниках, ныне именуемых старообрядцами. Прежде всего через них общество вошло в деятельные сношения со старокатоликами. На старокатолических конференциях почти неизменно представителями общества являлись члены академической корпорации. На первой, в Кельне, в 1872 г., — ректор протоиерей И. Л. Янышев, вместе с секретарем общества полк. А. А. Киреевым, на третьей[378], в Бонне в 1874 г., — он же, с профессором И. Т. Осининым, на четвертой, также в Бонне в 1875 г., — опять протоиерей И. Л. Янышев, с тем же профессором И. Т. Осининым.

По этому случаю читано в обществе немало сообщений, отчетов о заграничных поездках и разного рода рефератов. Между прочим, в самом начале деятельности общества (началось оно с 25 марта 1872 г.) пришлось мне, 29 ноября того же года, выступить с рефератом «Краткий очерк истории и характеристика попыток к соединению Церквей греко-восточной и римско-католической за весь 8-вековый период разделения Церквей» (напечатано в полном виде в протоколах общества). На это выступление подбил меня протоиерей И. В. Васильев. Он же дал мне и полезный совет, как читать мой довольно обширный реферат, рекомендуя сократить его, елико возможно, посвятить чтению никак не более получаса времени, ссылаясь на свое наблюдение, добытое богатым его опытом, что многочисленное и разнородное собрание не в состоянии поддерживать свое

Затем — К. П. Победоносцев (тогда чл. Госуд. сов., но еще не об.-прок. Св. Синода), Т. И. Филиппов и главн. свящ. армии и флота П. Е. Покровский (некогда прот. моск. Архангельского соб., см.: юбилей Моск. акад., гл. IV моих «Воспом.»). Секретарь совета — А. А. Киреев, известный потом генерал, светский богослов, плодовитый писатель и горячий поборник старокатоличества, весьма ему сочувствовавший.

[378] На второй конф., в Констанце в 1873 г., присутствовал прот. И. В. Васильев с А. А. Киреевым.

внимание на более продолжительное время. Много раз приходилось мне убеждаться в справедливости этого совета и жалеть наших церковных проповедников, испытывающих терпение слушателей своими неумеренно продолжительными речами. Скрепя сердце, как ни тяжело было урезывать, сокращать свою рукопись, я последовал этому совету. Собрание было очень многочисленное, в зале географического общества, в здании министерства народного просвещения, было много лиц из высшего общества, привлеченных, кажется, не столько интересом чтений, сколько личностью присутствовавшего здесь великого князя Константина Николаевича. Мое чтение имело полный успех. Великий князь счел нужным поощрить лектора аплодисментами, к которым присоединилось и всё собрание.

Это было третье по счету мое публичное выступление, на сей раз удачное. Первое, как помнят читатели, — на диспуте И. В. Чельцова, в 1870 г., второе в 1872 г. — на годичном акте академии (17 февраля), причем мне пришлось составлять и читать в торжественном собрании годовой отчет от имени совета академии о жизни и деятельности академии за истекший год. Позволю себе маленькое отступление от речи об обществе любителей духовного просвещения. В 1872 г. нужно было составить первый нормальный годовой отчет по нашей академии. В 1871 г. читал его сам ректор, но это была, скорее, речь по случаю вступления академии (в 1869 г.) на путь преобразования, чем обычный годовой отчет. Мне пришлось вырабатывать схемы и формы нормального отчета и вложить в них содержание из сырого, данного секретарем совета материала. Новость и непривычность такой работы были причиной того, что мне пришлось посвятить ей не менее двух недель усиленной работы, порядочно меня утомившей. Окончилось все, однако, очень благополучно. Отчет, видимо, понравился публике, и прочитан он был мной хорошо, с большим подъемом и воодушевлением; последовали аплодисменты[379].

---

379 А почему выпала эта работа на мою долю, это объясняется тем, что я был тогда младшим членом совета, выбаллотированным в октябре 1869 г. в звание экстраорд. профессора. На вновь произведенных профессоров обыкновенно возлагался труд составления или отчета, или актовой речи, как бы отплата совету за честь, которой известное лицо удостоено избранием в члены совета.

Продолжаю речь об обществе любителей духовного просвещения. Кроме вопроса о старокатоликах и соединении Церквей подняты были вопросы о наших русских единоверцах, о воссоединении с Церковью наших русских раскольников, наконец о нашей внутренней миссии. Все эти вопросы находились во внутренней, психологической связи и поднимались естественно, так сказать по ассоциации идей. Поборники соединения нас со старокатоликами на равных правах (одна точка зрения), или присоединения их к восточной православной Церкви в качестве православных западного обряда (другая), или, наконец, безусловного присоединения их к русской Церкви, с принятием и нашего обряда (третья точка зрения), естественно вызывали в некоторых из членов общества стремление к воссоединению с Церковью приверженцев нашего старого русского обряда, прежде всего наших русских раскольников, с признанием и принятием (или без того и другого) их иерархии, а потом — к более полному общению и слиянию с нами наших единоверцев, к уничтожению изолированного и двусмысленного их положения, к допущению свободного перехода не только из единоверия, но и в единоверие. Словом, поднята была масса весьма важных и в высшей степени интересных вопросов.

Относительно старокатоликов много трудов посвящено было исследованию догматических разностей, наследованных старокатоликами от римской Церкви (о Filioque и др.); указанию протестантских влияний на старокатоликов в учении о церковных таинствах, о почитании и призывании святых в молитвах, о молитвах за умерших и пр., далее — вопросу о признании действительности старокатолической иерархии, получившей начало от утрехтской (отделившейся от римской Церкви и не признаваемой ей), а также о том, насколько вся обрядовая сторона церковной жизни старокатоликов соответствует духу православной Церкви.

Когда от старокатоликов (которым исключительно было посвящено внимание и сочувствие о. И. Л. Янышева и которым он остался верным до последних дней своей жизни) переходили к нашим старообрядцам, единоверцам и вообще к нашей внутренней миссии, настроение общества обострилось. Внутренние церковные вопросы начали сильно волновать и были причиною разделения, образования двух сторон, горячо и даже страстно споривших. На одной стороне стояли: протоиерей И. В. Васильев и профессоры академии, во главе

со знатоком раскола и старообрядчества профессором И. Ф. Нильским, на другой — известный расколофил Т. И. Филиппов, сам по матери примыкавший к расколу, в то время начальник петроградской контрольной палаты, впоследствии государственный контролер, по наружности — купеческой складки (с остриженными в кружок волосами), с елейно-язвительной речью. К нему примыкали светские люди из общества, мало способные разбираться в церковных вопросах, частью же, по свойственному им индифферентизму, не признававшие их важности. Спор сосредотачивался главным образом около вопроса, как смотреть на дозволительность употребления наших старых книг и обрядов, на анафему, изреченную на них Московским Собором 1666 г., падала ли она на самые старые обряды или только на лиц, обнаруживших тогда противление церковной власти и, следовательно, карала собственно это противление наших русских раскольников. Первое положение защищал Т. И. Филиппов, настаивавший на необходимости снятия соборных клятв со старых обрядов, через торжественное, соборное же определение; вторую точку зрения отстаивали его противники, не признававшие необходимости нового соборного обсуждения вопроса о старых обрядах и потому не видевшие никакого противоречия в допущении у нас единоверия, на что с особенною силою напирал Т. И. Филиппов. Раз некоторые из непокорных когда-то церковной власти старообрядцев покорились ей, средостение между ними и Церковью пало, и они могут, находясь в единении с нею, получая посвященных нашими епископами священников и диаконов, удерживать свои старые обряды и служить по старым книгам. Словом, обряды и соборные клятвы тут ни при чем. Но Т. И. Филиппов упорно стоял на своем. Немало было горячих прений, прочитано по этому предмету немало рефератов в 1873–1874 гг. (протоиерея И. В. Васильева, профессоров И. В. Чельцова, И. А. Чистовича и И. Ф. Нильского), возникла затем журнальная полемика, причем Т. И. Филиппов позволил себе в газетах (помнится, между прочим, в газете «Гражданин», редактируемой тогда Пуцыковичем) очень ярые и даже довольно неприличные выходки против своих противников.

Кончились эти препирательства раздражением нашей академической среды и охлаждением к занятиям в обществе любителей духовного просвещения. А протоиерей И. В. Васильев решил даже

выйти из совета общества, что и сделал, несмотря на настоятельные просьбы великого князя Константина Николаевича, очень дорожившего такой большой силой, какую представлял о. протоиерей. Помнится, в один прекрасный день является к нему на квартиру (дом духовного ведомства, на Литейной), от имени великого князя, К. П. Победоносцев, тогда только член Государственного совета (которого великий князь К. Н. был председателем), с целью склонить о. И. В. Васильева к отказу от его намерения, и между ними происходит следующий разговор. Высказывая свое несочувствие к слишком большому увлечению старокатолическим вопросом, в занятиях которым не видел практической пользы, а также разочарование в прениях по старообрядчеству, вносивших только раздражение в среду общества, о. протоиерей, между прочим, заметил: «Да и вы, К. П., конечно, не видите никакой пользы от всех такого рода занятий и прений». «Совершенно верно», — ответил почтенный его собеседник. «Но в таком случае, почему же вы, К. П., остаетесь в совете общества, — возразил И. В., — да еще склоняете меня к тому же?». «Это я делаю исключительно для великого князя», — ответил К. П. Затем зашла речь о так называемой «внутренней миссии», то есть о просвещении народа в религиозном отношении. Эта «внутренняя миссия» была заветной мечтой о. И. В. В-ва, которой он и посвятил последние дни своей жизни, выступая проповедником во внебогослужебных собеседованиях, побуждая и других к тому же, и встав во главе «общества религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви»; он был первым председателем этого общества. Но, к удивлению, как потом сообщил мне тотчас же И. В. В-в (я случайно как раз был в это время в его квартире), К. П. П-в и к этой миссии отнесся отрицательно, выразив опасение, как бы религиозное просвещение народа не повело к протестантизму у нас в России. Очень подивились мы тогда таким мыслям и настроению К. П. Победоносцева. Оказалось, что он остался верным таким своим взглядам на религиозное просвещение и потом, когда сделался обер-прокурором Св. Синода.

На этом и окончился их разговор. О. И. В. Васильев остался непреклонным в своем решении, что сопровождалось следующими, немаловажными лично для меня последствиями. После неудачной попытки великого князя К. Н. удержать о. И. В. В-а в составе совета

общества, великому князю пришла мысль использовать силы высоко ценимого им о. протоиерея косвенно — через его зятя, то есть через меня. С этой целью он решился пригласить в совет общества профессора А. Л. Катанского. «Не хочет быть у нас протоиерей Васильев, так пусть будет вместо него молодой Васильев, его зять», — сказал он и приказал секретарю общества А. А. Кирееву написать мне в этом смысле письмо, крайне меня удивившее. С этим письмом немедленно я отправился к о. И. В. Васильеву за советом, как мне поступить с этим, крайне лестным, но расстраивавшим все мои планы предложением. Нужно заметить, что в это время, около 1874–1875 года, я очень уже втянулся в работу по составлению докторской диссертации. И.В. В-в сначала уклонился от прямого ответа на вопрос, как мне поступить, принять ли предложение или от него отказаться. Он сказал только: «Решайте сами. Считаю нужным, однако, заметить, что вам представляется прекрасный случай сделать себе блестящую карьеру, подобно тому, как сделал ее таким же путем профессор И. Т. Осинин. Предложение великого князя вводит вас в круг весьма влиятельных людей из высшего общества. Если вы не довольствуетесь скромной долей профессора и желаете дальнейшего движения по службе, то, конечно, не следует упускать этот прекрасный случай; другой — может не представиться». На эту речь я ответил, что никогда не мечтал ни о чем подобном и что далее профессуры в духовной академии не заходил в своих желаниях, и что если получу степень доктора богословия и звание ординарного профессора, то это будет венцом всех моих чаяний и желаний; о большем никогда не помышлял. Думаю отказаться от предлагаемой мне чести. Хорошо понимаю, что совет общества привлекает меня не ради моих прекрасных глаз и даже не для того только, чтобы сделать отчасти и вам приятное, а главным образом потому, что рассчитывает найти во мне усердного и полезного работника, между тем в настоящее время таковым быть решительно не могу по известным вам причинам: разумею мои занятия по составлению докторской диссертации. Сидеть же во дворце великого князя, среди очень высокого общества, сознавая свою бесполезность, не позволяет чувство собственного достоинства. «Так вы решаетесь отказаться; вполне согласен с вами и одобряю ваше решение, — заметил мой собеседник. — Напишите А. А. Кирееву в этом смысле письмо с выражением, конечно, глубочайшей великому князю благодарности

за предложенную вам высокую честь и пр.». На выраженное мной опасение, что мой отказ поставлен будет на счет самому И. В., приписан будет его на меня влиянию и что мне не хотелось бы обострять отношение к нему великого князя, И. В. ответил, чтобы я об этом не беспокоился. Мой ответ был отослан, и вскоре получено было от А. А. Киреева новое письмо, в котором от имени великого князя было выражено мне крайнее неудовольствие. «Скажите профессору Катанскому, что я крайне им недоволен, разгневан его отказом». Это последнее очень меня встревожило; я снова поспешил к о. И. В. В-ву за советом. «Вы уже испугались, — сказал он, — боитесь, пожалуй, что сошлют вас в Сибирь; не бойтесь; великий князь не может этого сделать». — Так окончился этот инцидент. Он был одним из самых сильных искушений (пожалуй, даже более сильным, чем Париж в свадебную мою поездку) сдвинуть меня с намеченного мной скромного пути моей жизни. Долгом считаю, однако, заметить, что ценность моего поступка, некоего как бы самоотвержения, значительно понижается моей бездетностью. Будь у меня большое семейство, едва ли бы так легко и скоро я отказался от возможности найти лучшее обеспечение на других поприщах службы. А может быть, такого отказа и совсем не последовало бы, да и мой советник, о. И. В., едва ли бы так скоро и охотно согласился с моим решением.

Протоиерей Иосиф Васильевич Васильев. Встречи и знакомства. Огромную роль в моей жизни сыграл протоиерей И. В. Васильев — прежде всего своей личностью, а потом той обстановкой, в какую он поставил меня. В его доме мне приходилось встречать многих замечательных людей того времени из тогдашней аристократии — родовитой или ученой и служебной.

Но из замечательных людей он сам был всего замечательнее. Необыкновенно богато одаренный от природы, с глубоким, основательным умом, замечательной памятью, с большим запасом сведений по разным предметам не богословского только знания, блестящим даром слова, большим остроумием и неистощимой веселостью он представлял для меня чистый дорогой клад, в соединении с прекрасной библиотекой, собранной им в Париже (по преимуществу по патрологии, церковной истории и богословию; у него была, между прочим, греческая серия известной Патрологии Миня). Весьма частые беседы с ним были для меня крайне полезны. А он любил поговорить,

да и меня он, видимо, очень жаловал не только как старшего своего зятя, но и как человека, с которым у него было более общих интересов, чем с другими его зятьями[380]. Эти беседы обогащали меня множеством самых разнообразных сведений из прошлого заграничной его службы в Париже (21 год, с 1846 по 1867 г.), как священника, а потом настоятеля и протоиерея тамошней посольской церкви, — из жизни его, обильной событиями большой важности. Достаточно упомянуть крымскую войну 1855 г., которую он провел в кругу пленных наших воинов, не выезжая из Парижа, издание (вместе с обращенным им в православие аббатом Гэттэ) православного журнала L'Union Chrétienne, построение нашего русского храма в столице Франции, религиозные движения в римско-католическом мире того времени, политические революционные события во Франции с 1846 по 1853 г. и многое другое. Вместе с тем эти беседы знакомили меня с состоянием и направлением и наших отечественных церковных дел, в особенности с того времени, 1867 г., когда о. И. В. Васильев встал в близкие отношения к Св. Синоду, как председатель Учебного при нем комитета и как главный заправитель всего нашего духовно-учебного дела.

Следует очень пожалеть, что необыкновенные его дарования, богатство знаний и блестящий дар изложения не выразились в соответствующей им богатой учено-литературной производительности.

---

[380] Кроме меня (№ 1) у него было еще пять зятьев (пишу по старшинству браков): 2) прот. Ницской, потом Флорентийской церкви — В. И. Левицкий (магистр XXVII к. Петр. акад., ныне заслуж. митроф. протоиерей), 3) П. А. Аннин (маг. XXIII к. Киев. акад.), в то время начальник отд. канц. обер-прок. Св. Синода (потом делопр. департ. мин. нар. просв., член совета при мин. нар. просв., тайн. сов.). 4) А. А. Автономов, прив.-доц. нашей акад., потом чиновник, свящ. и прот. (см. о нем выше — о составе препод. академии); 5) И. П. Лебедев, врач по душевным болезням (ныне в отставке, дейст. стат. сов.) и наконец 6) младший зять, Николай Милиевич Аничков, университетского образования, в то время директ. Новгор. гим. и затем окружн. инспект. Петрогр. учеб. округа (впоследствии — директ. департ. мин. нар. просв., тов. министра нар. просв., при гр. И. Д. Делянове, сенатор, вице-председ. Палестинского общ., член Госуд. сов., дейст. тайн. сов.). Семейство И.В. было многочисленное (12 чел.), в описываемое время состояло из шести дочерей и троих сыновей, в то время еще учившихся (а ныне служащих: старший Влад. Иосиф. — по мин. внутр. дел, младшие — Сергей и Борис Иосиф. — по мин. юстиции — ныне члены Петрогр. окружн. суда).

После него осталось сравнительно немного печатных трудов. Можно упомянуть только знаменитые «Письма к Нантскому епископу Жакмэ», «Письма к кардиналу Бональду и историку Гизо» (все на французском языке, есть и русские переводы), «Аббатство св. Женевьевы» («Журнал министерства народного просвещения», 1854), несколько статей в «Духовной беседе» («О соборе старокатоликов в Констанце», 1874), в «Христианском чтении» («Чтения о нуждах единоверия», 1874), в «Церковном вестнике» («Речь по случаю открытия общества распространения религиозно-нравственного просвещения», 1881). Правда, очень немало принадлежит ему статей в L'Union Chrétienne, но, к сожалению, или без подписи, или с псевдонимами (аббат Юсуф, Наумов, Королев и др.), мало, или даже совсем неизвестных русской читающей публике[381].

Нельзя поэтому горячо не поблагодарить г. Бродского, недавно издавшего собрание «Парижских писем прот. И. В. Васильева к обер-прокурорам Св. Синода и другим лицам, 1846–1867 гг.» (Петроград, 1915). Эти письма до некоторой степени восполняют недостаток печатных трудов И. В. Васильева. В этих замечательных письмах, представляющих глубокий исторический интерес[382], изложенных превосходным

[381] Между прочим, о. И.В. В-в говорил мне, что несколько статей в этом журнале он посвятил армянской Церкви, ее истории и нынешнему ее состоянию, доказывая, что неправославие ее в настоящее время уже можно сказать, выдохлось и нет более препятствий к ее воссоединению с православной Церковью, т. е. проводил мысль, противоположную основному тезису докторской диссертации проф. И. Е. Троицкого об армянской Церкви. На докторском диспуте И. Е. Тр-го присутствовавший, в числе других посетителей, о. И.В. В-в горячо возражал диспутанту и оспаривал его. Кстати, тут же присутствовал и министр нар. просв., И. Д. Делянов, армянин по происхождению и вероисповеданию, не принимавший участия в прениях, но в высшей степени заинтересованный их результатом. Интересен факт: И. Д. Делянов счел нужным сделать даже визит докторанту И. Д. Тр-му, на его квартире — перед диспутом. И. Д. Делянов, нужно заметить, был одним из самых частых и усердных посетителей наших торжественных собраний и диспутов. Он был очень дружен с митр. Исидором. Оба они имели большое сходство между собой — по дальновидности ума и спокойствию характера.

[382] В рецензии («Церк. ведомости», 1915, №9) на изд. Л. К. Бродского «Парижские письма» и пр. находим восторженный и совершенно справедливый отзыв рецензента о содержании «Писем», как «имеющих интерес далеко

языком, во весь рост восстает крупнейшая фигура о. протоиерея. Из них не видно, насколько энергична, широка и многообъемлюща была его деятельность в Париже. Он всюду успевал и не упускал из внимания ничего, что случалось в то время замечательного в движениях римского католицизма, завязывая отношения и знакомства со всеми выдающимися в Париже личностями[383] — богословами, церковно-общественными деятелями, церковными проповедниками, учеными, — посещал тех и других, слушал лекции в Сорбонне и других местах, присутствовал на разных, так называемых, конференциях, не говоря уже о зорком наблюдении над своей разнообразной, заезжей паствой, за действиями иезуитов, направленными к совращению наших, падких на все иностранное аристократов и аристократок. И все-таки крайне жаль, что от этого замечательного человека не осталось, кроме указанных выше, трудов и этих недавно обнародованных писем, чего-либо более крупного и цельного. Подумывал он писать записки или воспоминания из своей заграничной жизни, а также об Англиканской церкви, которой очень интересовался в виду попыток англичан к церковному с нами общению, начал было собирать для этого труда и материалы, но так и не успел выполнить свои замыслы, о которых говорил нередко в наших с ним беседах.

необычный», представляющих «богатство, глубину и тонкость личных дум и религиозных и социально-общественных переживаний автора». Особенно ценными признает рецензент наблюдения автора над движениями богословской и общественной жизни римско-католического мира того времени, времен папы Пия IX, с действиями которого прекрасно знакомит автор, обнаруживая «незаурядную осведомленность», рисуя вместе с тем, как римско-католическое движение отражалось в жизни французского клира и народа. В письмах (11,12,13) «рисуется положение страны во время революции и влияние последней на церковные дела». «Заслуживают внимания и суждения автора по вопросу о соединении англиканской церкви с православною» (пис. 54); «в обсуждении этого вопроса автор принимал в Англии непосредственное участие» (во время поездки в Лондон). На днях появился отзыв о «Парижских письмах», и также весьма сочувственный, в апр. кн. «Истор. вестника» за текущий 1916 г.

[383] До французского двора включительно. Он был на аудиенции императора Наполеона III, по поводу наших русских пленных в крымскую войну, удивив императора бойкостью и непринужденностью речи. Принимал в построенной им великолепной церкви и императрицу Евгению. См. «Париж. письма», стр. 252–253.

Причиной сравнительно малой литературной его производительности было то, что о. протоиерей И. В. Васильев и в Париже, и в Петрограде очутился в водовороте важных событий и движений, которые отвлекали его от кабинетной работы и затягивали в область практической жизни. В Париже он играл роль, можно без преувеличения сказать, не меньшую, чем официальные представители наших русских интересов, наши тамошние послы и посланники, особенно в последнее десятилетие службы. Еще в сравнительно молодые годы он пользовался большим уважением и весом у посла, графа Киселева, который при официальных приемах русской колонии обыкновенно давал о. В-ву первое после себя место, а раз даже выразился, что у о. В-ва «государственный ум» и что ему следовало бы служить на другом, более видном поприще. То же было и при других послах: графе Орлове и бароне Будберге. И.В. должен был тратить много времени и сил для дел политической важности (в особенности в крымскую войну и при построении парижского храма) или практической жизни. К о. В-ву русские обращались со своими разнообразными нуждами, гораздо чаще и охотнее, чем в посольство. По своей необыкновенной отзывчивости и готовности всем помочь, он неутомимо хлопотал за своих соотечественников, попадали ли они в критическое материальное затруднение или какое-либо другого рода неприятное положение[384], старался извлечь своих сородичей из лап иезуитской пропаганды, главным деятелем которой был в то время иезуит князь Гагарин[385]. Весьма много отнимали у него времени

[384] Например, памятен его рассказ об одном русском молодом человеке, который попал в одну из свалок, при уличной демонстрации в Париже, во времена Наполеона III, когда толпа кричала «долой Наполеона!». Оказывается, увлеченный криками толпы, этот молодой соотечественник тоже кричал, вторя крикунам, за что, избитый кастетами полицейских, посажен был в заключение (в настоящий клоповник). Из кутузки он писал о. И.В., прося извлечь его оттуда. И.В., конечно, не замедлил исполнить его просьбу, явился к нему и постарался его освободить, причем получил обещание не впутываться более в уличные демонстрации французов. Характерно признание этого молодого человека, что наши русские полицейские, сравнительно с французскими, «ангелы Божии».

[385] С ним мне пришлось встретиться во время одного из визитов в Париж. Огромного роста, одетый в лат. сутану, он все-таки имел вид русского барина, балагура. Ничего типично иезуитского в нем не было заметно.

и горячие его почитатели, русские аристократы и богачи, своими визитами и приглашениями на обеды или для улаживания семейных дел. По переселении в Петроград он был очень занят организацией нового учреждения — Учебного при Св. Синоде комитета, которого он был первым и самым замечательным председателем, высокоавторитетным, необыкновенно тактичным, умевшим сплотить всех членов в одно целое и высоко поднять значение нового учреждения. Но даже и тогда он продолжал испытывать большие неудобства от своих многочисленных горячих поклонников из высшего аристократического круга. Без дела и за делом его, можно сказать, разрывали на части. Вдобавок, благодаря его доброму сердцу, всегда преследовала его как бы свита из людей, жаждавших его протекции и заступничества у людей, власть имеющих; и нужно заметить, что его хлопоты этого рода почти всегда увенчивались редким успехом.

И. В. Васильев скончался далеко еще не в преклонных летах, на 62-м году жизни, 1881 г., 27 декабря, в Гатчине. За два года перед тем он перенес тяжкую болезнь — менингит (воспаление мозговых оболочек). Возобновление этой болезни было причиной и его кончины. После его смерти все сошлись в признании крупного его значения в нашей духовной среде, не только его почитатели, но и люди, мало к нему расположенные при его жизни. Митрополит Исидор, когда узнал об его кончине, сказал: «Какого человека мы лишились!» — характерное восклицание, свидетельствующее, замечу кстати, о направлении и отношении самого митрополита к тогдашним реформам, крупнейшим представителем которых был протоиерей И. В. Васильев. Даже К. П. Победоносцев, не сочувствовавший ему, признал (в разговоре с моим свояком, протоиереем А. А. Автономовым), что протоиерей И.В. В-в был «крупная величина». А один крайний реакционер (в какой-то брошюре, название которой забыл) писал, что протоиерей Васильев был для своего времени тем же, чем Феофан Прокопович для времени Петра I, и «такой же вред принес Церкви». Как бы ни смотреть на такую выходку, во всяком случае в ней слышится признание большого влияния почившего о. протоиерея на наши тогдашние церковные дела, в особенности в области духовно-учебной. Интересно, как смотрел на пройденное им поприще на новом месте служения в Петрограде сам И. В. Памятен наш разговор с ним в последнее лето перед его кончиной. Это было в Гатчине, в 1881 г.,

в собственном его скромном домике, в саду. Подумывая уже об отставке, И. В. говорит мне: «Нужно выходить в отставку. Я старый изъезженный конь, пора в конюшню, на покой. Всё, о чем я мечтал, сбылось, исполнилось; теперь — со вступлением К. П. Победоносцева на должность обер-прокурора Св. Синода — начинается что-то новое. Может быть, это новое и будет лучше прежнего, но уже не могу себя переделать и потому больше не слуга...» У него уже начались пререкания с новым обер-прокурором К. П. Победоносцевым. С прежним, графом Д. А. Толстым, несмотря на нередкие также разногласия, все-таки он ладил и имел у него большой вес и значение, нередко останавливая и отклоняя его от слишком решительных и поспешных действий, свойственных желчному и деспотическому характеру этого обер-прокурора.

В квартире И. В. мне приходилось встречать немало видных представителей высшего тогда общества, начиная с тогдашнего обер-прокурора Д. А. Толстого, его товарища по обер-прокурорству Ю. В. Толстого и К. П. Победоносцева. Особенно близкими к И. В. были два графа Адлерберги (старый, В.Ф., и молодой, А.В., тогдашний министр Двора) и братья графы Шуваловы, Петр и Павел Андреевичи. Первый (Петр Андреевич), всесильный тогда шеф жандармов и начальник III отделения, и его супруга Елена Ивановна (урожд. Черткова) очень часто прибегали к советам о. Васильева — отчасти по семейным делам, отчасти вследствие склонности супруги Шуваловой к увлечению «пашковщиной», тогдашней модной, великосветской сектой. Много пришлось И. В. вести с ней бесед на религиозные темы; в конце концов она все-таки окончательно перешла в пашковщину, после, однако, кончины И. В. Оба брата Шуваловы были весьма видные, очень красивой наружности генералы. Младший брат, Павел Андреевич, тогда командовавший, кажется, гвардейской дивизией или даже корпусом, а впоследствии весьма уважаемый германским двором наш русский посол в Берлине, был симпатичнее брата. Живо помню, как Павел Андреевич раз неожиданно и довольно рано утром приезжает к И. В. на квартиру и прямо входит в столовую, где находился и я. И. В. встречает его словами: «Опять?» Затем они ушли в кабинет поговорить о делах, очевидно интимного свойства, не подлежащих оглашению. Об этом маленьком эпизоде упоминаю с целью показать, в каких близких отношениях к нашим аристократам стоял

И. В. Из других, близких покойному лиц припоминаются: княгиня Кочубей, молодой князь Мингрельский, граф Бобринский, состоявший в родстве с Шуваловыми, генерал Чертков, также их родственник, генерал и старушка его супруга Озеровы, приближенные ко Двору, усердные посетители и почитатели о. И. В., барон Бюлер, тогдашний начальник московского иностранных дел архива, горячий русофил, несмотря на немецкую свою фамилию, также частый гость, очень скучного характера и неинтересный в беседе, и многие другие.

Само собой разумеется, что приходилось встречаться со всеми тогдашними членами Учебного комитета при Св. Синоде, а равно и со многими из высших чинов центральных учреждений духовного ведомства (синодальной канцелярии, канцелярии обер-прокурора, хозяйственного управления, контроля и пр.).

Благодаря И. В. завязались у меня знакомства и со светским ученым миром. Содействовало тому следующее, совершенно случайное обстоятельство. В первое после переселения (в 1867 г.) в Петроград лето (1868 г.) семейство И. В. жило на даче, по Петергофской дороге, близ Сергиева, в большом двухэтажном каменном доме (Матисена). Верхний этаж этого дома занимал И.В.В., а нижний — его свояк, ректор нашей академии протоиерей И. Л. Янышев. Здесь, в семействе тестя, поселились и мы с женой. А рядом с этим домом, в соседней даче жило многочисленное семейство известного слависта, профессора Петроградского университета, ординарного академика Академии наук Изм. Ив. Срезневского. Благодаря соседству возобновилось давнее с ним знакомство моего тестя и о. И. Л. Янышева, который был некогда, к тому же, сослуживцем профессора Срезневского по университету. Естественно, познакомили с уважаемым, авторитетным профессором и меня, молодого доцента (бакалавра) духовной академии. Как раз в это время я начал печатать «Очерк истории литургии нашей православной восточной Церкви». Это сделалось известным И. И. Срезневскому, и он заинтересовался моим трудом. По возвращении с дачи и после напечатания отдельного оттиска моих статей я счел долгом представить экземпляр своего труда достопочтенному моему дачному знакомому. Небольшая моя книжка очень понравилась И. И. Срезневскому, и он даже предложил избрать меня в число действительных членов «Филологического общества, учрежденного при Императорском Петроградском университете», которого он был

председателем. Избрание состоялось, и мне вручен был диплом на это звание, со следующими подписями: председатель И. Срезневский, тов. председателя Ор. Миллер, за тов. председ. барон Дорн, за тов. пред-сед. Д. Чубинский, делопроизв. Ф. Соколов. В состав этого общества входили все профессоры и доценты историко-филологического и восточного факультета. Сюда же допускались, в качестве сотрудников, и некоторые из студентов университета, обратившие на себя внимание даровитостью и усердными занятиями; к числу таких принадлежал один знакомый со мной студент — А. С. Будилович, впоследствии известный ученый, бывший моим сослуживцем по Петроградской духовной академии.

Заинтересованный новой ученой средой, я усердно посещал собрания общества (обыкновенно в квартире председателя, иногда же, впрочем редко, в зале совета университета). Здесь встречал много известных ученых: академиков Грота, Куника, профессоров — известного латиниста Н. М. Благовещенского, Ореста Миллера, Ф. Ф. Соколова, знатока индийского языка пали — Минаева, В. И. Ламанского — тогда еще сравнительно молодого; И. В. Помяловского — совсем молодого доцента; известного поэта Апол. Н. Майкова, его брата Леон. Н. Майкова, тогда также молодого ученого (впоследствии вице-президента Академии наук), Гаркави, молодого доцента восточного факультета, Гильфердинга, известного общественного деятеля и слависта, поражавшего своим, крайне высокого тембра, визгливым голосом, П. И. Савваитова, члена археографической комиссии, и многих других.

Доминирующую роль в этом обществе играл его председатель, академик И. И. Срезневский, при всеми признаваемом большом ученом его авторитете отличавшийся, к сожалению, большой резкостью, неровностью и деспотичностью характера. Вот образчик такой резкости. Как-то зашла речь о переводах святоотеческих творений с греческого языка. И. И. Ср-ий, вообще очень свысока относившийся к духовно-академической науке и с большим уважением отзывавшийся о трудах едва ли не одного протоиерея А. В. Горского, позволил себе заметить, что духовно-академические переводы святоотеческих творений (кажется, речь шла собственно о переводах, издаваемых при Петроградской академии) ничего не стоят, так как они делаются с французских переводов. Впрочем, к молодым начинающим

ученым, в том числе и ко мне, он относился сравнительно любезно, покровительственно, ободряюще. Много интересных, хотя подчас чрезвычайно специальных рефератов пришлось выслушать в заседаниях общества, но все как-то забылось, а осталось в памяти только несколько отрывочных эпизодов. Помнятся, например, чтения об арабских сказаниях о славянах, об индийской литературе (на древнем языке пали), да еще прения И. И. Ср-го с академиком Я. К. Гротом, автором известного руководства по русскому правописанию, защищавшим слитное писание некоторых слов (также, например, притом и др.), тогда как Ср-ий отстаивал — раздельное; помнится также несколько насмешливое, впрочем не лишенное добродушия, отношение И. И. Ср-го к П. И. Савваитову[386], к которому он неизменно обращался со словами: «Ваше превосходительство» — может быть, потому, что Сав-в тогда только что получил чин действительного статского советника (сам Ср-ий был тайным советником). Вообще, этот почтенный академик был очень своеобразен и неровен в обращении; пользовался, однако, большим уважением.

Чтобы чем-нибудь выразить деятельное свое участие в трудах этого общества, я выступил с чтением о Нерукотворенном образе Спасителя. Это чтение под заглавием «Сказания о Нерукотворенном образе Спасителя, восточные и западные» напечатано в «Христианском чтении» в 1874 г. Этот труд был отзвуком моих московских занятий церковной археологией и литургикой. Таким же отзвуком явился, кстати заметить, в том же 1874 г., и другой мой труд — «Введение в собрание древних литургий, восточных и западных, в переводе на русский язык», с подробным изложением плана этого издания. Вызван был к тому просьбой моих сослуживцев по Петроградской академии, задумавших означенное издание, в котором, впрочем, дальнейшего участия не принимал, занятый составлением докторской диссертации.

«Церковный вестник» и редактирование его. В 1881 г., через три года после защищения докторской диссертации, мне пришлось взять на себя редактирование журнала «Церковный вестник». Случилось

[386] Павел Иванович Савваитов, волог., 18-й маг. XII к. СПб. акад. (1837), 1837–1842 — препод. Вологод. сем., 1842–1868 — препод. СПб. сем., с 1868 — член Археографич. комиссии. † 1895.

это вот при каких обстоятельствах. Кстати, коснусь и предшествующей истории «Церковного вестника», ныне, с 1916 г., к великому сожалению, уже окончившего свое существование, по крайней мере в качестве академического издания (он хотя еще существует, но совершенно в другом виде и в других руках).

«Церковный вестник» начал издаваться при Петроградской духовной академии в 1875 г. Появлению его предшествовала следующая, довольно длинная история. Почин в этом литературном предприятии принадлежал ректору И. Л. Янышеву, но устроилось это дело не совсем так, как он предполагал. Задумав оживить редактируемое им «Христианское чтение» известиями из текущей церковной жизни и в этом направлении введя в него отделы «Обозрение внутренней жизни», «Летопись заграничной жизни», «Вести с Востока», он предложил еще в 1871 г. основать особое издание — «Церковный вестник»[387], в качестве еженедельного приложения к «Христианскому чтению», как орган, между прочим, официальных сведений из церковного управления и жизни. Преднаметил и редактора для этого нового издания в лице лектора французского языка в академии А. И. Поповицкого. В квартире ректора состоялось собрание всех академических наставников, и, хотя заметно было несочувствие академической корпорации к делу нового издания, а отчасти и преднамеченному редактору, но в конце концов дело это, с грехом пополам, уладилось. Получено было согласие Св. Синода на это издание, объявлена даже на него подписка, и, тем не менее, все это дело прекратилось из-за несочувствия корпорации академических преподавателей к этой, по их мнению, не сродной им затее. «Какие мы публицисты, — говорили старые и молодые профессоры и доценты, — мы кабинетные люди, далекие от жизни».

То же говорили они потом в 1874 г., когда за ту же мысль об издании академической газеты — «Церковного вестника» — ухватился профессор А. И. Предтеченский, опытный публицист, много перед тем

[387] Или «Церковную летопись». Так называется первоначально задуманное издание у А. П. Лопухина (в юбилейных статьях по случаю 25-летия «Церк. вестника», см. № 52 «Церк. вестника», 1899), между тем в изложении истории возникновения журнала (у И. А. Чистовича «СПб. дух. академия за последние 30 лет». СПб., 1889) оно везде именуется «Церковный вестник». Как было на самом деле, вышло из памяти. Едва ли, однако, не вернее — у И. А. Чистовича.

работавший в «Биржевых ведомостях», изд. Трубникова. А. И. Пр-ий в это время редактировал «Христианское чтение»[388]. Собрались на сей раз в квартире профессора А. И. Пр-ского для обсуждения новых предположений относительно старого дела. Но и на этот раз дело это висело, можно сказать, на волоске. Кроме вышеприведенных речей сильно раздавались голоса, выражавшие сомнение относительно материального успеха издания, предрекающие неминуемый его крах. Складывалось отрицательное решение по возбужденному вопросу. И был момент, когда казалось, что дело нового издания окончательно провалилось. Но в этот момент А. И. Пр-ий вдруг заявляет, что весь риск издания и все материальные убытки, если они будут, он берет всецело на себя, а успех и выгоды пусть будут общие — всего собрания наставников, соиздателей. Такое заявление поколебало решимость собрания, и постановлено было, приняв весь риск издания на себя, приступить к изданию нового академического органа под названием «Церковный вестник», причем «Христианское чтение» превращалось в ежемесячное приложение к этой еженедельной газете.

4 января 1875 г. вышел первый номер «Церковного вестника» как органа Петроградской духовной академии, а с 1 января 1876 г. — как официального органа, в официальной своей части, и Св. Синода; неофициальная осталась по-прежнему исключительно академическим органом. Нужно заметить, что «Церковный вестник» ни в это время, ни в последующие годы, вплоть до 1888 г. (то есть до основания «Церковных ведомостей», настоящего официального органа Св. Синода), не был обязательным для церквей и причтов в смысле обязательной для них подписки.

Успех «Церковного вестника» в первый же год издания превзошел все ожидания: у него явилось до три-четыре тысячи подписчиков. Приписать это нужно тому, что он удовлетворял, очевидно, назревшей потребности в таком именно органе, а также — талантливости первого его редактора, проф. А. И. Предтеченского.

---

388 А перед ним, с 1871 по 1874, редактором его был проф. И. В. Чельцов. Ректор И. Л. Ян., который, как все ректоры, его предшественники, был до того времени (1871) редактором «Христ. чтения», отказался от редакторства из-за многочисленности своих занятий и, в частности, в виду полученного им в то время годичного отпуска.

Главнейшими событиями и вопросами того времени были: турецкая война 1876–1877 г., культурная борьба в Германии, старокатолический вопрос, а из наших внутренних вопросов — вопрос об основах отечественного просвещения (классицизм или реализм?) и широкое распространение у нас нигилизма. На этих предметах преимущественно сосредотачивалось внимание нового академического издания и им посвящено было немало прекрасных статей и обозрений. Но внутренней нашей церковной жизни и ее движений «Церковный вестник» касался тогда мало и случайно, так что не давал полной их картины. Он походил на случайный сборник талантливых статей, иногда переводных из богатой западной (преимущественно английской) литературы, проповедей и речей выдающихся наших архипастырей и пастырей и т. п. Во всяком случае, академическая газета не была зеркалом, отражавшим движение отечественной церковной жизни. К 1880 году этот дефект начал довольно сильно ощущаться в нашей академической среде. К этому присоединилось ее недовольство слишком ярко выраженным преклонением редакции перед классицизмом графа Д. А. Толстого и М. Н. Каткова. Все это повело к попытке дать другое направление, другой облик журналу. К тому же, в 1881 г. истекал пятилетний срок, на который А. И. Пр-ий был избран редактором «Церковного вестника». Решено было избрать другого для него редактора. Выбор пал на меня, как отчасти уже заявившего способность к публицистике и как человека, близкого к центральным духовным сферам, благодаря родственным связям с председателем Духовно-учебного комитета при Св. Синоде (протоиереем И. В. Васильевым). Это последнее обстоятельство выставлялось как один из мотивов для моего избрания. «Христианское чтение» было отделено, в редактировании, от «Церковного вестника» (А. И. Предтеченский редактировал то и другое издание); редактором «Христианского чтения» был избран профессор И. Е. Троицкий, я — редактором «Церковного вестника».

Очень неохотно и даже со страхом приступал я, 1 января 1881 г., к редактированию академического журнала, вполне сознавая, что быть его заправителем далеко не то же, что случайно помещать в журналах и газетах статьи и заметки. К тому же «Церковный вестник» преследовал две цели, трудно совместимые: официальность

со служением академическим интересам. Чувствовалась опасность не удовлетворить которой-нибудь из них, или даже обеим вместе, тем не менее, благодаря ободрению со стороны ректора И. Л. Ян-ва и протоиерея И. В. Васильева, после немалых колебаний не ответил отказом на избрание. В особенности подействовали на меня уговоры моего тестя, который верил в мои публицистические способности, а с другой стороны, желал для своего зятя расширения круга деятельности, да, кстати, и увеличения материальных средств жизни. Таким образом, и тут сказалось влияние на меня этого замечательного человека.

Сразу же задался я целью поставить газету так, чтобы она, с одной стороны, отражала в себе движения нашей церковной и общественной жизни и, с другой, давала серьезные ответы на злободневные вопросы и запросы. Первой цели должен был содействовать отдел «Мнений печати по церковным вопросам», второй — передовые статьи при каждом номере «Церковного вестника». Всё это началось с первых же номеров. В следующем 1882 г. введен был (с № 10) еще новый отдел — «Церковная летопись».

Эти отделы давали редактору много забот, хлопот, а отчасти и огорчений, в особенности «Мнения печати». Против замысла относительно передовых, руководящих при каждом номере статей возражал бывший редактор А. И. Предтеченский. «Вы думаете предварять каждый номер передовыми статьями? — говорил он мне. — Да откуда же вы будете их брать, ведь придется вам высасывать их из пальца». Но мой оппонент не принял в расчет сильного в то время движения общественной и религиозной нашей жизни. В значительной, даже большой степени наводил на темы для передовых статей отдел «Мнений печати по церковным вопросам». Тут, как в фокусе, собиралось все, что волновало духовный и светский наш мир в тогдашнее время, и давало обильный материал для обсуждения.

А волновали главным образом вопросы: о народном образовании и участии в нем духовенства, о церковно-приходских школах, об устройстве прихода, об отношении между государством и Церковью, о внебогослужебных собеседованиях, о монашествующем и белом духовенстве (по поводу книги г. Елагина «Белое духовенство и его интересы»), об устройстве церковного суда (по поводу издания того же Елагина), о внутренней миссии, о церковном хозяйстве, свечных

заводах, о нападках светской журналистики на наше духовенство, о противоцерковном, даже антихристианском настроении значительной части нашей интеллигенции, об образовательных потребностях нашей Церкви и многое другое.

Огромное большинство передовых статей приходилось писать самому редактору[389], так как в его руках сосредотачивалась вся масса данных относительно существовавших в то время настроений, церковно-общественных потребностей, поднимавшихся вопросов, толков и т. п. Значительное, впрочем, облегчение в труде составления передовых статей доставляли редактору некоторые из членов академической корпорации, именно: профессор М. О. Коялович своими статьями, преимущественно о западно-русских церковных делах, профессор И. Е. Троицкий — обозрениями церковных дел на православном Востоке и латинском и протестантском Западе (которые помещались преимущественно в начале года), доцент Н. А. Скабаланович, беспрерывно, почти с самого начала введения церковной летописи следивший за движением епархиальной жизни, а потому бывший в курсе возникавших местных и общецерковных нужд и вопросов, преимущественно церковно-хозяйственного характера. Без этого подспорья мне было бы совершенно невозможно выдержать труда составления передовиц к каждому номеру журнала.

От своего предшественника я наследовал отдел «Прошлая неделя в России и за границей». Здесь сообщались сведения по преимуществу из общественной и государственной жизни нашей и заграничной, из области же нашей церковной отечественной жизни — только о некоторых фактах и событиях официального характера, преимущественно о переменах, новых назначениях в нашей высшей иерархии, Высочайших наградах и т. п. Я решился открыть особый отдел «Церковной летописи», сохранив прежний — «Прошлая неделя» и пр. Замечательно, как отнесся мой предшественник и к этой моей новой затее. «Не советую вам, — говорил он, — вводить в журнал эту летопись. Смотрите, наживете вы себе массу неприятностей из-за этого отдела. Тут можно затронуть самолюбия, возбудить

[389] Они, равно как и другие, наиболее значительные статьи, мне принадлежащие, указаны в статьях проф. прот. П. И. Лепорского по поводу 50-летнего моего юбилея («Церк. вестник», 1913, № 46–47).

страсти, словом, тут не оберешься разных щекотливостей». Но и это пророчество не сбылось; огорчений этот отдел мне почти не принес. Были только два случая выговоров за него, из которых в первом я был действительно виноват по недосмотру[390], а во втором вышло недоразумение и совершенно напрасное обвинение[391].

Если какой из отделов доставлял мне наиболее хлопот и неприятностей, то это отдел «Мнения печати по церковным вопросам». Огромному большинству читателей, видимо, нравилось сосредоточение в нем всего, о чем говорили тогда по части наших церковных дел, и вкривь и вкось рассуждали в печати, преимущественно в светских журналах и газетах. Но у меня был один строгий, неумолимый и весьма влиятельный критик в лице тогдашнего обер-прокурора Св. Синода К. П. Победоносцева. Высокопочтенный мой критик совершенно расходился со мной во взгляде на задачи церковной газеты. Его идеал: газета должна заниматься основными вопросами веры, прошлыми важнейшими событиями в истории нашей Церкви и не касаться треволнений текущего времени. К чему собирать всю эту дрянь, гадость и накипь из газет и журналов. Мало ли

[390] «Скажите проф. Катанскому, — раз поручил митр. Исидор ректору И.Л.Я., — что ему, профессору догм. богословия, стыдно печатать такие известия, что, дескать, хиротония во епископа (не помню, какого именно лица) *совершена* такими-то епископами *вместе* с такими-то архимандритами и протоиереями; ведь он хорошо знает, что в епископской хиротонии лица пресвитерского сана не участвуют». Это был единственный случай выговора со стороны благодушного владыки, вполне мной заслуженный. Составитель летописи сделал вырезку из светской газеты, а я недосмотрел и не исключил архимандритов и протоиереев, которые, находясь в сослужении с епископами, хиротонии, однако, не совершают.

[391] Как-то все светские газеты облетело известие (газетная утка) о значительном, на несколько процентов, сокращении наших монастырей; попало оно и в «Церк.-общ. вестник» А. И. Поповицкого. В «Церк. вестнике» такого известия, заведомо ложного и совершенно невероятного, конечно, не было сообщено. Но К. П. Победоносцев, тогдашний обер-прокурор, начитавшийся разных газет и смешав «Церковный вестник» с «Церковно-общественным вестником», выразил ректору в сильных выражениях неудовольствие на «Церковный вестник» и его редактора. Это было на академическом обеде (в день акта 17 февраля). Я старался разуверить и ректора, и тут же находившегося К. П. П-ва, но едва ли мне удалось это; даже ректор говорил: «Да посмотрите хорошенько, не попало ли как в Ц.В. это известие», а К.П.П. стоял на своем, что он читал и т. д.

есть превосходного, весьма ценного материала в Синодальных архивах и даже в епархиальных ведомостях относительно прошлого нашей Церкви и выдающихся ее деятелей. «Испортил Катанский Церковный вестник», — несколько раз заявлял К.П. в заседаниях Св. Синода. — «Был этот журнал хорош при прежнем редакторе (А. И. Пр.); теперь он никуда не годится, наполнен какой-то дрянью». О таких речах К.П. не раз сообщал мне протоиерей И. В. Васильев. Наконец, однажды говорит мне: «Обер-прокурор опять нападал на вас в заседании Св. Синода; это очень тревожный признак». Что же, отвечаю, если нужно, я готов оставить редакторство и даже рад сложить с себя эту большую тяжесть. Но интересно, спрашиваю, как же члены Св. Синода отвечают на горячие реплики К.П.? «Полным молчанием». А митрополит Исидор, молча выслушав речь К.П.П., обыкновенно говорил (и это не раз): «Ну, так какие сегодня дела по Синоду будут нам докладываться?» Мудрый старец, очевидно, принял тактику пассивного сопротивления в отношении к заявлениям обер-прокурора, не хотел с ним спорить, так как спор не привел бы ни к чему, кроме взаимного раздражения, без надежды разубедить К.П., упорного в своих мнениях и известного, к тому же, диалектика. По-видимому, митрополиту Исидору (да, вероятно, и другим членам Св. Синода) нравились склад и направление журнала, и он ценил именно осведомленность его относительно общественных настроений и газетных толков о церковных делах. Чтение «Церковного вестника» помогало ему быть в их курсе. Замечательно, что К. П. Поб-в сам был неутомимым чтецом светских газет и журналов, этих произведений «прелюбодеев слова» и «разбойников пера и печати», как он называл газетчиков и журналистов. Понятно, что он пресыщен был этим чтением, и весьма естественно не мог чувствовать к ним ничего кроме отвращения, а тут еще получал «Церковный вестник» и в нем встречал выдержки из тех же противных статей. В совершенно другом положении и настроении находились члены Св. Синода и первенствующий — приснопамятный митрополит Исидор. Они не имели времени и возможности, да и охоты зачитываться, подобно К.П., текущей светской журналистикой, и для них потому много нового и интересного представлял «Церковный вестник» именно в той его стороне, которая подвергалась беспощадному осуждению обер-прокурора.

Что члены Св. Синода были довольны новой постановкой «Церковного вестника», доказательством служит следующий случай. Вскоре после 1 марта 1881 г., после величайшего злодеяния, покрывшего всю Россию несмываемым позором, о. протоиерей И. В. Васильев встречает члена Св. Синода, протоиерея И. В. Рождественского. О. И. В. Рождественский, заведя речь о «Церковном вестнике», говорит, что он прочитал мою передовую статью по поводу 1 марта (№ 11 — «Главный источник всех наших зол»), а также и обширный отдел «Мнений печати», особенно на этот раз содержательный, — между прочим (замечу от себя), с ответом на возражения К. П. П-ва, без указания, конечно, его имени, — и в заключение прибавляет: «Мне нравится нынешний «Церковный вестник», хороша передовая статья по поводу 1 марта, да и вообще теперь есть что в нем почитать, не то, что в прежнее время». Зная близкие отношения протоиерея И. В. Васильева ко мне и имея, вероятно, в виду нападки К.П.П. на «Церковный вестник», достопочтенный о. И. В. Рождественский, видимо, хотел подбодрить меня в нелегком редакторском труде. Впрочем, немало подобных сочувственных заявлений новому направлению «Церковного вестника» приходилось слышать и с других сторон, в течение четырехлетнего моего редакторства.

Кстати, по поводу 1 марта. Тяжкое это было время, в особенности для редактора церковной газеты. Переживая, вместе со всеми русскими людьми, потрясающие события того времени и полные трагизма обстоятельства, он в чтении газет либерального направления вбирал в себя весь яд двусмысленных их рассуждений и лицемерных сожалений, плохо прикрытых расчетов на добрые, по их мнению, плоды величайшего злодеяния для блага и прогресса (?!) России, по пословице — нет худа без добра. Никогда не забудутся некоторые из такого рода статей, в особенности передовая, по поводу 1 марта, газеты «Порядок» (изд. Стасюлевича), представлявшая верх плохо прикрытого цинизма. Бывало, начитавшись подобных статей, чувствуешь себя положительно отравленным, а не читать было нельзя, нужно было — чтобы иметь понятие о всех настроениях общества. Не говорю уже о массе труда для передачи читателям в связном изложении подробностей тогдашних потрясающих событий. Мне самому приходилось много работать в этом отношении, хотя и были, переменные впрочем тогда, сотрудники для летописи общественной жизни,

по отделу, наследованному от моего предшественника — «Прошлая неделя в России и за границей». Этот отдел, вскоре после 1 марта, начал вести и все время моего редакторства, да и после много лет, продолжал составлять, с большим тактом и свойственной ему осторожностью, тогда доцент, а впоследствии профессор А. И. Садов.

Еще несколько слов о главном моем критике и оппоненте, К. П. Победоносцеве. К концу первого года моего редакторства (1881) в отношении ко мне он, видимо, смягчился и, если не совсем примирился, то начал смотреть на меня как на зло не так уже большой руки. А однажды, прочитав одну очень понравившуюся ему статью (помнится — об отношении государства к Церкви), даже удостоил меня весьма благосклонной аудиенции, призвал к себе, очень много беседовал и, между прочим, предлагал сделать «Церковный вестник» вполне официальным органом Св. Синода, при обязательной подписке, но назначал такую цифру ежегодной платы — 2 рубля, что немыслимо было принять его предложение. Правда, при сорока тысячах подписчиков (по количеству церквей в России) получалась бы громадная, по-видимому, сумма — 80 000 рублей, но издержки по бумаге, печати, брошюровке, рассылке, не говоря уже о вознаграждении редактора и сотрудников, да еще по печатанию «Христианского чтения», которое неразрывно связано с «Церковным вестником» и питалось главным образом средствами, получаемыми от газеты, — всё это стало бы несравненно дороже суммы, получаемой от обязательной подписки. Всё это я и высказал своему достопочтенному собеседнику. Не сказал только одного, — по понятным причинам, — что корпорация академических преподавателей, издателей «Ц.В.», никогда не согласится превратить его в чисто официальное издание, как бы ни велики были даже материальные от того выгоды. Немало говорил К. П. о церковных делах; он ведь любил поговорить, любил и себя послушать; но, помнится, упреков мне не делал. Кажется, только советовал обратить внимание на архивные синодские материалы, да на епархиальные ведомости. Из этой беседы, происходившей вечером, в назначенный час, и продолжавшейся не менее 1½ часов, вынесено такое общее впечатление: беседуешь с очень умным человеком, правда своеобразных взглядов, но сохранившим профессорскую привычку обсуждать

вопрос со всех сторон, выслушивать и возражения, хотя предпочитавшим больше говорить, чем слушать[392].

Отдел «Мнений печати», сильно возмущавший К. П. П-ва (вначале по крайней мере, потом он более или менее с ним примирился), к концу моего редакторства, в 1884 г., привел меня еще в характерное столкновение с двумя нашими тогдашними иерархами. Некто М. Сабинин, родом грузин, из воспитанников нашей академии (XXX к. 1873 г., канд. 1878 г.), немало писавший по истории грузинской Церкви и о текущих церковных делах в грузинском экзархате, поместил в одной из газет («Современные известия» Н. П. Гилярова) заметку о том, что наше церковное правительство несправедливо, будто бы, относится к грузинам, что напрасно оно стесняет их в употреблении родного их языка в школах и богослужении, разрешая в то же время армянам беспрепятственно пользоваться армянским языком школьным и богослужебным. Прочитав в «Церковном вестнике» такого рода газетную выдержку, тогдашний Экзарх Грузии Павел (Лебедев, бывший в мое студенчество инспектором академии; † архиепископ Казанский) страшно рассердился и прислал очень гневное письмо ректору академии, в то время уже Преосв. Арсению (Брянцеву), преемнику И. Л. Янышева, с угрозой пожаловаться на профессора Катанского обер-прокурору Св. Синода. Об этом письме сообщено было мне ректором также в довольно резкой записке.

---

392 «Начальнического» в его тоне и обращении со мной было мало заметно, да и я держал себя, при всей почтительности к его особе, как человек, ему не подчиненный, что, между прочим, дал понять в самом моем костюме: был одет не в форменном, должностном виц-мундире, а в простом фраке, хотя с орденом и в белом галстуке на шее — в знак почтения к его высокому положению. Мелочь, но характерная; посоветовал ее мой тесть (тогда прот. И.В.В. был еще жив; это было незадолго до его кончины, — в том же 1881 г.). Впрочем, К. П. П-ву я был уже довольно известен, и, между прочим, именно со стороны некоторой независимости характера, по памятной ему истории (1874–75 гг.) моего отказа от приглашения вел. князя К.Н. в совет общества люб. дух. просв. А затем, за год перед описываемой аудиенцией, мы встретились (в 1880 г.) в академии на магистерском экзамене. Кстати, не впечатлением ли от упомянутого отказа отчасти объясняется более, чем внимательное отношение К.П. ко мне тогда на экзамене? Очень может быть, что этот отказ немало повысил меня в его мнении. То же сказалось, сдается мне, и в продолжительной нашей беседе у него на обер-прокурорской квартире.

При личном свидании и объяснении с Преосв. Арсением, не отрицая некоторой моей оплошности (именно, что не сопроводил газетную выдержку каким-либо замечанием от редакции), оставаясь, однако, совершенно спокойным и нимало не испуганным угрозой Экзарха, я позволил себе сильно взволнованного преосвященного ректора успокоить следующими словами: «Что вы, ваше Преосвященство, так волнуетесь; в газетной деятельности неизбежны недосмотры и промахи, приходится с этим мириться и быть готовым иногда потерпеть и неприятности, в данном случае не только редактору академического издания, но и ректору академии, как представителю и защитнику академических интересов». К немалому моему удивлению на эту реплику получил ответ: «Да, вам хорошо так говорить, но ведь нужно поддерживать хорошие отношения с Экзархом». В этих словах, представлявших очень мало героического, достойного главы академии и порядочно-таки меня возмутивших, вполне обрисовывался облик нашего нового ректора, преемника И. Л. Янышева. Весь этот инцидент закончился заметкой в №18 «Церковного вестника», что, по собранным сведениям, суждения газеты «Современные известия», сообщенные в №15 «Ц.В.» (1884), «оказываются совершенно неверными и вдобавок тенденциозными»[393]. В заключение прибавлено, что, «к сожалению, распространителями этой лжи являются лица, получившие образование в наших высших духовных школах». Последние слова направлены против г. Сабинина (предполагаемого автора статьи «Современных известий»; статья, сколько помнится, была анонимная), который, благодаря своей ловкости и отчасти очень видной наружности, сумел войти во многие аристократические дома и потому казался Преосв. Экзарху довольно опасным оппонентом. После этой заметки оба Преосвященные успокоились.

В конце также моего редакторства, по моей инициативе, введены еще два новых отдела. Для удовлетворения желания К. П. Победоносцева использовать епархиальные ведомости и в сознании действительной ценности некоторых даваемых ими материалов

[393] В заметке приведены и факты, доказывающие совершенно противное тому, что утверждалось в статье «Совр. известий». Эти факты, сколько помнится, заимствованы из упомянутого гневного письма Преосв. Экзарха к Преосв. Арсению.

введено было (с №37 1884 г.) «Обозрение епархиальных ведомостей», и — в параллель с «Обозрением духовных журналов» (старым отделом, наследованным от моего предшественника) — «Обозрение светских журналов по церковным вопросам» (с №42 1884 г.).

Все новые отделы — «Мнения печати по церковным вопросам», «Церковную летопись», «Обозрение епархиальных ведомостей» и «Обозрение светских журналов» — приходилось для первых номеров составлять самому редактору. Нужно было организовать новое дело, выработать норму, дать желательный образец для подробных обозрений. Потом, когда дело уже наладилось и были привлечены постоянные сотрудники для новых отделов, преимущественно из числа молодых преподавателей академии, частью же из наставников Петроградской семинарии[394], стало легче, но и тогда редактору приходилось немало работать, в особенности по отделу «Мнения печати», самому щекотливому, дополнять, изменять и т. п., а главное — прочитывать, отмечать и направлять к сотрудникам массу печатного газетного и журнального материала.

Большинство моих академических коллег принимало мало участия в сотрудничестве, предпочитая кабинетную ученую работу журнальной, так что мне приходилось вывозить последнюю почти исключительно на собственных плечах. При таких обстоятельствах и при моей склонности к увлечению и всецелой отданности всякому делу, за которое брался, обнаружилось, что к концу четырехлетнего периода редакторства почувствовалась сильная усталость. Вдобавок, «Церковный вестник» был тогда бесцензурным изданием: я был и редактор, и цензор всех статей — и чужих, и моих собственных, что хотя и представляло свои удобства, но вместе с тем ложилось лишней тяжестью на редактора академической и в то же время полуофициальной газеты: приходилось много волноваться и заботиться.

---

394 Из доцентов академии: И. С. Якимов (для «Мнений печати»), Н. А. Скабаланович («Церк. летоп.»), А. А. Приселков («Обозр. епарх. ведом.»), И. Г. Троицкий («Обозр. журн.»). Из преподавателей Петр. сем.: А. П. Мальцев и В. И. Жмакин (оба для «Обозр. журн.»). А. П. Мальцев — яросл., канд. XXXV к. Петр. акад. (1878), потом (1879) — маг., впоследствии весьма уважаемый настоятель нашей посольской церкви в Берлине. В. И. Жмакин — самар., канд. XXXVI к. Петр. акад. (1879), с 1886 г. — маг., потом петр. прот. и член Учебн. ком. при Св. Синоде.

А потому неудивительно мое сильное утомление к концу редакторства. Не помог и летний отдых в 1884 г., поездка в Нижний, на родину, и путешествие по Волге до Саратова, причем редактирование «Церковного вестника» было поручено временно моему коллеге, профессору И. Е. Троицкому, редактору «Христианского чтения». По возвращении в Петроград решился отказаться от редакторства, до истечения пятилетнего срока, на который был избран. Вследствие заявления об этом моем решении собралась в моей квартире вся корпорация наставников академии, соиздателей «Церковного вестника», во главе с Преосв. Арсением (Брянцевым), тогдашним нашим ректором. Здесь обнаружилось, что мои коллеги, с одной стороны, не были уверены в непреклонной решительности моего отказа, с другой — желали во что бы то ни стало удержать меня на месте редактора. В этих видах всячески убеждали взять обратно мой отказ, хотя бы еще на один год, до истечения пятилетнего срока моего избрания. Чтобы поколебать мое решение, они прибегли к следующему средству: во главе с ректором (который, вероятно, забыл не очень давнюю мою с ним стычку, см. выше), все встали и стоя просили меня остаться редактором[395]. Несмотря, однако, на такое, сильно тронувшее меня и весьма лестное отношение моих сослуживцев и сотрудников к моей журнальной деятельности, решимость моя нисколько не поколебалась. Горячо поблагодарив за их доброе обо мне, как редакторе, мнение, я сказал буквально (хорошо это помню) следующее: «Вы, господа, кажется, не вполне верите искренности моего заявления. То, что вы сейчас услышите, должно разубедить вас в этом. Кроме утомления есть еще другая, более важная причина моего отказа. Должен признаться, что я слишком сильно увлечен журнальной деятельностью. Чувствую, что перестаю быть профессором и превращаюсь в журналиста, что если еще несколько лет останусь редактором, то окончательно превращусь в борзописца, чего не желаю, а хочу возвратиться к серьезным научным трудам, которые я порядочно-таки запустил.

---

[395] Тут же присутствовал и мой предшественник по редакторству, проф. А. И. Предтеченский, некогда меня критиковавший, а теперь присоединившийся к общему хору и, что мне особенно было приятно, заявивший, что я вполне вошел в свою роль, овладел делом (что-то в таком роде). Сознаюсь, что торжество мое, как новатора журнала, было полное.

Не отказываюсь и впредь принимать возможное деятельное участие в сотрудничестве по «Церковному вестнику», но все-таки усердно прошу снять с меня тяжесть редакторства». После такой речи мои коллеги не могли, конечно, больше настаивать на своей просьбе и обратились ко мне с вопросом, кого же я рекомендовал бы себе в преемники. Я указал на одного из своих постоянных сотрудников, заявившего себя недюжинными способностями к публицистике, который тут же единогласно и избран был вместо меня редактором Ц.В. на пять лет. Так кончилась эта история, к великому неудовольствию моей супруги, которая, находясь в соседней комнате, слышала все и была полна негодования на меня за мой решительный отказ остаться редактором хотя бы еще на один год, согласно настойчивой просьбе моих сослуживцев. «Я все слышала, — говорила она. — Тебя так упрашивали. Почему ты не согласился остаться, хоть еще на один год, а предпочел выбросить за форточку 3000 рублей в год?». Такими словами она встретила меня по уходе моих коллег. 3000 рублей, около этой суммы[396] ежегодно я получал в предшествующие годы как за редактирование «Церковного вестника», так и за многочисленные мои статьи, в нем помещавшиеся.

Кстати, о материальных средствах академических изданий. В то время они были настолько хороши (в мое время было около 7000 платных подписчиков, до меня — несколько меньше), что мой предшественник (А. И. Пр-ий) предложил даже не пускать в раздел между сотрудниками всю сумму, получаемую в виде дивиденда от издержек по изданию, а назначить определенную сумму платы

---

[396] Из этой суммы около 2000 р. (точную цифру не помню) приходилось как вознаграждение за редакторский труд, остальное — как плата за мои статьи. Из этого видно, как много приходилось мне писать самому, причем в число оплачиваемого я включал далеко не все, что выходило из-под моего пера; разумею многие мелкие заметки, известия и т. п. Были номера, которые чуть не на половину состояли из разного рода моих статей. Понятно, насколько я переутомился, продолжая в то же время исполнять обязанности профессора, члена правления, и помощника ректора по богосл. отделению. Зато, благодаря этому заработку, образовался небольшой денежный запас, который и дал нам с женой возможность впоследствии, после отставки, устроить себе на старость собственный приют, в виде скромного домика в г. Гатчине. На остатки от профессорского жалования ничего подобного сделать, конечно, было невозможно.

за строчку в «Церковном вестнике» (maximum — 14 к., некоторым постоянным сотрудникам отделов положено было определенное помесячное жалование), а в «Христианском чтении» за печатный лист (кажется, 50 р.) — внутренним сотрудникам и, несколько меньшую, внешним; остальные же, оставшиеся от раздела суммы, вносить на образование «вспомогательно-пенсионной кассы» наставников Петроградской духовной академии, для лиц, желающих в ней участвовать. Условия участия в ней: единовременный взнос известного процента за предшествовавшие годы службы и отчисление такого же процента из ежемесячного текущего жалования. Помнится, еще до моего редакторства образовался уже порядочный капитал (если не ошибаюсь, около 20 тысяч рублей), да за мои четыре года прибавлялось из взносов редакции ежегодно по 5 тысяч рублей, то есть за четыре года — также 20 тысяч рублей. Так образовалась наша академическая пенсионная касса, которая продолжает действовать, благодаря Бога, доселе, хотя и были со стороны центральных управлений Св. Синода попытки, к счастью безуспешные, взять у нас наш пенсионный капитал в свое распоряжение. Не знаю, что было бы тогда, а теперь мы, отставные, получаем из нашей кассы некоторый добавок к казенной пенсии, в зависимости от лет службы и ранга пенсионера (ординарный профессор, экстраординарный, доцент). За тридцать, например, лет ординарный профессор, как пишущий эти строки, получает 660 рублей в год. Большое спасибо незабвенному А. И. Предтеченскому за это, поистине доброе дело, благодетельность которого особенно живо почувствовал в последние годы, при усиливавшейся с каждым годом дороговизне жизни, а в нынешние годы мировой войны — перешедшей уже всякие границы.

История нашей пенсионной кассы не обошлась без небольшого краха. Печальной памяти секретарь совета и правления В. М. Смелков (новг., канд. XXX к. 1873 г. нашей академии), распоряжению которого, к несчастью, были вверены пенсионные суммы (под контролем одного из членов правления, Е. И. Ловягина), увлекшись спекуляцией (завел он аукционный зал), присвоил около 14000 рублей пенсионных денег, обратил процентные бумаги на эту сумму в залог по своим предприятиям. Его исключили из службы по 3-му пункту, не предав суду, — отчасти по человеколюбию, отчасти в расчете вернее воротить таким образом деньги. Расчеты наши оказались, однако, неверными.

Немало было хлопот и неприятностей, выпавших главным образом на мою долю (добровольно вызвался хлопотать по этому делу[397]), и вся эта весьма неприятная история окончилась тем, что кое-как спасено было около половины потерянной пенсионною кассою суммы.

Возвращаюсь к другим, более важным интересам и сторонам академической жизни за период 1869–1884 гг. Заключу этот период некоторыми штрихами, характеризующими внутренний быт, настроение студенчества «Янышевского» времени.

Быт студентов. Инспекция. Влияние ректора протоиерея И. Л. Янышева. Инспекторами академии были в это время далеко уже немолодые профессоры, пользовавшиеся авторитетом у студентов: К. И. Лучицкий (1869–1874), М. О. Коялович (1874–1878), И. Ф. Нильский (с 1878). Кирилл Иванович Лучицкий, профессор старого времени (с 1839), бывший бакалавром уже в то время, когда ректор И. Л. Янышев был еще студентом (1845–1849), преемник и друг архимандрита Хрисанфа (Ретивцева), женатый на сестре генерала Н. И. Бобрикова, известного ген. губ. Финляндии, хорошо знал и понимал студентов; при строгости личного характера был, однако, довольно снисходителен к их слабым сторонам. О нем говорили студенты, называя его «Кириллицей» (такое он имел у них прозвище): «Греши, но не попадайся, а попался в какой-нибудь важной провинности, пощады тебе нет». С таким, несколько формальным отношением к инспекторским обязанностям К.И.Л. студенты мирились и ничего против того не имели. Иначе относился к делу инспекции его преемник, профессор Михаил Осипович Коялович. Человек строгих принципов, да еще, к тому же, историк, привыкший оценивать жизненные явления с точки зрения этих принципов, он

---

[397] Тут мне пришлось близко познакомиться с мало симпатичным миром адвокатов. От одного из них мне даже угрожало предание коммерческому суду. Дело в том, что избранный нами для ведения дела присяжн. поверенный оказался изменником в отношении наших интересов, и потому выданный ему в обеспечение долга Смелковым вексель я передал другому присяжн. поверенному, вместе с поручением вести все дело по взысканию. Эта передача и послужила к обвинению меня в незаконном «векселедержательстве»; получена была мною даже повестка явиться в коммерческий суд к ответу, но второй адвокат письмами первого ко мне доказал несостоятельность его обвинения, и, так. обр., являться в комм. суд мне не пришлось.

глубоко вникал в существовавшее в то время настроение студенческой среды и стремился к серьезному на нее влиянию. Одаренный большой способностью к анализу и склонный к обобщению, а иногда и к сильному преувеличению, по временам он сильно волновался от маловажных, на первый взгляд, студенческих проступков и надоедал студентам своими нотациями, выговорами и внушениями; до сведения совета доводил, однако, только о важных проступках. Его побаивались, не особенно любили, хотя и очень уважали, как прекрасного профессора и чрезвычайно стойкого в своих принципах человека. Преемник его, профессор Иван Федорович Нильский, человек горячего темперамента и не особенно ровного характера, старавшийся также относиться к инспекторским своим обязанностям далеко не формально, был еще менее, чем его предшественник (М. И. К-ч), во вкусе студентов. Слышно было, что у него нередко были пререкания со студентами. Вообще же, однако, за этот период времени никаких сколько-нибудь важных инцидентов в студенческой жизни не было. Годы 1869–1884 прошли совершенно спокойно, а известно, какие это были годы.

Тогдашнее спокойствие студенческой жизни нужно приписать, кроме авторитетной для студентов и, в общем, тактичной инспекции, еще следующим причинам: упомянутому выше разобщению студентов, поселению их в общежитии отдельно по курсам и по отделениям, усилению их занятий в виду строгих экзаменов, повышению требований от семестровых, кандидатских и особенно магистерских диссертаций, а главное — большому оживлению домашней академической жизни, отвлекавшему внимание от событий и движений общей политической и столичной жизни. Почти беспрерывно шли то диспуты, то пробные лекции по конкурсам на занятие академических кафедр (конкурентов иногда было довольно много), то защищение приват-доцентами диссертаций pro venia legendi, то другие торжественные собрания по разным случаям, например, по поводу годичного акта 17 февраля, и др. Все это очень занимало студентов и побуждало их жить домашними, академическими, более или менее научными интересами.

Несомненно, очень большое значение имела в этом отношении также и личность тогдашнего ректора И. Л. Янышева, обладавшего большим тактом и огромным влиянием на студентов. Он не только умел сглаживать некоторые шероховатости в действиях своих

сотрудников по инспекции, уважаемых им профессоров, но оказывал поистине неоценимые услуги инспекции частыми беседами со студентами по разным случаям то домашней академической, то общей государственной жизни. Он держал себя очень близко к студентам. Весьма часто встречаясь с ними то на прогулках в академическом саду и вокруг дома, или на Обводном канале, то в Лавре и других местах, часто совершенно для них неожиданно, как пишет один из студентов того времени (профессор А. А. Бронзов в своих воспоминаниях об И. Л. Ян-ве)[398], неизменно вступал с ними в беседу. Часто ходил по студенческим комнатам, нередко являлся в столовую и здесь, по временам, говорил целые речи по поводу частых тогда прокламаций наших мятежников, анализировал их (как сам он говорил пишущему эти строки), вполне уверенный, что студенты уже читали эти подпольные листки и что было бы нелепо делать из них «секрет полишинеля», тем более, что студенты иногда сами, по его словам, приносили ему полученные ими прокламации. В видах отвлечения студентов от политики внутренней и внешней, устраивал по временам домашние академические концерты, в которых принимали участие и некоторые из академических преподавателей (например, профессор Н. П. Рождественский). Благодаря такому общему строю академической жизни, Бог спас академию за это время как от волнений по домашним делам, так и от вспышек революционного характера — от действия подпольной литературы. И в этом случае, опять повторим, многое должно быть приписано влиянию тогдашнего ректора. Что на его долю падало много забот и тревог, свидетельствует одна его фраза, сказанная мне при выходе его из академии: «Все время моего ректорства я чувствовал себя в академии точно на вулкане».

Студенты очень почитали о. И.Л.Я., любили его, но вместе с тем и побаивались его зоркого глаза. Они, можно сказать, были им

[398] Проф. А. А. Бронзов «Протопресвитер И. Л. Янышев» — отд. отт. из журн. «Трезвые всходы» (СПб., 1911). Здесь в ярких красках рисуется быт студентов (1879–1883), причем на каждом шагу встречается ректор о. И.Л. в роли тонкого психолога, умевшего действовать на студентов силой убеждения, нередко тонкой иронии, сарказма, где нужно снисходительного, а где это требовалось — строгого начальника, иногда защитника студентов, устроителя их судьбы на службе, наконец как профессора нравственного богословия. Очень интересная книжка.

загипнотизированы. Он импонировал им всею своею личностью — прекрасного профессора, неусыпно попечительного о всех сторонах академической жизни ректора, в особенности же замечательным ораторским его талантом. Они часто слышали его не только в частной беседе, как сказано выше, но и в академическом храме, где он нередко проповедовал, и в академическом зале, на диспутах и разного рода торжественных собраниях. Но раз в году он особенно выступал перед ними во всей своей славе, когда в Великий Пяток, при выносе Плащаницы, произносил свои громовые речи в Лаврском соборе, когда слушать его собирался весь Петроград[399] и когда туда же толпами шли студенты, чтобы послушать своего красноречивого ректора.

Как замечательный оратор (с ним мог конкурировать только протоиерей И. В. Васильев, также превосходный импровизатор-проповедник), он действовал на студентов и в смысле развития проповеднических их талантов, и обучения их искусству произношения. Академических проповедников-студентов накануне произнесения ими проповедей в академическом храме он неизменно приглашал к себе и заставлял произносить приготовленную проповедь. Рассказ об этом мне пришлось слышать, между прочим, от одного из тогдашних студентов, впоследствии знаменитого нашего профессора В. В. Болотова. «Приношу, — говорил он, — свою проповедь ректору. Заставил меня произнести ее. Читаю, останавливает. Не так, говорит, а вы вот как произносите, — и прочитал ее сам. Верите ли, не узнал я своей проповеди; она показалась мне как будто другой»...

Богослужение в академическом храме И. Л. Янышев очень часто совершал сам, неизменно во все праздничные и многие воскресные дни. Служил он образцово. Обладая превосходной дикцией и выразительным, приятным голосом, он влагал смысл в каждое произносимое им слово, неподражаемо читал некоторые молитвы, в особенности памятно чтение канона св. Андрея Критского и молитвы на молебне

399 Однажды о. И.Л., по нездоровью, отказывался перед митр. Исидором от произнесения в этот день обычной проповеди. «Как же это, о. протоиерей, — сказал митр. — Ведь вас ждет весь Петроград, соберется масса народа, и вдруг не будет вашей проповеди. Нет уж, как хотите, а проповедь вы должны произнести, прошу вас об этом». И кажется, о. И.Л. исполнил желание владыки, выраженное в такой настойчивой и вместе лестной для нашего ректора форме.

в день Рождества Христова, — дивной молитвы, составленной, как оказывается[400], по поручению митрополита Амвросия, Филаретом (Дроздовым; † митрополит Московский), когда он был еще только архимандритом. Эта дивная молитва, увы!, совершенно потеряла свою красоту в произношении преемников И. Л. по ректуре.

И. Л. строго следил за благоговейным, неторопливым, осмысленным чтением на клиросе, лично руководя студентами в этом деле. Очень поощрял хорошее пение. Часто сам присутствовал на спевках академического хора, давая советы, так как сам обладал хорошим голосом и музыкальным слухом и вкусом. Не терпел шума и разговоров в храме при богослужении и не стеснялся делать выговоры за это даже профессорам академии, как это было раз на заутрени в Светлое Воскресение Христово, когда к стоявшим на левом клиросе профессорам он вышел через боковую алтарную дверь и пожурил их. Нечто подобное бывало, как он говорил мне, и в Висбадене, когда приходилось делать внушение избранной публике соотечественников.

При таком положении вещей все располагало студентов к доброй религиозной настроенности, и в их среде не было заметно явлений противоположного характера. В частности, посещение ими богослужений, в общем, было аккуратное, без принуждения и без заметного инспекторского воздействия.

После всего сказанного понятно, насколько «справедливы» были раздававшиеся около 1881–1884 гг. в некоторых кругах речи, будто в Петроградской академии в «Янышевское время церковность была в упадке». Эти речи шли или из лагеря недоброжелателей нового строя академии вообще или, в частности, из круга недругов протоиерея И. Л., как лица из белого духовенства, и были, по совести говоря, совершенно несправедливы. Если что действительно было в упадке, то это одно ученое монашество: за 17 лет ректорства о. И. Л. Ян-ва не было посвящено в монахи ни одного студента. И это потому, что самое это время (70–80-е годы), время сильного брожения молодежи, мало располагало ее к монашеству, да и сам ректор питал отвращение к практиковавшейся во время его студенчества системе вербовки способнейших из студентов в монахи (сам он, по его словам, испытал

---

[400] См.: И. А. Чистович «Руковод. деятели духовного просвещения». СПб., 1894, стр. 142–143.

на себе действие этой системы), а потому совсем не заботился о разведении в академии питомника из молодых ученых монахов. Таким образом, если церковность отождествлять с монашеством и думать, что где нет монашества, там нет уже и церковности, — что, полагаем, едва ли справедливо, — то нужно признать, что церковность в нашей академии, в Янышевское время, действительно была в упадке.

В октябре 1883 г. Петроградская академия простилась со своим славным ректором, назначенным духовником Их Императорских Величеств и управляющим придворным духовенством. При прощании в академическом храме он произнес задушевную, по обычаю красноречивую проповедь, а на братской академической трапезе мы слышали много его речей в ответ на многочисленные тосты, причем он еще раз показал себя блестящим оратором, каким всегда был, находчивым, остроумным и вместе — весьма приветливым, любезным. Академия много, очень много теряла в лице этого незабвенного ректора. Было крайне жаль отпускать его, тем более, что в воздухе носилось совсем другое влияние, которое и выразилось вполне в академическом уставе 1884 г.[401]

---

401 Автору не удалось в свое время добыть из академического архива дело о докторской диссертации (1872 г.) И. Л. Янышева. Для читателей «Христ. чтения», интересующихся официальными документами, относящимися к этому делу, приводим извлечение из означенных документов. В довольно пространном определении богосл. отделения, между прочим, говорилось: «Дело, сделанное автором, бесспорно, весьма значительно и заслуживает полного уважения. Но воззрения его составляют нечто новое по отношению к установившимся и принятым, хотя и не довольно проясненным понятиям из области нравств. богословия и иногда, по крайней мере по видимости, не совпадают с изложением учения о сих предметах в наших богосл. системах и символических книгах. Тем не менее отделение... полагает дозволить автору напечатать его, тем более, что сделанная им попытка не есть учение, выдаваемое им за общепринятое, а только опыт изъяснения православного учения». — Определение совета выражено в след. словах: «В виду того, что исходною точкою сочинения служит рассмотрение и обсуждение имеющих догматическое значение мест из патриарших грамот, Прав. Исповедания веры и простр. катехизиса, т. е. таких изложений веры, которые авторизованы благословением Св. Синода, о разрешении к напечатанию соч. прот. И. Л. Ян-ва представить на благоусмотрение Св. Синода». — Затем последовал указ Св. Синода на имя м. Исидора (от 13 ноября 1872 г.), в котором значилось: «в представлении Вашего Пр-ва не разъяснено, в чем именно заключаются затруднения, встреченные спб. академическим советом относительно

Второй период службы — под действием академического устава 1884 г. (1884–1896)

Изменение академического устава 1869 г. Величайшее злодеяние 1 марта 1881 г. сопровождалось, как известно, громадными последствиями в отношении к направлению всей нашей политики — внутренней и внешней. Не осталось оно без влияния и на нашу академическую жизнь. Уже в конце этого 1881 г. (19 ноября) учреждена была, под председательством архиепископа Казанского Сергия (Ляпидевского; † митрополит Московский), комиссия для пересмотра академического устава 1869 г.[402] Главным двигателем и заправителем нового преобразования явился К. П. Победоносцев, тогдашний обер-

---

разрешения к напечатанию соч. прот. Янышева. Вследствие чего Св. Синод определяет поручить Вашему Пр-ву потребовать от акад. совета, чтобы он указал места в соч..., по которым он встретил затруднения в разрешении к печатанию означенного соч. О чем дать Вашему Пр-ву указ, с приложением соч. прот. Янышева, с тем, чтобы о последующем представили Св. Синоду, в непродолжительном времени, с возвращением самого соч.». По выслушании этого указа, сделанного м. Исидором в совете, совет определил: «соч. рект. прот. И. Л. Ян-ва препроводить в бог. отделение с тем, чтобы отделение в непродолжительном времени донесло совету по содержанию указа Св. Синода». — Дальнейшего движения этого дела не последовало...

[402] Члены ее: председ. Учебн. ком. прот. И. В. Васильев, а после кончины его (через месяц после учреждения ком.) — его преемник прот. А. И. Парвов, директор канц. обер-прокурора И. А. Ненарокомов, профессоры академий — Петроградской И. Ф. Нильский и И. Е. Троицкий (он же делопроизводитель), Киевской — В. Ф. Певницкий, Московской — В. Д. Кудрявцев, Казанской — И. С. Бердников. В это время случалось мне встречаться в Петрограде с досточтимым В. Д. Кудрявцевым, бывшим моим сослуживцем по Московской академии. В его помещении, в гостинице, я познакомился, между прочим, с его товарищем по студенчеству М. И. Шавровым (2-й маг. 1852 г. Моск. акад.), бывшим долгое время преподавателем Петр. семинарии, а тогда — чиновником особых поручений при обер-прокур. Св. Синода. Г. Шавров, по-видимому, не разделял симпатий и антипатий своего принципала и одобрительно отозвался о моем редактировании «Церк. вестника», а его супруга, здесь же случившаяся, прямо отрекомендовалась

прокурор Св. Синода, точно так же, как в предыдущий период — граф Д. А. Толстой.

Одновременно и параллельно началась подобная же работа и по пересмотру университетского устава. Реформа его настойчиво вызывалась потребностями жизни. В течении жизни наших университетов было немало не совсем благополучного. Там наблюдалось довольно много нестроений и даже злоупотреблений, происходивших от предоставленного советам самого широкого самоуправления. Такие явления обуславливались их многосоставностью, а главное — разнородностью их факультетов: у юристов, медиков, филологов, математиков, естественников были свои отдельные от других интересы, понятия, пристрастия и т. п., и общее стройное течение университетской жизни часто нарушалось борьбой факультетов, образованием партий, пристрастным решением дел (например, по выборам на должности ректоров, деканов, по замещению кафедр и др.). Ничего подобного не было и не могло быть в духовных академиях, при однородности состава наук академических отделений (= факультетов) и их преподавателей, вышедших из одной и той же духовной среды, прекрасно друг друга знавших и умевших оценивать научные интересы своих товарищей — специалистов по вполне сродным специальностям. Нет ничего поэтому удивительного, что у нас не было ни партий, ни их борьбы, по крайней мере в нашей академии; не было их, насколько известно, и в других академиях, кроме Московской; но там они явились от местных условий посадской жизни, а никак не от действия устава 1869 г.; зарождение их относится еще к 1863 г. (см. IV гл. моих «Воспоминаний»). Честь академии и доброе имя для всех членов совета и для всех академических преподавателей были у нас предметом особенной заботы. Решения академических дел вообще и закрытые баллотировки в совете, в частности, поражали своей абсолютной справедливостью, о чем с большим удовлетворением заметил в своей прощальной речи, 23 октября 1883 г., бывший незабвенный наш ректор — о. И. Л. Янышев[403]. На совести остался один только

мне как моя «читательница и почитательница» по «Церк. вестнику». Сочувственно отозвался о моей журнальной деятельности и В. Д. Кудрявцев.

403 «Церк. вестник» 1883 г. №44. Вот что сказал он, обращаясь к преподавателям академии: «Ваше серьезное, честное, иногда до преувеличенной

случай необдуманной, поспешной баллотировки[404]. И как мы потом сокрушались по поводу этого случая! Словом, по совести говоря, академическая жизнь 1869–1884 годов текла вполне нормально, очень плодотворно и, притом, усиленным темпом.

Нельзя, однако, сказать, чтобы мы не желали некоторых изменений в уставе 1869 г. Наиболее общим желанием было — изменение в группировке предметов преподавания, образование двух только отделений вместо трех и некоторые другие, менее крупные частности. Но мы были далеки от пожелания относительно перемены общего строя и основных принципов того устава, который вдохнул новую жизнь в академию, спаял в одно целое все ее части и направлял ее

идеализации честности доходящее отношение ко всему академическому делу, особенно же, когда это дело касалось преподавания, выборов должностных лиц, оценки сочинений или достоинства экзаменских ответов и т. п., — такое отношение к своему долгу, запечатлело во мне навсегда и неизгладимо глубокое уважение ко всему академическому братству».

404 Разумею избрание, в 1876 г., в почтенные члены академии пермского протоиерея о. Е. А. Попова, напечатавшего очень много сочинений разного содержания, по большей части практического, назидательного характера. Проф. Ник. Ив. Барсов, пораженный преимущественно большим количеством печатных его трудов, вошел в совет с предложением удостоить о. Попова степени магистра богосл. без устного испытания и защиты диссерт. и без прослушания им полного академического курса (о. Попов был семинарского образования). Совет, конечно, не мог согласиться с таким предложением, коренным образом нарушающим правила акад. устава, но чтобы не оставить без всякого поощрения полезной деятельности о. Попова, решил — «во внимание к долголетней, обширной и плодотворной богословско-литературной его деятельности возвести его в звание почетного члена Академии». Предложение проф. Ник. И. Барсова заслушано и решение по нему последовало в последнее перед летними каникулами заседание совета; все уже были очень утомлены и спешили на отдых. Тогда же состоялась закрытая баллотировка о. Попова в почетн. члены; результат был положительный. После мы очень жалели, что это дело не было отложено до следующего заседания совета, согласно строго соблюдавшемуся до того правилу — никогда не баллотировать предложение в то же заседание совета, когда это предложение было заслушано. Вскоре пришлось нам пережить немало неприятных минут. Газеты, роясь в многочисленных сочинениях о. Е. А. Попова и находя много курьезов в некоторых его брошюрах казуистического характера (преимущественно, помнится, в его наставлениях арестантам и по поводу исповеди), подняли на смех и о. Попова, и академию, удостоившую его звания почетного члена.

к многоплодной научной и в то же время широкой церковно-общественной деятельности.

К сожалению, люди, жившие прежними академическими преданиями, подкрепляемые к тому же настроением, господствовавшим в значительной и влиятельной части общества, в среде противников реформ царствования Императора Александра II, ухватились за случай вернуть духовно-академический строй к принципам старого устава — начала XIX столетия. В каком виде первоначально проектировался академический устав 1884 г., в упомянутой комиссии под председательством Казанского архиепископа Сергия, в точности неизвестно (хотя, помнится, нечто по этому предмету впоследствии напечатано в «Христианском чтении»), да это и не особенно важно, так как комиссия ничего цельного, по-видимому, не выработала, а представила несколько проектов, т есть, вероятно, проект с немалым количеством отдельных мнений[405]. Затем все это разослано было на рассмотрение «некоторым преосвященным». Окончательно сформировался устав 1884 г. в «особом совещании» трех лиц: Московского митрополита Иоанникия (Руднева), архиепископов — Варшавского Леонтия (Лебединского) и Тверского Саввы (Тихомирова). Материалов для этого совещания накопилось в течение трех лет (1881–1884), таким образом, очень много. Тем удивительнее, что «особое совещание», по слухам, употребило на эту работу не более трех вечерних заседаний. Едва ли мы ошибемся, что такой быстротой работы (в три вечера, как острили тогда, «за вечерним чайком») устав 1884 г. был обязан, главным образом, митрополиту Иоанникию, отличавшемуся всегда большой энергией и деспотическим характером. Так мы и смотрели на этот устав, утвержденный 20 апреля 1884 г., как на дело

[405] См. у И. А. Чистовича — «СПб. дух. академия за последние 30 лет», стр. 196–197. «Выработанные комиссиею проекты разосланы были к некоторым преосвященным. Затем проекты эти, вместе с относящимися к ним трудами комиссии и отдельными замечаниями преосвященных, подвергнуты были тщательному рассмотрению в особом совещании митр. москов. Иоанникия» и т. д. Так. обр., везде речь идет здесь не об одном проекте, а о каких-то нескольких проектах и относящихся к ним трудах, т. е. очевидно — об отдельных мнениях. Присутствие в составе комиссии представителей 4-х наших академий, профессоров в количестве 5 лиц, отстаивавших, конечно, интересы акад. науки, делает понятным появление этих отдельных мнений-проектов.

преимущественно митрополита Иоанникия, и нельзя сказать, что мы были ему за то благодарны.

Каков был этот устав? Самое главное его отличие от прежнего заключалось в уничтожении отделений и вместе с ними воплощавшегося в них принципа специализации, в усилении единоличной власти ректора, в низведении совета на степень как бы совещательного при ректоре учреждения.

Правда, вместо прежних трех отделений явились как бы два новые отделения, через образование двух небольших групп предметов, деливших студентов на две половины. Но эти небольшие группы[406] мало содействовали специализации академического образования и возвращали его в значительной степени к прежней многопредметности, в виду большого увеличения количества общеобязательных для всех студентов предметов, а главное — эти новые отделения были растениями, не имевшими корней, благодаря уничтожению прежнего устройства отделений. Новый устав отверг всю прежнюю мудрую организацию отделений — этих ячеек, в которых зарождалось учебное дело и развивалась научно-педагогическая работа. Должны были прекратиться собрания отделений вместе с уничтожением их центров, помощников ректора, которые теперь превратились в членов правления, ведавшего не «учебную часть» (прежде помощники ректора были его помощниками именно «по учебной части»), а преимущественно хозяйственную и отчасти инспекционную.

Взамен прежнего административно-педагогического строя власть ректора поднята на высоту, в сущности, единоличного заправителя академических дел, так как по силе § 22 нового устава «ректор есть ближайший начальник академии, ответствующий за благосостояние ее по всем частям управления». Все сводилось к нему одному и от него одного, от его энергии, степени и обширности его познаний по многочисленным предметам академического курса, от его педагогической опытности, административного такта,

---

406 Первая группа: 1) теория словесности и история иностранных литератур, 2) русский язык и церковно-славянский (с палеографией) и история русской литературы, 3) еврейский язык и библейская археология. Вторая группа: 1) история и разбор западных исповеданий, 2) история и обличение русского раскола, 3) гражданская история общая, 4) русская гражданская история.

хозяйственных способностей зависело успешное и благополучное течение академической жизни. Совет... но что такое был этот совет? И чем он мог быть при таком устройстве, как не собранием почтенных ученых мужей, являющихся в заседания совершенно не подготовленными к решению советских дел, без предварительного изучения и знакомства с ними, без проектов решения по разрабатываемым прежде в отделениях сколько-нибудь важным делам. А потому неудивительно, что советские заседания превратились в продолжительные беседы многоглаголивых людей, с бесчисленными заявлениями разных мнений и суждений, а нередко — одного и того же разными лицами, с игрою самолюбий отдельных лиц. Прежде члены совета, как мы видели выше, дисциплинировались в отделениях и подчинялись вырабатываемым в последних директивам. Теперь же каждый член совета представлял только самого себя, с желанием чем-нибудь выдвинуться перед другими членами. Разноголосица получалась страшная. Очень нередко случалось, что и сам ректор не озабочивался предварительным основательным ознакомлением с делами, что еще больше увеличивало нестроение в советских собраниях. Участникам прежних советских заседаний 1869–1884 годов было крайне тяжело теперь присутствовать в совете, и они выходили из советского зала по большей части нервно расстроенные, с осадком горечи в сердце и сильным возбуждением желчи.

Главными начальниками и попечителями Петроградской академии за 12 лет описываемого времени (1884–1896) были: прежний митрополит Исидор, за большую часть этого времени (около 9-ти лет, с 1884 по 1892 г.), затем его преемник митрополит Палладий (Раев) за последние 3 года моей службы.

Мудрый старец митрополит Исидор[407] и в этот период времени относился к академии по-прежнему — спокойно, доброжелательно. Нет сомнения, что именно ему мы были обязаны тем, что наступившая реакция не выразилась в каких-нибудь крупных фактах, и выкуривание «Янышевского духа», а равно и изгнание «либерализма» из академии (см. ниже о ректоре — Преосв. Арсении), были мало нам заметны. Он, видимо, не очень спешил осуществить

407 Краткие биографические о нем сведения сообщены в I выпуске моих «Воспоминаний», гл. III, стр. 102.

Победоносцевские идеалы. Это видно из истории с одной магистерской диссертацией 1886 г. (см. ниже), из выше упомянутого, очень характерного отношения его к нападкам К. П. Победоносцева на «Церковный вестник» под моей редакцией, из добродушно-насмешливого его отношения к самым близким к обер-прокурору лицам, проводникам его идей и направления[408]. Феноменальная его невозмутимость много помогала ему сохранять прежнюю линию поведения в отношении к академии.

Преемник его, митрополит Палладий (Раев)[409], во многом отличался от своего предшественника. Не было у него такого недюжинного, дальновидного ума, такой житейской мудрости и невозмутимости характера, как у митрополита Исидора, но он сходился со своим предшественником в очень доброжелательном, уважительном отношении к академической науке и в неохоте быть усердным слугой Победоносцевской реакции. Митрополит Палладий, питомец Казанской духовной академии, магистр IV ее курса (1852), долгое время (14 лет, 1852–1866) служивший в семинариях (Нижегородской и Петроградской), помнивший академию только как ее воспитанник, а не как профессор, тем не менее сохранил искреннее уважение к академической науке и желание ее преуспеяния. Что же касается тогдашней реакции, то он встал даже в прямую и резкую оппозицию

---

[408] Вот, напр., что рассказывал один из наших молодых доцентов-монахов. Собрались мы, несколько лиц, у митр. Исидора для обсуждения какого-то дела, имеющего или церковный, или духовно-научный характер. Вдруг среди рассуждений докладывают, что приехал один из самых крупных чиновников синодального ведомства. Лакей докладывает. Митрополит, поморщившись, говорит: «Проси». И, когда прибывший входит, митр. Исидор, обращаясь к собранию, замечает: «Те же и генерал Притычкин». Эта фамилия, очень характерная для вошедшего лица, любившего вмешиваться во все церковные и всякого рода синодальные дела, вероятно, заимствована митрополитом из какой-нибудь очень старой комедии, времен, напр., Сумарокова.

[409] Митр. Палладий (в мире — Павел Иванович Раев), нижегор., 3-й маг. Казан. акад. IV к. (1852), с 1852 по 1863 г. — препод. Нижегор. сем., свящ. нижегор. церкви, иером. (1861), инспект. сем., архим. (1862), 1863 — инспект. СПб. сем., 1864–1866 — ректор ее, 1866 — еп. Ладожск., вик. СПб-й., 1869 — еп. Вологод., 1873 — еп. Тамбов., 1876 — еп. Рязан., 1881 — архиеп., 1882–1887 — архиеп. Казан., 1887 — Экзарх Грузии, 1892 — митр. Петрогр., † 5 дек. 1898.

ко всему тогдашнему синодальному обер-прокурорскому режиму. В этом отношении нечто нужно приписать обстоятельствам его службы в Петрограде (1863–1869), в период Толстовских реформ, когда он, естественно, подчинился тогдашним веяниям, вращаясь в круге лиц, горячих приверженцев этих реформ: архиепископа родного Нижнего Новгорода, Преосв. Нектария, и, в особенности, столпов реформы — протоиереев И. В. Васильева и И. Л. Янышева, к которым питал глубокое почтение[410], сохранившееся у него до конца его жизни. Но в особенности большое влияние на его направление имела история его назначения в Петроградскую митрополию. Великолепный в богослужениях, любитель пышной обстановки, в особенности хорошего архиерейского хора (он взял из Рязани знаменитого ныне регента митрополичьего хора И. Я. Тернова), Преосв. Палладий, в бытность свою Экзархом Грузии, очень понравился Императору Александру III и Императрице Марии Феодоровне и, видимо, предназначался в преемники митрополита Исидора. Люди дальновидные это предвидели[411], но синодальные заправилы (К. П. Победоносцев и В. К. Саблер) почему-то не желали такого назначения, — может быть, тут сказалось влияние других иерархов[412], и выдвигали

[410] Немалую роль сыграла в этом отношении тесная, многолетняя дружба Преосв. Палладия с товарищем его по учению в Нижегор. сем., прот. петрогр. Смоленского кладбища П. А. Матвеевским, свояком обоих о. протоиереев (И. В. Васильева и И. Л. Янышева). От своего друга он очень много слышал о деятельности этих выдающихся людей и невольно располагался к глубокому к ним почтению, а вместе с тем и к сочувствию к тому направлению, проводниками которого они были. Эта дружба сильно отразилась и на моей судьбе; благодаря ей я сделался зятем прот. И. В. Васильева (см. IV гл. моих «Воспоминаний»). Сосватали меня Преосв. Палладий, тогда ректор Петрогр. семинарии и потом викарий Петрогр. митрополии, вкупе с вышеупомянутым прот. П. А. Матвеевским.

[411] Вроде И. Д. Делянова, который моему свояку, Н. М. Аничкову, тогда директору департ. нар. просв., говорил: «Сдается мне, что после митр. Исидора митрополитом Петроградским будет Преосв. Палладий; что-то часто вызывают его в Синод».

[412] Слышно было, что митр. Иоанникий, тогда Киевский, очень был против такого назначения, выставляя на вид, что Преосв. Палладий был только приходским священником (в Ниж. Новг. до 1861 г.), в то время как он (Иоанникий) был уже (с 12 июня 1861 г.) епископом Выборгским, вик. Петрогр. Так же,

своего кандидата — по слухам, архиепископа Кишиневского Сергия (Ляпидевского), но не имели успеха; назначение Экзарха Палладия на Петроградскую митрополию в 1892 г. состоялось, и притом с назначением его первенствующим членом Св. Синода[413]. Все это сделалось ему, конечно, известным и не могло расположить его к дружественным отношениям к синодальной обер-прокуратуре. Разыгравшаяся вскоре история с магистерской диссертацией Е. П. Аквилонова («Церковь. Научные определения Церкви и апостольское учение о ней как о теле Христовом». 1894) еще более утвердила митрополита Палладия в таком настроении.

В этой характерной истории пришлось и мне принять близкое участие в качестве отчасти ответственного лица, так как диссертация Е. П. Акв-ва написана была под моим руководством. В академии диссертация прошла; был и диспут, давший положительный результат; требовалось только утверждение Св. Синода. Но вдруг движение дела об утверждении Е. П. Акв-ва в степени магистра было остановлено телеграммой К. П. Победоносцева из Крыма. Оказалось, что это было сделано по протесту из Москвы; волновались, якобы, раскольники по поводу этой диссертации. Появились в «Братском слове» профессора Н. И. Субботина статьи против сочинения Е. П. Аквилонова. Привлечен был к этой полемике известный архимандрит Павел (Прусский), тогда умиравший, на которого опирался редактор «Братского слова»[414]. По поводу всей этой истории мне приходилось не раз беседовать с митрополитом Палладием. Со всей решительностью и свойственной ему откровенностью он объяснял, почему последовал упомянутый протест из Москвы, поддержанный синодальными светскими властями. Тут он видел руку Сергия

вероятно, относился к Преосв. Палладию и Леонтий, митр. Моск. (1891–1893), бывший епископом Ревельским с 1860 г.

413 Рассказывали, что К. П. Победоносцев явился к Государю Имп. Александру III со своим кандидатом (Сергием Ляпидевским), но Государь не дал ему времени даже предложить этого кандидата, заметив: «Мы с женой (Имп. Марией Феодоровной) уже решили назначить экзарха», то есть Преосв. Палладия.

414 Однако, по наведенным Е. П. Аквилоновым тщательным справкам, Павел (Прусский) был в это время в таком состоянии, что не мог сознательно принимать в деле участия.

(Ляпидевского; тогда, с 1893 г., митрополита Московского) и его друга, профессора Н. И. Субботина. «Ведь все это дело, — говорил он, — направлено против меня, а отнюдь не против Аквилонова или вас. Хотят доказать, что я не стою на высоте своего положения». Может быть, митрополит Палладий несколько преувеличивал антагонизм Москвы и обер-прокуратуры против себя и слишком уж сгущал краски, но, вероятно, была значительная доля правды в его мнении. Однако не в одних только личностях и внешних обстоятельствах было тут дело. Здесь попутно решался немаловажный вопрос о догматическом определении Церкви. Митрополит Палладий, вместе с некоторыми из иерархов (архиепископом Финляндским Антонием (Вадковским), епископом костромским Виссарионом (Нечаевым)) стоял на стороне нового определения, намеченного в диссертации Е. П. Аквилонова, другие же, большинство, — на стороне старого (подробности см. далее). Последние взяли верх, и митрополит Палладий почувствовал себя в очень неловком положении, хотя мог утешать себя мыслью, что он ратовал за научный прогресс, да и мы так смотрели на это дело. Как бы то ни было, митрополит Палладий удержался на Петроградской митрополии и даже удостоился совершить, в качестве первенствующего члена Св. Синода, коронование Государя Императора Николая II в 1896 г.[415], что на некоторое время ободрило его и поддержало падающие его силы († 1898).

К академии относился митрополит Палладий очень доброжелательно, уважительно, и оставил по себе, в общем, добрую память. Единственно, чем он омрачил ее, это очень неудачным назначением на должность инспектора своего любимца — иеромонаха, а потом

[415] Как совершилось такое назначение, об этом передавал мне протопр. И. Л. Янышев. В один из дней, когда в Петропавловском соборе совершалось придворным духовенством какое-то богослужение, мин. Двора, гр. Воронцов-Дашков, подходит к протопр. И. Л. Ян. и спрашивает: «Пора решить вопрос, кто же должен совершить коронование, как вы думаете?» «Я полагал бы, — отвечает о. И. Л., — что — первенствующий член Св. Синода, митр. Палладий». «И я так думаю, и в этом смысле доложу Государю Императору». Нужно заметить, что гр. Воронцов, в качестве тамбовского помещика, хорошо знал Преосв. Палладия, бывшего некогда еп. Тамбовским, и был к нему очень расположен. О таком решении вопроса относительно лица, долженствовавшего совершить коронование, я, помнится, с радостью поспешил сообщить своим сослуживцам в академии. Рад был за огорченного и униженного митр. Палладия.

архимандрита Исидора (Колоколова), да еще увольнением профессора Н. А. Скабалановича от должности редактора «Церковного вестника», по жалобе начальника военно-учебных заведений (по поводу какой-то заметки в «Ц.В.» относительно этих заведений). Но первый промах свой он загладил удачным назначением на должность инспектора профессора Н. В. Покровского, довольно долголетнего (6 лет, 1893–1899) и деятельного инспектора, а второй промах, правда без его прямого участия, сам собой исправился избранием достойного преемника Н. А. Скабалановича в лице профессора А. П. Лопухина. Не все в академии почитали и любили митрополита Палладия, но это объясняется отчасти отражением синодальных веяний, которые проникали и в нашу среду. Несомненно одно, что митрополит Палладий был человек доброго сердца и очень любезного обращения; тягости властной руки мы при нем не чувствовали.

Ректоры и инспекторы Петроградской академии 1884–1896 гг. За эти 12 лет было пять ректоров и шесть, или даже семь, инспекторов. Многовато, сравнительно с «Янышевским» временем, когда за все 17 лет был один ректор, а инспекторов было только три лица. Такая частая смена начальствующих лиц едва ли была полезна и служила ко благу академии.

Ректорами были: Преосв. Арсений (Брянцев), Преосв. Антоний (Вадковский), архимандрит Борис (Плотников), Преосв. Никандр (Молчанов), Преосв. Иоанн (Кратиров). Инспекторами: до 1885 г. — прежний, профессор И. Ф. Нильский, затем — архимандрит Антоний (Вадковский), архимандрит Михаил (Грибановский), и. д. доцента иеромонах Антоний (Храповицкий), и. д. инспектора иеромонах, потом архимандрит и инспектор Исидор (Колоколов), и наконец профессор Н. В. Покровский.

Преемником протоиерея И. Л. Янышева был Преосв. Арсений (Брянцев)[416]. И. Л. Янышев очень хлопотал о том, чтобы преемником ему был кто-либо из наличных старейших профессоров академии.

[416] Преосв. Арсений (в мире — Александр Дмитриевич Брянцев), смолен., маг. XXIII к. Киев. акад. (1867), 1867 — законоуч. гимн. в Киеве, 1868 — свящ., 1873 — архим., ректор Таврич. сем., 1882 — еп. Выборг. и Ладож., вик.

Он приставал с этого рода предложениями ко многим, в том числе и ко мне[417]. Но никто не отозвался на его предложение. Довольно долго искали ему преемника, пока не остановились на Преосв. Арсении, тогда петроградском викарии, который, как магистр Киевской академии, казался подходящим. Преосв. Арсений, человек не выдающегося ума, довольно добродушный и приветливый в обращении, с практическим складом ума, был создан не для академической ректуры, а для того, чтобы быть хорошим, даже выдающимся епархиальным епископом, каковым он и оказался впоследствии в Риге, на трудном посту епархиального начальника, где он сумел со всеми ладить и заслужил немалую любовь и уважение. Научный его авторитет в академии был очень невысок. Как человек очень практический, он использовал перемену веяний в высших сферах и в общественных настроениях так, чтобы казалось, что он произвел переворот в академической жизни. Он решил, что главная его миссия заключается в изгнании из Петроградской академии, как он выражался, «Янышевского духа», «либерализма», в насаждении церковности, бывшей будто бы в упадке при его предшественнике, и монашества, действительно далеко не процветавшего при И. Л. Янышеве. Задачи и цели академической науки Преосв. Арсений понимал очень своеобразно, что и выразилось однажды в обвинении многих профессоров, в том числе и пишущего эти строки, в либерализме. Лично, впрочем, он не предъявлял мне (да, насколько мне известно, и другим сослуживцам) такого обвинения. Передал его слова один, тогда молодой доцент, впоследствии почтенный профессор — И. Г. Троицкий. Он напечатал тогда свое

Петрогр., 1883 — рект. Петрогр. акад., 1887 — еп. Рижский, 1893 — архиеп., 1897 — архиеп. Казан., 1903 — архиеп. Харьков.; † 1914.

[417] И ко мне даже в особенности, как к человеку, занимавшему ректорскую, по прежним обычаям, кафедру (догм. богосл.), а может быть, и по другим причинам. Мне он говорил даже, что готов посодействовать моему назначению, через придворные влияния. Но тяжесть ректорской должности, особенно в то время, совершенно не располагали как других, так и меня к мысли принять на себя это нелегкое бремя. Притом чувствовалось, что наступила другая пора, и едва ли может осуществиться желание о. И. Л. Ян., да если бы оно и сбылось, то что ожидало его преемника? Что касается меня, то принять предложение о. И. Л. мешала, кроме того, давно сроднившаяся со мною решимость не менять скромный пост профессора на что-либо высшее.

магистерское сочинение «Религиозное, общественное и государственное состояние евреев во времена Судей» (1885). При рассмотрении этого сочинения одним из присутствовавших в то время в Св. Синоде епископов (Преосв. Серафимом (Протопоповым), епископом Смоленским) оно подверглось строгой критике и неодобрению, впрочем, не во всем его объеме, а в некоторых только частностях. По этому поводу митрополитом Исидором призван был ректор, Преосв. Арсений, и последовало ему приличное от митрополита внушение, с приказанием перепечатать несколько страниц, после чего обещано было утверждение автора в степени магистра. Когда это было сделано, утверждение состоялось. Запуганный начальническим выговором, Преосв. Арсений имел нарочитую беседу с молодым автором, упрекая его в либерализме. В связи с этим упомянуто было и имя профессора Катанского, которому постановлено было в вину, что «он осмысливает (?!) догматы». По поводу этого тяжкого обвинения я не счел нужным объясняться с Преосв. Арсением и до конца его ректорства никакого разговора между нами по этому поводу не было. Весьма характерно решение митрополита Исидора по этому делу, показывающее широту его взглядов и делающее ему большую честь, как научно просвещенному иерарху. Правда, можно предполагать, что такой исход дела отчасти был предрешен, быть может, Преосв. Серафимом, очень умным, научным человеком (см. гл. II моих «Воспоминаний», когда архимандрит Серафим был ревизором Нижегородской семинарии). Преосв. Серафим еще ранее, до доклада митрополиту Исидору, призывал автора диссертации и много с ним беседовал, оставив в своем молодом собеседнике впечатление человека очень умного, довольно широких взглядов и большого диалектика.

Как бы то ни было, мы довольно мирно прожили с не лишенным, в значительной степени, добродушия Преосв. Арсением, около четырех лет (1883–1887), пробавляясь запасами научного настроения и возбуждения, сохранявшимися от прежнего времени. Проводы его, однако, были холодны, и академия не спешила возвести его в звание почетного своего члена; случилось это только через десять лет (1897) после выхода от нас (в 1887)[418]. Инспектором при нем, после

---

[418] Так что Преосв. Арсений начал уже роптать. При встрече в Риге с кем-то из бывших сослуживцев он, со свойственной ему наивностью, спросил:

профессора И. Ф. Нильского, был с 1885 г. архимандрит Антоний (Вадковский; † митрополит Петроградский)[419], весьма выгодно отличавшийся от Преосв. Арсения преданностью научным интересам, в высшей степени благородным, симпатичным характером и немалым административным тактом. Он сразу же поставил себя в наилучшие отношения и к сослуживцам, и к студентам. Проникнутый большими симпатиями к академическому студенчеству и верою в него, старался войти в близкие отношения к студентам и с этой целью, между прочим, завел богословские с ними собеседования в своей квартире, приглашая сюда и академических преподавателей. Бывал на этих собраниях и я. В особенности хорошо помню беседы с участием Е. П. Аквилонова (студ. LXIII к. 1886 г.) на тему о Церкви, то есть на ту же тему, на которую он написал магистерскую свою диссертацию. По правде сказать, тогдашние рассуждения Е. П. Аквилонова мне не совсем понравились по приемам трактования предмета — более ораторским, чем строго научным.

Из времени инспекторства о. Антония помнятся еще споры в заседаниях правления по поводу опасностей для студенческой молодежи от увлечения политикой и возможности вовлечения студентов в ряды революционеров. О. инспектор решительно не хотел верить в такую возможность, полагая, что студенты духовных академий вполне застрахованы от подобных увлечений своим высоким умственным развитием. Мы, другие члены правления, ему возражали, в особенности, помнится, профессор М. О. Коялович. «Не будьте, о. инспектор, слишком в том уверены, — говорил он. — Все возможно в настоящее время. Революционно-социалистическая зараза, раз попавшая в духовный организм, подобна известной секретной физической болезни, от которой никогда нельзя вылечиться радикально». На эти предостережения о. Антоний ответил, что если что-либо подобное случится, чему он, впрочем, совершенно не верит, то он готов пострадать

«Что же академия до сих пор не избрала меня в почетные свои члены»?

[419] Архим. Антоний (в мире — Александр Васильевич Вадковский), тамб., 3-й маг. XII к. Казан. акад. (1870), с 1870 до 1883 — доц. Казан. акад. по гомил., 1883 — монах, 1884 — архим., экстраорд. проф. и инспект. Казан. акад., 1885 — инспект. Петрогр. акад. в звании экстраорд. проф. по Св. Писанию Ветхого Завета.

за свой оптимизм; в таком случае «пойду в монастырь», — заметил он. К несчастью, наши опасения сбылись. Один из окончивших в 1886 г., лучших по успехам студентов (М. Новорусский, родом новгородец, 3-й по списку), оставленный при академии даже профессорским стипендиатом[420], попался в террористическом акте, в выступлении перед Аничковским дворцом с самодельными бомбами. Он оказался, по слухам, даже одним из коноводов этого террористического акта. Сосланный в Шлиссельбургскую крепость, много лет он в ней сидел, в недавнее же время выпущен на свободу и, по слухам, взят на поруки одним из Преосвященных. Этот несчастный студент памятен мне, между прочим, по следующему случаю. Перед наступлением последнего выпускного экзамена по моему предмету он вдруг обращается ко мне с просьбой, не могу ли я допустить его до экзамена по догматическому богословию ранее дня, назначенного для других его товарищей, отдельно от них. Эта совершенно необычная просьба (обыкновенно просили об отсрочке) весьма меня удивила. С разрешения ректора он был допущен до экзамена и отвечал на все вопросы прекрасно, чем еще более меня удивил. Когда он был взят под стражу, тогда стало понятно, почему он спешил со сдачей экзаменов, желая, очевидно, поскорее быть свободным, чтобы предаться преступной своей деятельности. Эта весьма печальная история не имела, однако, ощутительных последствий для академического начальства и, в частности, для инспектора, вероятно, потому, что разыгралась в конце лета или в начале осени, когда виновник ее был уже окончившим академический курс и не находился в числе студентов, числясь профессорским стипендиатом. Нечего и говорить о том, как тяжело отозвалась она на самочувствии всей академии.

Преосв. Антоний (Вадковский), ректор академии (1887–1892). Сделавшись преемником Преосв. Арсения по ректуре, Преосв. Антоний остался таким же дружественным со своими сослуживцами, весьма симпатичным, благородным по характеру, каким он был как инспектор. В нем не было и тени неестественности или деланной

---

420 Обыкновенно оставляли при академии профессорскими стипендиатами двух лиц, на сей же раз, по настоянию одного из профессоров, присоединили к ним, к несчастью, еще третьего (Новорусского). Помнится, совет сделал это неохотно.

важности. Всю свою службу проведший в академической среде, он высоко ставил интересы академической науки и был широких взглядов, очень напоминая в этом отношении И. Л. Янышева, которому весьма во многом сочувствовал; это ясно было из частых с ним бесед. Как председатель совета вел заседания с тактом и заметным искусством, обнаруживая при этом по временам некоторую твердость характера, ограничивая, насколько возможно, начавшую уже укореняться беспорядочность прений. Между прочим, он обнаруживал редкую черту, свойственную только исключительно благородным характерам, именно способность сознаваться в своих ошибках и увлечениях. Раз, например, он горячо и резко настаивал, в одном из советских заседаний, на немедленной баллотировке одного кандидата на занятие академической кафедры (именно Е. П. Аквилонова); но совет, согласно установившейся практике не баллотировать в то же заседание, когда сделано предложение, а отлагать баллотировку до следующего заседания, воспротивился, и дело было отложено. В следующее заседание преосвященный ректор счел нужным торжественно извиниться перед советом в своей горячности и резкости. Другой был случай — в заседании правления, когда он позволил себе некоторую резкость в отношении ко мне (речь шла о дровах для академических зданий)[421]. И опять он не постеснялся признать себя неправым и извиниться передо мной (впрочем, немалое время спустя, когда я напомнил ему этот случай, во время его прощального визита по выходе его из академии). Слабая его сторона, как ректора, — это нелюбовь к занятиям по хозяйственной части, что он и сам сознавал. «Не люблю я, — сказал он как-то, — да и не понимаю хозяйства». От этой, вероятно, причины зависело, что он недостаточно изучал хозяйственные дела по правлению и не готовился к правленским заседаниям, так что иногда знакомился с делами в самом заседании[422]. Впрочем, и во всех

---

[421] Впрочем, под его выстрел подвел меня один из членов акад. администрации.

[422] Случалось, особенно в последние годы его ректорства, секретарь сходил со своего места, подходил к столу, где мы сидели во главе с ректором, и докладывал ему дела, так что раз один из членов правления заметил: «Кажется, заседания правления у нас превращаются в доклады секретаря ректору», — двойной намек

делах он не проявлял особенной энергии, и в этом отношении мало походил на протоиерея И. Л. Янышева. Во всяком случае, он был, однако, самым лучшим, наиболее уважаемым и любимым ректором за последний период моей академической службы. Его ректорство было поистине светлой полосой в истории академии этих двенадцати лет (1884–1896).

Отношение к студентам осталось у него, в сущности, прежнее, но, видимо, он поубавил своего оптимизма, да и отношения к нему студентов как-то покривились к концу его ректорства. Студенты даже начали подозревать его в поощрении шпионства, тяжело переживая разочарование в горячо любимом прежде инспекторе и ректоре. Особенно обнаружилось это по поводу одной, доселе не разъясненной истории[423]. Мне пришлось близко познакомиться с этим новым настроением студентов. Раз, весной, во время выпускных экзаменов, приходят ко мне два студента IV курса (Л-ий и Г-ий) и просят у меня совета, как держать себя в отношении к ректору и как на него смотреть. Заявляют, что душевное состояние студентов крайне тяжелое, что им не хотелось бы отказаться от прежнего взгляда на ректора, некогда горячо любимого и уважаемого. Рассказывают, что у них делается. Долго, несколько часов (с пяти до десяти часов вечера) мы беседовали. Я всячески успокаивал их и доказывал, что подозрения их совершенно неосновательны, что я прекрасно знаю Преосв. Антония, и что он совершенно не способен на то, в чем его подозревают, что тут чистое недоразумение. Ушли они от меня значительно успокоенные, и никакой студенческой вспышки не последовало. Обратились они ко мне, вероятно, потому, что я был одним из членов правления, ведавшего, по уставу 1884 г., дела по поведению студентов, и что в прежнее время в качестве помощника ректора по богословскому отделению заявил себя умиротворяющим образом действий (см. выше, по поводу одного экзамена). Это было к концу ректорства Преосв. Антония. Он оставил ректуру

и на неподготовленность ректора, и на проявление некоторой деспотической замашки. В последние годы его ректорства было заметно влияние на него (в малой, впрочем, степени) духа устава 1884 г.

423 Случилась покража всего столового старинного серебра (ложек и вилок) из студенческой столовой. Начались розыски и тяжкие подозрения...

в 1892 г., пользуясь почти таким же расположением студентов, как прежде. А корпорация академических преподавателей проводила его с большим и искренним сожалением. Совет немедленно возвел его в звание почетного члена академии.

Инспекторами во время ректорства Преосв. Антония были: и. д. инспектора, иеромонах, а потом инспектор, архимандрит Михаил (Грибановский, 1887–1889); временно и. д. инспектора, иеромонах Антоний (Храповицкий, 1889–1890); и. д. инспектора, иеромонах, а потом инспектор, архимандрит Михаил (Ермаков, 1890–1893).

Слишком много перемен для пятилетнего ректорства Преосв. Антония. Неудивительно поэтому, что главная тяжесть инспекции лежала на нем. О. Михаил (Грибановский)[424], один из самых лучших воспитанников нашей академии выпуска 1884 г., даровитый и симпатичный по характеру, пользовался расположением и уважением студентов. О. Антоний (Храповицкий)[425], также очень даровитый наш питомец выпуска 1885 г., был популярен между студентами, стоял очень близко к ним и располагал их к принятию монашества. О. Михаил (Ермаков), из воспитанников Киевской академии 1887 г.,

---

[424] Иером. Михаил (Грибановский), тамб., XLI к. Петрогр. акад. (1884), 1884 — канд., и.д. доцента по введ. в круг богосл. наук, 1887 — и.д. инспектора, 1888 — маг., доц., архим., инспект., 1890 — настоят. посольской ц. в Афинах, 1894 — еп. Прилук., 1895 — еп. Кашир., 1896 еп. Таврич.; † 1898, в Симферополе.

[425] Иером. Антоний (в мире — Алексей Павлович Храповицкий) из дворян, воспит. 5-й Петрогр. гимн., окончивший ее с золотой медалью, поступил в нашу академию в 1881 г., оконч. ее в 1885 г. Как студент богосл. отдел., отличался замечательной памятью, на экзаменах поражал точной передачей лекций и особенно текстов Св. Писания (гораздо лучше многих из воспитанников семинарии) и незаурядной способностью к философскому мышлению, редкой, в особенности для бывшего воспитанника гимназии. В 1885 — канд., проф. стипендиат, иером. и пом. инспект. Петрогр. акад., 1886 — препод. Холмской сем., 1887 — и.д. доц. Петрогр. акад., 1888 — маг. и доц., 1889 — и.д. инспект., 1890 — рект. Петрогр. сем., архим., рект. Моск. акад., 1895 — рект. Казан. акад., 1897 — еп. Чебоксар., 1899 — еп. Чистопольский, 1900 — еп. Уфимский, 1902 — еп. Волынский, 1906 — архиеп. и член Госуд. сов., 1911 — докт. богосл., 1912 — член Св. Синода, 1914 — архиеп. Харьковский.

кандидат ее[426], близко и крепко держался Преосв. Антония, веря в его звезду, в чем и не ошибся.

После Преосв. Антония (Вадковского) назначен был, в 1892 г., ректором архимандрит Борис (Плотников)[427], магистр Казанской академии (вып. 1880 г.), человек прекрасной души, благородного характера, заявивший себя немалым количеством печатных трудов. О нем Преосв. Антоний сказал нам, что его преемник будет «крепльший» его, разумея большую, чем его, научную компетентность архимандрита Бориса. К сожалению, новый ректор далеко не отличался ни крепостью физического здоровья, ни энергией и твердостью характера. Болезненный, очень вялый, довольно бесхарактерный, он был плохим председателем совета и правления. Заседания того и другого, в особенности правления, при отсутствии всякой к ним подготовки со стороны ректора, длились в бесконечность, правления — по пять и более часов (с 11, 12-ти часов дня до 5-ти часов вечера), совета — правда, не более обычного времени (от 6 часов до 9½ часов вечера), но это потому, что нельзя было их продолжить долее (в 10 часов вечера запирались ворота Лавры, через которую нам нужно было проходить для возвращения по домам); не будь этого обстоятельства, нам приходилось бы просиживать всю ночь, да и в таком случае едва ли успевали бы решить все дела, назначенные на заседание. При обсуждении советских дел неурядица царила страшная. Архимандрит

---

[426] Иером. Михаил (в мире — Василий Ермаков), урож. Петрограда, воспит. реального училища, канд. Киев. акад. (1887), 1887 — иером., препод. Киев. сем., 1888 — инспект. Орлов. сем., 1890 — и.д. инспект. Петрогр. акад., 1891 — архим. и инспект. сей акад., 1893 — ректор. Могилев., потом Волын. сем.; 1899 — еп. Новгород-Северский, а потом Ковенский, 1903 — еп. Омский, 1905 — еп. Гроднен., 1912 — архиеп.

[427] Архим. Борис (в мире — Владимир Владимирович Плотников), краснояр., сын столонач. Красноярск. дух. правления, канд. Казан. акад. (1880), 1880 — препод. Томской сем., 1884 — и.д. доцента Казан. акад. по метафизике, 1886 — иером., маг., архим., и.д. инспект. Моск. акад., 1888 — ректор. Киев. сем., 1892 — старш. член. СПб. дух. ценз. ком., потом — в том же году — ректор. Петрогр. акад., 1893 — настоят. ц. при российском посольстве в Константинополе, в 1899 — во второй раз ректор. Петрогр. акад. и еп. Ямбургский, 1901 — присутствующий в Св. Синоде и председ. Училищного совета при Св. Синоде; † 18 сент. 1901, в Гурзуфе, близ Ялты.

Борис пробыл ректором очень недолго, с небольшим один только год (с 30 октября 1892 г. по 13 декабря 1893 г.).

В довершение всех этих неурядиц, после архимандрита Михаила (Ермакова) и.д. инспектора назначен был иеромонах и вскоре архимандрит, утвержденный вскоре уже инспектором, Исидор (Колоколов), человек совсем не подходящий к этой должности. Из воспитанников Петроградской гимназии, далеко не лучший по успехам во время прохождения курса в нашей академии, выпущенный в 1891 г. по 2-му разряду кандидатом (под № 32), он отличался большей неупорядоченностью характера и даже поведения, но в то же время выдающейся бойкостью и показной деловитостью. По окончании академического курса, состоя на службе в Тифлисской семинарии, сначала (1891) преподавателем, а потом (1892) инспектором, он произвел сильное впечатление на тогдашнего Экзарха Грузии, Преосв. Палладия (Раева), был приближен к нему, а после перехода Преосв. Палладия на Петроградскую митрополию, по его настоянию был назначен (1893) и.д. инспектора нашей академии, несмотря, как слышно было, на сильные возражения в Св. Синоде против этого назначения[428].

Вскоре разыгралась в академии одна темная история, связанная с именем нового инспектора[429], начались сильные волнения студентов, с подачей ими заявления К. П. Победоносцеву, не коллективно, впрочем, а от имени каждого студента в отдельности, согласно полученному

[428] Иером. Исидор (в мире — Петр Колоколов), петрогр. урож.; воспит. Петрогр. гимн., канд. Петрогр. акад. (1891), иером. 1891 — препод. Тифлис. сем., 1892 — инспект. сей сем., 1893 — и.д. инспект. Петрогр. акад., архим., инспект., 1894 — управл. кавказ. миссионер. мон., 1896 — настоят. Никитского мон. Владим. еп., 1899 — наст. моск. Златоустова мон., 1902 — еп. Новгород-Северский, 1903 — еп. Балахнин., 1906 — еп. Михайлов., 1911 — управл. омск. Покровским мон., 1913 — освобожден от управл. сим монастырем, переведен на жительство в Вятскую еп., в Филейский мон., а потом — в Трифон. Успен. мон. той же епархии.

[429] В подробности не вхожу, так как, с одной стороны, они неудобны для передачи, а с другой — есть основание предполагать, что, быть может, о. Исидор, правда, виновный во многом, в том числе и в неосмотрительных поступках, был отчасти жертвой интриги со стороны одного из оканчивавших в том году студентов-монахов, мечтавшего занять его место (инспектора) и возбуждавшего своих товарищей против архим. Исидора.

ими от обер-прокурора дозволению. Архимандрит Исидор принужден был в том же 1893 г. оставить академию и снова воротился на Кавказ, где ему предоставлена была должность управляющего кавказским миссионерским монастырем, по предложению, без сомнения, митрополита Палладия, который продолжал верить в необыкновенные будто бы, миссионерские способности архимандрита Исидора.

Этот неудачный опыт с инспекторством о. Исидора (Колоколова) побудил митрополита Палладия поискать для поста инспектора академии кандидата в среде наличных ее профессоров. С этой целью он обратился прежде всего ко мне, как лицу давно и хорошо ему известному и, вдобавок, временно (по устронении от должности архимандрита Исидора) исполнявшему обязанности инспектора в качестве старшего тогда члена правления. Настойчиво убеждал меня принять должность инспектора, указывая, между прочим, материальные от нее выгоды; но я решительно отказался, причем позволил себе указать на двух своих сослуживцев, которые, по моему мнению, могли бы быть хорошими инспекторами, именно — на профессора И. С. Пальмова и профессора Н. В. Покровского. Особенно сочувственно принял митрополит Палладий кандидатуру первого (И. С. Пальмова), как хорошо ему известного по Рязани, где Преосв. Палладий был некогда епископом, и просил предложить инспекторство прежде всего ему, а если он откажется (как имел я основание думать, о чем и заявил митрополиту), то профессору Н. В. Покровскому. Так и случилось: И. С. Пальмов решительно отказался, а Н. В. Покровский принял предложение и был потом целых пять лет (1894–1899) хорошим, очень энергичным и во все академические дела вникавшим инспектором. А такой инспектор был как нельзя более кстати, особенно в то время, время частых смен ректоров и немалого нестроения академической жизни.

Преосв. Никандр (Молчанов)[430] — преемник ректора архимандрита Бориса (Плотникова), магистр Московской академии, москвич

430 Преосв. Никандр (в мире — Николай Дмитриевич Молчанов), моск., канд. Моск. акад. (1878), 1878 — препод. Тамбов. сем., 1884 — маг., 1885 — иером. и архим., ректор. Тамбов. сем., 1891 — еп. Нарвский, 1893 (с 13 нояб.) — ректор. Петрогр. акад., 1895 — еп. Симбир., 1904 — архиеп. Литов.; † 5 июня 1910, в Петрограде.

родом, один из наиболее даровитых ее питомцев (окончивший курс под № 3 по выпускному списку) — вполне оправдывал свою фамилию (Молчанов): был крайне сдержан, малообщителен, замкнут в себе, не лишен, однако, в известной степени приветливости в обращении. Как ректор он не был выдающимся в ту или другую сторону. Порядка и стройности в течении академических дел было при нем, правда, гораздо больше, чем при его предшественнике; тем не менее, он пользовался в академии весьма умеренным авторитетом. Видимо, преобладали у него интересы не научные, академические... В этом отношении он представлял значительное сходство с Преосв. Арсением (Брянцевым), но, как человек более умный и выдержанный, проявлял эту черту не так аляповато, как тот. Заметно было, что Преосв. Никандр очень считался с веяниями в высших синодальных сферах и к ним приноровлялся, что обнаружилось особенно ярко по следующему случаю.

По поводу упомянутой полемики, возникшей из-за диссертации Е. П. Аквилонова, мной составлена была статья: «О постановке трактата о Церкви в науке догматического богословия» («Церковный вестник», 1895, № 15–16), где в заключение выражена была мысль, что «пора бы, кажется, освободиться от исключительной заботы о раскольниках», не ставить себя под их цензуру и ждать, что они скажут о нас, а также — «отказаться от крайне подозрительной цензуры, оставить ее церкви римской папской, иезуитской». В виду такого заключения статьи я счел нужным, не подвергая ректора, как цензора «Церковного вестника», ответственности, представить статью на предварительное рассмотрение митрополита, о чем и предупредил преосвященного ректора. Митрополит Палладий одобрил статью и разрешил напечатать без всяких в ней изменений. Казалось бы, этим все и должно было кончиться, но не так было на самом деле. Получив от меня рукопись и выслушав мое заявление о решении митрополита, Преосв. Никандр сдал статью для набора, но когда получена была корректура для цензорской его подписи, он счел нужным отправить эту корректуру К. П. Победоносцеву, не говоря о том никому, ни мне, ни редактору «Ц.В.». Для чего это было нужно? Ответственность за статью всецело падала на митрополита, а никак не на него. К. П. Победоносцев, получив корректуру, пришел в сильное негодование, призвал к себе тогдашнего редактора «Церковного

вестника» профессора А. П. Лопухина, очень порицал заключение статьи, говорил: «Для чего проф. Катанский прибавил это заключение? и без него можно было бы обойтись». А когда узнал, что статья печатается по рассмотрении и с одобрения митрополита, в раздражении заметил: «Ну, пусть он (Катанский) что хочет печатает». На ту же тему, то есть о слишком большом внимании нашего церковного правительства к мнениям и толкам раскольников, говорил в весьма резких выражениях в заседании Св. Синода тогдашний архиепископ Финляндский Антоний (Вадковский), бывший наш ректор.

Все это дело по поводу диссертации Е. П. Аквилонова кончилось указом Св. Синода (от 4 февраля 1895 г.), в котором «отклонялось ходатайство об утверждении Аквилонова в степени магистра», «оставлялось без последствий и заявление пр. Костромского (Виссариона) об исправлении существующего в нашем правосл. катехизисе определения Церкви»[431], — согласно с рассмотренным и одобренным

[431] Вот это новое, составленное Преосв. Виссарионом на основании диссертации Аквилонова, определение, как оно изложено в указе Св. Синода: «Церковь есть от Бога установленное общество человеков, соединенных в земной жизни православною верою, законом Божиим, священноначалием и таинствами и находящихся под единым Главою Господом Иисусом Христом в союзе с ангелами и скончавшимися в истинной вере и святости человеками». Это определение представляется мне довольно удачным. В нем удержаны все элементы катехизического определения и добавлены мысли о тесной связи Церкви земной с небесною (против протестантов) и о Главе Церкви — Иисусе Христе (против папистов). К сожалению, критики диссертации не заметили этих очень ценных, проводимых в ней мыслей, а обратили внимание исключительно на ее действительно многочисленные недостатки, сознаваемые и мною, и зависевшие от склада ума даровитого автора, более блестящего оратора и бойкого публициста, чем строгого ученого. Он рожден был, чтобы быть более прекрасным, даже выдающимся пастырем, чем кабинетным ученым. Почему, замечу кстати, я очень неохотно давал свое согласие как на избрание его на академическую кафедру, так и на непосильную, как мне казалось, для него тему. Несколько раз заставлял его переделывать представляемую им рукопись, и все-таки в конце концов сочинение оказалось совершенно не в моем вкусе. Для противников митр. Палладия оно было чистою находкою. Торжество их выразилось в выше упомянутом указе Св. Синода. Мы удивлялись, почему Преосв. Сильвестр, давший, впрочем, умеренно критический отзыв, не отклонил единоличного (не от имени Св. Синода), как слышно было, предложения В. К. Саблера рассмотреть это сочинение. Его отзыв, вместе с отзывом Моск. митр. Сергия (Ляпидевского),

этим преосвященным сочинением Аквилонова, — предписывались некоторые правила относительно сочинений на ученые степени и прилагались отзывы митрополита Московского (Сергия Ляпидевского) и Преосв. Сильвестра, ректора Киевской академии, содержащие критику диссертации Аквилонова.

Преосв. Никандр был у нас ректором менее двух лет (с 13 декабря 1893 г. по 23 августа 1895 г.). Проводили мы его без особенного сожаления. Почетным членом академии он был избран через пять лет, в 1900 г., одновременно с его преемником — Преосв. Иоанном (Кратировым), только что оставившим (в 1899 г.) академическую ректуру.

Преемник Преосв. Никандра — Преосв. Иоанн (Кратиров)[432] — из елисаветградских викариев, магистр также Московской академии, был человек прекрасной души, весьма добродушный и общительный, уже довольно пожилой, не отличался твердостью характера, значительного авторитета в научном отношении не имел. Он был некогда моим слушателем в Московской академии (1864), весьма, впрочем,

---

приложен к указу Св. Синода. Таким образом, Преосв. Виссарион пострадал вместе с нами из-за диссертации Аквилонова. Зато академия была благодарна Преосв. Виссариону (некогда в мире — прот. В. П. Нечаеву, бывшему редактору-издателю «Душеполезного чтения») за его истинно просвещенное отношение к диссертации, что и выразилось избранием его в следующем же 1896 г. в почетные члены нашей академии. Замечательно, что Преосв. Никандр, далеко не лишенный тонкости ума, никак не ожидал, чтобы разыгралась такая история с диссертацией Аквилонова. Когда она печаталась и печатание приходило к концу, в это время печаталась другая диссертация — Ф. Калугина «Литерат. труды Зиновия, инока Отенского». Преосв. Никандр как-то в разговоре заметил: «Диссертация Аквилонова меня нисколько не беспокоит, она, конечно, пройдет, а вот диссертация Калугина — дело другое; она очень меня тревожит». Вышло же на деле как раз наоборот. Тем страннее последующее его малодушие, по поводу моей статьи, направленной в защиту диссертации.

432 Преосв. Иоанн (в мире — Иван Александрович Кратиров), вологод., сын протоиерея, маг. Моск. акад. (1864)., 1864 — препод. Вологод. сем., 1866 — Яросл. сем., 1871 — секр. сов. и правл. Моск. акад., 1883 — прот. и рект. Харьков. сем., 1884 — редакт. журн. «Вера и Разум», 1893 — монах, архим. и еп. Сумский, 1895 — еп. Елисаветград., 1895 (23 авг.) — еп. Нарвский и рект. Петрогр. акад., 1899 (16 янв.) — еп. Саратов., 1903 — уволен на покой, с назначением его членом Моск. синод. конторы и управл. моск. Симоновым мон.; † 1909, 13 февр.

недолгое время, в первое полугодие этого года, в самый первый год моей службы. Новый ректор встретил меня словами: «А, А.Л., ведь я ваш ученик, да еще не из лучших». Окончил он курс 9-м магистром. Академические дела шли при нем так же, но не хуже, чем при его предшественниках, то есть не особенно складно. При этом ректоре, в 1896 г., я оставил службу при родной академии, так что в лице Преосв. Иоанна начало моей службы сочеталось с концом.

Преосв. Иоанн пробыл ректором более трех лет (с 23 августа 1895 по 16 января 1899 г.). Как сказано выше, в следующем же году, 1900-м, он избран был в почетные члены академии, в чем, без сомнения, выразилось расположение и любовь к благодушному и добродушному бывшему ректору.

Состав преподавателей с 1884 по 1896 г. В этот период времени от разных причин произошло много перемен в составе преподавателей, главным образом — от частой смены административных лиц, в особенности инспекторов академии, а также от усиленного выхода в отставку старых профессоров и от некоторых других причин.

Частая смена ректоров прямо и непосредственно не отразилась на судьбе академических кафедр, так как ректоры академий по уставу 1884 г. не занимали штатных кафедр, а им было предоставлено право читать лекции, но не более двух в неделю, по какому угодно предмету, имеющему штатного преподавателя. В описываемое время они читали лекции по следующим предметам: Преосв. Антоний (Вадковский) — по истории проповедничества, архимандрит Борис (Плотников) — по общей церковной истории, Преосв. Никандр (Молчанов) — по Св. Писанию, Преосв. Иоанн (Кратиров) — по пастырскому богословию (впрочем, хорошо не помню). Таким образом, эти были как бы своего рода приват-доценты. Других, настоящих приват-доцентов предшествующего периода (1869–1884) не было; их не полагалось по новому уставу. Взамен же их явились исправляющие должность доцента кандидаты, на штатных кафедрах. Это были почти, но не совсем прежние приват-доценты, состоявшие при штатных профессорах их помощниками по чтению какого-либо отдела науки, а потом нередко их сменявшие в качестве их преемников. Теперешние же и. д. доцента прямо делались штатными преподавателями и закрывали

дорогу другим кандидатам на штатного преподавателя. Удачный или не совсем удачный выбор и. д. доцента решал на много лет судьбу известной кафедры. Нельзя не пожалеть уничтожения прежней приват-доцентуры. Итак, частая смена ректоров не отражалась прямо и ощутительно на судьбе академических кафедр. Иное дело — еще более частая перемена инспекторов, занимавших штатные кафедры. Тут сильно пострадал один из предметов, именно Св. Писание Ветхого Завета. В течение двенадцати лет (1884–1896) переменилось шесть преподавателей этого предмета, именно: экстраординарный профессор архимандрит Антоний (Вадковский; с 1885 до 1887 г.), и. д. доцента и потом доцент иеромонах Антоний (Храповицкий; с 1887 до 1890 г.), и. д. доцента иеромонах, потом архимандрит Михаил (Ермаков; с 1890 до 1893 г.), и. д. доцента иеромонах Сергий (Страгородский; с 1893-го, менее года, в том же году он — уже и. д. инспектора Московской академии)[433], и. д. доцента иеромонах, потом архимандрит Исидор (Колоколов; в 1893-м, также менее года, несколько месяцев) и наконец, с 25 февраля 1894 г. — кандидат, и. д. доцента, в 1896-м — магистр и доцент А. П. Рождественский, потом долголетний профессор, занимающий эту кафедру и доселе. Им и закончились испытания этой многострадальной кафедры.

Другая кафедра Св. Писания — Нового Завета — была гораздо счастливее. После отставки профессора протоиерея В. Г. Рождественского в 1891 г., в том же году ее занял в звании доцента магистр Московской академии Н. Н. Глубоковский, также долголетний потом профессор, доселе состоящий преподавателем этого предмета.

Зато это время, в особенности годы 1885–1893, были самым блестящим временем для ученого монашества, когда во главе его стояли такие выдающиеся личности, как два Антония, которых мы, в отличие их, называли великим и малым («великий» — это ректор

---

[433] Иером. Сергий (Страгородский), Нижег. сем., 1-й по выпуск. списку канд. Петрогр. акад. (1890), 1890 — монах, член Японской дух. миссии, 1893 — и. д. доц. Петрогр. акад., в том же году — и. д. инспект. Моск. акад., 1894 — настоят. посольской ц. в Афинах, 1895 — маг. (по присужд. Моск. акад.), 1897 — пом. нач. Японской миссии, 1899 — рект. Петрогр. сем., затем — в том же году — инспект. Петрогр. акад., 1901 — рект. той же академии, еп. Ямбург., 1905 — архиеп. Финлянд., 1911 — член Св. Синода.

Антоний (Вадковский), малый — Антоний (Храповицкий)), Михаил (Грибановский) и Сергий (Страгородский).

Другими причинами перемен в личном составе преподавателей были: кончина некоторых из них и усиленный выход в отставку других, благодаря, главным образом, возвышению пенсий до размера университетских (см. об этом далее).

Вышли из состава преподавателей: четыре ординарных профессора, четыре экстраординарных и один и. д. доцента. Именно: ординарные профессоры М. О. Коялович († 1891 г., 23 августа), И. Ф. Нильский († 1894 г., 11 августа), М. И. Каринский (1894), Е. И. Ловягин (1895); экстраординарные профессоры А. Е. Светилин (1884), А. И. Предтеченский (1885), Ник. И. Барсов (1889), протоиерей В. Г. Рождественский (1891); и. д. доцента Н. Г. Дебольский (1887). Сверх того, с переходом ректора Преосв. Арсения, преподавателя нравственного богословия, на положение нештатного, в 1884 г. осталась вакантной штатная кафедра этого предмета.

Их заменили: по нравственному богословию — доцент магистр Ф. А. Тихомиров (до 1894 г.) и потом, по выходе его в отставку, — доцент магистр А. А. Бронзов.

По Св. Писанию Нового Завета преемником протоиерея В. Г. Рождественского был с 1891 г., как сказано выше, доцент магистр Н. Н. Глубоковский.

По Св. Писанию Ветхого Завета преемником архимандрита Исидора был с 1893 г., как замечено выше, и. д. доцента А. П. Рождественский.

По введению в круг богословских наук — архимандрит Михаил (Грибановский), а с 1890 г. — и. д. доцента Е. П. Аквилонов.

Группа философских предметов получила также новых преподавателей — в лице и. д. доцента В. С. Серебреникова (преемника А. Е. Светилина), и. д. доцента Д. П. Миртова (преемника М. И. Каринского), и и. д. доцента А. П. Высокоостровского (преемника Н. Г. Дебольского).

По истории и обличению русского раскола — и. д. доцента П. С. Смирнов (преемник И. Ф. Нильского).

По русской гражданской истории — доцент, магистр П. Н. Жукович (преемник М. О. Кояловича).

По гомилетике — и. д. доцента Н. К. Никольский (преемник Ник. И. Барсова).

По общей гражданской истории — доцент магистр А. П. Лопухин (преемник А. И. Предтеченского), перешедший со сравнительного богословия, исключенного из программы по уставу 1884 г., на этот предмет.

По греческому языку — преемник Е. И. Ловягина, с 1896 г., и. д. доцента священник М. И. Орлов.

Сверх того, при нашей академии учреждена была совершенно новая кафедра «Истории славянских Церквей», сначала, с 1885 г., в качестве нештатной, а с 1887 г. — штатной. На эту кафедру избран был сначала в звании преподавателя, а потом штатного доцента и экстраординарного профессора магистр И. С. Пальмов, большой любитель и знаток западного славянства. Долго шли хлопоты и переговоры по поводу учреждения этой кафедры; хлопотал о ней в особенности М. О. Коялович — перед К. П. Победоносцевым, то подававшим ему надежды, то снова впадавшим в раздумье.

По новым языкам явились также новые лекторы: по французскому языку — И. И. Фоснахт (с 1886) и по английскому — А. И. Михайловский (с 1888, вместо г. Нурока) и его преемник Ч. В. Гудлет (с 1893).

Таким образом, за 12 лет переменилось всего (с лекторами) 24 преподавателя: 6 по Св. Писанию Ветхого Завета, 15 по другим предметам и 3 лектора.

Из числа этих новых моих сослуживцев огромное большинство до сих пор служат в родной академии, имеют уже высшие ученые степени и звания и являются почтенными профессорами, достойными заместителями своих предшественников. Перечислю их в порядке старшинства по окончанию академического курса в нашей академии; все они ее питомцы (кроме одного, Н. Н. Глубоковского).

I. Иван Саввич Пальмов, рязан. уроженец (1880 — год окончания академического курса), с 1904 г. — доктор церковной истории, ныне сверхштатный заслуженный ординарный профессор, член Академии наук. II. Платон Николаевич Жукович, литовск. (1881), с 1901 г. — доктор церковной истории, сверхштатный заслуженный ординарный профессор. III. Феофан Алексеевич Тихомиров, новгор. (1883), с 1891 г. — экстраординарный профессор, в 1894 г.

оставил службу при академии, даровитый преподаватель, страдал косноязычием: этот недостаток побудил его оставить академическую службу. IV. Александр Александрович Бронзов, новгор. (1883), с 1901 г. — доктор богословия, ныне сверхштатный заслуженный ординарный профессор. V. Архимандрит Михаил (Грибановский), тамбов. (1884), магистр 1888 г., инспектор (см. выше). VI. Александр Павлович Высокоостровский, новгор. (1885), даровитый преподаватель, долго, около 13-ти лет, как не имевший степени магистра, был и. д. доцента; с 1909 г. — секретарь совета. VII. Протоиерей Тимофей Александрович Налимов, петрогр. (1886), магистр 1890 г., в 1896 г. — экстраординарный профессор, с 1906 г. — в отставке; в 1909 г. был избран баллотировкой совета в ректоры Петроградской академии, но не получил утверждения. VIII. Протоиерей Евгений Петрович Аквилонов, тамбов. (1886), с 1905 г. — доктор богословия, ординарный профессор, скончался протопресвитером военного духовенства. IX. Виталий Степанович Серебреников, вятск. (1886), с 1909 г. — доктор богословия и ординарный профессор, ныне заслуженный ординарный профессор. X. Николай Константинович Никольский, петрогр. (1887), с 1899 г. — доктор церковной истории и ординарный профессор, член Академии наук; в 1906 г. оставил службу при академии. XI. Петр Семенович Смирнов, рязан. (1887); с 1909 г. — доктор церковной истории и ординарный профессор. XII. Николай Никанорович Глубоковский, вологод. (1889), питомец Московской академии; с 1898 г. — доктор богословия и ординарный профессор, член-корреспондент Академии наук. XIII. Протоиерей Михаил Иванович Орлов, новгор. (1889), с 1908 г. — доктор богословия и ординарный профессор. XIV. Протоиерей Александр Петрович Рождественский, псков. (1890), с 1911 г. — доктор богословия и ординарный профессор. XV. Димитрий Павлович Миртов, рязан. (1891), с 1915 г. — доктор богословия и ординарный профессор. Достойно примечания время окончания всеми этими почтенными, ныне старейшими профессорами[434], академического курса — в десятилетие

[434] Не приводим полного их «curriculum vitae». Желающих ознакомиться с подробностями их движения по службе отсылаем к «Памятным книжкам Петроградской духовной академии», ежегодно издаваемым академией, начиная с 1887 г., со времени ректорства Преосв. Антония (Вадковского), которому она

от 1880 до 1890 г. Не сказалось ли здесь несколько действие прежней, не совсем еще выдохшейся, закваски?.. Просим читателей обратить внимание на отмеченное (год, указанный в скобках) время окончания поименованными лицами академического курса.

Лекторы новых языков.

Французского — Иван Иванович Фоснахт, уроженец Швейцарии, с 1886 г. заменил скончавшегося А. И. Тепфера (преемника с 1881 г. А. И. Поповицкого).

Английского — Алексей Иванович Михайловский, кандидат Киевской академии, был лектором в нашей академии с 1888 до 1893 г. Замечательна его судьба: он был псаломщиком нашей русской церкви в Нью-Йорке (1876–1879), лектором английского языка в Киевской академии (1879–1888), потом — в нашей (1888–1893), перешел в Казанскую академию (1893); в Казани, по слухам, он убит революционерами в смутное время 1905–1906 гг. — Его преемником с 1893 г. состоит англичанин, уроженец Петрограда, Чарльз Вильям Гудлет, воспитанник Петроградского коммерческого училища, сын одного из старых его воспитателей.

Из преподавателей прежнего времени осталось 15 человек, именно: И. Е. Троицкий (история и разбор западных вероисповеданий, взамен сравнительного богословия, исключенного из программы), А. Л. Катанский (догматическое богословие), Ф. Г. Елеонский (библейская история), Т. В. Барсов (церковное право), протоиерей П. Ф. Николаевский (русская церковная история), протоиерей С. А. Соллертинский (пастырское богословие и педагогика), Н. А. Скабаланович (новая общая гражданская история), Н. В. Покровский (церковная археология), А. И. Пономарев (словесность), А. И. Садов (латинский язык), А. П. Лопухин (древняя общая гражданская история). В. В. Болотов (общая церковная история). И. Г. Троицкий (библейская археология и еврейский язык), преподаватель В. И. Ламанский (русский язык и церковнославянский) и лектор Л. П. Размусен (немецкий язык).

одолжена этим очень полезным нововведением. Преосв. Антоний ввел эти книжки у нас в практику, по примеру Казанской академии, где они практиковались во время его службы в Казани.

Остался также и (важное в научной жизни академии лицо) — прежний библиотекарь ее, А. С. Родосский[435], старый служака, кандидат нашей академии XXVI курса (1865), преемник П. Ф. Комарова, но наследовавший дух не его, а его предшественника, незабвенного Л. П. Размусена. А. С. Родосский был библиотекарем 32 года (1876–1908) и много содействовал умножению книжного академического богатства, водворению в библиотеке образцового порядка и устройству ее в новом помещении. Вообще, он был прекрасный библиотекарь, знаток книг и истории родной академии. Весьма ценным памятником обширных его знаний по этой части явился под конец его жизни труд, достойно увенчанной премией Академии наук: «Биографический словарь»[436].

В итоге оказывается — сильно изменился состав академических преподавателей, обновился: явились 24 новых, и 15 остались от прежнего времени.

Докторские и магистерские диссертации. И в отношении научно-литературной производительности этот 12-летний период (1884–1896) сильно отстал от предшествующего 14-летнего (1869–1884): явилось гораздо менее диссертаций на ученые степени доктора и магистра.

Докторской степени удостоены пять лиц: 1) в 1888 г. — экстраординарный профессор Тим. В. Барсов, за сочинение «Константинопольский патриарх и его власть над Русской Церковью» (СПб., 1876) — степени доктора церковного права, «согласно заключению пр. митр. московского» (Иоанникия), как сказано в указе Св. Синода (31 декабря 1888 г.)[437]; 2) в 1889 г. — степени

[435] Алексей Степанович Родосский, рязан., 32-й канд. XXVI к. СПб. акад. (1865), 1865 — инспект. и учит. Кобрин. дух. учил., 1869 — и.д. смотр. сего учил., 1870 — пом. библиотекаря акад., 1876 — библиотекарь акад., † 1908.

[436] «Биографический словарь студентов первых XXVIII курсов С.-Петербургской духовной академии (1814–1869). К столетию С.-Петербургской духовной академии». СПб., 1907.

[437] Тим.В. Барсов удостоен степ. доктора церк. права через 10 лет после появления его диссертации (1878–1888), так как она рассматривалась

доктора богословия — Преосв. Феофан (Говоров), бывший епископ Владимирский, известный подвижник Вышенский, замечательный богослов, — по представлению совета Петроградской академии, «за замечательные и многочисленные богословские сочинения»[438], как сказано в указе Св. Синода (27 января 1890 г.); 3) в 1892 г. — степени доктора церковной истории — экстраординарный профессор Н. В. Покровский, за сочинение «Евангелие в памятниках иконографии, преимущественно византийских и русских» (СПб., 1892); 4) в 1896 г. — степени доктора церковной истории — экстраординарный профессор А. И. Садов, за сочинение «Древнехристианский писатель Лактанций» (СПб., 1895); 5) в 1896 г. — степени доктора церковной истории — экстраординарный профессор В. В. Болотов, за совокупность «выдающихся по достоинствам ученых работ в области церковно-исторической науки».

Нельзя не признать очень удачным дозволением, по уставу 1884 г., присуждать степень доктора не только богословия (как было по уставу 1869 г.), но и церковной истории и церковного права.

Кроме этих пяти докторов намечались еще два докторства: экстраординарных профессоров Ник. И. Барсова и С. А. Соллертинского, но докторство первого не состоялось вследствие неблагоприятного отзыва о его диссертации, а докторство второго (С. А. Соллертинского) по некоторым обстоятельствам очень замедлилось; степень доктора богословия получена им в 1899 г. (через 10 лет после представления диссертации в 1889 г.) за сочинение «Пастырство Христа Спасителя» (СПб., 1889).

Магистерских диссертаций явилось 17. Степени магистра богословия удостоены следующие лица: 1) 1889 — М. И. Савваитский — за сочинение «Исход израильтян из Египта», 2) 1889 — священник

во всех, кажется, наших четырех академиях. Произнести окончательный, и притом благоприятный, относительно ее приговор взял на себя митр. Иоанникий, бывший наш ректор, во время нашего с Т. В. Барсовым студенчества (см. гл. III моих «Воспоминаний»). — Выше, при перечислении преподавателей за время 1869–1884 гг. Тим.В. Барсов ошибочно назван доктором богословия.

438 Здесь я должен исправить неточность, выше мной допущенную, относительно первого случая присуждения докторской степени за совокупность ученых трудов. Первым таким лицом был не проф. В. В. Болотов, а Преосв. Феофан (Говоров).

Арсений Рождественский (ныне протоиерей, настоятель посольской церкви в Вене) — за сочинение «Южно-русский штундизм», 3) 1890 — Т. А. Налимов — «Вопрос о папской власти на Констанцском соборе», 4) 1890 — В. Н. Самуилов — «История арианства на латинском западе (357–430)», 5) 1890 — В. Лебедев — «Славянский перевод кн. И. Навина в сохранившихся рукописях и Острожской Библии», 6) 1892 — В. С. Серебреников — «Учение Локка о прирожденных душе человека началах знания и деятельности, на основании истор. критич. исследований установленное и с точки зрения Христианского учения об образе Божием рассмотренное», 7) 1893 — Н. К. Никольский — «О литературных трудах митр. Климента Смолятича, писателя XII в.», 8) 1893 — И. Соколов — «Церковная реформа императора Иосифа II», 9) 1894 — С. Г. Рункевич — «История Минской архиепископии», 10) 1894 — Е. П. Аквилонов — «Церковь. Научные определения Церкви и апостольское учение о ней как о теле Христовом»[439], 11) 1894 — Ф. Г. Калугин — «Литературные труды Зиновия, инока Отенского», 12) 1895 — А. П. Рождественский — «Откровение Даниилу о семидесяти седминах. Опыт толкования 24–27 стихов IX главы книги пророка Даниила», 13) 1896 — И. Е. Евсеев — «Книга пророка Исайи в древнеславянском переводе», 14) 1896 — А. В. Петровский — «Литургии апостолов Иакова, Фаддея, Мария и евангелиста Марка», 15) 1896 — М. С. Пальмов[440] — «Идолопоклонство у древних евреев», 16) 1896 — Аф. Ярушевич — «Ревнитель православия князь Константин Иванович Острожский и православная Русь в его время», 17) 1898 — А. И. Бриллиантов — «Влияние восточного богословия на западное в произведениях Иоанна Скотта Эригены»

---

[439] Впрочем, Е. П. Аквилонов удостоен был степени магистра только в 1896 г. за новое сочинение «Новозаветное учение о Церкви. Опыт догматического исследования» (1896), представляющее переделку вышеупомянутого, послужившего предметом пререканий, как мы видели выше.

[440] М. С. Пальмов окончил курс академии в 1883 г. Диссертация тогда же была им подана, затем долго обрабатывалась и только в 1896 г. напечатана и защищена. Какая, однако, настойчивость у студентов прежних отделений. Кстати, г. Пальмов, родной брат проф. И. С. Пальмова, принадлежал к богословскому отделению, и его можно было бы причислить к магистрам предшествующего «Янышевского» периода, через что цифра 15 увеличилась бы на 1.

(эту диссертацию присоединяем потому, что она одобрена и принята на соискание степени магистра в 1895 г.).

Таким образом, степени доктора за 12-летний период (1884–1896) удостоено было пять лиц, при трех диссертациях (две были — honoris causa), или шесть (при четырех диссертациях, если включить сюда С. А. Соллертинского, представившего диссертацию в 1889 г., удостоенного степени доктора богословия в 1899 г.). В предшествующем, 14-летнем периоде (1869–1884) было девять докторских диссертаций.

На степень магистра написали 17 человек, а в предшествующем периоде — 35[441]. Если даже к этим 17-ти диссертациям прибавить из прежних 7, формально прошедших после 1884 г. (1884–1888) и причисленных нами к предшествующему времени, — хотя бы половину, 3–4 диссертации, то и в этом случае получится цифра 20, 21 против 32, 31.

Эти красноречивые цифры вполне оправдывают замечание профессора протоиерея П. И. Лепорского (см. выше), что упразднение специальностей, произведенное уставом 1884 г., «гибельно отразилось на богословской мысли и ученой продуктивности питомцев академии».

Почему-то, как замечено выше, отменено было защищение докторских диссертаций на публичных диспутах. Последними докторскими диспутами в нашей академии были диспуты Н. А. Скабалановича и Ф. Г. Елеонского (26 и 28 мая 1884 г.). Хотя новый устав 1884 г. был утвержден 20 апреля, но к этому времени он еще не вошел в действие, а потому диссертации упомянутых лиц прошли еще по прежнему порядку. Публичность ученых прений почти совсем изгнана была в уставе 1884 г. и при защищении магистерских диссертаций. Публичные магистерские диспуты были заменены «коллоквиумами» в присутствии совета и «приглашаемых советом лиц» (§136 устава). Все это сделано по антипатии к прежнему, толстовскому, уставу. Впрочем, что касается магистерских коллоквиумов, в нашей по крайней мере академии, то они сохранили прежний вид и характер — вполне публичных диспутов: приходили и допускались на них все,

---

[441] Выше показано 34, потому что пропущена диссертация Д. В. Цветаева.

кому было угодно, не исключая дам. Не знаем, как было в других академиях. Наверное известно только, что в Киевской академии они превратились в чисто интимные заседания совета в квартире ректора (?!). Вот это корректно, совершенно в духе устава 1884 г. Мы были несравненно менее легальны — вероятно, благодаря большой терпимости к нашим немощам приснопамятного митрополита Исидора (до 1893 г. бывшего Петроградским митрополитом). Другие, старые наши иерархи не терпели публичности с аплодисментами и выражениями сочувствия и интереса к богословским прениям, забывая, что было в святоотеческой древности, в золотые века христианства, когда горячо спорили везде и всюду о религиозных предметах и когда аплодисменты раздавались даже в храмах, как во времена св. Иоанна Златоуста (чего, впрочем, не одобрял этот великий святитель и чего, конечно, одобрить нельзя). Идеалом наших старых иерархов было наше русское старое, но не совсем доброе время, когда духовные академии сидели тихо в своих углах, мало знаемые обществом и совсем для него неинтересные. В эти-то глухие углы и старались снова забить их своеобразные ревнители духовного просвещения...

Совет и правление Петроградской академии (1884–1896). По новому уставу совет уже не разделялся на общий и частный, а представал одно нераздельное целое. Как он жил и действовал, достаточно видно из вышесказанного о ректорах того времени. В состав правления вошли все бывшие помощники ректора по учебной части, деканы покойных отделений: Е. И. Ловягин, М. О. Коялович, А. Л. Катанский, а после кончины М. О. Кояловича и выхода в отставку Е. М. Ловягина — Тим. В. Барсов и Н. А. Скабаланович. Эти члены правления обыкновенно председательствовали в экзаменационных комиссиях. Это несколько напоминало прежние времена, когда они делали то же самое в качестве помощников ректора, но теперь они уже не играли такой роли, как прежде. Теперь они имели мало отношений к студентам и мало их знали, знакомились с ними только на экзаменах и вообще не были уже, как прежде, в курсе студенческих занятий и настроений.

Официальное, да и неофициальное только, положение этих 3-х членов правления понизилось не только в правлении, но и в совете,

а положение инспектора повысилось. Прежде (1869–1884) инспектор уступал помощникам ректора в своем значении, шел уже за ними, почему и в официальных бумагах подписывался после них. Теперь же он, встав выше их, занял их место и сделался как бы единственным помощником ректора; его подпись следовала уже непосредственно после ректорской, хотя иногда он был только исполняющим должность доцента, кандидатом богословия, но зато — архимандритом. Словом, и здесь стало очень заметно возвращение к порядкам старого дореформенного (до 1869 г.) времени.

Классные занятия преподавателей академии и студентов. Преподавание предметов академического курса изменило свой характер: специализация начала уступать тому характеру чтений, который они имели до устава 1869 г. и который хорошо памятен нам, старым питомцам академии дореформенного периода. Всего лучше можно это видеть на конкретном примере преподавания догматического богословия. Как мы видели, по уставу 1869 г., догматическое богословие полагалось «с историческим изложением догматов». Устав 1884 г. уничтожил эту характерную прибавку и через то заставил изменить прежнюю постановку чтений по этому предмету, когда, как мы видели выше, они распадались на три рода параллельных лекций: 1) по системе догматического богословия и по историческому изложению догматов периодов 2) библейского и 3) святоотеческого, церковного. Такой порядок находил опору не только в упомянутом параграфе устава, но и в том, что догматическое богословие было отделенским предметом. Его слушали только студенты богословского отделения, освобожденные от слушания многих других предметов, входивших в состав курса других отделений. Через это давалась возможность для широкой постановки чтений, для специализации предмета. То же было и со многими другими отделенскими предметами. Теперь же, с 1884 г., с уничтожением отделений, студенты должны были слушать чтение по массе предметов, почти по всем предметам академического курса, и потому было невозможно давать своим чтениям прежнюю широкую постановку. Что касается меня, то были у меня попытки возвратиться к прежней манере чтений. Так, в один год я читал, вместе с догматическим богословием, историческое

изложение догматических данных в Св. Писании, в другой год — историю догматического раскрытия учения о Св. Троице в период святоотеческий, в третий год — о Лице Иисуса Христа и о благодати Божией, в тот же период. Но потом должен был отказаться от этого метода и ограничиться одной системой догматического богословия, сузиться, бросить специальные курсы. К тому направляли: весь дух устава 1884 г. и положительное требование особого указа Св. Синода о выполнении всей программы каждого предмета, не ограничиваясь некоторыми только его отделами. Уничтожение приват-доцентуры в академиях (приват-доцентам поручалось чтение некоторых отделов) было ярким выражением нерасположения устава к специализации академического преподавания и было логическим последствием заложенных в уставе принципов. Что было со мною, то, нет сомнения, было и с другими моими коллегами. Помнится, громко раздавался ропот, что с новым уставом академическое преподавание сводится к повторению семинарской программы, и в этом, к сожалению, была очень значительная доля правды.

Что касается студентов, то и их, видимо, менее прежнего начали интересовать лекции преподавателей. Мало-помалу слушание лекций отходило на второй план, аудитории начинали пустовать; случалось, количество слушателей у профессора ограничивалось тремя-пятью человеками. Охотников повторения семинарских курсов, с некоторыми дополнениями к ним, оказывалось немного. А к тому же лекций по многочисленным предметам расширившегося академического курса набиралось очень много; аккуратное посещение всех лекций, даже при добром желании, было делом трудным, далеко не для всех посильным. При таком положении вещей составление сочинений, наиболее ценимых, начало сосредоточивать преимущественно внимание студентов. Чтобы поднять значение классных их занятий, побудить к посещению лекций, придумывались разные меры; между прочим, старались определить удельный вес баллов по экзаменским устным ответам и по сочинениям, так, чтобы не уронить значения первых и не слишком повысить вес последних. В этих видах, при выводе общего балла из тех и других, была принята система, выработанная профессором В. В. Болотовым, обладавшим большими математическими способностями, в числе многих других, отличавших этого замечательного человека. Обыкновенно, по окончании экзаменов,

он вместе с профессором Т. А. Налимовым занимался сводом или, лучше сказать, проверкой свода (сделанного канцелярией) баллов экзаменских и по сочинениям. Но, как ни ухищрялись они сделать так, чтобы «и овцы были целы, и волки сыты», сила вещей, однако, брала своё, и было очень заметно, что дело клонится к восстановлению дореформенного (до 1869 г.) склада академической учебной жизни: лекции и их слушание, а вместе с тем отчасти (впрочем, только отчасти, не то что в наше студенческое время) и экзаменские испытания отходили на второй план. Профессорам с грустью приходилось в том убеждаться и менее, чем прежде, посвящать внимания классным занятиям, а более — ученым и литературным. Тогда пишущему эти строки чаще и чаще стали приходить на память слова моих коллег по Московской академии, при вступлении моем на должность бакалавра, чтобы я «не особенно заботился о составлении и отделке лекций, так как лекции у них в академии не пользуются вниманием студентов, — а изучал предмет для себя». Тогда я полон был сил и непочатой энергии и не послушался, а теперь... очень поубавилось того и другого, и потому, каюсь, последние годы моей службы мало занимался лекциями, посвящая больше времени ученым и литературным занятиям.

Академические издания. «Христианское чтение» и «Церковный вестник» переживали также трудное время.

В 1888 г., с основанием вполне официального органа Св. Синода — «Церковных ведомостей», с обязательной для всех наших православных церквей в России подпиской, отошла от «Церковного вестника» официальная часть, что сопровождалась падением подписки на академические издания («Церковный вестник» и «Христианское чтение»). Подписка упала до двух тысяч, вместо прежних шести-семи тысяч. К этому присоединился редакторский кризис: в 1893 г., через 8 лет (1885–1893) редакторства профессора Н. А. Скабалановича, мой преемник, опытный публицист, должен был оставить редактирование «Церковного вестника». Случилось это так: помещена была в «Церковном вестнике» относительно военно-учебных заведений заметка, возбудившая неудовольствие военно-учебного начальства. Принесена была начальником военно-учебных заведений митрополиту

Палладию жалоба на «Ц.В.», и митрополит, не отличавшийся стойкостью, да к тому же очень впечатлительный, счел себя вынужденным уволить редактора. Будь в это время митрополит Исидор, он, без сомнения, успокоил бы генерала словами, например, вроде следующих: «Что вы, генерал, так волнуетесь; мало ли о чем пишут в газетах, успокойтесь; вот я сделаю внушение редактору», и тем бы все кончилось.

К счастью, преемником Н.А Скабалановича явился человек выдающихся публицистических способностей, изумительной энергии и инициативы. Он не только спас академические издания («Ц.В.» и «Хр. Чтен.»), соединенные[442] под его редакцией, от казавшегося неизбежным краха, но и поднял их на прежнюю высоту, усилил подписку, благодаря главным образом задуманному им изданию перевода на русский язык полного собрания творений св. Иоанна Златоуста, — в виде ежегодных премий (по 1 книге) подписчикам академических изданий. Результат был поразительный; постепенно повышаясь, подписка на «Церковный вестник», ко дню 25-летнего его юбилея в 1899 г., достигла до 7200 с лишком экземпляров!

Несмотря на мой отказ (в 1885 г.) от редактирования «Церковного вестника», мое увлечение публицистикой продолжалось все время моей службы в родной академии, вплоть до отставки, и даже некоторое время после нее, года два-три. Я был одним из самых деятельных сотрудников «Церковного вестника», поместил в нем много, в особенности передовых, и других статей[443] и вел в нем постоянные отделы,

---

442 До 1891 г. продолжал редактирование «Христ. чтения» проф. И.Е. Троицкий; с 1891 по 1893 г. — проф. А.И. Садов.

443 Из этих статей можно упомянуть. За 1885 г.: «Св. Синод в первые годы своего существования» (№ 7); «Газетные сетования на нашу высшую иерархию» (№ 9); «Первый день Воскресения Христова» (№ 13); «О пенсиях по духовно-учебному ведомству» (№ 16); «Существующий способ вознаграждения духовенства» (№ 21); «Религиозно-образовательные потребности нашей Церкви» (№ 25–26); «О знаках наших ученых степеней» (№ 33). За 1886 г.: «Вопрос о времени учреждения Церкви и иерархии» (№ 9–10); «О Церкви и церковном устройстве — по поводу нового изд. г. Елагина: чего надо желать нашей Церкви» (№ 21–24, 27–30). За 1887 г.: «О пенсиях по духовно-учебному ведомству» (№ 5–8). За 1888 г.: «О перемещениях в среде нашей высшей иерархии» (№ 5); «Восточный вопрос как вопрос о будущем торжестве

именно — обозрения журнальных статей — сначала (до 1888 г.) светских журналов, а потом (до 1897 г.) — духовных.

Из моих статей за это время памятны мне, по особым причинам, следующие.

В статьях о наших «духовно-учебных пенсиях» и «знаках наших ученых степеней» для докторов богословия и магистров, не имеющих священного сана, я явился до некоторой степени инициатором по части возбуждения этих вопросов и деятельным соучастником в их решении. О статьях относительно увеличения наших духовно-учебных пенсий сказано будет далее. Что же касается статьи о знаках наших степеней, то дело было так. В 80–90-х годах очень распространился обычай во всех высших светских учебных заведениях разных ведомств отмечать лиц, имеющих ученые степени, особыми знаками; решительно все носили эти знаки: военные, медики, технологи и т. д.; только мы, духовные, лишены были этой чести. Желая исправить этот недочет, я и задумал написать упомянутую статью;

православия над латинством и протестантством» (№ 12); «Новая иезуитская махинация по поводу книги г. Ливанского, изд. за границей» (№ 14); «Христос Спаситель, истинный Мессия» (№ 17). За 1889 г.: «Православное и рим., катол. понятие о Церкви — по поводу изд. загран. соч. о Церкви» (№ 7–8); «Нечто о систематической фальсификации учения о Церкви у папистов» (№ 7); «Кто искажает истину» (№ 8); «О наших переводах отеческих творений и нашем духовном просвещении» (№ 10); «Устройство вселенской Церкви, данное ей соборами, и разрушение его в папстве» (№ 11); «О междуцерковном единении православного Востока» (№ 17); «Свидетельство протестантства об истинности православия — по поводу соч. Размышление одного протестанта» (№ 19); «Сравнение православия и протестантства в пунктах взаимного их разногласия» (№ 20). За 1890 г.: «О представителях наших церковных интересов за границею» (№ 22). За 1891 г.: «Широкое понимание наших религиозно-образовательных потребностей» (№ 10); «Обозрение евангельских повествований о страданиях и крестной смерти Спасителя» (№ 16); «О современном русском монашестве и его нуждах — по поводу изд. г. Елагина» (№ 19–20). За 1892 г.: «Старокатолический вопрос для православного Востока» (№ 46). За 1893 г.: в «Христианском чтении»: «Об исхождении Св. Духа, по поводу старокатолического вопроса». В 1894 г.: «О научно-богословских отделениях Церкви» («Ц.В.», № 42). В 1895 г.: «О постановке трактата о Церкви в науке догматического богословия» (№ 15–16); «О Главе Церкви Иисусе Христе и Духе Св. Параклите» (№ 18). За 1897 г.: «Древнерусский приход» (№ 31–32). За 1898 г.: «Высокая церковь в англиканстве» (№ 19–22).

напечатал ее как раз перед 30 августа 1885 г.; не без расчета, что, быть может, она возбудит толки среди нашей высшей иерархии, собиравшейся по случаю праздника (св. Александра Невского) на обычном в этот день обеде у митрополита Исидора, куда приглашались и мы, профессоры академии (впрочем, одни только ординарные). Так оно и случилось, синодальные власти поговорили об этом предмете и склонились к положительному решению вопроса о наших ученых знаках. Об этом сделалось нам известно, и наш тогдашний ректор, Преосв. Арсений (Брянцев) уже мог смело возбудить в совете (31 октября 1885 г.) ходатайство перед Св. Синодом о даровании особых нагрудных знаков для докторов и магистров богословия, не имеющих священного сана, ссылаясь и на мою статью в «Церковном вестнике» и на особый, приложенный мой письменный по сему делу доклад. Св. Синод весьма благосклонно отнесся к ходатайству совета и 5 декабря 1885 г. указом своим предписал совету Петроградской академии «озаботиться составлением проекта рисунков нагрудных знаков для доктора и магистра богословия». Образована была комиссия — из ординарного профессора А. Л. Катанского и экстраординарного профессора Н. В. Покровского, для составления проекта рисунков нагрудных знаков. Первый, однако, наш проект рисунков, приближавший наши знаки к университетским, был забракован Св. Синодом, и, по указанию Св. Синода, выработаны были ныне существующие рисунки. Большое участие в деле выработки рисунков принимал профессор Н. В. Покровский.

Статья «о перемещениях в среде нашей высшей иерархии» (Ц. В., 1887, № 5) была довольно щекотливого свойства. Она состояла из исторических справок и была направлена против практиковавшегося и доселе еще, к сожалению, сохранившегося обычая переводить наших епископов с одной кафедры на другую, и не могла нравиться иерархам. Вдобавок, она написана была как раз в то время, когда «Церковный вестник» только что подчинен был ректорской цензуре; до того времени он был бесцензурным. Моя статья должна была быть напечатана в качестве передовой, в первом номере, подлежавшем цензорской подписи тогдашнего ректора, Преосв. Антония (Вадковского). В виду щекотливости темы мне пришлось предварительно переговорить с Преосв. Антонием, но, к приятному для меня удивлению, он не нашел никаких препятствий к ее напечатанию

и прямо заявил, что он вполне со мной согласен. Такой исход этого дела едва ли был бы возможен при его предшественнике, Преосв. Арсении (Брянцеве). По напечатании статьи никаких замечаний и выговоров ни мне, ни цензору не последовало; наши иерархи, может быть, про себя и поворчали, но благоразумно промолчали. Не раз приходилось мне напоминать Преосв. Антонию, что он остался верен выраженному им мнению, так как до своего назначения на Петроградскую митрополию (что допускалось и древней церковной практикой — избрания на столичную кафедру из епископов других городов) он был епископом только одного города — Выборга, сначала как епископ Выборгский, викарий Петроградской митрополии, а потом как архиепископ Финляндский и Выборгский.

Статья в «Христианском чтении» (1893) «Об исхождении Св. Духа, по поводу старокатолического вопроса» обязана своим происхождением следующим обстоятельствам. В конце 1892 г., в декабре, по настоянию протопресвитера И. Л. Янышева перед Государем Императором Александром III назначена была Св. Синодом, по Высочайшему повелению, «комиссия для предварительного выяснения условий, какие могли бы быть положены в основу переговоров о соединении старокатоликов с православной русской церковью». В эту комиссию, под председательством архиепископа Финляндского Антония, входили: протопресвитер И. Л. Янышев, протоиерей И. А. Смирнов (председатель Духовно-учебного комитета при Св. Синоде), протоиерей И. А. Лебедев (член Духовно-учебного комитета), протоиерей Алекс. А. Лебедев (настоятель Казанского собора), профессоры И. Е. Троицкий, А. Л. Катанский и В. В. Болотов (он же и делопроизводитель комиссии). Сюда же примыкали, не состоя членами комиссии, но усердно ее посещая: генерал А. А. Киреев — в качестве любителя и В. К. Саблер. Среди занятий комиссии и в частной беседе (раз вечером, втроем, у Преосв. Антония) выяснилась совершенная разность взглядов моих и В. В. Болотова на учение древних святых отцов об исхождении Св. Духа. С целью развития и оправдания моего взгляда я и напечатал мою статью и, таким образом сдержал обещание, данное мной моему достопочтенному оппоненту в пылу спора.

Статьи «Церковного вестника» о Церкви («О научно-богословских определениях Церкви», 1894; «О постановке трактата о Церкви

в науке догматического богословия» и «О Главе Церкви Иисусе Христе и Духе Св. Параклите», 1895) вызваны были историей по поводу Аквилоновской диссертации. Никто не вынуждал меня выступать на ее защиту, но я считал нравственной своей обязанностью и побуждался внутренней своей потребностью выяснить сущность догматического понятия о Церкви в отличие от церковно-исторического, канонического и т. п. и устранить массу являющихся отсюда недоразумений. Эти статьи «Церковного вестника» о Церкви, вместе со статьей в «Христианском чтении» об исхождении Св. Духа, являются последними в период моей профессорской службы опытами самостоятельного моего богословствования — по образцу и в духе древних святых отцов Церкви, а не по руководству западных схоластических, преимущественно римско-католических систем, и если представляют некоторую ценность, то этим они обязаны единственно влиянию святоотеческих творений на их автора.

Двукратная поездка за границу. В 1886 и 1887 годах пришлось мне, вместе с женой, совершить две поездки за границу для поправления расстроенного здоровья. Докторами назначены были нам Карлсбадские воды. Два года подряд мы должны были выдержать 4-недельный курс лечения. Обе поездки были очень полезны не только в смысле поправления здоровья, но и во многих других отношениях.

В первую поездку в Карлсбад, через Берлин и Дрезден, в 1886 г. мы были поражены чрезвычайными переменами в благоустройстве Берлина. За двадцать лет, протекших после нашей свадебной поездки в 1866 г. и затем в 1867 г., Берлина нельзя было узнать; из захудалого города (гораздо хуже Петрограда), каким он был в 1866–67 гг., он превратился, благодаря миллиардам французской контрибуции, в великолепную столицу Германии. Дрезден (расстояние от Берлина, в скором поезде, — всего 3 часа!), сравнительно с Берлином, оказался тихим, провинциальным городом, вроде Твери сравнительно с Москвой. В Дрездене, где мы остановились дня на два, совершенно неожиданно (в вестибюле гостиницы, где мы остановились) столкнулись с Я. Е. Смирновым, бывшим приват-доцентом нашей академии, а тогда настоятелем нашей Дрезденской посольской церкви. Радушно

им принятые в его квартире, осмотрели нашу небольшую, но изящную церковь и при ней фруктовый сад, где зрели великолепные груши-дюшес. Посетили затем знаменитую Дрезденскую картинную галерею с картиною Богоматери, Рафаэля (Сикстинская Мадонна), осмотрели и другие замечательности Дрездена и отправились в Карлсбад (8 часов езды от Дрездена). Здесь мы встречены были нашим русским священником Н. П. Апраксиным и псаломщиком Н. В. Поташевым, которые и были нашими руководителями в новом месте, на чужбине. Они составляли причт нашей православной церкви собственно в городе Праге, но на лето обыкновенно переезжали в Карлсбад для русских посетителей карлсбадских вод.

Русская церковь в Карлсбаде, помещавшаяся тогда в частном доме (теперь выстроено отдельное здание — с куполами, в виде обыкновенной красивой русской церкви), в отдаленной, невидной части этого городка, производила впечатление очень скромной. Вдобавок, дом был прислонен к скале, из которой просачивалась вода, отчего была страшная сырость в нижнем этаже дома, где была квартира священника и псаломщика; верхний этаж был занят церковью. Карлсбад, небольшой городок, расположенный в узкой долине по очень маленькой речке Тепле (чешское название это — от горячих источников, в нее стекающих) и окруженный живописными, покрытыми лесом горами, представляет как бы одну обширную гостиницу: все дома на лето сдаются под помещения для больных. Сам по себе городок не представляет ничего интересного, и если что разнообразит монотонную в нем жизнь, то только толпы стекающихся туда для лечения лиц всевозможных национальностей Европы, да прогулки по окрестным городам. Коренные жители Карлсбада, чехи, далеко не играют в городе первенствующей роли, уступая место немцам и занимая низшие должности (прислуги, извозчиков, почтальонов и т. п.). Эта низшая братия очень расположена к русским, но не она дает тон жизни.

По окончании лечения мы с женой решились предпринять поездку в Париж, чтобы еще, и вероятно, в последний раз, посетить место ее родины. Ехали с 15 июля через Баварию, Вюртемберг, Баден, мимо Вюрцбурга, Гейдельберга и Страсбурга. Несмотря на очень раннее утро (4 часа), успели осмотреть знаменитый Страсбургский собор. Пользуюсь сохранившимся дневником (единственный раз в жизни

вел дневник, — только при заграничном путешествии, в этом и следующем году), в котором значится следующее. Из Страсбурга дорога идет по Эльзасу, прорезанному Вогезскими горами. Вогезы покрыты пихтами и изредка соснами; иногда встречаются и жиденькие березки. Бесчисленное множество туннелей; поезд постоянно прорезывает горы. В долинах Парижский канал, покрытый барками, и великолепно содержимый. За последними Вогезами идет Лотарингия; тянется тот же Парижский канал, обсаженный тополями. Местность покрыта полями пшеницы и др.

Мы очень жалели, что все это досталось немцам. Начиная с Аврикура (французской границы), местность изменилась (впрочем, не очень), а главное — изменился характер и построек и всего, что видишь: чувствуется, что это подлинно «la belle France». Но французский народ стал как-то грубоватее прежнего; например, не стало прежней вежливости у кондукторов, и они какие-то замарашки. По приезде в Париж такое впечатление усилилось, благодаря таможенному осмотру, очень придирчивому и грубому. Мы приписали это тому обстоятельству, что поезд шел из Страсбурга... и что у нас искали контрабанды (Страсбургского пирога).

Невыгодное впечатление от тогдашнего Парижа усилилось еще более на другой день, когда, поселившись в известной тогда и пропагандируемой в газетах гостинице Веретенникова[444], встали утром и посмотрели на улицу (небольшой переулок, близкий, однако, к центральным улицам): и увидели на мостовой массу не убранного за ночь мусора (что делалось прежде разъезжавшими ночью по всему Парижу телегами). Затем оказалось, что и весь Париж, не в глухих только переулках, но и центральных улицах, потерял прежнюю идеальную чистоту времен Наполеона III.

Первым делом отправились, конечно, в центр русской колонии, rue de la Croix (потом называлось «rue Daru», а теперь «rue Pierre le Grand»), где находится наша русская церковь и церковные при ней дома, посетили родные места и членов нашего причта, в том числе настоятеля протоиерея В. А. Прилежаева (преемника о. И. В. Васильева) и другого священника, родного дядю жены,

[444] Оттуда переселились потом в меблированные комнаты на бульваре Capucins.

протоиерея Д. В. Васильева. Прожили в Париже целых 25 дней (16 июля — 10 августа), чаще всего посещали русскую церковь, где наслаждались пением прекрасного хора из артистов французского театра (этот хор так хорош, что впору лучшему Петроградскому приходскому хору), несколько раз были в Клюни, в Люксембургском музее, в церкви Инвалидов, много раз осматривали Лувр, влезали на arc de Triomphe, Трокадеро (где с башни видели весь Париж), монмартское кладбище, кладбище Pere Lachaise, полное великолепных памятников знаменитым людям и писателям Франции (Лафонтену, Корнелю, Расину и многим другим, до Араго и Тьера включительно), были в знаменитой Grand Opera, в Булонском лесу, ездили и по Сене на пароходе, и по подземной круговой дороге (Circulaire), посещали Jardin d'Acclimatation des Plantes, были в доме русского посольства (rue de Frenelle). Самыми интересными были посещения Notre Dame, Сорбонны, дома Инвалидов.

По случаю 15 августа (нового стиля), дня Успения Божией Матери, национального церковного праздника, отправился я в Notre Dame. Проезжая на трамвае мимо места, где стоял разрушенный теперь Тюльерийский дворец (от него не осталось ни одного камня), спрашиваю соседа француза, будет ли восстановлено когда-нибудь это здание, — «jamais» (никогда) — получаю сердитый отрывистый ответ. «Почему же?» — «А потому что, — отвечает мой собеседник, — заведи-ка клетку, появится и птица». В соборе служил в этот день только что назначенный парижский архиепископ Ришар — из парижских викариев. Таков обычай римской Церкви, викариями назначаются обыкновенно будущие преемники епархиальных епископов, и в этом случае нельзя не отдать предпочтения порядкам этой Церкви перед нашими переводами епископов с одной кафедры на другую. Едва ли не тогда именно зародилась у меня мысль написать вышеупомянутую статью: «О перемещениях в среде нашей высшей иерархии». Архиерейское служение в парижском кафедральном соборе показалось мне хотя торжественным, но менее великолепным, чем наше, в особенности в частях (церемониях), относящихся к особе священнодействующего епископа. По окончании литургии, когда архиепископ проходил для разоблачения в ризницу, он поразил меня изысканной любезностью к лицам, подходившим под его благословение, поклонами и заискивающими (так мне показалось) улыбками. Точно он

благодарил сравнительно немногочисленных, для многомиллионного города, посетителей кафедрального храма столицы, в день главного церковного ее праздника. Народа было сравнительно немного, церковь далеко не была полна, так что поневоле пришла на ум мысль об упадке религиозности во Франции, по крайней мере в Париже.

Большой интерес имело для меня посещение Сорбонны, очень старинного здания, представляющего темное четырехугольное строение с небольшим посередине двориком, выложенным плитами. Вместе со светскими студентами тут расхаживали и несколько молодых аббатов. Долго искал я аудиторий, наконец, нашел их, и они оказались очень скромными, чтобы не сказать больше, — гораздо хуже наших академических. В это время лекции не читались, а шли экзамены; на один из них именно по философии, на факультете l'ecole des hautes sciences, я попал. Заседание было не в аудитории, а в одном из верхних зал, далеко неказистом, с низким потолком и очень скромно обставленном. Экзаменовала комиссия из трех профессоров (как у нас); студенты отвечали сидя и со свойственными французам ораторскими приемами и красноречием; ответ одного студента был так продолжителен, что я не дождался его окончания.

Посещение дома Инвалидов, с осмотром помещений его обитателей и церкви с гробницей Наполеона I, памятен разговором с сопровождавшим нас сторожем. Спрашиваю, где похоронен Наполеон III. «Его здесь нет, здесь только Наполеон I», — получил сердитый ответ. «Где же Наполеон III?» Ответа не последовало. По правде сказать, эти вопросы мной были заданы с лукавой целью — немножко побесить француза за крымскую, севастопольскую войну[445].

В следующем, 1887-м, году мы, по совету докторов, повторили поездку в Карлсбад.

И на этот раз мы пользовались гостеприимством о. Н. П. Апраксина и его супруги, и вместе с ними, да еще

[445] Об этой войне я разговорился раз, сидя в Тюльерийском саду, с двумя французскими оборванцами, бывшими в эту войну солдатами. Когда они узнали, что я русский, то заявили, что они очень любят и уважают русских. «Зачем же вы в таком случае воевали с нами?» — спрашиваю. — «Это ведь всё — Наполеон III, мы совсем не хотели воевать». В заключение собеседники, конечно, попросили у меня donner quelque chose. Так. обр., этот разговор обошелся мне в несколько су.

с несколькими другими соотечественниками, с которыми познакомились во время обычных посещений квартиры священника после богослужений, совершали частые прогулки по живописным окрестностям этого курорта. В записной книжке, сохранившейся от этой поездки, значится мало общеинтересного. Отмечены только: замена несчастного псаломщика Н. В. Поташева (заболевшего душевной болезнью и отправленного в больницу в Петроград) диаконом Н. М. Рудневым (на вакансии псаломщика), племянником митрополита Иоанникия (Руднева), затем — исполнение мной обязанности старосты вместо отсутствовавшего какого-то аристократа, числившегося в этой должности. Интересны крайне скудные сборы во время церковных служб: например, накануне тамошнего праздника свв. апостолов Петра и Павла собрано было всего только 1 гульден. «Народу было крайне мало», — значится в записной книжке. Подробно описывается приезд в Карлсбад австрийской крон-принцессы Стефании, супруги несчастного Рудольфа; видной, довольно красивой собою. После описания украшений города, почти исключительно еловыми ветками (и дешево, и красиво) замечено: «Порядок во время встречи принцессы охранялся гражданами, которые исполняли обязанности и войска, и полицейских, и пожарных: разные портные, торговцы, сапожники нарядились в военные костюмы и маршировали по городу». Из этих же чехов — сапожников, портных и т. п. — нужно заметить, составлен был о. Н. П. Апраксиным и церковный хор (человек семь). Про одного такого певчего сапожника о. Апр-н рассказывал, что он отличался своеобразным гонором: отказался, например, шить башмаки горничной, объявив, что он сшил бы их для барыни, но никак не для прислуги. Много забавных рассказов посвящено в записной книжке самовару, привезенному нами в подарок квартирной хозяйке нашего карлсбадского помещения[446]. Забыл

[446] Наш самовар произвел огромную сенсацию как среди немцев и чехов, так и наших соотечественников, русских, евреев и поляков, живших в одном с нами доме. Первые рассматривали его с крайним любопытством, как вещь, никогда ими не виданную, называя его — «русский локомотив», последние глядели на нас с завистью, желали познакомиться с нами именно из-за самовара и даже взбунтовались против хозяйки: почему, дескать, им не дают самовара, когда мы пьем из него на виду у всех — в садовой беседке при доме.

сказать, что оба года мы жили в одной из самых лучших улиц — Паркштрассе, как раз против еврейской синагоги, великолепного здания, с превосходным кантором, могущим поспорить с лучшим оперным певцом. Эта синагога постоянно стояла у нас перед глазами, точно для контраста с нашей бедной церковью.

Из Карлсбада мы не отправились прямо домой, а поехали в Прагу и Вену.

Прага положительно очаровала нас. Мы никак не ожидали, чтобы она была таким великолепным городом, с таким прекрасным местоположением и очень красивыми зданиями, с сильным промышленно-торговым движением, напоминая во многом, и в этом последнем и в других отношениях, Москву. В Праге есть и своего рода Кремль — «Градчаны». Это довольно возвышенная гора, стоящая только не посередине, как московский Кремль, а сбоку города. С Градчан открывается также обширный вид на Прагу; здесь сосредоточены исторические памятники чешской старины, как увидим далее. В довершение сходства, у подножия Градчан протекает и река — Молдава, или Волдава. Через реку перекинут великолепный мост, — уже не чета московским, ведущим в Замоскворечье (черта отличия), обставленный многочисленными, изящной работы статуями, между прочим, и статуей «Непомука».

Обозрение Градчан мы и начали с этого места. От него идет дорога в гору между домами. На половине горы — дом главного воинского начальника, а на вершине — огромный дворец и рядом — дом архиепископа. Во дворце видели две великолепные громадные залы — испанскую и столовую; первая освещается тысячью свечей, вторая — тремя тысячами. Затем полюбовались на возобновляемый тогда величественный собор св. Витта, долженствующий, по его отстройке, соперничать с готическими церквами Запада. Самым интересным было посещение старой залы «ландстага», из окна которого три советника были некогда выброшены в ров, что послужило, как нам говорили наши спутники-чехи, поводом к 30-летней войне; затем видели большую Владиславову «залу присяги» и залу «старого сейма», причем спускались в тюрьму старой башни. Эти чешские древности, хотя несколько напоминали московские, кремлевские, но, конечно, наш московский Кремль неизмеримо превосходит чешские Градчаны.

В «Вышеграде», помещающемся на соседнем с Градчанами, менее высоком холме, посетили кладбищенскую церковь и здесь имели случай слышать, вместо нашего чтения псалтири по покойникам, оригинальное, заунывное пение, речитативом, каких-то стихов хором старушек и стариков, над телом только что скончавшегося «пробоща» (протоиерея).

Немало замечательного мы видели в Праге, благодаря знакомым о. Апраксина чехам (в особенности г. Блажею), которым заранее было дано знать о нашем туда приезде. Посетили ратушу с картиной Гуса на суде — внутри ее, а снаружи — знаменитыми астрономическими часами: с фигурами апостолов, Спасителя, смерти и человека с мешком и палкой, — фигурами, выходящими каждый час в известной процессии. Вблизи ратуши находится наша русская православная церковь. Она представляет большое здание, к сожалению, совсем не напоминающее по своей архитектуре нашей русской церкви. Это бывший римско-католический монастырь, арендованный нашим правительством на 30 лет. Побывали в чешском, богатом древностями музее, где видели знаменитую Клaредворскую рукопись. Осматривали прекрасный чешский театр, выстроенный на народные деньги, что и выражено в соответствующей надписи, и многое другое.

В Праге очень заметно сочувствие чехов к России и всему русскому. Так, в некоторых ресторанах мы встретили: в одном (Chodera) прекрасную копию с картины Маковского «Боярская свадьба», а в другом (Slavia) — русские газеты, в том числе «Новое время», «Ниву». Не говорим уже о том, какой радостью озарялись лица чехов, когда они узнавали, что мы русские. С другой стороны, и нам было крайне приятно на каждом шагу встречать признаки близкого родства этих западных славян с нами в некоторых словах, например, в счете: один, два, тщи (единственное отличие от нашего «три»), четыре, пять и т. д. до десяти[447], или встречать надписи на улицах: улица такая-то, дивадло (театр), лекарна (аптека) и т. д. Профессор А. С. Будилович, которому на обратном пути через Варшаву мы выразили удивление, что чехи не хотят употреблять таких слов, как

[447] Этот счет, слышанный мной в одной из булочных из уст продавщицы-чешки, привел меня даже в умиление; точно я был в это время у себя в России.

общепринятые (например, аптека), заметил: чехи необыкновенно оберегают чистоту своего языка, а потому переделывают на славянский лад даже наименования наук, как, например, «арифметика», называя ее «счетня». Вот у кого, подумал я, поучиться бы нашей пишущей и профессорствующей братии, любящей щеголять выражениями, заимствованными из иностранных языков.

Вообще, Прага поразила нас очень высокой культурой, притом чисто славянского типа. Кроме того, посещение ее имело для меня лично большое значение: оно заставило меня войти, так сказать, во вкус западного славянства. Прежде интерес к нему у меня отсутствовал. Только побывав в Праге, я почувствовал справедливость упрека, сделанного мне некогда В. К. Саблером, когда я был редактором «Церковного вестника», что я слишком мало обращаю внимание на западных славян. Этот упрек выражен был в присланной мне записке.

Из Праги проехали в Вену, где прожили десять дней. Здесь прежде всего отправились в нашу церковь, увы!, поразившую нас своим убожеством. Начать с того, что она помещалась в одной из невидных улиц (Wallfischgasse), в частном доме. Нельзя было и подозревать того, что в этом доме находится храм Божий: над входом с улицы в этом доме висел сапог (?!). Церковь помещалась в верхнем этаже и имела вид очень небогатой домовой церкви[448]. Был воскресный день; народа было довольно; певчие чехи и из других славян пели громко, но не совсем стройно. Весь причт был давно мне знакомый. Настоятель протоиерей А. В. Николаевский, мой земляк, близкий ко мне еще со времени моего студенчества (см. III гл. моих «Воспоминаний»), заместитель также нашего земляка, протоиерея М. Ф. Раевского[449]

---

[448] Ныне выстроено особое здание, на земле, принадлежавшей нашему посольству, — в виде прекрасной церкви русского типа. В предварительных хлопотах об ее устройстве мне пришлось принять некоторое участие. По просьбе о. прот. А. В. Николаевского я составил записку тогдашнему послу в Вене.

[449] Прот. М. Ф. Раевский, нижегор., 34-й канд. X к. СПб. акад. (1833), 1834–1846 — свящ. в Стокгольме, 1846–1884 — прот. в Вене; † 1884. Он доставлял много хлопот и австрийскому правительству, и нашему министерству иностранных дел, почему, после его кончины, последнее хлопотало о назначении в Вену настоятеля нашей церкви «попроще». Выбор пал на свящ. Ревельской церкви о. А. В. Николаевского.

(известного общественного деятеля, горячего и искусного защитника интересов западных православных славян), был также очень достойный пастырь, хотя и совсем в другом роде, чем его предшественник. Весьма представительной наружности, о. Николаевский производил сильное впечатление образцовым совершением богослужения, а как человек был редких душевных качеств. Остальные члены причта также были хорошо мне известны, как воспитанники нашей академии: псаломщики — К. Я. Силецкий (владим., канд. 1880 г.) и А. Ф. Скуратович (минск., канд. 1881 г.); был и диакон, кажется, питомец Московской академии (но его фамилию забыл). Здесь же, в церкви, после богослужения мы познакомились с почтенным Ф. И. Успенским, тогда профессором Одесского университета, потом директором Археологического института в Константинополе, ныне член Академии наук.

Под руководством этих лиц, в особенности о. протоиерея А. В. Николаевского, начался осмотр достопримечательностей Вены и ее окрестностей.

Начали с церкви св. Стефана, кафедрального венского собора. Посетили его 15 августа нового стиля. Это был день Успения Божией Матери. Было архиепископское служение. Что больше всего поразило нас, это присутствие в церкви полного музыкального оркестра со скрипками, виолончелями, барабанами и прочими принадлежностями оркестра, — до зеленых абажуров перед музыкантами включительно, как в театрах. Оркестр исполнял среди богослужения разные музыкальные, чисто оперные пьесы. Еще одна особенность: собор св. Стефана представлял тогда (не знаю, как теперь) проходное здание, служащее, между прочим, для сообщения двух улиц: нередко можно было видеть проходящую через него с покупками прислугу и других лиц. Вообще, религиозности в Вене мы заметили еще менее, чем в Париже в прошлогоднее посещение парижского кафедрального собора Notre Dame, в тот же Успеньев день.

Много мы путешествовали по Вене и ее окрестностям: по старой Вене (где находится церковь св. Стефана и где жили мы вблизи ее, на Грабене), с ее темными зданиями и узкими улицами, и по новой Вене, с ее широкими проспектами и новейшего характера роскошными постройками, со знаменитым Рингом, где расположены самые красивые, даже великолепные здания: музеев (тогда только

отстраивавшихся), парламента, ратуши, университета, изящной, точно в кружевах, Votivkirche и др. Посетили церковь капуцинов, где похоронены австрийские императоры и их семейства, с довольно вычурными, но производящими сильное впечатление памятниками, затем — Амбразское собрание, рядом с Бельведером и в связи с ним. В первом находятся рыцарские вооружения и древности римские и египетские (замечательны мумии людей и крокодилов). Бельведер садом напоминает Версаль, а картинными галереями и залами — Парижский Лувр, но гораздо беднее последнего картинами. Самая замечательная из них: Ecce homo — Тициана.

Были и в окрестностях Вены, между прочим — в Шенбрюнне, где находится дворец и прелестный парк. В парке замечательно, в особенности, одно место: это площадь, образуемая полукругом посаженными и весьма искусно подстриженными деревьями; между ними, как бы в нишах, поставлены 20 статуй, по 10 на каждой стороне. Были, конечно, в Пратере и в народному саду (Volksgarten), где находится «храм Тезея» с дивной статуей Кановы «Тезей, побеждающий кентавра». Ездили и по зубчатой железной дороге на Каленберг, и по электрической, в окрестности Вены (между прочим, на дачу протоиерея Николаевского), в Родуан (в 35-ти минутах езды от Вены), причем заметили, что венские дачи обставлены чисто по-городскому, не то что наши петроградские, с убогой мебелью.

Но, в общем, Вена мало нам понравилась. От нее отдавало какой-то довольно противной микстурой приторно-сладковато-горьковатого вкуса, чувствовалось смешение самых разнородных элементов: славянского с немецко-мадьярским и еврейско-польским.

Воротились домой через Варшаву, где встретились с А. С. Будиловичем, тогда профессором Варшавского университета, деканом филологического факультета. Под его руководством осмотрели Варшаву, которая показалась нам очень красивым городом, но почти совсем не русским. Если бы не городовые, да часто встречавшиеся офицеры и солдаты (кстати, очень бравый народ), можно было бы подумать, что находишься еще за границей.

В Вильне остановились, чтобы осмотреть этот древний город, да заодно навестить и бывшего моего по Московской академии сослуживца, некогда экстраординарного профессора ее, А. Ф. Лаврова, а тогда — Виленского архиепископа Алексия. Его мы нашли

на архиерейской даче, вблизи города. Принял нас крайне любезно, радушно. Вспоминали старое — посадское — время. В Вильне, кроме посещения Святодуховского монастыря с духовной семинарией, православного собора с тремя виленскими мучениками, в нем почивающими, поклонения древней Остробрамской иконе Божией Матери, нам удалось видеть странствование католиков по страстям Господним, с нарочито устроенными около города станциями этих страстей, по римско-католическому обычаю. Вильна совсем нам не понравилась, показалась довольно грязным, еврейским городом. Чтобы составить о ней другое мнение, нужно было, вероятно, пожить в ней подолее, а не два-три дня, как привелось нам. Люди, долго в ней жившие, как, например, мой друг и товарищ профессор Ф. Г. Елеонский, отзывались о ней иначе.

25-летний мой юбилей. В следующем, после моей заграничной поездки, 1888 году исполнилось 25-летие моей службы. Праздник мой прошел весьма скромно[450]. Получено было немало приветствий — как от тогдашних моих сослуживцев по Петроградской академии, так и от бывших сослуживцев по Московской, а также от бывших моих слушателей по той и другой.

Из этих последних особенно трогательны и лестны для меня были приветствия письмами от Д. И. Тихомирова[451], тогда преподавателя Могилевской духовной семинарии (ныне — члена Духовно-учебного комитета при Св. Синоде), и В. И. Беллавина (тогда преподавателя Псковской духовной семинарии, ныне — архиепископа Московского

[450] О наступлении моего юбилея заранее явилась в «Новом времени» заметка, но, когда на другой день после юбилея, явился ко мне репортер этой газеты, г. Чехов, родной брат известного писателя А. П. Чехова, то ему было сказано, что давать отчет о маленьком моем празднике не стоит, так как ничего особенного не было.

[451] Дмитрий Иванович Тихомиров, новгор., канд. (1881), маг. 1888 г., препод. Могилев. сем., потом служил по мин. нар. просв., член Духовно-учебн. ком. при Св. Синоде.

Тихона)[452], только что окончившего академический курс, в том же 1888 г., — одного из самых даровитых студентов этого курса. В них с большой теплотой говорилось о посильных моих трудах по преподаванию догматического богословия и о пользе моих чтений «для богословского развития студентов», что в особенности отмечено в письме В. И. Беллавина. С немалым сочувствием говорилось также (в письме Д. И. Тихомирова) о возбуждении в студентах «научного интереса» и о «моих ученых и литературных трудах», о «ценных, полных жизненной правды статьях в Церк. Вестнике».

Не забыли меня и бывшие мои слушатели по Московской академии, и от них получено было несколько тронувших меня приветствий, именно от А. А. Тяжелова[453], В. П. Сланского и С. И. Миропольского[454]. В обширном письме последнего, вместе с доброй памятью обо мне, как бывшем преподавателе церковной археологии в Московской академии, находится и следующее, весьма утешительное сведение относительно плодов преподавания догматического богословия в Петроградской академии. «Как ревизор духовно-учебных заведений, в течение 18-ти лет наблюдавший их внутреннюю жизнь, я могу заявить, к утешению вашему, что вышедшие из-под вашего руководства преподаватели богословия в духовно-учебных заведениях выдаются редкими качествами среди своих товарищей. С прекрасной научной подготовкой они соединяют любовь к своему предмету, трудятся с примерным

---

452 Василий Иванович Беллавин (в монашестве Тихон), псков., канд. СПб. акад. (1888), 1888 — препод. Псков. сем., 1891 — монах, 1892 — инспект. Холмск. сем., рект..Казан. и потом Холм. сем., 1897 — еп. Люблин., 1898 — еп. Алеут., 1905 — архиеп., 1907 — архиеп. Яросл., 1914 — архиеп. Литов., 1917 — по избранию архиеп. Моск.

453 Александр Афанасьевич Тяжелов, тверск., 7-й маг. Моск. акад. (1866), сначала препод. Тверск. сем., потом инспект. ее, в 1888 — инспект. нар. учил. в Бежецке. Скончен.

454 Василий Петрович Сланский и Сергей Иринеевич Миропольский, оба Воронежской сем., магистры XXV к. (1866). В. П. Сланский из преподавателей сем. перешел в Госуд. контроль, где и служил до своей кончины. С. И. Миропольский служил сначала в Воронеж. сем., потом в Петроград., был затем чл.-ревизором Духовно-учеб. ком. при Св. Синоде. Сконч. вице-директором канцелярии Св. Синода. См. о них еще в 1 вып. моих «Воспом.» (1914), стр. 189.

усердием, вполне добросовестно и благотворно влияют на своих воспитанников. Все они с признательностью вспоминают вас; их привязывает к вам не только уважение к высоким ученым достоинствам вашим, но и доброта ваша, которую и я, бывший ученик ваш, первым испытал на себе». Долг справедливости и беспристрастия требует, однако, заметить, что означенное утешительное явление, о котором приходилось слышать и от других лиц (например, от бывшего моего по студенчеству товарища, Преосв. Владимира (Никольского), некогда ректора Самарской семинарии; † епископ Нижегородский), в гораздо большей степени зависело от общего в ту пору подъема академического образования и оживления богословской мысли, чем от деятельности отдельных лиц, и что только некая малая частица падала на долю их, вроде меня, профессора тогдашнего времени.

Что особенно тронуло меня и, так сказать, скрасило весь мой маленький праздник, это следующая телеграмма, полученная мной от корпорации преподавателей Московской духовной академии. «Досточтимый А.Л.! Высоко чтя ваши талантливые ученые произведения, ваше истинно честное служение духовной журналистике, от всей души приветствуем вас с исполнившимся сегодня 25-летием вашей академической службы и желаем вам многолетнего продолжения вашей полезнейшей деятельности. Профессоры и доценты Московской Академии». (Следуют подписи)[455]. Сознаюсь, мне было крайне приятно, утешительно слышать такую лестную и притом авторитетную — со стороны огромного большинства корпорации академических наставников — оценку моей не только научной, но и духовно-публицистической деятельности. Вероятно, эта последняя и была главной причиной присылки означенной телеграммы из дорогой для меня Московской академии, первого места моей службы (1863–1867).

---

[455] «Беляев, Введенский, Заозерский, Казанский, Кантерев, Касицын, Кипарисов, Корсунский, Кудрявцев, Лебедев, Мартынов, Муретов, Смирнов, Андрей Соколов, Татарский, Цветков, Шостьин». Фамилии следуют не по старшинству службы, а по алфавиту. Из них бывшим моим сослуживцем оказался едва ли не один старейший из тогдашних профессоров, высокочтимый проф. В. Д. Кудрявцев, остальные — или мои ученики (Казанский, Касицын, Смирнов, Цветков), или окончившие академический курс уже по выходе моем из Моск. академии.

Наша частная профессорская типография; типографская деятельность профессора Ф. Г. Елеонского и мое в ней участие[456]. Вскоре после моего юбилея, через два года, в 1890–1891 году, свалилась на мою голову новая необычная работа и забота по управлению типографией, составлявшая в это время собственность нашу с профессором Ф. Г. Елеонским, моим сослуживцем и близким родственником, родным моим, по отцу, дядей.

Интересна история возникновения этой типографии. Она появилась как результат попытки моего друга и сослуживца Ф. Г. Ел-го вырваться из тисков гнетущей материальной нужды по переходе его из Вильны, где он был преподавателем семинарии (1864–1870) на службу в Петроградскую академию. Поступив в нее в 1870 г., в звании доцента, уже семейным человеком, и получив вскоре еще приращение семейства до трех человек, кроме себя с женой, и затем приютив, по своей редкой доброте, свою свояченицу, вдову С. К. Репловскую[457] с четырьмя детьми, очутившись, таким образом, сам десятым, а жалования получая только 100 рублей в месяц, конечно, без казенной квартиры, Ф. Г. Елеонский почувствовал всю безысходность материального своего положения и решился искать

---

456 Прошу у читателей извинения, что позволяю себе занимать их внимание этой стороной моей деятельности, имеющей, по-видимому, совершенно частный характер и представляющей личный интерес. Но, как видно будет из дальнейшего моего изложения, история нашей частной типографии тесно связана с тогдашним бытом академических преподавателей и, в частности, с судьбой проф. Ф. Г. Елеонского, это с одной стороны; с другой — что касается моего участия в типографическом деле, то деятельность этого рода имела для меня немалое значение: она отнимала у меня немало времени и сил, значительно отвлекала от занятий по моей профессорской службе, но зато вводила меня в круг тогдашних литературных и, в особенности, церковно-общественных деятелей, близко знакомила меня с книжным делом и с очень интересным миром типографских рабочих.

457 Вдова, после кончины в 1870 г. П. Л. Репловского. Парфен Лукич Репловский, Вифан. сем., 3-й маг. Моск. акад. XXII к. (1860), человек очень даровитый, был сначала (1860) препод. Яросл. сем., с 1862 состоял диаконом заграничной церкви в г. Штутгарте, с 1869 — доц. Киев. акад. по церк. истории; вскоре, кажется, в том же 1869 г., перешел в Киев. универ., на кафедру истории изящных искусств, со снятием свящ. сана; в 1870 окончил жизнь трагически (самоубийством).

каких-либо средств его улучшить. Не скоро, года через четыре, такое средство нашлось. Вместе с лектором французского языка в нашей академии А. И. Поповицким, задумавшим с 1874 г. издавать много нашумевшую потом либеральную газету «Церковно-общественный вестник», Ф. Г. Ел-ий решился на смелое предприятие — основать свою типографию, в товариществе с А. И. Поп-м, на равных паях. Нашли они маленькую типографию (Литвинова, на бывших Прудках, что на греческом проспекте), с одной плохонькой, старой скоропечатной машиной и с небольшим количеством шрифта. Купили они ее за небольшую цену (около двух-трех тысяч рублей) и начали хозяйничать. Вся тягость управления типографией падала при этом на одного Ф. Г. Ел., который за то получал особое вознаграждение, помимо известной части дивиденда, получавшегося в конце года по уплате всех издержек и долгов типографии. Дело пошло очень успешно. Тогда типографий в Петрограде было сравнительно немного; цены за типографские работы стояли довольно высокие; евреи еще не успели захватить в свои руки типографское дело, предварительно обесценив его с целью убить конкуренцию с ними, как это случилось позднее, к концу 80-х и в 90-е годы. С 1874 г. Ф. Г. Елеонский, таким образом, мог вздохнуть свободно, в смысле освобождения его от гнетущих забот о куске хлеба для многочисленного своего семейства.

Эта типография, носившая тогда фирму «Тип. А. И. Поповицкого и К.», скоро получила значительную популярность в среде нашего академического и вообще духовного мира; работ для нее оказалось более, чем достаточно, а это повело к ее расширению (покупке новой печатающей машины, шрифта и т. д.) и, естественно, к уменьшению дивиденда, что, в свою очередь, неприятно действовало на главу фирмы — А.И.П. — и его семейство, ожидавших больших прибылей от типографии. Ввиду таких обстоятельств и полного безучастия А. И. П-го к общему делу, мой друг Ф. Г. Ел-ий начал убеждать меня купить долю А. И. П-го и быть, вместо последнего, его компаньоном. Просил меня сделать это в личное ему одолжение и давал обещание, что мое участие в этом предприятии не вовлечет меня ни в какие хлопоты и не втянет меня в практическую сферу деятельности, к которой я не считал себя способным; говорил, что он берет на себя всю тяжесть управления типографией. Так оно и было до поры, до времени, целых 13–14 лет, после того как я в 1876 г., после немалых

колебаний, согласился исполнить его желание и настойчивую просьбу и сделался его компаньоном вместо А. И. Поповицкого, купив его долю, но уже при значительно повышенной ее оценке, по причине расширения типографии.

С тех пор наша типография начала носить новую фирму, называться «Тип. Ф. Г. Елеонского и К-о», под «К-о» разумелся я. В это время, за 13–14 лет, типография сильно расширилась и обогатилась массой работы. В ней печатались, кроме «Церковно-общественного вестника», «Христианского чтения», наши академические диссертации и труды профессоров, учебники по Закону Божию и Священной истории протоиереев: Д. П. Соколова, А. П. Рудакова, М. В. Чельцова и др., многочисленные издания комиссии народных чтений, труды и издания общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной Церкви, некоторые издания Археографической комиссии, некоторые работы по министерству народного просвещения, немало изданий книгопродавца И. Л. Тузова и многое другое, а в последние годы — даже ежедневная газета «День». Потребовалось не только увеличение количества скоропечатных машин (до четырех-пяти), расширение помещения типографии, но и устройство газовых двигателей, стереотипа, не говоря уже о шрифте и других типографских принадлежностях[458]. Душой типографии был Ф. Г. Ел-ий, замечательно неутомимый даровитый труженик. Он как-то успевал работать успешно и плодотворно и на ученом поприще, — в высшей степени добросовестно исполняя свои профессорские обязанности, даже напечатав в 1884 г. свою прекрасную докторскую диссертацию, — и в то же время твердой и искусной рукой вел типографское дело. В это счастливое время типография не давала мне никаких хлопот и забот. Мое участие в типографских делах выражалось только

---

[458] В нашей профессорской типографии было немало таких шрифтов, каких не было даже в больших петроградских частных типографиях, именно: кроме обилия латинских, греческих и церковно-славянских шрифтов (на целые печатные листы), были шрифты еврейские, польские, чешские и даже японские, и математические знаки. Последние (шрифты и знаки) приобретены были для печатания «Руководства для изучения японского языка» Д. Смирнова, некогда члена японской миссии, иеромонаха, потом снявшего духовный сан и монашество. Матем. знаки — для печатания соч. «Геометрия» — одного знатока и любителя математики, прот. Изм. Ф. Спасского, канд. Петрогр. акад. (1859).

в разговорах о них, да в обсуждении экстренных случаев в жизни типографии, например, при ее расширении, покупке и устройстве крупных ее принадлежностей, вроде машин, газовых двигателей, стереотипа и тому подобного.

Но вдруг все это круто изменилось. Совершенно неожиданно, и далеко не к особенному моему удовольствию, пришлось мне поменяться с Ф. Г. Ел. ролями: ему превратиться в моего компаньона, а мне очутиться во главе фирмы и дать ей мою фамилию, так что типография превратилась в «Тип. А. Л. Катанского и К.», а случилось это вот каким образом. В один из не особенно счастливых для нас обоих, как впоследствии оказалось, дней приходит ко мне Ф.Г. и заявляет, что он получил от директора Хозяйственного, при Св. Синоде, управления, А. Г. Ильинского, предложение занять место управляющего Синодальной типографией. Просит моего совета. Что мне оставалось делать? С одной стороны, я был очень рад за своего друга, ввиду расширения круга практической его деятельности, признания его заслуг как выдающегося типографского деятеля, и весьма значительного увеличения его благосостояния на новой должности (до 4000 рублей жалования при готовой квартире), с другой стороны, был сильно обескуражен и смущен неожиданно выпадавшей на мою долю работой, к которой признавал себя очень мало способным. Я ответил моему другу в том смысле, что если бы руководиться только эгоистическими побуждениями, то, конечно, следовало бы дать совет — отказаться от лестного и очень выгодного предложения, но сделать этого не могу по совести и принимаю на себя тяготы по управлению нашей типографией, с условием, однако, ее продажи в возможно скором времени. Так, совершенно неожиданно я сделался настоящим типографщиком и мало-помалу втянулся в типографское дело. Сначала ходил по типографии как гость; казалось, что и делать мне нечего; все идет по заведенному порядку. Но чем более проходило времени, тем все более и более оказывалось дела, и кончилось тем, что хоть целый день сиди в типографии, дела не переделаешь. И работы и рабочие начали сильно занимать и волновать. То много, то мало работы; составление счетов по работам и получение по ним денег, уплата кредиторам типографии, сведение балансов (прихода и расхода), расчет наборщиков и других типографских рабочих, разбирательство различных столкновений между ними и администрацией типографии

(фактором, метранпажами, машинными мастерами и т. д.), — всё это брало массу времени и сил.

Позволю себе поделиться с читателями своими впечатлениями, вынесенными мной из четырех-пятилетнего близкого знакомства с рабочим типографским людом. С наборщиками, народом очень развитым, но страдавшим тогда (не знаю, как теперь) всероссийской слабостью к водке, мало-помалу установились добрые, даже сердечные отношения. Первоначальная вспыльчивость в ответ на грубые выходки и безобразия нетрезвых людей, — что вело к сугубым с их стороны дерзостям, — сменились вскоре жалостливым и терпеливым к ним отношением. Не обращая внимания на их пьяный задор, пропуская мимо ушей их выходки, бывало, тихо просишь их успокоиться, прислать кого-либо из их семейства вместо себя, чтобы получить деньги под счет или в полный расчет. Пререкания большей частью происходили из-за заработной платы, которую не хотелось давать в руки сильно нетрезвому рабочему. Иногда же — когда такой рабочий просил денег вперед на неотложные свои нужды (вроде покупки сапог или их починки), тогда, по исследовании известной крайней нужды, например, по осмотре сапог или других частей костюма, даешь ему денег, с обязательством показать покупку или починку, что обыкновенно и исполнялось; но никак нельзя было поручиться за то, что в ближайшие же дни несчастный не окажется снова без сапог или других принадлежностей костюма. Нередко приходилось удивляться, откуда наборщики доставали деньги на выпивку: ни расчета, ни подсчета у нас не было, а нетрезвых оказывалось несколько и нередко как раз в такое время, когда шли усиленные по типографии работы. При расследовании получался обыкновенно ответ, что «на хлеб достать денег нельзя, а на выпивку всегда можно, даст всякий». Между наборщиками не только одной типографии, но и других, было своего рода братство, и получка денег в одной типографии отражалась на рабочих другой. Это братание, своего рода корпоративная связь наборщиков, иногда, однако, оказывались полезными и хозяевам, например, в тех случаях, когда при недостатке работы приходилось брать очень невыгодную работу, кстати заметить — по большей части издания известного книгопродавца И. Л. Тузова, не любившего баловать типографии высокими ценами за набор и печатание. В этих случаях мы обращались к старейшим, наиболее авторитетным

наборщикам с вопросом, могут ли они по совещании с товарищами удовольствоваться известной пониженной платой за набор (со 100 букв известного шрифта) и следует ли вообще типографии брать эту работу, чтобы не быть в убытке. Рабочие обыкновенно соглашались на минимальную плату, чтобы только не упустить работы. Были у нас и доморощенные наборщики из учеников типографии; они оказывались потом лучшими из рабочих. Типографских учеников, во время их учения, в известные дни посылали в народные школы. Была и касса наборщиков, устроенная Ф. Г. Ел-м.

Интеллигентность наборщиков иногда прямо поражала. Нередко слышалась от них, при наборе рукописей, критика набираемого текста, вроде следующих замечаний: «Какой вздор, какие пустяки; стоило ли это печатать». В особенности поразила нас одна речь на нашем типографском празднике, 6 декабря, в день св. Николая Чудотворца, покровителя всех горемычных типографщиков. Насколько мне известно, все типографии и считали этот день своим особым, типографским праздником. Так было и у нас; служился молебен с водосвятием; потом следовало «велие утешение» для братии с обилием питий и яств. Присутствовали все рабочие (до пятидесяти-шестидесяти человек) и, конечно, мы, хозяева с семействами. Посещал эти праздники и бывший хозяин, А. И. Поповицкий, и после того, как перестал быть собственником типографии. В один из таких праздников вдруг подходит к нему один пьяненький рабочий и говорит в виде приветствия следующее: «Вы, А. И., пишете так легко и красиво (разумея статьи «Ц.-О.В.»), не то чтобы очень глубоко, но очень, очень приятно вас читать». Замечательно верная характеристика[459]! Тосты с излиянием чувств приходилось выслушивать от рабочих и нам с Ф. Г.

---

[459] Пользуюсь случаем, чтобы опровергнуть некогда упорно державшийся слух и довольно распространенное в духовных кругах мнение, будто «Церк.-общ. вестник» А. И. Поп-го есть орган прот. И. В. Васильева. Кто хорошо знал этого замечательного человека и не был против него предубежден, тот никак не мог этому поверить. А. И. П-ий несомненно имел большой литературный талант, и его статьи действительно было интересно или, как выразился пьяненький наборщик, «приятно читать», но его бойкие, хлесткие, размашистые, весьма часто бестактные выходки были совершенно не в духе о. И. В., отличавшегося огромным тактом, тонким и глубоким умом и большой уравновешенностью характера. Покойный о. протоиерей, в беседах со мной, весьма часто критиковал статьи А. И. П-го

В общем, нужно заметить, что типография дала мне прекрасный случай близко познакомиться не только со многими выдающимися литературными и общественными деятелями тогдашнего времени, но и с достоинствами и недостатками нашего русского рабочего люда и ощутить, в сущности, прекрасную, его душу, несмотря на язвы и наросты, привитые к ней условиями народного нашего быта и городской, столичной жизнью. Под конец я так сроднился с рабочей средой, что даже с некоторой грустью расставался с ней, когда пришло давно желаемое и ожидаемое время передать типографию в другие руки.

Долго, однако, пришлось ждать этого момента, то есть продажи типографии. Угрожали нам даже, что это дело невозможное, что не найдется покупателя, при необыкновенном размножении типографий в Петрограде и захвате типографского дела евреями. Но, на наше счастье, явился наконец покупатель в лице представителя одной очень солидной фирмы — «Товарищества С. П. Яковлева», имевшего свои отделения в некоторых городах, кроме Петрограда, и пожелавшего основать и здесь свою типографию. Не обошлось дело без комиссионера (словол. г. Лемана), которому пришлось заплатить за комиссию известную сумму. Сделка, наконец, состоялась в конце 1894 г. — правда, при далеко не выгодных для нас условиях, за половинную сумму действительной ее стоимости (за 18 с половиной тысяч), но зато на наличные деньги и, притом, в почтенные, чисто русские руки (С. П. Яковлев — дворянин, состоявший даже в придворной

и даже негодовал на него за то, что своей бестактностью он губит то либеральное направление в дух. журналистике, которому он служит и которому, в общем, сочувствовал и сам о. протоиерей. При самом начале моего редакторства, когда я напечатал 4 передовые статьи в «Церк. вестнике» (№ 5–8: «Наш светский образованный мир и духовенство», где проводилась мысль об учреждении богосл. факультетов при наших университетах), о. И.В. В-в сказал: «Вот это настоящие передовые статьи», и при этом, не без удовольствия, прибавил: «Сдается мне, что вы, А.Л., своим «Церк. вестником» убьете «Церк.-общ. вестник». Что касается меня, то при добрых личных отношениях к А. И. П-му у меня вскоре установилось чисто враждебное отношение к «Церк.-общ. вестнику». После одной из выходок этой газеты против «Церк. вестника» орган А. И. П-го совершенно исчез со страниц редактируемой мною академической газеты, т. е. подвергся самому тяжелому, как известно, литературному наказанию, — совершенному замалчиванию, и так продолжалось до конца моего редакторства.

службе, камергер или камер-юнкер). Были гораздо более выгодные предложения со стороны евреев, но мы их отклоняли.

В конце концов, наша типография за 21 год своего существования принесла не много более казенного процента (то есть 5%) на затраченный капитал, как и следовало ожидать от профессорской типографии. Огромное количество зарабатываемых ею денег она поедала сама, вбирала в себя, благодаря ее расширению и громадному увеличению ее инвентаря, чуть не в десять раз против первоначального ее объема. Вдобавок, она потерпела большую потерю, в 8 тысяч рублей, на печатании газеты «День», не уплатившей стоимости набора и печатания за 8 месяцев. Погубили нас излишняя деликатность и доверие к ее издателю, некоему А. А. Греве, бывшему офицеру, желавшему стяжать литературную славу (долгое время, несколько лет — кажется, два-три года, если не более — аккуратно платившему по счетам, а потом прокутившемуся), и, в особенности, к редактору этой газеты, И. В. Скворцову[460]. Казалось нам, что этот последний, как вышедший из нашей среды, как воспитанник Московской академии, должен был предостеречь нас от финансового краха, а он вместо того успокаивал нас[461]. Этот финансовый крах

---

460 Ив. Вас. Скворцов, владимир., канд. XXXIV к. Моск. акад. (1879), некогда чинов. канц. Св. Синода и пом. А. И. Поповицкого по «Церк.-общ. вестнику», препод. Петрогр. жен. гимназии, потом их инспектор, пом. директора гимназии ведомства Имп. Марии, в настоящее время — директор гимназии сего ведомства, занимает довольно высокую должность.

461 Невольно приходит на мысль сравнение его с А. И. Поповицким, истинно благородным человеком. Когда дела по изданию «Церк.-общ. вестника», в 1884 г. подчиненного К. П. Победоносцевым цензуре, оказались вскоре плохими, мы с Ф. Г. Ел-м (в 1885 г.) обратились к А. И. П-му с просьбой освободить нас от печатания его газеты, причем предложили ему даже некоторую компенсацию, в виде скидки (500 р.) со счетов, в виду долговременного, 10-летнего у нас печатания его газеты и отношения его к нашей типографии, как ее родоначальника. А.И.П., со свойственной ему откровенностью, признал, что «действительно его дела плохи», и чтобы не подвергать нас риску, перенес печатание «Ц.-О.В.» в другую типографию. Вскоре, в том же 1885 г., он сумел вывернуться из трудного положения, начав издавать первый у нас иллюстрированный духовный журнал «Русский паломник», имевший также большой успех, но у нас уже не печатавшийся.

случился, к сожалению, в мое управление[462], незадолго до продажи типографии и немало содействовал ее ускорению.

Как бы то ни было, в 1894/95 году судьбе было угодно, к немалому моему удовольствию, снять с меня тяжкое бремя мало подходящей для меня работы. А года через два, в 1896 г., и мой друг и компаньон должен был, хотя и очень неохотно, и даже с немалым огорчением, оставить, в свою очередь, управление Синодальной типографией. Дело в том, что превосходно, неизмеримо лучше меня знавший типографское дело, необыкновенно работоспособный и идеально честный труженик, он не был, однако, persona grata у синодальной обер-прокуратуры и, в особенности, у В. К. Саблера, главным образом потому, что не был его избранником, а был поставлен на это место антагонистом его по Синодальному управлению — директором Хозяйственного управления при Св. Синоде А. Г. Ильинским. В один неприятный день Ф. Г. Ел-му, без церемонии, прямо было приказано подать в отставку от управления Синодальной типографией, с оставлением за ним одной профессуры в академии; до того времени он совмещал ту и другую службы. Правда, Ф. Г. давно следовало самому оставить типографскую службу. Необыкновенно добросовестное исполнение профессорских обязанностей (ежегодно составлял он и читал новые курсы по своему предмету, не довольствуясь повторением старых), вместе с неусыпными делами по управлению громадной Синодальной типографией, подорвало его силы, несмотря на довольно крепкий его организм. Замечалось сильное его переутомление, и приходилось с большой тревогой на него посматривать. Тем не менее, неожиданная, незаслуженная, невольная, в резкой форме предложенная отставка подействовала на него далеко не благодетельно. Она еще более усилила его болезненность, подвергла его даже довольно продолжительному нервному расстройству и, нет никакого сомнения, на много лет

[462] Впрочем, не считаю себя в этом виновным. Виноваты мы оба. Ф. Г., слишком занятый своими делами и притом державшийся принципа необходимости широкого кредита, усиленно рекомендовал мне терпение, когда слышал мои тревожные речи о долге газеты «День». Так мы и терпели месяц за месяцем, пока долг не дорос до 8 тысяч. Было наше дело по взысканию с издателя газеты в Окружном суде. Получен нами и исполнительный лист, но он не дал ничего; мы же еще, из собственного кармана, должны были заплатить присяжному поверенному за труды по этому делу.

ускорила его кончину (от перерождения сердца). Хотя я и утешал его, говоря, полушутя, полусерьезно, что ему следует молиться за тех лиц, которые, для сохранения его здоровья, облегчили его трудовую жизнь, но сам видел, что это плохое для него утешение.

Так окончились наши типографские предприятия, работы и заботы! Типография некогда поддержала моего друга и сослуживца в трудную пору его жизни, но она же и свела его преждевременно в могилу.

Хлопоты об увеличении духовно-учебных пенсий. Долго пришлось ждать увеличения наших академических пенсий до размера университетских. Положение об увеличении пенсий профессоров академий до этих размеров Высочайше утверждено только в 1894 г., 25 июля, в день бракосочетания великой княжны Ксении Александровны, то есть через 25 лет после преобразования академий, в 1869 г., 30 мая.

До 1894 г. действовало относительно пенсий «положение, 1876 г., 24 окт., о правах и преимуществах[463] служащих при духовно-учебных заведениях». Этим положением наши академические пенсии увеличивались очень незначительно против стародавних

[463] С этого времени, именно с 1876 г., потребовалось обязательное производство всех служащих в академиях в чины, соответствующие их должностям и ученым степеням. До того времени только некоторые из профессоров нашей академии имели чины (проф. К. И. Лучицкий, И. А. Чистович, И. В. Чельцов, Е. И. Ловягин, И. Т. Осинин), остальные числились в духовном звании и никаких чинов не имели. Интересно, что «правами и преимуществами» этого положения относительно чина мог воспользоваться только я один, как получивший звание орд. профессора после выхода закона, т. е. после 1876 г. (в 1877 г.), почему и произведен был прямо в статские советники, чин, на который давало право звание орд. профессора. Остальным же, старейшим моим сослуживцам, которые гораздо ранее меня сделались орд. профессорами, было отказано в производстве в этот чин, на том основании, что закон обратного действия не имеет, и они должны были начать с чина титулярного советника, соответствующего степени магистра, которую они имели при поступлении на должность акад. преподавателей. В течение двух-трех лет тянулось постепенное их производство в разные чины — до чина статского советника, соответствующего званию орд. профессора.

(1828 г.), именно: полагалось ординарному профессору 1100 р. (вместо 800 р.), экстраординарному профессору — 800 р. (вместо 429 р.), доценту — 550 р. (вместо 429 р.). Такая незначительная прибавка объясняется тем, что она сделана из специальных сумм Св. Синода; «министерство финансов отказалось тогда (1876 г.) принять на счет сумм государственного казначейства производство пенсий по духовно-учебному ведомству».

Хотя правительство, в особенности церковное, и сознавало нужду в увеличении пенсий лиц, служащих в духовно-учебных заведениях, но тяжелое финансовое положение нашего отечества, после турецкой 1877 года войны и смутных лет после 1881 года, мешало удовлетворению этой потребности. Духовное ведомство начало, однако, с конца 80-х годов проводить мысль о новых духовно-учебных пенсиях из государственного казначейства, ссылаясь, между прочим, на долг государства, взявшего из синодальных капиталов, еще в отечественную, 1812 года, войну, несколько миллионов и не возвративших Св. Синоду этих сумм. В счет и погашение этого долга духовное ведомство и решилось просить государственные власти об увеличении духовно-учебных пенсий из государственного казначейства.

Мне пришлось близко стоять к этому делу, благодаря знакомству с директором Хозяйственного управления при Св. Синоде А. Г. Ильинским[464], вице-директором этого управления П. И. Остроумовым[465] и начальником отделения С. В. Праведниковым[466]. От них я узнавал о положении дела относительно наших пенсий. К счастью, все они по происхождению принадлежали к духовному

---

[464] Андрей Григорьевич Ильинский, Курск. сем., маг. Киев. акад. (1857), препод. Киев. сем., с 1861 г. — чинов. Хозяйств. упр. при Св. Синоде, 1878–1896 — директ. сего управл., тайн. советник; † 15 нояб. 1898 г., в отставке.

[465] Петр Иванович Остроумов, Владимир. сем., 7-й маг. Киев. акад. (1863), чинов. и вице-директ. Хозяйств. упр. (1878–1896), директор сего управления (1896–1905), тов. об.-прокур. Св. Синода (1905–1906), сенатор (1906), тайн. советник; † 13 дек. 1913 г.

[466] Степан Васильевич Праведников, Воронеж. сем., оконч. курс в Петрогр. универ.; на службе в дух. ведомстве с 1871 г., был сначала начал. отдел., вице-директ., а потом директором (с 1905 г.) Хозяйств. упр., тайн. советник; † 13 нояб. 1909 г..

миру, были питомцами наших духовных школ и потому сочувственно относились к моим речам. При нередких свиданиях с ними всячески убеждал их энергически взяться за наше дело и двинуть его. Мало того, в 1887 г. решился выступить с печатным словом. В «Церковном вестнике» напечатал две большие статьи «Об увеличении духовно-учебных пенсий». В этих статьях, собрав все данные для сравнения наших пенсий, академических, семинарских и училищных, с пенсиями университетскими, гимназическими и т. д., сопоставив весь этот цифровой материал, а также добытые из архива Синодального хозяйственного управления данные о количестве ежегодно (за последние три года) прибывающих пенсионеров по 4-м академиям, 55-ти духовным семинариям (относительно 182-х духовных училищ не удалось добыть), указал приблизительную вероятную цифру ежегодного на этот предмет расхода и в заключение просил наше духовное правительство «ходатайствовать, установленным порядком, об увеличении, из средств госуд. казначейства, на первый раз, хотя бы только академических пенсий, как находящихся в наиболее резком несоответствии с университетскими». Эти статьи, обстоятельно составленные, с большим цифровым материалом и выводами из него, представлены мной, в виде отдельного оттиска — брошюры, А. Г. Ильинскому и его товарищу по Хозяйственному управлению П. И. Остроумову.

Но сначала дело не ладилось. А. Г. Ильинский, более и ближе, чем кто-либо находившийся в курсе этого дела, главный по нему деятель, как начальник Хозяйственного управления при Св. Синоде, вполне сочувствовавший благоприятному его исходу, сначала, однако, признал неблаговременным начинать дело о наших пенсиях. Внимательно прочитав мою брошюру, он, впрочем, заметил, что даст мне знать, когда наступит благоприятный для того момент.

Долго, однако, пришлось ждать этого момента. Мои статьи напечатаны в 1887 г. Проходит четыре-пять лет, а дело не подвигается вперед. В эти несколько лет я продолжал пользоваться всяким случаем, чтобы о нем напомнить тем, кому следовало о том ведать. Даже раз, помнится в 1891 г., когда мне пришлось составлять и читать в торжественном собрании, 17 февраля, годовой отчет по академии, в заключение позволил себе заговорить о наших пенсиях, причем, каюсь, довольно искусственно притянул имя только что скончавшегося

тогда профессора Казанской академии Порфирьева[467], в особенности уважаемого К. П. Победоносцевым, — нарочно для последнего, чтобы тронуть и несколько пристыдить его. К. П. П-в также присутствовал в этот день на нашем акте[468].

Наконец, в один поистине прекрасный день, вероятно в 1892 или в начале 1893 г., получаю от А. Г. Ильинского извещение, что дело налаживается, и — совет отправиться с моей брошюрой о пенсиях к начальнику отделения Хозяйственного управления С. В. Праведникову, которому поручено вести это дело. Впоследствии оказалось, что моя брошюра, по собственному С. В. Пр-ва признанию, была далеко ему небесполезна при составлении проекта и объяснительной к нему записке, весьма значительно облегчила и очень ускорила его работу.

Вместе с тем я счел нужным, уже по собственной инициативе, явиться со своей брошюрой к митрополиту Иоанникию, тогда уже Киевскому, известному энергическому деятелю по материальному обеспечению духовенства, и к некоторым другим членам Св. Синода, а также к директору канцелярии обер-прокурора Св. Синода И. А. Ненарокомову[469], имевшему немалый вес и значение у К. П. Победоносцева. Сделал это с целью заручиться их содействием при выработке проекта новых академических пенсий и при обсуждении нового о них положения. Все эти лица отнеслись сочувственно к моим хлопотам. Митрополит Иоанникий принял меня, по обычаю, сухо (издавна, еще со студенчества, не был я его любимцем), но также не отказал в своем содействии, а после, как

---

467 За это я подвергся даже осуждению от одного из своих коллег, проф. И. Ф. Нильского, который по прочтении мной отчета, горячо осуждал меня за то, что я, недостойно академии, от ее имени «клянчил» о пенсиях; «как не стыдно!» — говорил он. Но, увлеченный агитацией, я мало обращал внимания на способы, которые могли вести к известной цели.

468 Во время чтения этого места из отчета я нарочно посмотрел на К. П. П-ва, и мне показалось, что он как-то более обыкновенного сморщился и почувствовал себя как будто неловко.

469 Иван Александрович Ненарокомов, Моск. сем., 9-й маг. Моск. акад. (1856), 1858 — препод. Моск. сем., потом чинов. канцеляр. об.-прок. Св. Синода, 1860 — секрет. канцеляр. Св. Синода, 1864 — обер-секрет., 1867 — член Учебн. ком. при Св. Синоде, 1869 — директ. канцеляр. об.-прок. Св. Синода, тайн. советник.

слышно было, даже торжествовал на академическом обеде в Киеве, по случаю благополучного исхода дела о наших пенсиях.

В духовном ведомстве, наконец, все благополучно прошло, и дело о наших новых пенсиях перешло в Государственный совет. Опасались мы, как бы не встретилось там каких-либо затруднений и не затормозилось наше дело. Но, к счастью, и там оно также прошло. И велика была наша радость, когда получена была первая о том весть от одного моего знакомого, служившего в Государственном совете (помощника статс-секретаря Государственного совета, П. Е. Татаринова, жившего в одном со мной доме), которого я просил последить за ходом нашего дела. На радостях, в тот же день написал маленькую заметку для помещения в «Церковный вестник», рискуя заслужить от своего знакомого упрек в нарушении канцелярской тайны.

Во всех этих хлопотах у меня, как одного из ближайших кандидатов на отставку, было, конечно, немало чисто эгоистических побуждений, но не должен отказать себе и в благородных мотивах. Никогда не забуду того впечатления, какое произвел на меня больной, умирающий, глубоко почитаемый сослуживец, профессор М. О. Коялович. «Нужно бы, — говорил он со слезами на глазах, — выйти в отставку. Ох как нужно. Но не могу. Чем я буду жить? Ведь квартиры нанять при 1100 рублях (тогдашней пенсии) не в состоянии. Пришлось бы жить в меблированных комнатах или гостинице, занимая какую-нибудь комнатку». К великому сожалению, он так и не дождался новой пенсии, скончавшись в 1891 году. Ей воспользовались: в 1894 — М. И. Каринский, в 1895 — Е. И. Ловягин, 1896 — я и в 1897 — Ф. Г. Елеонский.

Выход в отставку после 33-летней академической службы (1863–1896). Давно подумывал я об отставке. Не то чтобы не чувствовал сил продолжать службу, но немало было причин для охлаждения и разочарования. Главная из них — недовольство общим складом тогдашней академической жизни по уставу 1884 г. Были и другие, частные, причины, вроде неприятностей по поводу истории с диссертацией Е. П. Аквилонова. Но не будь новой пенсии, все-таки пришлось бы еще служить долгие годы, до полного истощения сил, и думать то же самое, что думал и говорил М. О. Коялович перед

его кончиною. По поводу заявленного мной еще в 1895 г. намерения слышалось со стороны сослуживцев много упреков за слишком раннее, как говорили тогда, оставление службы, но были голоса, правда очень немногие, и в пользу моего решения. Так, например, незабвенный профессор В. В. Болотов признал меня счастливым, что могу выйти в отставку, и даже как-то, в разговоре со мной, выразил сожаление, что и сам не может сделать того же, так как не выслужил пенсии. Это мнение человека, всю жизнь безраздельно отдавшего родной академии, необычайного подвижника науки, очень знаменательно.

Еще за год до отставки, в 1895 г., я озаботился избрать и подготовить себе преемника по кафедре, в лице одного из самых лучших, окончивших в этом году курс студентов, П. И. Лепорского, — в настоящее время уже почтенного профессора нашей академии и Историко-филологического института, протоиерея и настоятеля Петроградской церкви Воскресения Христова на крови.

Последнюю мою лекцию в академии, в апреле 1896 г., закончил следующим прощальным обращением к своим слушателям, студентам IV курса, тогдашним выпускным. Указав на главную цель и задачу всех своих чтений — оживление, возбуждение и углубление богословской мысли, на прежнюю широкую постановку чтений при действии устава 1869 г. и на изменение, сокращение объема курса после 1884 г., в заключение сказал: «При полном сознании больших пробелов в наших чтениях последних лет, — в смысле недостатка подробного обоснования догматических положений на данных Св. Писания и церковного Предания, — во избежание крайней растянутости, прерывистости в систематическом изложении — утешаем себя, однако, мыслью, что наши труды не совсем, быть может, пропадут в отношении к некоторому развитию, оживлению и углублению богословской мысли в вас, будущих деятелях на поприще духовного просвещения. Будущее принадлежит вам, и вы будете потом заправителями нашей религиозной мысли и жизни. И дай Бог, чтобы вы не оказались косными и скудными богословскою мыслию. Если это наше желание сбудется, тогда можно будет сказать, что наши чтения не пропали для вас даром. Есть некоторое сходство в вашем и моем положении. И вы, и я вскоре оставляем нашу дорогую академию. Пожелаем себе взаимно всего самого лучшего. Позвольте пожелать вам, выходящим на поприще служения Церкви и отечеству, честной и энергической

деятельности. А мне, тоже выходящему, но уже с поприща общественного служения, пожелайте употребить остаток сил, на покое, на то же дело, которым я занимался здесь, на этой академической кафедре, почти три десятилетия (29 лет)». — Последние слова я произнес в сильном волнении, дрогнувшим голосом и со слезами на глазах. Мое волнение сообщилось и моим слушателям, и они проводили меня громкими, продолжительными аплодисментами.

Так закончилась моя служба в академии. Во время экзаменов еще исполнял свои обязанности. Официально числюсь в отставке с 1 июня 1896 г. (приказ последовал 22 июня 1896 г.).

VI. После отставки (1896–1913)

Первое время после отставки (1896) прошло совершенно незаметно — в хлопотах по постройке дома в Гатчине, как летнего, а потом, со временем, и постоянного приюта в этом небольшом, тихом городке. Эти хлопоты были очень кстати, отвлекая внимание от крутой перемены в жизни. Лишь по возвращении в Петроград, поздней осенью, на постоянное жительство, почувствовался недостаток привычной деятельности и появилось тоскливое настроение человека, выбитого из обычной колеи. Скоро, однако, овладел собой: в первые два года помогло деятельное участие в сотрудничестве по «Церковному вестнику» (см. выше исчисление моих трудов за это время), а потом, с 1898 г., предпринял большую научную работу, которая на несколько лет сосредоточила на себе все мое внимание и не давала ни одной минуты для скуки. Взялся за эту работу не только в целях наполнить свое досужее время, но и для того, чтобы исполнить данное в прощальной речи своим слушателям обещание использовать «остаток своих сил для того дела, которому служил на академической кафедре». Далеко немалое значение имели для меня и настойчивые убеждения незабвенного о. протопресвитера И. Л. Янышева продолжать мою научную деятельность и после слишком, как он говорил, ранней отставки. Советовал обработать и издать курс моих академических лекций или хотя бы часть их.

Под влиянием этих побуждений и убеждений я задумал было сначала обработать лекции по последней части догматического богословия, обнимающей учение о Боге Освятителе, то есть о благодати Божией, Церкви и таинствах. Эта часть науки издавна привлекала мое внимание малой, сравнительно с другими ее частями, разработанностью в нашей богословской литературе. К тому же

располагали и прежние мои труды: докторская диссертация (о семи церковных таинствах) и полемика по поводу Аквилоновской диссертации (о Церкви). В виду предположенного широкого замысла составлено мной даже общее введение к этой части догматического богословия, которое и вошло в вышедший потом мой труд. Но при моих работах вскоре выяснилось, что если не захочу быть поверхностным, то дай Бог обработать хотя бы только одну первую треть предположенного, то есть одно учение о благодати Божией, а потому решился ограничиться последним.

Держался любимого моего метода исследования — историко-догматического. Шел тем же путем, что и при составлении докторской диссертации, но уже увереннее и спокойнее, преследовал те же задачи и цели. Это было в полном смысле слова как бы продолжение докторской диссертации, так что в этом отношении совершенно справедливо сделанное мне раз замечание профессора А. П. Лопухина, тогдашнего редактора «Христианского чтения», в котором по частям печаталось мое новое сочинение: «Учение о благодати Божией в творениях древних святых отцов и учителей Церкви до блаж. Августина. Историко-догматическое исследование». «Кажется, — сказал он, — вы, А.Л., составляете и представляете вторую, новую докторскую диссертацию». Этими словами А.П.Л. хотел, вероятно, подчеркнуть серьезность и обширность моей работы, но едва ли вполне сознавал, насколько точно и удачно определил тождество процесса моего внутреннего богословского переживания. Историко-догматическое исследование о благодати Божией действительно есть повторение совершенно однородной с прежней (о церковных таинствах) работы в другой области (о благодати Божией), с теми же приемами исследования и с тем же окончательным результатом. Это новое исследование еще лишний раз подтвердило справедливость моей теории относительно исторической судьбы раскрытия догматического учения нашей православной Церкви. Одна и та же главная цель преследовалась и тогда, двадцать лет тому назад (в 1877 г.), и теперь (в 1898 г.).

Спокойно, ничем не развлекаемый, начал я снова изучать святоотеческие творения, и притом не древнейших только отцов и писателей Церкви (до Оригена включительно, как для диссертации о таинствах), но и последующих веков, до св. Иоанна Златоуста включительно.

Громадное количество томов (несколько десятков) святоотеческих творений, в особенности золотого века святоотеческой письменности, потребовало массу времени и труда. Весьма счастливым обстоятельством было то, что все святоотеческие творения всегда имел под руками. После кончины, в 1881 г., о. протоиерея И. В. Васильева получил в собственность всю греческую серию Патрологии издания Миня (104 тома)[470]. Это было огромное мое преимущество. Не будь таких счастливых условий, едва ли взялся бы за такую большую работу, а если бы и взялся, то охладел бы, и в самом лучшем случае она затянулось бы на долгие годы, рискуя быть не доведенной до конца. Хотя в нашей академии и было это издание, но иметь его всё и всегда под руками было совершенно невозможно, так как оно находилось в постоянном обращении у профессоров и студентов.

Начал печатать в «Христианском чтении» свой труд задолго до его окончания, едва доведя его до половины и далеко не вполне его обработав. Виновником такой поспешности был, главным образом, о. протопресвитер И. Л. Янышев. Он всячески торопил меня, опасаясь, чтобы я не отложил своей работы или не затянул ее в бесконечность, рассчитывая, что если труд мой начнется печатанием, то поневоле придется продолжать его и закончить. Хотя всякий, знающий мою способность втягиваться в работу и не отставать от нее, должен был бы спокойно выжидать и не торопить меня; знал я и сам себя с этой стороны и все-таки невольно поддался сторонним внушениям. В результате оказалось, что первая половина моего труда требовала бы значительной переработки, не по существу впрочем, а по изложению и некоторым изменениям в плане. Многое как вышло первоначально из-под моего пера, так и осталось в том же виде.

Как бы то ни было, труд мой в 1902 г. закончен и вышел отдельным изданием (330 стр). В окончательном результате относительно святоотеческого учения о благодати Божией получилось то же самое, что и относительно учения о таинствах, то есть что понятие благодати было у древних святых отцов сначала такое же широкое

[470] Этим изданием из библиотеки о. И. В. В-ва пользовался и при составлении докторской диссертации. Оно и тогда сослужило мне большую службу. Теперь было еще удобнее, не нужно было перевозить десятки томов и опустошать шкафы библиотеки незабвенного о. протоиерея.

и не строго определенное, как и понятие «таинства», и потом, постепенно суживаясь, получило наконец тот точно определенный объем, с каким оно является в наше время, пройдя период пелагианских и полупелагианских споров и западно-схоластического развития. В конце сочинения, после свода святоотеческого учения о благодати и человеческой свободе воли, получилась святоотеческая формула, выражающая учение православной Церкви о процессе нашего спасения, в отличие от инославных о том учений. В заключение приведено несколько замечаний относительно того, какое огромное значение имеет уяснение святоотеческих воззрений на данный предмет для правильного понимания и освещения всех западных споров, начиная с блаж. Августина и пелагиан, теорий средневековых схоластиков и, наконец, сотериологического учения нынешнего римского богословия и протестантского. По мере напечатания в «Христианском чтении», и в особенности по выходе в 1902 г. отдельного издания моего труда, послышались и устные, появились и печатные очень одобрительные о нем отзывы. В особенности лестную и обстоятельную рецензию дал в «Церковных ведомостях» (1902, № 46) их редактор и председатель Духовно-учебного комитета при Св. Синоде, протоиерей П. А. Смирнов, некогда очень даровитый и очень уважаемый бакалавр Московской академии по той же кафедре церковной археологии, которую занимал и я в той же академии[471]. В виду таких отзывов я дерзнул даже представить свое сочинение в Учебный комитет на соискание премии митрополита Макария. По рассмотрении оно удостоено полной премии в 1000 рублей.

Во время научных моих занятий совершенно пропала охота и расположение к публицистической деятельности, создалось настроение для нее неблагоприятное. Через несколько лет появился было снова позыв к ней, но тут случилось нечто, совершенно для меня неожиданное и глубоко меня огорчившее, именно: недобровольное

[471] В заключении обширной передовой статьи этого номера «Церковных ведомостей» сказано: «Только глубокоученый и опытный профессор, обстоятельно знакомый со святоотеческими творениями и с классическими языками древности, при горячей любви к специальности предмета, мог разобраться во множестве и разнообразии данных для предпринятого им исследования и совершить этот труд, по всей истине капитальный. Многоценный вклад приобрела в нем наша богословская наука».

мое удаление из «Церковного вестника». Причиной этого была статья «Трехчленная формула (православие, самодержавие и народность)», написанная мной в конце 1905 г. и направленная в редакцию «Церковного вестника». Статья эта не была напечатана. Произошло тяжелое для меня объяснение...

Все это сильно меня взволновало. Не хотелось, однако, оставить статью не напечатанной. В ней проводилась, между прочим, мысль о том, как понимать акт Царской воли 17 октября. В связи с богословско-догматическими принципами разъяснялось, что это есть самоограничение Государя, вполне соответствующее всему христианскому мировоззрению, идее Высочайшей, Божественной воли в ее отношении к свободной тварной воле существ разумно-свободных, — которой даруется значительная доля самоопределения, — на всем пространстве истории мира, от сотворения до искупления и по искуплении, в действии благодати Божией, в процессе нашего спасения.

Решился отправить отвергнутую статью в «Церковные ведомости», официальный орган Св. Синода, журнал, конкурирующий с «Церковным вестником». Напечатана моя статья в «Церковных ведомостях», 1905, № 51.

Этой статьей совершился мой переход в сотрудники «Церковных ведомостей». Затем вскоре, в тех же «Церковных ведомостях», напечатана (1906, № 7) другая моя статья, касавшаяся также вопроса о самодержавии — «К вопросу о самодержавии», разбиравшая и оценивавшая разные тогдашние газетные о нем толки. И, наконец, — третья, под заглавием «Несколько мыслей о воспитании народной воли — согласно началам христианской православной веры и здравой педагогики» («Церковные ведомости», 1906, № 31). В этой статье проводились святоотеческие воззрения на свободную человеческую волю в ее отношении к Божественной воле и рекомендовалось следовать этим принципам в отношении к политическому воспитанию нашей народной воли в лице ее представителей в наших высших новых государственных учреждениях. Сюда вошло немало мыслей из моего труда о благодати Божией.

Этими статьями, да еще несколькими рецензиями, в тех же «Церковных ведомостях», на вновь выходившие тогда богословские сочинения закончилась моя публицистическая, да и вообще всякая

литературная деятельность. Что касается академического «Церковного вестника», то после 1905 г. ни одной печатной моей строки в нем не появилось. Так плачевно завершилось многолетнее мое сотрудничество в этом дорогом для меня академическом органе. Следующие годы, 1906–1910, принесли мне потерю самых близких и дорогих людей, в лице профессора Ф. Г. Елеонского († 1906) и протопресвитера И. Л. Янышева († 1910).

Последние годы жизни профессора Ф. Г. Елеонского, моего друга, близкого родственника и неразлучного спутника всей моей жизни, начиная с детского возраста, прошли также в отставке, в переездах с места на место и в неутомимых научных и литературных трудах. Вышел он в отставку через год после меня, в 1897 г., нервно расстроенный. В эти последние девять лет его жизни (1897–1906) он переменил много мест жительства, жил и в Полтавской губернии, и в Крыму (в Алупке), и в Москве, и наконец в Царском Селе, где и скончался 3 ноября 1906 г. Но нигде он не давал себе отдыха, постоянно занятый решением интересовавших его научных вопросов — преимущественно о текстах Библии — еврейском, греческом и древнеславянском, в особенности о древнеславянском переводе, о трудах Елизаветинских исправителей этого перевода. С целью изучения этих последних вопросов он даже нарочно поселился в Москве (где и провел около двух лет), чтобы заниматься изучением рукописей Румянцевского музея. В эти девять лет он напечатал много ученых статей в «Христианском чтении», «Церковном вестнике» и в «Богословской энциклопедии» издания А. П. Лопухина. Эти труды, вместе со всеми, более ранними его трудами, поименованы в «Биографическом словаре» А. С. Родосского. Не мог он оставаться без работы даже и в последние дни своей жизни, занимаясь в это время переводом творений св. Иоанна Златоуста для академического издания. Бывшие его сослуживцы, в том числе и я, и домашние его, видя крайний упадок его сил, безуспешно пытались отвлечь его от этой работы, но он так и скончался, можно сказать, с пером в руках. Мир праху этого талантливого, неутомимого и добросовестнейшего труженика.

Последние годы жизни протопресвитера И. Л. Янышева († 13 июня 1910 г.) прошли также в энергической, многосторонней деятельности этого замечательного, выдающегося церковно-

общественного деятеля, оставившего глубокий след в жизни не одной только высшей духовной школы. В течение 27-летнего заведывания придворным духовенством он являлся таким же высокоавторитетным его начальником, заботливым устроителем всех сторон его жизни, до материальной включительно, каким он был на академической ректуре: между прочим, им устроен прекрасный и обширный «Дом призрения для отставных священнослужителей, вдов и сирот придворного духовенства» — вещественный памятник, достойный славного его имени. В то же время он принимал деятельное, живое участие во всех церковно-общественных движениях того времени, в особенности в деятельности общества религиозно-нравственного просвещения в духе православной Церкви и в трудах, по его же инициативе учрежденной (1892), «комиссии для предварительного выяснения условий и требований, какие могли бы быть положены в основу переговоров о соединении старокатоликов с православной русской церковью». В обществе религиозно-нравственного просвещения, часто присутствуя лично, воодушевлял всех своими энергическими речами, а в старокатолической комиссии, работая с увлечением, был, можно сказать, ее душою. Неизменно мы видели его в ее заседаниях, происходивших то в покоях архиепископа Финляндского Антония (Вадковского), бывшего ее председателя, до назначения на митрополию, то в зале совета нашей академии, когда председательство перешло к ректорам: Преосв. Сергию (Страгородскому) и Преосв. Феофану (Быстрову)[472]. Иногда комиссия собиралась в квартире самого о. И. Л. Янышева, во вновь устроенном его стараниями доме для протопресвитера придворного духовенства и его канцелярии, — доме, примыкавшем к вышеупомянутому «Дому призрения».

Назначенный в ноябре 1905 г. к присутствованию в Св. Синоде (вместе с протопресвитером военного и морского духовенства А. А. Желобовским), о. И. Л. Янышев принимал живое, деятельное участие и в его трудах. Потеряв вскоре (в 1907 г.) совершенно зрение,

[472] Преосв. Феофан (в мире — Василий Быстров), петрогр., канд. Петрогр. акад. (1896), профес. стипендиат, 1897 — и.д. доц., 1897 — монах, 1901 — архим., и. д. инспект. Петрогр. акад., 1905 — маг., экстраорд. проф., акад., 1909 — ректор. Петрогр. акад., еп. Ямбург., 1910 — еп. Таврич., 1912 — еп. Астрахан.; 1913 — еп. Полтавский.

уже слепцом, неуклонно, однако, посещал заседания Св. Синода и даже исполнял некоторые, нелегкие его поручения. Так, например, ему поручено было (12 октября 1909 г.) рассмотрение составленного профессором Московской академии М. М. Тареевым «Краткого изложения системы богословствования» (на основании его же сочинения в 5-ти томах — «Основы христианства»). Поручение это было не только трудное, но по некоторым причинам и очень щекотливое: автор упомянутого сочинения проявил большую оригинальность в своем богословствовании и потому возбуждал немало недоумений и возражений. Тем не менее, поручение исполнено, и отзыв дан (12 февраля 1910 г.), благоприятный для автора. Это было за четыре месяца до кончины И. Л. Приходилось изумляться свежести и крепости его мысли и памяти, когда он, не имея возможности сам читать рукописи, слушал чтение ее и многотомного печатного сочинения профессора Тареева, просил отмечать обратившие его внимание места, а потом, при составлении отзыва, отыскивать прежде замеченное. Лектрисами были супруга покойного его сына Е. П. Янышева и ее сестры, и они поражались энергией его мысли и замечательной памятью. Среди бесед с ним, между прочим и по поводу этого сочинения, и я удивлялся тому же, а вместе с тем и тому, до какой степени он глубоко интересовался самыми отвлеченными богословскими предметами и вопросами. Не утратил он интереса и ко всем другим вопросам тогдашней нашей политической и общественной жизни — в эпоху японской войны, революционных движений 1904–1905 гг., созыва и открытия Государственной Думы 1906 г. При этом он являлся оптимистом, в особенности это касается Государственной Думы, при открытии которой присутствовал и которую восторженно приветствовал.

Имел он счастье дважды отпраздновать свой 50-летний юбилей, сначала вообще своей службы — в 1899 г., а потом — в священном сане (кажется, в 1900/01 году), и по этому случаю почтен был редкою наградою — осыпанными бриллиантами портретами Государей Александра III и Николая II. В 1906 г. — первый из лиц белого духовенства — получил орден св. Андрея Первозванного, — первый случай за все время существования этого высокого ордена. Ослабление сил и в особенности совершенная потеря зрения заставили его отказаться сначала от законоучительства царских детей, а потом, в 1906 г., и от обязанности «заведующего придворным духовенством».

Остался только царским духовником, каковым и был до последних дней своей жизни. Несмотря на некоторые попытки, со стороны разных юродивых и юродствующих, одно время поколебать его положение как царского духовника, он неизменно пользовался благоволением и большим вниманием при Дворе. В последние годы жизни, потеряв зрение, он отправлялся в Великом посту, в первую и Страстную недели, на несколько дней в Царское Село в сопровождение своей невестки, вышеупомянутой Е. П. Янышевой, которой было оказываемо царскою семьею также немалое внимание. В год кончины, 1910-й, на Страстной неделе, по обыкновению он отправился в Царское Село, пробыл там, согласно желанию царской семьи, и Пасхальную неделю, но, несмотря на настойчивое с ее стороны предложение остаться для здоровья долее, решился отправиться домой, на петроградскую свою квартиру, заявив своей спутнице: «Не хочу доставлять высоким хозяевам неприятностей; еще, пожалуй, умру здесь, а это будет плохая им плата за радушное гостеприимство». В этих словах сказалась свойственная ему, характерная (и нам, академическим, хорошо известная), редкая деликатность.

Если не зарождение, то усиление болезни, сведшей его в могилу, относится ко времени 100-летнего юбилея нашей Петроградской академии, 17 декабря 1909 г. Здесь он простудился, раздетый, в холодном вестибюле. Вообще, этот юбилей не особенно его порадовал. Родная академия, которую он знал более полувека (с 1845 г., время его поступления в состав студентов) и которой 17 лет (следовательно, почти 1/5 столетия) был блестящим ректором, оказала ему очень мало внимания: начальство ее (ректором был в это время Преосв. Феофан (Быстров), человек совсем другого духа) не встретило его, как будто он был заурядным гостем, и только некоторые из профессоров, бывшие его ученики и почитатели, встретили и проводили дорогого гостя. Во время акта жаль было смотреть на его мертвенно бледное лицо. Весь акт, продолжавшийся очень долго, около шести часов, он просидел неподвижно.

Скончался протопресвитер И. Л. Янышев 13 июня 1910 г., на Елагином острове, на придворной даче царского духовника. Кончина его была весьма замечательна. В сознании приближающегося конца он пожелал собрать всех родных и близких к нему лиц и при прощание каждому сказал ласковое и назидательное слово,

обнаружив полную память и ясное сознание. Вспомнил и меня, и пожалел, что не слышит моего голоса; к сожалению, мне не удалось присутствовать при последних минутах его жизни. Между прочим, попросил он оставить после кончины его тело в покое, по крайней мере в течение двух, трех часов, так как, говорил он, в это время происходит разлучение души с телом; совершается оно не вдруг. Отпевание совершено в Петропавловском соборе, с особого на то разрешения (обычно — только для лиц Императорской фамилии), при участии всех членов Св. Синода, во главе с Киевским митрополитом Флавианом; митрополит Антоний отсутствовал по случаю лечения на Кавказе. Прекрасные речи произнесены протоиереем Петропавловского собора А. А. Дерновым (ныне протопресвитер, заведующий придворным духовенством) — за причастным, и протопресвитером армии и флотов Е. П. Аквилоновым — при отпевании. Первый охарактеризовал покойного как начальника придворного духовенства, второй — как ректора академии и церковно-общественного деятеля. До могилы — на Волковом кладбище, где похоронены супруга покойного Александра Ефимовна, сын его Л. И. Янышев (бывший гражданским инженером) и дочь А. И. Альбова, в семейном склепе — проводили тело усопшего два Преосвященные, присутствовавшие тогда в Св. Синоде, — архиепископ Ярославский, ныне Литовский Тихон (Беллавин) и епископ Полтавский, ныне архиепископ Рижский Иоанн (Смирнов)[473], ученик покойного. На могиле произнесено несколько речей. Из них особенно замечательна по воодушевлению красноречивая речь протоиерея П. Н. Лахосткого, характеризовавшая покойного как энергического деятеля в обществе религиозно-нравственного просвещения в духе православной Церкви. Так окончилась долгая (83 года) жизнь этого замечательного человека, оставившая большой, неизгладимый след в нашей церковной и, в особенности, духовно-учебной жизни.

При жизни о. И. Л. Янышева очень нередко приходилось пользоваться его гостеприимством и вести с ним беседы по самым разнообразным предметам и вопросам. По-прежнему он был широких

[473] Преосв. Иоанн (в мире — Иван Смирнов), владим., канд. Петрогр. акад. (1867), 1868 — препод. Рязан. сем., 1869 — маг., 1875 — инспект. Рязан. сем., 1883 — прот., ректор Рязан. сем., 1901 — монах, архим., 1902 — еп. Чебоксар., 1904 — еп. Полтав., 1910 — еп. Рижск., 1912 — архиеп.

взглядов и ни на йоту не отступал от своих принципов, которым следовал в течение всей своей жизни. По временам приходилось с ним спорить, но через это не умалялось глубокое почтение к его личности. Кончина его была огромною для меня потерею. Он был тою дорогою нитью, которая соединяла с прошлою славною страницею жизни родной академии и которая вводила в круг церковно-общественных движений последнего времени.

Через другое, также достопочтенное, близкое и очень дружественное ко мне лицо, через свояка, Н. М. Аничкова, с 1884 г. директора министерства народного просвещения, а в год моей отставки (1896) — товарища министра народного просвещения, потом (1898) сенатора, вице-председателя Палестинского общества и, наконец, (1905) члена Государственного совета, судьбе угодно было ввести меня в соприкосновение с другою средою, со светским ученым, учебным и административным миром. В квартире Н. М. Аничкова приходилось встречаться с графом И. Д. Деляновым, его товарищем по министерству князем М. С. Волконским и многими из профессоров университета и ученых: вице-президентом Академии наук П. В. Никитиным († 1916); академиком В. В. Латышевым; инспектором и профессором Историко-филологического института Н. П. Некрасовым; В. Н. Хитрово, известным замечательным деятелем по Палестинскому обществу и его секретарем; заслуженным профессором А. А. Дмитриевским, выдающимся нашим церковным археологом, большим знатоком Востока и преемником г. Хитрово по секретарству в Палестинском обществе, и многими другими. К великому сожалению, суждено было нам лишиться в последнее время (10 июня 1916 г.) и этого нашего почтенного родственника, Н. М. Аничкова, далеко незаурядного общественного деятеля.

50-летний мой юбилей (18 ноября 1913 г.). Совсем не намеревался праздновать 50-летие моей деятельности. Какое, думал я, может быть празднование у человека, уже 17 лет не состоящего на службе, и 6–7 лет прекратившего даже и литературную деятельность. Поэтому никому не говорил о времени моего юбилея, а когда меня о том спрашивали, упорно молчал, полагая, что так и пройдет оно незамеченным, и гатчинское мое уединение ничем

не будет нарушено. Но случилось совершенно иначе. Сначала, задолго до ноября месяца, кажется в июле 1913 г., в одной из светских газет (в «Петербургском листке») появилось известие о моем юбилее, а затем, в ближайшее к ноябрю время, напечатаны в «Церковном вестнике» две большие статьи профессора протоиерея П. И. Лепорского, посвященные моей 50-летней деятельности, по случаю наступления 50-ти лет моей службы и деятельности. Светские газеты подхватили это известие, и празднование оказалось неизбежным. Совершилось оно в самой скромной обстановке, в Гатчине, в моем домике (в котором мы поселились на постоянное жительство в 1912 г.), в тесном семейном кругу, среди родных и близких знакомых. Из родных, кроме членов моего семейства, моей супруги Софии Иосифовны и сына Николая Александровича Катанского (старшего кандидата на судебные должности при Петроградском окружном суде) и его супруги Марии Иер. Катанской, присутствовали прибывшие из Петрограда: мой двоюродный брат, заслуженный профессор Александр Иванович Садов и двоюродная сестра Надежда Федоровна Елеонская, дочь покойного моего дяди и друга Федора Герасимовича Елеонского. Из близких знакомых: мой земляк, бывший профессор Киевской академии, Ф. С. Орнатский (после отставки от академической службы живущий в Гатчине и состоящий в числе членов Духовно-учебного комитета при Св. Синоде) с его супругою Соф. Ив. Орнатскою и свояченицею Над. Ив. Диевскою. Тут же присутствовал освятивший молитвою наше празднество протоиерей гатчинской Егерской церкви о. В. А. Левицкий, один из наиболее уважаемых гатчинских пастырей. Этот скромный семейный праздник украсили своим присутствием делегаты Петроградской духовной академии — заслуженный профессор Н. В. Покровский и профессор протоиерей П. И. Лепорский, прибывшие из Петрограда и привезшие с собою приветственный от родной академии адрес. После молебна предложена была присутствовавшим скромная трапеза, среди которой у прибывших академических делегатов и зародилось мысль привлечь меня к составлению и обнародованию моих «Воспоминаний», о чем уже сказано в самом начале этого моего труда, в предисловии.

По случаю юбилея получено немало приветствий. Упомянем о некоторых, наиболее характерных.

Наши духовные академии, из которых в трех — Петроградской (с 1896 г.), Казанской (с 1897 г.) и Московской (с 1904 г.) юбиляр состоял в то время почетным членом, почтили его приветствиями: первая, Петроградская, — вышеупомянутым адресом, Казанская — официальною бумагою с изложением постановления совета по случаю его юбилея и с характеристикой его трудов, Московская — поднесением через делегатов (профессоров С. П. Смирнова и А. П. Орлова) прекрасной иконы Преподобного Сергия, в серебряной позлащенной ризе и киоте, с приличной выгравированной на дощечке надписью. Не отозвалась только Киевская академия, в почетные члены которой юбиляр был избран два года спустя после юбилея (21 декабря 1915 г., утвержден 18 февраля 1916 г.) — «в уважение», как сказано в дипломе, «полувековой профессорской деятельности и ученых трудов по исследованию истории православных христианских догматов»[474].

В адресе Петроградской академии выражено следующее: «ваши неутомимые ученые труды, всегда солидные и строго проверенные критической православно-богословской мыслью, несомненно оставят глубокий след в академической науке. Но академия хранит наилучшие воспоминания о вас не только как об ученом православном богослове, пролагавшем новые пути в специальных ученых исследованиях, но и как прекрасном, всегда отзывчивом профессоре и муже совета и разума... Как в академическом совете, так и в правлении вы являли собою пример, достойный подражания, крепко стояли на страже справедливости и порядка и, таким образом, поддерживали равновесие в течении академической жизни».

В письменном от совета Казанской академии приветствии дана следующая оценка ученых трудов юбиляра. «В вашем лице Казанская академия издавна видит ученого историка-догматиста,

---

[474] Кстати, интересны мотивы избрания, выраженные в дипломах других академий: Петроградской — «в уважение многолетней профессорской службы и разнообразной ученой и литературной деятельности»; Казанской — «во внимание к научно-богословской деятельности и духовно-литературным трудам», Московской — «в уважение долголетней профессорской деятельности в академиях Московской и С.-Петербургской и ученых трудов по догматическому богословию». Из этих мотивов видно, что не забыта и моя публицистическая, журнальная деятельность, и заслужила авторитетное признание ее ценности. Считаю это большой наградой за свои посильные труды этого рода.

богослова, сочетавшего в себе солидные познания с определенным взглядом на богословскую науку и преимущественно на догматическое богословие, изучению которого вы посвятили многие годы своей деятельности. Ваши статьи об историческом изучении догматов, появившиеся в начале 70-х годов истекшего столетия и составившие несомненную новость в русской богословской науке того времени, намечают путь исследования предметов догматического богословия. А ваши капитальные труды из области святоотеческого богословия: Догматическое учение о семи церковных таинствах в творениях древнейших святых отцов и учителей Церкви... (1877) и Учение о благодати Божией в творениях святых отцов и учителей Церкви до блаж. Августина (1902) представляют собой фактическое осуществление вашего взгляда на историческое изучение догматов по методу историческому. Присущие вашим капитальным богословским трудам качества: выдержанность известного научного направления, содержательность, ясность и отчетливость утверждаемых в них выводов и древне-отеческих догматических формул — по справедливости сделали эти труды ценным вкладом в нашу русскую богословскую науку».

Почтили меня приветствиями: телеграммой — Петроградский митрополит Владимир, письмами — архиепископ Алексий (Опоцкий), член Св. Синода, находившийся на покое в московском Донском монастыре, мой бывший товарищ по студенчеству, архиепископ Волынский Антоний (Храповицкий), вместе с обширным письмом, характеризовавшим профессоров старого и нового времени, приславший прекрасную икону Почаевской Божией Матери, архиепископ Финляндский Сергий (Страгородский), телеграммами: архиепископ Ярославский Тихон (Беллавин), епископ Елисаветградский Анатолий (Каменский), мой бывший слушатель (вып. 1895 г.), член Государственной Думы, обер-прокурор Св. Синода В. К. Саблер, приветствовавший меня «с 50-летием столь полезной для православной церкви ученой и педагогической деятельности». Эта последняя телеграмма была для меня вполне неожиданна и тем более приятна — в виду прежних наших столкновений, в особенности по поводу диссертации Е. П. Аквилонова.

Получены частью телеграммы, частью письма: от ректора Нижегородской семинарии, от Нижегородской архивной комиссии,

из редакции «Церковного вестника», от бывших сослуживцев по родной академии — профессора Петроградского университета, протоиерея В. Г. Рождественского, профессора протоиерея С. А. Соллертинского, профессора А. А. Бронзова, профессора Н. Н. Глубоковского и от бывших моих учеников протоиереев — Ф. А. Знаменского (вып. 1869 г., протоиерей Исаакиевского собора), Г. И. Титова (вып. 1873 г., член Учебного комитета при Св. Синоде), М. Г. Березина (вып. 1878 г., настоятель одной общ. сестер милосердия в Петрограде), Н. Г. Кедринского (вып. 1879 г., в то время духовника Их Императорских Величеств), А. А. Дернова (вып. 1882 г., настоятель Петропавловского собора, ныне протопресвитер придворного духовенства), А. П. Устьинского (вып. 1882 г., настоятель церкви новгородского Десятинного монастыря), А. В. Рождественского (вып. 1882 г., протоиерей петроградского Казанского собора), И. И. Добронравова (вып. 1884 г., настоятель петроградского Андреевского собора).

Не забыли меня и некоторые из бывших моих слушателей, не имеющих священного сана. Получены приветствия от А. Д. Попова (вып. 1871 г., член Училищного совета при Св. Синоде), Д. И. Тихомирова (вып. 1881 г., член Учебного комитета при Св. Синоде), В. Троицкого (вып. 1877 г., вице-директор канцелярии Человекол. общества), П. П. Зубовского (вып. 1887 г., директор канцелярии одного из министров), А. В. Карташева, бывшего и.д. доцента Петроградской академии. Весьма характерно приветствие этого последнего. Между прочим, вот что выражено в письме его: «в годину искажения светлого, благородного облика старой академии пятнами низменных политических страстей невольно отдыхаешь мыслью на представителях старого, чистого поколения». Эти строки делают большую честь А. В. Карташеву, далеко не чуждому увлечения именно этими политическими страстями, благодаря чему этот даровитый человек оставил службу при академии.

Немало получено было приветствий от родных и добрых знакомых, в том числе от досточтимого заслуженного профессора Киевской академии А. А. Дмитриевскаго, от В. Н. Тычинина (воспитанника Московской академии, вып. 1888 г., директора Могилевского учил. сем.), протоиерея Красовского (воспитанника Московской академии, протоиерея Адмиралтейского собора) и от совершенно мне неизвестного моего почитателя, некоего В. М. Трофимова, из Архангельска,

чиновника портовой таможни, знакомого с моими сочинениями благодаря борьбе его с раскольниками.

Много весьма лестного и до глубины души тронувшего меня прочитал я в этих приветствиях, в особенности от бывших моих учеников, сохранивших благодарную обо мне память и выразивших немалую любовь и почтение к своему старому профессору. Думал было я привести текст некоторых из этих телеграмм и писем, но отложил это намерение во избежание упреков в самовосхвалении, хотя приходило на мысль, что юбилейные похвалы, по обычаю, конечно, более или менее преувеличенные, характеризуют не только юбиляра, но и его поздравителей: некоторые добрые стороны и качества, замеченные ими в юбиляре, находят, очевидно, отзвук в их душах и, следовательно, родственны и им и свидетельствуют об их духовном облике и настроении, по пословице «similis simili gaudet».

Так прошел мой полувековой юбилей. Последний акт его совершился в академии. По случаю благодарственного визита митрополиту Владимиру и ректору академии Преосв. Анастасию (Александрову) был я в стенах родной академии и здесь встретился с достоуважаемым редактором «Христианского чтения», профессором Н. И. Сагардою, бывшим моим слушателем (вып. 1896 г., года оставления мною службы при академии). Сагарда с большой настойчивостью потребовал от меня какой-либо статьи для редактируемого им академического журнала, на память о моем юбилее. Это было последним толчком к составлению моих «Воспоминаний», за что не раз роптал я на почтенного профессора, как и на упомянутых выше членов делегации от родной академии, прибывших ко мне 18 ноября 1913 г. в Гатчину и склонявших меня к тому же. В конце концов, нельзя сказать, чтобы я остался неблагодарным ко всем этим достопочтенным лицам, вызвавшим меня на этот труд — быть может, не совершенно бесполезный для истории родной Петроградской академии, близкой моему сердцу академии Московской и родной Нижегородской семинарии и вообще для истории нашей духовной школы.

Нелегок был взятый мною на себя труд. Пришлось очень немало поработать, а главное — пережить всё, что волновало на пространстве многих десятков лет, с 1847 г. В своей летописи старался сохранить беспристрастие, не скрывая своих ошибок, промахов, увлечений и чужих немощей и недостатков, но отдавая всем, по крайнему моему

разумению, должное. Да простят мне читатели, если в чем-либо нарушил строгое правило писать «sine ira et studio».

Заканчиваю свою летопись на 81-м году жизни (19 ноября 1916 г. исполнилось мне 80 лет) словами великого св. Иоанна Златоустого: «Слава Богу за всё!»

20 декабря 1916 года

Содержание

А. Л. Катанский
Воспоминания старого профессора. С 1847 по 1913 год
Нижний Новгород
2010

Редактор-корректор О. В. Куранова.
Вёрстка: В. Г. Кочнев

Подписано в печать 04.10.2010. Формат 70x100/16
Бумага мелованная. Печать офсетная.
Печ. л. 27. Усл. печ. л. 34,83
Заказ № 602. Тираж 2000 экз.
Отпечатано в типографии «Ридо»